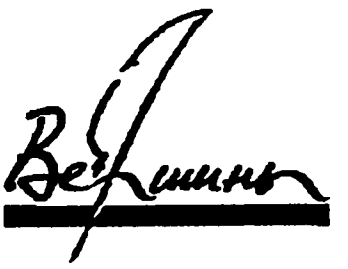
Фридрих

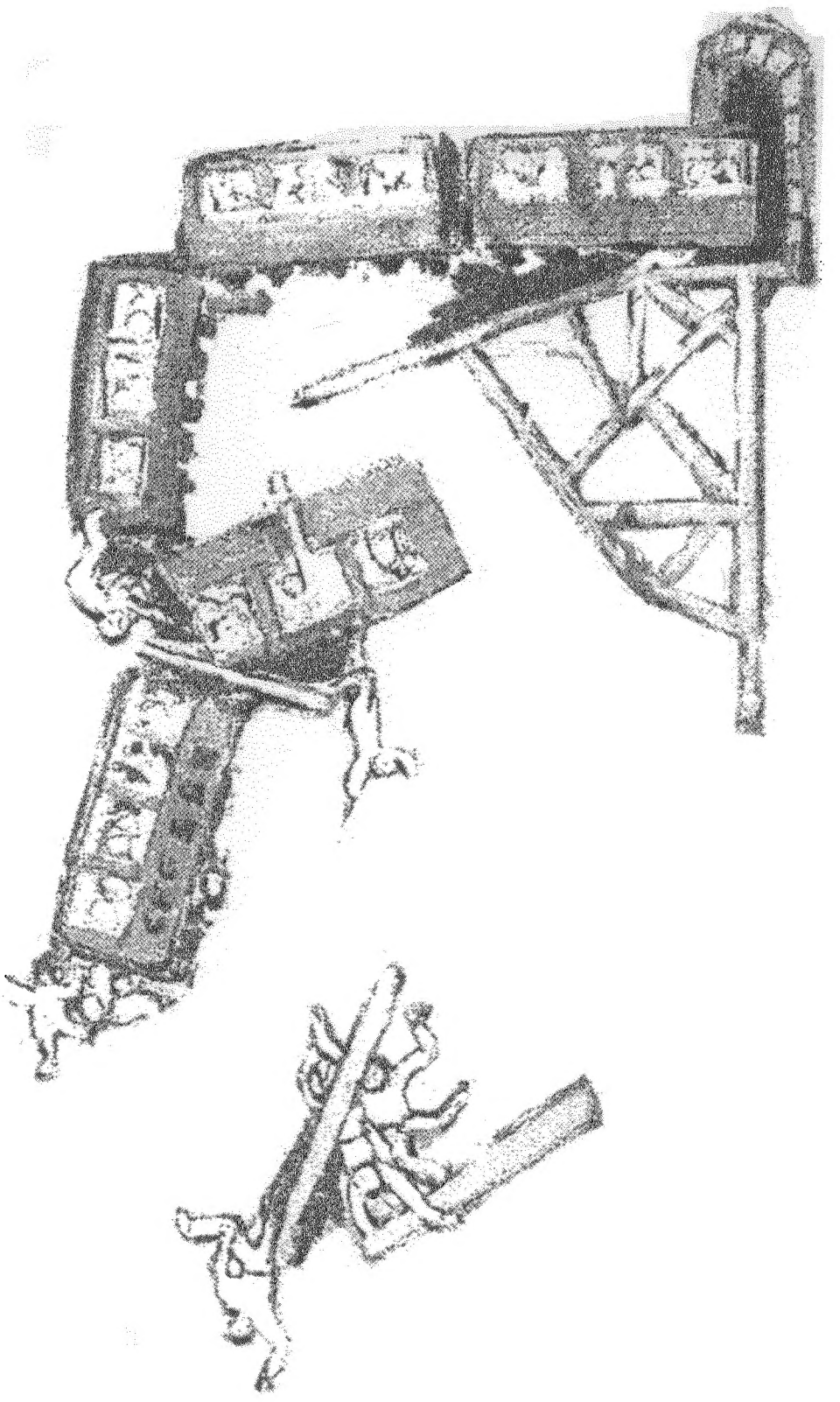
# Дюрренматт

© Copyright by Philipp Keel, Zürich



# Friedrich Dürrenmatt

GESAMMELTE WERKE



# Фридрих Дюрренматт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

3

## РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

Перевод с немецкого

Харьков «Фолио»
Москва АО Издательская группа «Прогресс»
1997

ББК 84.4Ш
Д97

Серия «Вершины»
основана в 1995 году

Составитель
*Е. А. Кацева*

Комментарии
*В. Д. Седельника*

Художники
*М. Е. Квитка, О. Л. Квитка*

Редактор
*Л. Н. Павлова*

В оформлении издания использованы
живопись и графика автора
© Copyright 1978 by Diogenes Verlag AG, Zürich

All rights reserved
Copyright © 1986 by Diogenes Verlag AG, Zürich

Данное издание осуществлено при поддержке
фонда «PRO HELVETIA»
и центра «Echanges Culturels Est–Ouest»
г. Цюрих, а также при содействии
Посольства Швейцарии в Украине

**Д $\frac{4703010100—026}{97}$ Без объявл.**

ISBN 966-03-0106-5 (т. 3)
ISBN 966-03-0103-0

ISBN 5-01-004568-0 (т. 3)
ISBN 5-01-004571-0

© Составление, комментарии, перевод на русский язык произведений, кроме отмеченных в содержании *, издательство «Фолио», АО «Издательская группа "Прогресс"», 1997

© М. Е. Квитка, О. Л. Квитка, художественное оформление, 1997

© Издательство «Фолио», издание на русском языке, марка серии «Вершины», 1997

# Зимняя война в Тибете

# Der Winterkrieg in Tibet

Я наемник и тем горжусь. Я воюю не только от имени Администрации, но и как исполнитель, пусть скромный, ее миссии — той части этой миссии, которая заключается в борьбе с врагами. Ведь Администрация существует не только для того, чтобы помогать гражданам, но и чтобы защищать их.

Я воюю в Тибете, где идет Зимняя война. Зимняя она потому, что на склонах Джомолунгмы, Чоой, Макалу и Манаслу всегда зима. Мы сражаемся на фантастической высоте, на глетчерах и крутых склонах, на осыпях и у берешрундов, под нависающими скалами, то в лабиринте окопов и бункеров, то на совершенно ослепляющем, ярчайшем солнце. И борьба усложняется еще и потому, что и мы, и противник одеты в одинаковую белую форму. Эта война — жестокая, неуправляемая рукопашная. Холод на вершинах и скалистых склонах дикий, носы и уши у нас обморожены.

Войско Администрации состоит из наемников всех рас и народностей Земли: рядом с огромным негром из Конго сражается малаец, белокурый скандинав — рядом с австралийским бушменом. Здесь не только бывшие солдаты, но и члены бывших подпольных организаций, террористы всевозможных идейных убеждений, профессиональные убийцы, мафиози и обыкновенные уголовники. У неприятеля состав такой же.

Когда мы не участвуем в боях, то забиваемся в ледяные норы, в пробитые в скалах ходы и шахты, они связаны между собой и образуют в огромных горных массивах необозримую разветвленную сеть, так что и здесь враждующие стороны неожиданно сталкиваются и друг друга истребляют.

Опасность преследует нас везде. Даже в борделе под Канченджангой, в «Пяти сокровищницах великого снега», с проститутками со всего света. Это примитивное заведение посе-

щалось и неприятелем. Коменданты борделей враждующих сторон договорились между собой. Это я не в упрек Администрации: половые сношения — такая человеческая потребность, которую трудно взять под контроль. И все же некоторых из моих товарищей прикончили, когда они лежали с проституткой, в том числе и моего любимого командира, он был у нас командующим еще в последнюю мировую войну. Он уже тогда предпочитал солдатские бордели офицерским. Хорошо помню, как снова встретил его...

Двадцать-тридцать лет тому назад — да кто теперь считает годы! — явился я с удостоверением Администрации в один маленький непальский городок. Встретила меня тут баба-офицерша и сразу взяла в оборот. Я уже чувствовал себя дряхлым паралитиком, когда она распахнула передо мной ржавую железную дверь и снова рухнула на пол. Все произошло в пустом помещении: у стены матрац, на полу — ее офицерская форма и мое цивильное барахло, изодранное в клочья... Дверь была настежь, в комнату набилось полно девчонок. Исцарапанный и раздраженный орущей толпой подростков, я поднялся, переступил через голую насильницу и, пошатываясь, проскользнул в дверь, не заметив, что за дверью крутая лестница. Свалившись вниз, я приземлился на бетонном полу, весь в крови, но не потеряв сознания, довольный, что лежу. Потом тихонько осмотрелся.

Я находился в прямоугольной комнате. На стене висели автоматы, белая военная форма и обтянутые белой материей стальные шлемы. За письменным столом сидел наемник неопределенного возраста, лицо будто вылеплено из глины, беззубый рот. На нем такая же белая форма и белый шлем, как на стене. Перед ним, на столе, лежал автомат, а рядом — стопка порнографических журналов, которые он перелистывал.

Наконец он обратил на меня внимание:

— Вот, стало быть, новичок. Без сил, как и следовало ожидать.

Он выдвинул ящик, достал формуляр, задвинул ящик; все это медленно, степенно, складным ножом с трудом отточил огрызок карандаша, порезавшись при этом, чертыхнулся и наконец принялся записывать, испачкав, однако, кровью весь формуляр.

— Встань, — приказал он мне.

Я встал. Мне было холодно. Только сейчас до меня дошло, что я совершенно голый. Лицо и руки у меня были в ссадинах, лоб кровоточил.

— Твой номер ФД 256323, — сказал он, даже не поинтересовавшись, как меня зовут. — В Бога веришь?

— Нет, — ответил я.

— А в бессмертную душу?

— Нет.

— Это и не положено, — согласился он, — просто верить как-то спокойнее. А в неприятеля веришь?

— Да, — ответил я.

— Вот видишь, — сказал он, — это как раз положено! Надевай форму, бери шлем и автомат. Они все заряжены.

Я повиновался.

Все так же обстоятельно он запер формуляр в ящик стола и встал.

— Ты с таким оружием обращаться умеешь? — спросил он.

— Что за вопрос!

— Но ведь не все же такие старые фронтовые волки, как ты, Двадцать третий!

— Почему Двадцать третий?

— Потому что твой номер оканчивается на двадцать три, — объяснил он, взял со стола автомат и открыл низкую полуразвалившуюся деревянную решетку.

Я, прихрамывая, последовал за ним.

Мы вошли в какую-то узкую сырую галерею. Она была вырублена в скалах и лишь скудно освещена маленькими красными лампочками, провода свободно свисали вдоль стен. Где-то шумел водопад. Раздались выстрелы, потом глухой взрыв. Наемник остановился.

— Если нам кто-нибудь попадется навстречу, стреляй, и все, — сказал он. — Может, это враг, а коли нет — тоже не жалко.

Галерея, похоже, шла под уклон, но полной уверенности не было, потому что нам приходилось то карабкаться вверх, натыкаясь на крутизну, то сигать вниз, в неведомые глубины. Кое-где галереи и шахты были расположены в строгом порядке и снабжены сложной системой лифтов, а кое-где все было до крайности примитивно, словно строилось в незапамятные времена и вот-вот обвалится. Нечего было и думать изучить «географию» этого лабиринта, в котором обитали мы, наемники, — составить бы себе хоть приблизительный план. Руки мои сильно кровоточили. Несколько часов мы

проспали в какой-то пещере, забравшись туда, как звери в нору.

Казалось, лабиринт распутывается. Галерея шла прямо, как стрела, только непонятно куда. Иногда мы преодолевали километры, шагая по колено в ледяной воде. От галереи, по которой мы шли, ответвлялись другие. Отовсюду капало, но иногда наступала мертвая тишина и лишь гулко отдавались наши шаги.

Вдруг наемник стал двигаться осторожнее, держа автомат на изготовку: на углу нашей и другой галерей что-то просвистело мимо моей головы — я был опять на Третьей мировой войне. Пригнувшись, мы побежали вниз по какому-то подобию винтовой лестницы, деревянной, полусгнившей, с которой наемник открыл совершенно бессмысленную стрельбу по галерее — никого ведь не было видно, — пока не кончились патроны.

Спустившись еще ниже, мы очутились в пещере, где было чуть светлее, куда вели и другие винтовые лестницы — одни шли сверху, как та, по которой мы попали сюда, другие снизу. Из пещеры широкая галерея вела к двери лифта. Наемник нажал кнопку. Мы прождали примерно четверть часа.

— Как только мы выйдем из подъемника, — сказал он, — тут же бросай автомат и поднимай руки вверх.

Дверь открылась, мы вошли в подъемник — маленький, тесный, непонятно зачем обитый потертой бордовой парчой. Не помню, вниз или вверх шел лифт. В нем оказалось две двери. Я заметил это, только когда спустя четверть часа у меня за спиной раскрылась дверь.

Наемник выбросил свой автомат наружу, я последовал его примеру. Я вышел с поднятыми вверх руками, наемник тоже поднял руки.

В ужасе я остановился: передо мной в инвалидной коляске сидел безногий солдат. Вместо рук у него были протезы, левая представляла собою конструкцию из стальных стержней, переходившую в автомат. Кисть правой искусственной руки состояла из щипцов, отверток, ножей и стального грифеля. Нижняя часть лица — тоже стальная, на месте рта — шланг. Существо откатило назад, делая нам знаки автоматом, чтобы мы приблизились. Руки мы опустили.

В центре пещеры был подвешен за руки голый бородатый человек, к ногам его привязали тяжелый камень. Человек этот висел неподвижно, время от времени издавая хрип. У стены — это была просто скала — на кое-как сколоченных

нарах, посреди груды оружия и ящиков с патронами, в окружении коньячных бутылок сидел огромного роста пожилой офицер, в расстегнутом мундире, из-под которого выглядывала белая грудь, заросшая слипшимися от пота волосами. Мундир был мне хорошо знаком еще со времен войны. В офицере я узнал старого командира. Он поднес ко рту бутылку и отхлебнул.

— Джонатан, кати в угол, — проговорил он, с трудом ворочая языком. Существо поехало к стене пещеры и принялось что-то выцарапывать на скале. — Джонатан у нас философ, — объяснил командир и глянул на меня. Тут его осенило. — Ганс, дурачок, — захохотал он хрипло, — неужто ты меня не помнишь? Это я, твой бывший командир. — Он засветился счастьем. — Я ведь тогда пробился в Брегенц. Поди-ка сюда.

— Ваше превосходительство... — пробормотал я.

Я подошел, он прижал мою голову к потной груди.

— Вот и ты здесь, — продолжал он сипеть мне в ухо. — И ты здесь, сукин ты сын.

Он ухватил меня за волосы и принялся мотать мою голову из стороны в сторону.

— Было бы удивительно, если б Администрация приручила моего паренька. Солдат всегда останется солдатом. — И он наградил меня таким пинком, одновременно выпустив из объятий, что я налетел на подвешенного, который громко застонал и закачался туда-сюда, будто язык огромного колокола.

Я поднялся. Мой бывший командующий хохотал.

— Сигару мне, скотина! — заорал он на наемника, который меня привел. — Я уже выкурил свою порцию.

Наемник молча подал ему сигару, затем вытащил записную книжку и, заглянув в нее, заявил:

— Вы должны мне уже семь, командир.

— Ладно, ладно, — пробурчал тот и щелкнул золотой зажигалкой, резко выделявшейся на фоне его грязного мундира и чудовищного убожества пещеры.

Мне припомнилось, что я видел у него эту зажигалку еще в курортной гостинице в Нижнем Энгадине, что наполнило меня удовлетворением. Старые добрые времена не совсем миновали.

— Пошел вон, — приказал командующий моему попутчику, тот отдал честь и повернулся на сто восемьдесят гра-

дусов. В ту же секунду командующий прошил его очередью из автомата.

Потом с удовлетворением положил автомат рядом с собой на нары. Джонатан подкатил к телу и обыскал его своим правым протезом.

— Сигар у него больше нет? — поинтересовался командующий.

Джонатан покачал головой.

— И порнографического журнала тоже?

Джонатан снова покачал головой, подцепил тело крюком своей коляски и поволок его прочь.

— Теперь никто больше не знает дороги сюда, — заключил командующий, — часовые снаружи ненадежны. Они с удовольствием сбегут к неприятелю. Эта свинья тоже перебежчик. А раньше всегда приносил мне порнографию.

Тут он уставился на висящего голого мужчину.

— Ганс, — проговорил он, выпуская удушливый сигарный дым, — дурачок, ты, кажется, удивлен, видя здесь вот этого. Армия — надеюсь, ты это еще не забыл, — не жалует живодеров, и ты, конечно, еще не забыл, что твой старый командир тоже не живодер. Я любил солдат как своих детей, и наемников я тоже люблю как своих детей.

— Так точно, ваше превосходительство! — отчеканил я.

Он кивнул мне, шатаясь подошел к стене и помочился рядом с Джонатаном, который уже вернулся и снова царапал что-то на стенке.

— Когда человек голым болтается на веревке, — приговаривал он, справляя нужду, — это задевает мои чувства, так ведь, Ганс, ты же порядочный парень и знаешь, как я сочувствую этому типу. Я сентиментальный. А сентиментальность — человеческое свойство. Животные не сентиментальны. Стоять по стойке «смирно», когда я с тобой разговариваю.

Я вытянулся.

— Так точно, ваше превосходительство.

Старик обернулся, застегнул брюки и, прищурившись, глянул на меня.

— Ну, Ганс, — спросил он, — что ты думаешь об этой вонючей собаке? Почему он здесь висит?

Я задумался.

— Он пленный, ваше превосходительство, — предположил я, все еще стоя навытяжку. — Враг.

Командующий топнул ногой.

— Он из моей роты — наемник. Ты ведь тоже готов стать наемником, полковник?

Он смотрел на меня молча, почти враждебно, и я ответил, не шевельнувшись:

— Я на это решился.

Командующий кивнул.

— Вижу, ты все тот же бравый парень, шалопай, готовый на все, как тогда, в курортной гостинице. Теперь смотри хорошенько, малыш, что я буду делать.

Покачиваясь, он медленно направился на середину пещеры и потушил горящую сигару о живот висящего.

— Ну вот, теперь ты тоже можешь помочиться, — проговорил командующий.

Наемник только застонал в ответ.

— Бедный парень больше не может мочиться, — сказал командующий, — а жаль.

И он качнул его.

— Ганс, — обратился ко мне командующий.

— Да, ваше превосходительство?

— Эта собака болтается здесь уже двенадцать часов, — сказал он и снова толкнул висящего. — Но он храбрый пес, отличный вояка, сынок, которого я люблю.

Он подошел ко мне почти вплотную. Старый великан был выше меня на целую голову.

— Знаешь ли ты, кто сотворил это свинство, сынок? — угрожающе спросил он.

— Нет, ваше превосходительство, — ответил я и щелкнул каблуками.

Командующий молчал.

— Я, дорогой, — сказал он грустно. — А знаешь почему? Потому что мой сыночек вообразил себе, будто врагов больше нет. Возьми автомат, парень. Это лучший выход для моего сыночка.

Я разрядил автомат.

Теперь перед нами качалась окровавленная туша.

— Ганс, — проговорил командующий нежно, — пошли к лифту. Я задыхаюсь тут, внизу. Мне надо опять на фронт.

Одним лифтом дело не обошлось. Первый был просто шикарный. Мы разлеглись в нем на канапе. Напротив висела картина: лежащая на животе голая девушка на канапе.

— Этот Буше у меня из Старой Пинакотеки*, — объяснил командующий. — Весь Мюнхен превратился в груду развалин. Рай для мародеров!

Дальше подъемники становились все проще: оклеенные картинками из порнографических журналов и с нацарапанными повсюду непристойностями. Потом лифты кончились. Мы карабкались в масках, с тяжелыми кислородными аппаратами на спине вверх, по крутым шахтам, однако командир не ведал усталости. Этот великан делался все веселее — он знал бесчисленное количество тайников, где был припрятан коньяк. Он совсем разозорничался и на самых трудных участках пути горланил с переливами на тирольский манер. Мы ползли все выше по низким галереям, взлетали в подъемных клетях и наконец оказались в командном бункере в нескольких метрах под Госаинтаном.

Спал я долго и без сновидений. Продырявив наемника из своего автомата, я сам стал наемником, впервые выполнив свой долг на службе у Администрации.

Наемник не имеет права задаваться вопросом, существует ли неприятель, по одной простой причине: это его убьет. Стоит лишь усомниться в существовании врага — даже подсознательно, — и ты больше не способен воевать. А коли подобные сомнения завели наемника так далеко, что он отваживается задать этот вопрос вслух, ему уже нет спасения; тогда командующему и остальным наемникам приходится уже спасать все. Поэтому я и горжусь, что выстрелил. Я стрелял от имени всех.

С тех пор такие вопросы больше не задавались. Зимняя война учит наемника задавать лишь те вопросы, на которые, правда, тоже нет ответа, но в которых хотя бы есть смысл. Его не интересует, кто враг, его интересует, за что он воюет и кто отдает приказы. Эти вопросы имеют смысл, а вопрос о наличии врага таит в себе искушение отрицать его существование, хотя мы с ним ежедневно деремся, хотя он существует, ибо мы его убиваем. Война без неприятеля была бы бессмысленной, была бы сплошной бессмысленностью, поэтому наемник вопросов не задает — или же он сам подставляет себя под следующую автоматную очередь: единственная возможность убедиться, которая ему остается. Другой просто нет. Передаются сообщения о фантастических победах, окончательная победа не за горами, в сущности, она уже одержана, тем не менее Зимняя война продолжается.

Наемники не знают, за что воюют, за что умирают, за что им ампутируют руки-ноги в походных лазаретах, а потом снова шлют на фронт под адский огонь: кого с грубыми протезами, крюками и гайками вместо рук, кого ослепшими,

вместо лица — кровавая маска. Фронт теперь всюду. Они знают одно: идет война с врагом.

Совершаются бесчеловечные и бессмысленные подвиги, неизвестно во имя чего, наемники давно позабыли, что пошли на войну добровольно; они пытаются вникнуть в цели Зимней войны, создают фантастические идейные построения, чтобы понять, зачем нужна эта бойня и почему от нее, возможно, зависит судьба человечества. Лишь такого рода вопросы еще имеют для них значение.

Надежда обрести хоть какую-то цель придает им силы, в которых они так нуждаются, поиск цели помогает им вынести всю эту мясорубку. Вот почему наемник бьет не только неприятеля, но и наемника из своих собственных рядов. Так наемник познает не только врага, но и противника: наемника, который понимает смысл войны иначе, чем он сам, этого противника он ненавидит, а враг ему безразличен; с противником он по-настоящему жесток, истребляет его, а врага он просто убивает.

Так среди наемников возникают секты, и они перебегают в те, которые хоть и состоят из противников, но кажутся им более притягательными, чем прежние, где они, возможно, были едины в главном, но разошлись по второстепенным вопросам или по вариантам второстепенных вопросов: нюансы внезапно становятся для них важнее главного.

Иные секты развивают удивительные теории насчет того, кто командует сражениями, в каких горных массивах скрывается вражеский генеральный штаб, под Чанцзее или под Лодзе, в то время как их собственный, как им кажется, находится под Аннапурной или под Дхаулагири. Какая-то — совершенно исключительная — секта, преследуемая всеми, в том числе и неприятелем, верит в *один-единственный* штаб, обретающийся внутри трех отдаленных вершин Брод-Пик. Существовала якобы даже секта — теперь совершенно искорененная, — утверждавшая, будто есть только один-единственный Главнокомандующий, дряхлый, слепой генерал-фельдмаршал, ведущий как бы войну против самого себя под огромным К2, и будто бы обе стороны подкупили его. Кроме того, вроде бы есть секта, которая верит, что этот генерал-фельдмаршал еще и помешанный. Эти разнообразные секты образуют новые фронты, сражающиеся друг против друга. Те в свою очередь распадаются на новые — и так далее.

Дисциплина, таким образом, отнюдь не на высшем уровне, во время кровопролитных боев наемники очень часто

перегруппировываются и косят своих вместо врагов, подрываются на собственных гранатах, падают, прошитые очередями из собственных автоматов, сожженные пламенем собственных огнеметов, они замерзают в ледяных расселинах, гибнут от кислородной недостаточности на фантастических высотах, где они окопались в отчаянии, не решаясь вернуться в свой лагерь из страха, что там могли возникнуть новые группировки, а между тем прибывают все новые части из разных стран, разных национальностей. Но и у врага происходит то же самое — если враг вообще существует, себе я могу позволить этот вопрос. Командующий давно уже — я.

Когда его, голого и огромного, стащили с потаскухи, а потом труп убрали, я надел его форму, и наемники стали относиться ко мне с почтением.

Мне известно: наемники в курсе, что я заколол его; что это сделано по его просьбе, им знать необязательно.

— Ганс, сынок, — смеясь сказал он перед тем, как мы отправились в бордель, и встал в своей старой пещере на том месте, где два года назад подвесил наемника. — Продырявь меня из автомата. Ведь то, что враг существует, — полный идиотизм. Давай, сынок.

Я молчал, делая вид, что не понимаю его, а Джонатан в своем кресле-каталке тем временем выцарапывал какие-то каракули на стене главной галереи. Потом мы по бесконечным переплетениям ходов добрались до борделя.

Когда он застонал от наслаждения, я нанес удар. Мой командир заслужил хорошую смерть. Потаскуха заорала; остальные девки стянули его на пол и встали кругом — голые и неуклюжие. Я вытер клинок о простыню и заметил, что командующий смотрит на меня.

— Сынок, — прошептал он, и мне пришлось стать на колени, чтобы лучше слышать, — сынок, ты учился в университете?

— На философском, — ответил я.

— И диплом защитил?

— По Платону*, — ответил я, — а перед устным экзаменом как раз началась Третья мировая война.

Командующий захрипел. Не сразу до меня дошло, что он смеется.

— А я изучал литературу, сынок. Гофмансталя*.

Я поднялся.

— Он умер, — сообщила потаскуха.

Командующий был великим командиром. Теперь он был бы мне вдвойне благодарен за то, что я его убил: борделей давно уже нет, а они были его единственной страстью, коньяк — лишь привычкой.

Теперь вместо борделей женщин берут на войну как наемниц. Должен признать, что отчаянной храбростью они превосходят мужчин, а из-за секса фронт стал еще более адским: убивают и совокупляются без разбору. Кровь, сперма, кишки, околоплодная жидкость, потроха, зародыши, блевотина, орущие новорожденные, мозги, глаза и последы потоками катятся с гигантских глетчеров в бездонные пропасти.

Я уже привык ко всему. Безногий, сижу я в кресле-каталке в старой пещере. Рук у меня тоже нет, левое предплечье плавно переходит в автомат. Я стреляю во всякого, кто показывается здесь, галереи завалены трупами: к счастью, еще существуют крысы. Правая рука — это целый инструментарий: щипцы, молоток, отвертка, ножницы, грифель и тому подобное — все из стали. В одной из соседних пещер — огромный склад консервов и коньяка высшего сорта: мой предшественник позаботился.

Конечно, стало тихо, автоматная левая рука мне совсем без надобности, а несколько лет назад все кругом тряслось — возможно, Администрация сбросила бомбу.

Мне все равно. У меня есть время подумать и время нацарапать свои мысли на каменных стенах с помощью стального грифеля, прикрепленного к правому протезу. Идею мне подал Джонатан, он же подсказал и метод. Каменных стен достаточно, сотни километров, местами они освещены, хотя перегоревшие лампочки больше не заменяются. Но я в состоянии — если нужно — и в потемках выцарапывать письмена на скалах: про Зимнюю войну и как я в нее вступил; встречу с командующим и его смерть я уже описал; стены пещеры испещрены моими надписями; теперь я начал исписывать стены большой, главной галереи, которая вела к борделю; одна строка в двести метров длиной, потом вернусь обратно и опять напишу двухсотметровую строчку; я сделаю семь таких строчек по двести метров, одна под другой. Когда закончу здесь, то продолжу писать на противоположной стене, одолею и там двести метров, тогда примусь писать на первой стене, где закончил раньше, и дотяну опять до двухсот

метров — и так далее; на каждой стенке по семь двухсотметровых строк. Можно стать настоящим писателем.

*(Длинные строки, которые невозможно прочесть. Так получилось потому, что пишущий не увидел или не мог увидеть, что выводит надписи на уже исписанной стене, и теперь ни ту, ни другую надпись нельзя разобрать. После нескольких метров неисписанной стены запись продолжается.)*

...Это не что-то вроде мистической притчи — то, что я здесь записываю, — и не описание бредовых сновидений какого-то с трудом слепленного из запасных частей, небоеспособного наемника — даже моя черепная коробка и та из хромированной стали. Я пытаюсь всего лишь изобразить Администрацию.

Конечно, мне могут возразить, что для изображения этой реальности мне недостает дистанции, которая позволяет судить о действительности, однако в пещерах и галереях этого чудовищного горного массива у меня уже не может быть нужной дистанции. Это неоспоримый довод. Смешно даже пытаться его опровергнуть, однако, если принять во внимание тот факт, что мне, пригвожденному к креслу, остались только собственные мысли, собственные стальные протезы и бесконечные каменные стены, станет ясно: это вынуждает меня к априорному мышлению.

То, что Администрация возникла в ходе Третьей мировой войны, было неизбежно. Законы, которым подчинено человеческое общество, я могу представить себе только как законы природы. Законы, которые будто бы открыл диалектический материализм, кажутся мне полной нелепостью. Разве законы природы можно проверить гегелевской логикой?

Идея причинности также малообоснованна. Процесс в целом делится на пары, находящиеся друг с другом в соотношении причины и следствия; тезис о причине, которая и сама имеет причину, — это пошлость, ни один процесс не обходится *одной* причиной, их бесконечно много; разве всякий процесс не указывает на *некий* другой процесс как на причину своего возникновения, скорее, он связан «каузально» со всеми возможными причинами, в итоге — со всей мировой историей.

Однако и тезис, который я вычитал у одного давно забытого писателя, насчет того, что закон больших чисел*, обу-

словливает примат справедливости, неверен: исходя из математических категорий нельзя делать выводы, относящиеся к этической сфере, при этом я считаю справедливость и несправедливость чисто эстетическими понятиями. Справедливым или несправедливым образом — безногий, при помощи двух протезов вместо рук, я выцарапываю надписи на стенах своего лабиринта, — безразлично, ибо ни справедливость, ни несправедливость не изменят моего положения; разве что меня развеселит самая постановка вопроса: из математических понятий следуют только выводы, относящиеся к физике или, касательно человека, к институциям. Лишь в этом случае закон больших чисел играет роль.

Подобно тому как законы термодинамики выявляются, только когда участвует «очень много» молекул, так и природный закон институций — будь то в экономике или в государстве — действует лишь при «очень большом» количестве людей; независимо от тех ценностей и идеологии, какие исповедуют эти люди, он соответствует термодинамическому закону природы. Жестокий вывод. Я выцарапываю его на скале на глубине тысяч метров под Госаинтаном.

Со времени учебы — прерванной Третьей мировой войной — в памяти у меня осталось лишь число Лошмидта*, хотя я никогда не занимался этим вопросом и даже не помню, как оно когда-то засело в голове: при 0° Цельсия и давлении в одну атмосферу в 22 415 $см^3$ идеального газа содержится $6{,}023 \cdot 10^{23}$ молекул. Другими словами, число Лошмидта выражает точное соотношение объема, массы, давления и температуры какого-то газа: увеличивается масса при прежнем объеме — повышаются давление и температура; если же растет объем, а масса остается прежней, давление и температура падают. $6{,}023 \cdot 10^{23}$ — «большое число». Однако оно все-таки малое по сравнению с количеством атомов, входящих в состав какой-либо звезды; я предполагаю, что это количество составляет $10^{53}$.

Движение отдельного атома непредсказуемо и неисчислимо; звезды же можно исчислить, они как бы институции атомов. Эти институции подчиняются законам, в силу необходимости деформирующим атомы. Точно так же в силу необходимости человеческие институции деформируют человека. Государство — человеческая институция. Когда здесь, во чреве Гималаев, я раздумываю о звездах, я раздумываю о государствах. Только таким образом можно в моем положении еще размышлять о человеке. У меня нет никаких

отправных точек для размышлений, кроме тех, что я прихватил с собой в эту пещеру из времен, предшествовавших Третьей мировой войне, хотя мои познания складываются из неясных воспоминаний о каких-то неясных гипотезах. Я хотел бы опровергнуть мнение, будто Третья мировая война разразилась из-за того, что не существовало Администрации, способной ее предотвратить. В действительности война разразилась, потому что Администрации еще не могло быть.

Первичное солнце, первозвезда, постепенно образующаяся из разреженного газового облака — примерно как та, в созвездии Ориона, — сначала огромно, диаметр соответствует световому году, плотность смехотворная (но все же для позднейшей его судьбы решающая), близкая к вакууму; состав газа: 80% водорода, 2% тяжелых элементов от взрыва Сверхновой (если нет тяжелых элементов, планеты не возникают), 1% углерода, азот, кислород, неон, остальное — гелий; момент количества движения едва 10 см в секунду, температура низкая; газ — смесь космической пыли, попадаются даже «органические» молекулы из соединений углерода. Гравитация заставляет огромное солнце сжиматься, оно превращается сначала в красного сверхгиганта, его диаметр достигает светового часа, момент количества движения у него все возрастает.

Сжавшись до размеров орбиты Меркурия, до диаметра в три световые минуты, солнце в результате экваториальной угловой скорости 100 км в секунду превращается в диск и выбрасывает материю в мировое пространство. Большая часть этой выброшенной материи, прежде всего водород, остается вне силы притяжения солнца; углерод, азот, кислород и неон образуют внешние большие планеты, а железо, окись магния, кремний — внутренние маленькие планеты; солнце уменьшилось до десятибиллионной части своего прежнего размера, превратилось в желтый карлик, его диаметр составляет теперь всего миллион километров, его экваториальная угловая скорость, затормозившаяся из-за выброса материи, снизилась до 2 км в час, состав стабилизировался.

При этом давление внутри солнца возросло примерно до 100 миллиардов килограммов на кубический сантиметр, эта тяжесть могла бы его разрушить, но температура внутри солнца достигла 13 миллионов градусов, что обеспечивает равновесие. При такой огромной внутренней температуре происходит ядерный процесс, водород превращается в гелий;

полученная энергия излучается в световых квантах, но внутренность солнца абсолютно темна. При чрезвычайно высокой температуре солнечных недр свет поглощается в долях сантиметра, так кванты света в постоянных процессах излучения и захвата переносят энергию в холодные конвективные зоны*, которые, словно мантия, окружают солнечное ядро; этот процесс длится около 10 миллионов лет.

В конвективной зоне горячие и холодные массы газов перемешиваются, но основной части световых квантов не удается пробить конвективную зону, часть энергии опять излучается в центр, а энергия, достигшая зоны конвекции, вызывает в ней бурление. Внешние конвективные зоны теряют стабильность, образуются солнечные пятна, протуберанцы вздымаются вверх, в атмосферу солнца, и падают обратно на поверхность, кванты света освобождаются и, пройдя сквозь фотосферу в хроносферу, улетают через солнечную корону в мировое пространство. К уравновешенному давлению внутри солнца присоединяются равновесие внешней поверхности и равновесие энергии, фотосфера выделяет столько энергии вовне, сколько получает ее из зоны конвекции; количество энергии солнца устоялось, хотя оно теряет ежедневно 360 миллиардов тонн материи, но это пустяк при его размерах.

Однако такое идеальное состояние не может быть вечным; ядерный процесс внутри солнца проникает и в конвективную зону, поверхность солнца раскаляется, вряд ли на Земле будет возможна жизнь. Солнце увеличивается в размерах, пока опять не достигнет орбиты Меркурия; жизнь на Земле угаснет, атмосфера, моря испарятся. Поверхность солнца начнет остывать, солнце уменьшится, температура его поверхности опять повысится. Солнце снова станет таким же огромным, как сейчас, только гораздо более светлым и горячим; оно превратится в голубую звезду.

Равновесие внешнего и внутреннего давлений восстановится опять, только солнце станет теперь сжигать гелий своих недр и раскалять водород, окружающий его ядро. Нагретый водород расширяется, но недостаточно быстро, чтобы совсем покинуть солнце, лишь сотая часть процента общей массы солнца уйдет в космос. Во время этого расширения солнце несколько недель светит в сотни тысяч раз сильнее, чем сегодняшнее солнце, оно превращается в Новую звезду. После тысячи подобных расширений солнце избавится от водорода, станет белым карликом не больше Земли, газ дегенерируется,

лишь некоторые электроны останутся свободными, солнце исчерпает запас ядерной энергии и превратится в «молекулу». Гравитация преодолеет расширение, солнце остынет, превратится в кристалл величиной с Землю, наконец — в невидимый черный карлик, только времени, которое потребуется на все это, надо больше, чем насчитывает возраст нашего Млечного Пути.

Но не все солнца ожидает подобный конец. Звезды, масса которых меньше, чем масса нашего солнца, красные карлики, наверно, никогда не могли образовать достойную упоминания конвективную зону, они преждевременно превращаются в маленькую Новую звезду, однако остаточное ядро обладает слишком малой массой, чтобы преобразоваться в белый карлик.

Звезды, масса которых превышает массу солнца в 1,44 раза, тем скорее делаются нестабильными, чем они тяжелее, долгое время не может быть достигнуто равновесие давления и поверхностное равновесие, а также энергобаланс, они слишком расточительны со своим запасом энергии, подобно голубым гигантам: огромное внутреннее давление создает в ядре температуру около трех миллиардов градусов; в этой преисподней все элементы превращаются в гелий. Чем больше масса солнца, тем скорее растет опасность, что возникнет Сверхновая. Чудовищный взрыв сметает конвективную зону солнца в мировое пространство, и при этом испускается света больше, чем галактической системой с ее сотней миллиардов солнц, в то время как ядро (если оно превышает 1,44 солнечной массы сверх пресловутой границы Чандрасекара*) не достигнет состояния равновесия белой звезды: оно под влиянием собственной тяжести сожмется, превратится в крошечное солнце невероятной плотности, диаметр которого около десяти километров и которое вращается вокруг собственной оси тридцать раз в секунду. Эта нейтронная звезда уже не может взорваться, ее атомы разрушились, атомные ядра вследствие столкновения электронов и протонов распались на нейтроны, которые образуют дегенерирующий нейтронный газ. Если ядро еще тяжелее, происходит полный гравитационный коллапс, эти особо богатые массой солнечные ядра выпадают из пространства и времени, превращаясь в черные дыры, всасывающие благодаря силе тяжести свое окружение. Есть доля иронии в том, что я в полной темноте, окружающей меня со всех сторон, записываю на стенах галереи звездный исход.

*(Запись прерывается, продолжение на стене другой галереи.)*

Не смог вернуться в главную пещеру — не нашел. Я понятия не имел, по какой галерее катил в своем кресле, на которой стене выцарапывал свои надписи. Продукты, банки дешевого бульона, я раздобыл в одной из пещер — намного меньше, чем та, командирская. Нашел лифт, который уже не работает, стены голые, никакого тебе Буше.

Я несколько дней трудился, чтобы прикрепить ящик с консервами правым протезом к своему креслу, ведь очень трудно что-нибудь отыскать в потемках с помощью протеза, а левая «автоматная» рука стала совершенно ненужной. Все пытаюсь разобрать ее, однако пока тщетно. Тащу ящик с концентратами за собой и порой не имею представления, в какую сторону двигаюсь, иногда я останавливаюсь, чтобы делать записи на стенах, записи, которые я не мог прочитать, однако записывать было необходимо; я не астроном и не физик, и мои познания о звездах весьма приблизительны. Перед Третьей мировой войной я прочел на эту тему несколько книг, теперь наверняка устаревших. Пытаюсь припомнить их содержание и воссоздать в памяти эволюцию звезд. Поэтому представляю три варианта своих записок.

*(До сих пор, правда, найден лишь один вариант, который состоит из надписей на стенах многих галерей, но, возможно, надпись составляют все три варианта.)*

Во время записи последнего варианта я, видимо, окончательно заблудился. Уже и вторую пещеру я найти не смог. Ничего: найдутся другие. Так что я отправляюсь дальше. Предполагаю, что все еще нахожусь под Джомолунгмой. Камень здесь гладкий, я по возможности аккуратно выписываю на нем свои мысли.

И не только мысль о черной дыре развлекает меня: Джомолунгма раньше называлась Гауризанкар, так что под Гауризанкаром я раздумываю о законе Чандрасекара. Может, именно по этой причине я угодил на Зимнюю войну: меня соблазнило это имя. Судьбы, если обдумать все задним числом, вполне закономерны, логичны. Железо для протезов моего залатанного тулова и гора-великан Гауризанкар происходят от одного и того же солнца, которое пренебрегло границей Чандрасекара и превратилось в Сверхновую, шесть

миллиардов лет тому назад загрязнившую протосолнце и способствовавшую тому, чтобы родилась на свет наша Земля: большая часть того, из чего я состою, старше Земли.

С глубоким почтением выписываю я на камнях имя Чандрасекар. Некоторые наблюдения указывают на то, что в недрах солнца произошли изменения, которые в течение последующих десяти миллионов лет сделают Землю необитаемой на все времена, но остается какой-то шанс, что на луноподобной Земле пребудут в неприкосновенности Гималайские горы, ведь на Луне тоже существуют горы. И еще есть совсем уж смехотворно крохотный шанс, что через многие миллиарды лет, когда выгоревшая дотла Земля будет вращаться вокруг белого карлика, каковым станет наше солнце, и через неисчислимые миллиарды лет, когда она будет вращаться вокруг солнца, превратившегося в черный карлик, астронавты того, другого, будущего мира посетят Землю. И еще есть один, совсем уж невероятный шанс, шанс, собственно говоря, ничтожный, что эти неведомые существа откроют систему пещер в Гималаях и изучат ее. Мои записи — единственное, что они узнают о человечестве.

В надежде на такой невероятный случай я и пишу все это. В моем положении не может быть иной цели. Я задумал создать письмена, по которым можно прочесть судьбу человечества; эти письмена не частное дело, не что-то касающееся только меня, раз я принадлежу к человечеству, да, но здесь не должно быть ничего, что касается человечества. Существа, которые прочтут надписи через неисчислимые миллиарды лет, ничего тогда не поймут, потому что наверняка будут, если все-таки случится невероятное и они прочтут эти записи, не людьми: природа (как она ни тупа) вряд ли повторит глупость, снова создав приматов; случайность, которая в конце концов привела к формированию нашей породы, вряд ли произойдет во второй раз. С этими существами говорить о нас нельзя, можно говорить только о том, что касается одинаково их и нас: о звездах.

Из моих писаний они, конечно, ничего не почерпнут о наших религиях, идеологиях, культурах, искусствах, чувствах, столь же мало о том, как мы питаемся и размножаемся, и все-таки по всем моим трем записям они смогут судить о наших мыслях — независимо от того, какую чушь я здесь напишу. Они смогут догадаться о состоянии наших познаний, а также о том, что мы обладали атомной и водородной бомбами и что это привело к Третьей мировой войне. Они раз-

гадают код моих записок, потому что человек описывает в конечном счете всегда одно и то же: самого себя. Пришельцы заключат из всего этого, что на голой, обожженной каменистой планете, на которую они ступили, когда-то существовали наделенные разумом существа, которые в своей совокупности переступили границу Чандрасекара.

Как солнце — средоточие водорода, так государство — средоточие людей. И то и другое подчиняется сходным законам. И то и другое стабильно, когда устанавливается равновесие давления, энергии и поверхности. И в том и в другом случае действуют силы гравитации. Они постепенно образуют ядро, а вокруг него — зону конвекции. Сначала процесс идет незаметно: ядро и зона конвекции протосолнца лишь едва развиты, они только предпосылка к дальнейшему.

Применительно к государству: зона конвекции представляет собой органы власти, ядро — народ. Как-то раз отправился император со своим канцлером на телеге, запряженной волами, от обители к обители, от города к городу, чтобы собрать себе на прокорм. Император и его канцлер — это власть; эта их Священная римская империя германской нации схожа с протосолнцем. Примерно через пятьсот лет это протосолнце стало нестабильным, превратилось в Третий рейх. Однако ни к чему далее приводить подобные исторические, а значит, непонятные примеры.

Функция государства изначально состояла в том, чтобы обеспечивать внешнюю оборону, внутреннюю оборону, а также защиту от самих защитников, ради которых отдельный человек уступал свою власть государству. Если сравнить эту функцию с равновесием давления, энергии и поверхности стабильного солнца, можно уяснить себе отношение государства к каждому отдельному человеку, а также отношения отдельных людей между собой.

Равновесие давления в стабильном государстве состоит в том, чтобы каждый отдельный человек существовал как можно свободней, а именно так же свободно, как это возможно по отношению к отдельным людям; чем больше их масса, тем ограниченнее свобода каждого; давление на каждого растет, и при этом растет температура внутри массы, она начинает все более ощущать воздействие государства, эмоции против власти высвобождаются и т.д.

Энергобаланс солнца достигается тогда, когда оно перерабатывает в энергию материи не больше, чем в состоянии излучать; в государствах — когда те производят не больше,

чем расходуют. Энергобаланс нарушается, если давление падает или если оно возрастает. Например, на голубом гиганте, подобном S-Doradus, что в восемьдесят тысяч раз ярче солнца, конвекционная зона слишком слаба, поэтому давление внутрь недостаточно, звезда беспрепятственно перерабатывает материю своего ядра в энергию, она рассеивается. Существовали и подобные государства.

В большинстве из них, конечно, одержал полную победу аппарат власти перед Третьей мировой войной. Мощь государства возрастала. Особенно сверхтяжелые государства стали меньше отдавать, чем потребляли. Они сделались пленниками собственного аппарата. Энергобаланс устанавливается лишь в том случае, когда предложение соответствует спросу.

На голубом гиганте — солнце со слабой конвекционной зоной, хотя она по сравнению с конвекционной зоной нашего солнца намного сильнее, — предложение превышает спрос, и потому в недрах подобной звезды происходит невероятная конкурентная борьба. То же самое долгое время наблюдалось перед Третьей мировой войной в индустриально развитых странах.

На сверхтяжелом солнце, напротив того, спрос начинает опережать предложение, и хотя оно перерабатывает свою материю в энергию, однако та поглощается конвекционной зоной. Подобное государство разрушается при помощи своего собственного аппарата. Органы власти нуждаются в оружии, чтобы охранять себя от внешних и внутренних врагов. Они нуждаются не только в оружии, но и в идеологии, которая воздвигает могучее духовное силовое поле. Конвекционная зона не допускает какой-либо иной идеологии, кроме собственной. Те, кто думает иначе, объявляются антиобщественными элементами или сумасшедшими, даже преследуются как изменники родины. Тем самым подобное государство увеличивает свою плотность и давление вовнутрь. Ядерный процесс, происходящий среди большей части населения, только на руку государству, то есть его аппарату управления, который постоянно увеличивает свой потенциал, и не из злого умысла, а из-за собственной беспомощности. Сверхтяжелые государства насквозь плановые. Энергобаланс становится невозможным, так как внутреннее давление может лишь повышаться, а не понижаться, что ведет к гравитационному коллапсу.

Такова была политическая ситуация перед Третьей мировой войной. Сверхтяжелые звезды (сверхдержавы) не соби-

рались завоевывать мир, однако они выжимали его благодаря своей тяжести. Их гравитация как бы всасывала излучающуюся энергию голубых гигантов, те уменьшались в размерах, и их давление увеличивалось; выведенные из экономического равновесия, голубые гиганты «социализировались», превращаясь в свою очередь в сверхтяжелые солнца — независимо от хозяйственной, общественной и идеологической структуры, ведь и «свободные» государства начали увеличивать внутреннее давление, издавая указы против инакомыслящих.

Процесс стал необратимым. Гонка вооружений шла вовсю. Каждое государство производило больше, чем расходовало. Внутреннее давление в каждом государстве дошло до предела. Излишнее давление в ядре солнца привело к вырождению общества. Большие семьи разрушились, на смену им пришли маленькие семьи, и те становились нестабильными, склеиваясь в коммуны или общежития, которые тоже разваливались. Началась всеобщая лихорадка, безумная кутерьма, происходила безжалостная борьба за существование, порождаемая неуемной жаждой жизни.

Общество все больше распадалось на два класса: на тех, кто осел в конвекционной зоне и обеспечил себя надежной защитой, и на тех, кто невозбранно подвергался давлению и действию громадной температуры солнечных недр. Однако огромная энергия недр, что возникла в результате всей этой лихорадки, снова и снова впитывалась конвекционной зоной, государственным аппаратом, который нуждался во все больших налогах, чтобы силой удерживать солнечные недра. Политика разыгрывалась лишь на поверхности, не затрагивая ядерных процессов внутри, она превратилась во фразу, таким образом, и то, что происходило в недрах, вышло из-под контроля, давление стало слишком высоким, конвекционная зона подвергалась толчкам изнутри, возникали мощные экономические империи, потом они рушились, свирепствовали кризисы, инфляция, неслыханная спекуляция, с взрывной силой взметнулись безумные акты террора, уголовные преступления, росла угроза катастроф. Государства дестабилизировались.

Беспомощная перед такими чудовищными выбросами протуберанцев, политика стала циничной, а следовательно, как всякая омертвелая религия, превращалась в культ, наконец — в оккультизм. Проповедовали то классовую борьбу, то либерализм, не подозревая, что все зависит от того, как

масса преобразуется в энергию, не задумываясь о том, как ведет себя народ, когда он превращается в массу: непредсказуемо. Провозглашалось социальное государство, либеральное государство, а также государство всеобщего благоденствия, христианское, иудейское, мусульманское, буддийское, коммунистическое, маоистское — без малейшего понимания, что перенасыщенное государство так же опасно, как и сверхтяжелая звезда.

Вот оно и случилось — грянула Третья мировая. Непредвиденное воздействие водородной бомбы на нефтяные промыслы было еще как бы символическим предупреждением, что дело идет к превращению в Сверхновую, не говоря уже о воздействии других бомб.

Внутреннее давление, а следом и внутренняя температура сделались огромными, поверхностное равновесие ослабло, огромные конвекционные зоны — зоны, которые давно были под контролем чрезмерно вооруженной армии, как и части государственного аппарата, — летели в мировое пространство, и катастрофа была тем неудержимей, что солнце здесь граничит с другим солнцем, в то время как в космосе средняя дистанция между звездами достигает трех с половиной световых лет.

После превращения в Сверхновую состояние следующее: человечество вроде нейтронной звезды. В немногочисленных пригодных и приспособленных для жилья местах ютятся остатки людей, сколько народу погибло в одном лишь «Сахарском эксперименте»... В конце концов Земля превратилась в единую конвекционную зону, астрономически сравнимую с «дегенерированным нейтронным газом», в какую-то единую тотально управляемую массу, в такую Администрацию, где управители и управляемые неотделимы друг от друга.

Правда, человечество, как и нейтронная звезда, сохраняет свое количество движения, свою агрессивность. Чтобы разрушиться, звезде требуется время, а человечеству понадобилась Зимняя война в Гауризанкаре: в ней бились друг против друга те, чьей агрессивности требовался образ врага. Предлог для войны в таком случае всегда найдется. (Перед Третьей мировой войной призывы террористов принимали дикие формы, стали разновидностью самогипноза. Они действительно вообразили, будто борются за мировое братство. Если бы они его достигли, то померли бы со скуки.) Осуществился расчет Чандрасекара.

Но, прежде чем продолжать, должен сделать одну оговорку, так как пришельцы тоже могут привести этот довод, если когда-нибудь прочтут мои записи: материя подвержена энтропии и стремится к своему наиболее вероятному состоянию. Вначале сгусток всей материи занимал пространство, равное траектории Нептуна: столько места требовалось элементарным частицам Вселенной, пока они были притиснуты друг к другу. Это состояние материи было для нее самым невероятным. А вероятнейшее состояние материи — ее конец: на 95 процентов материя излучилась, остатки звезд существуют в виде черных Красных, черных Белых карликов, черных дыр, массы мертвых планет, астероидов, метеоров и т.д.

С жизнью все наоборот: условия, в которых она возникла, хотя и были тоже невероятными, но эта невероятность породила самое вероятное — вирус, потом одноклеточных. Начиная с них, жизнь становится все невероятнее, мыслящие существа — самое невероятное, ибо это самое сложное существо во Вселенной.

Это существо, казалось бы, противостоит всемирной закономерности — энтропии, тем более что в течение трех миллионов лет оно превратилось из редкого вида в массу, равную шести миллиардам. Но видимость обманчива: чем невероятнее сама жизнь, тем вероятнее ее конечное состояние — смерть. Вирус да и одноклеточные могут жить вечно; животные, правда, должны умереть, но они этого не знают. А человек знает, что умрет, поэтому его смерть — это нечто большее, чем наиболее вероятный конец, это осознанный конец. Смерть и энтропия — это одна и та же всемирная закономерность, они идентичны, ведь мы, люди (это слово ничего вам не говорит), и вы, те, что всё это будете читать, идентичны, вы тоже умрете.

*(Следующие записи в другой галерее.)*

Администрация исходит из закона homo homini lupus est: человек человеку волк. Как ни странно, я подумал о глухонемом; когда я высекал эту фразу на камне, мне вдруг пришло в голову, что, возможно, глухонемой — это Джонатан. Бессмысленное подозрение, которое, может быть, возникло лишь потому, что я уже второй раз вспоминаю Джонатана в связи с глухонемым. Ведь Джонатан пропал, когда я отправился в пещеру командующего. Не исключено, что он, подобно мне, царапает где-нибудь на стенах галерей.

Глухонемого я встретил после Третьей мировой войны в своем старинном родном городе; еще перед тем, как разразилась война, правительство, государственные чиновники и обе палаты парламента удалились в большой бункер под Блюмлизальпом, возможно, защищенность против всякого нападения органов власти (законодательной и исполнительной) — необходимая предпосылка для обороны страны. Здание парламента в бункере было копией столичного, включая секретные устройства и радиостанцию. Даже окружающий пейзаж скопировали и сконструировали декораторы из городского театра при помощи увеличенных фотографий и прожекторов. Вокруг этого сооружения были возведены жилые дома, кинотеатры, часовня, бары, кегельбаны, больница и Фитнис-центр. Далее шли как бы три «кольца»: кольцо снабжения с продовольственными магазинами и винными погребками (особенно в кантоне Во), затем внутреннее и внешнее оборонительное кольцо. Под всем этим гигантским комплексом — сокровищница, полная золотых слитков почти со всего света, а под нею — атомная электростанция.

Правительство и парламент заседали беспрерывно. Учреждения работали на полную мощность.

Когда я получил тайное задание и явился доложить о своем отъезде, официально приняв на себя функции офицера связи при командующем, они как раз только что выработали новую концепцию обороны страны, и было решено в течение последующего десятилетия создать сто танков «Гепард-9» и пятьдесят бомб «Вампир-3». Я отдал честь, правительство и обе палаты парламента встали и запели «Навстречу заре!». Настроение было подавленное.

Ведь никто не думал, что Третья мировая война разразится; несмотря на мобилизацию, была надежда, что наличие бомб этому помешает, а бомбами обладали уже все, и мы тоже. Вопреки упорной борьбе прогрессивных сил, противников атомного оружия, несмотря на уклонение от военной службы, протесты церковников и тому подобных кругов, мы создали бомбу — но только после королевства Лихтенштейн, — а у всех африканских стран она давным-давно уже была!

Итак, нас убеждали, что если и будет война, то лишь обычная, но в такую войну мы не верили, потому что, во-первых, создание бомбы стоило так дорого и мы оказались плохо вооруженными для ведения обычной войны, а во-вторых, потому, что бомба была создана именно с целью воспрепятствовать обычной войне. Но особенно нас тяготила внешне-

политическая зависимость. Мы продолжали подтверждать свою позицию вооруженного нейтралитета, однако нас не оставляло все растущее чувство угрозы, что ни та, ни другая сторона не верит в наше священное политическое кредо. Для одних мы примыкали к милитаристскому лагерю, а для других являлись потенциальным военным врагом.

Свою армию, достигшую восьмисот тысяч, мы были вынуждены передислоцировать на восточную границу, иначе действия западных держав стали бы непредсказуемыми, они могли бы счесть этот участок фронта ослабленным. К тому же нельзя забывать, что население не доверяло правительству и солдаты участвовали во всем этом, лишь исполняя воинский долг: с некоторых пор уклоняющихся от службы в армии мы были вынуждены приговаривать к пожизненному тюремному заключению; от расстрела, которого требовало военное министерство, их спасало лишь помилование. Отношение населения к правительству стало прямотаки враждебным. Народ знал: правительство, государственная власть, парламент — всего пять тысяч человек — находятся в безопасности под Блюмлизальпом, однако безопасность остальных не обеспечена. К счастью, мобилизацию провели до всеобщих выборов.

Третья мировая война началась и в первые два дня шла как обычная, а для нашей армии — впервые с 1512 года, со времени завоевания Милана*, — и как вполне победоносная. Когда огромная бомба упала на Блюмлизальп, а другие крупные бомбы — на правительственные убежища других стран — цепная реакция от удара к удару, — мы задержали русских при Ландеке, при их вступлении в северную Италию.

Сообщение о капитуляции союзнических и вражеских войск дошло до командующего, когда он находился в курортной гостинице в Нижнем Энгадине. Мы расположились в удобных креслах посреди большого холла, а вокруг нас — штаб. Выбор напитков был еще богатый. Настроение — боевое. Командующий предавался музыкальным пристрастиям. Струнный квартет играл Шуберта, «Смерть и девушка». И тут офицер для поручений вручил телеграмму.

— Ну-ка, Ганс, сынок, прочти эту бумажонку вслух, — улыбнулся командующий, пробежав телеграмму глазами.

Торжествующие вопли неслись с улицы: содержание телеграммы стало известно через радиста. Командующий схватил автомат. Я встал. Квартет замолк. Я прочитал телеграмму

вслух. Реакция была бурной. Квартет заиграл Венгерскую рапсодию Листа. Офицеры ликовали и обнимались.

Автомат командующего скосил их начисто. Он разрядил три магазина. Зал представлял собой неописуемую мешанину из трупов, искромсанных кресел, осколков стекла, разбитых бутылок из-под шампанского, виски, коньяка, джина и красного вина; квартет играл изо всех сил «andante con moto» из квартета Шуберта, вариации на тему: «Не бойся. Я не дикарь, спокойно спи в моих объятиях».

Уже в джипе командующий сказал:

— Все они свиньи вонючие и изменники родины. — Тут он еще раз обернулся и расстрелял музыкантов.

В Скуоле мы попрощались. Командующий направился в Инсбрук, а я — в Верхний Энгадин.

Недалеко от Цернеца на обочине дороги я насчитал более трехсот офицеров, аккуратно уложенных в ряд, от командира корпуса до лейтенанта, все они были расстреляны своими солдатами. Проезжая мимо, я им отсалютовал.

Санкт-Мориц был опустошен и разграблен, полыхали отели, шале знаменитого дирижера испускало клубы дыма. Я оделся в штатское, в одном шикарном магазине мужской одежды выбрал джинсовый костюм, на котором еще болтался ярлычок с ценой — 3000, в обычном магазине он не стоил бы и 300; из персонала никто не показывался. Горючего достать было негде.

Я оставил свой джип, а в нем и оба автомата, зарядил револьвер, нашел какой-то велосипед и покатил через перевал Малоя. После горного перевала — первая ясная ночь, темная часть луны отсвечивает зловеще-красным; на земле бушуют многочисленные пожары.

В маленькой деревеньке неподалеку от бывшей границы я стал искать себе пристанище. Деревенька была погружена в полумрак, а противоположная сторона долины алела киноварью.

Я прокрался к какому-то дому, который сперва принял за нежилой сарай. Позади него находилась лестница. Я поднялся наверх. Двери легко открылись. Внутри было темно, и я посветил себе карманным фонариком. Я оказался в мастерской художника. У стены стояла картина: разные фигуры, как бы разбросанные, пустое пространство картины было таинственным, слабо натянутый, чуть загрунтованный холст походил на сеть, в которой запутались люди. Картина у другой стены изображала кладбище: белые надгробия и

среди них втиснут портрет человека больше натуральной величины. Странно — будто в силу подспудного протеста художник намеренно разрушал свое творение: казалось, в этом ателье уже свершилась гибель мира.

Посреди ателье стояла жуткая железная кровать, на ней — полосатый матрац с торчащим из него конским волосом. Рядом с кроватью — древнее, изодранное, заклеенное разноцветными заплатками кожаное кресло. У задней стены под окном стояла картина, изображавшая дохлую собаку, терявшуюся в бесконечности охры. Потом я обнаружил портрет человека, похожего на командующего. Он лежал на постели, голый и толстый, спутанная борода спускалась на грудь, подпираемую вспученным животом, правый бок, где печень, вспух, ноги раскинуты в стороны, а взгляд гордый и безумный.

Я замерз. Вырезал картину из рамы, улегся на кровать, а воняющий краской холст приспособил вместо одеяла.

Проснулся я в грязном сумраке утра. Схватился за револьвер. Перед пустой деревянной рамой, из которой я вырезал холст, стояла одетая в черное старая женщина в грубых башмаках. Нос у нее был острый, седые волосы забраны в пучок. В руках она держала большую пузатую чашку. Она смотрела на меня немигающими глазами.

— Ты кто? — спросил я.

Она не ответила.

— Chi sei?[1] — спросил я по-итальянски.

— Антония, — ответила старуха.

Она подошла ко мне и церемонно протянула чашку с молоком. Я выпил его и вылез из-под холста.

Глядя на меня, она рассмеялась:

— L'attore[2], — а когда я прошел мимо нее, торжественно заявила: — Non andare nelle montagne. Tu sei il nemico[3].

Она помешалась, как и многие другие.

Я вышел на улицу. Мой велосипед украли, жители покинули деревню, граница не охранялась. Городок Кьявенна был разграблен турецкими офицерами, которые пытались спастись от своих рядовых. В каком-то гараже я взял мотоцикл.

---

[1] Кто ты? *(итал.)*.

[2] Артист, художник *(итал.)*.

[3] В горы не ходи. Ты враг *(итал.)*.

Владелец глядел на меня равнодушно, у него изнасиловали и убили жену и двух дочерей.

На перевале Шплюген я сбросил русского офицера в водохранилище, мотоцикл утопил тоже. Офицер неожиданно напал на меня, когда я приостановился, любуясь атомным грибом, поднимавшимся на западном небосклоне. Я впервые видел его.

Через некоторое время я наткнулся на разбитый вертолет, обыскал его и нашел бумаги, принадлежавшие русскому. Забыл, как его звали, помню только, что родом он был из Иркутска.

Тузис был опустошен. До меня начинало доходить, что произошло в нашей стране.

Два года понадобилось мне на то, чтобы добраться до пункта назначения. Это уже о многом говорит. Поэтому достаточно лишь упомянуть о моих скитаниях в аду того времени. Люди, выжившие после взрыва бомбы, если кто-то вообще выжил, всю ответственность за Третью мировую войну взвалили на науку и технику. Не только атомные электростанции, но и плотины, и обычные электростанции оказались разрушенными, сотни тысяч погибли при наводнениях, в потоках ядовитых газов, испускаемых горящими химическими заводами — ярость населения против этих заводов не знала удержу. Повсюду — взорванные бензоколонки, горящие легковые машины; ставшие ненужными радиоприемники, телевизоры и проигрыватели, стиральные машины, пишущие машинки, компьютеры — все было изломано, музеи, библиотеки, больницы — уничтожены. Это выглядело самоубийством целой страны. Кур, к примеру, превратился в настоящий сумасшедший дом. В Гларусе сжигали «ведьм», машинисток и лаборанток. Жители города Аппенцель разорили монастырь Св. Галлена под тем предлогом, что христианство породило науку. При пожаре погибла ценнейшая библиотека вместе с «Песнью о Нибелунгах». В огромной мусорной куче, оставшейся на месте Цюриха, власть захватили рокеры. Они утопили в реке Лиммат прогрессистов и социалистов вместе с профессурой и ассистентами обоих цюрихских высших учебных заведений. В развалинах театра собиралась секта верующих в теорию полого Земного шара. Жрицы этой секты были беременны. Они произвели на свет чудовищных уродов, которые были рождены прямо на сцене и тут же убиты. Богослужение превратилось в оргию. Верующие накидыва-

лись друг на друга в надежде произвести на свет еще более ужасных потомков. В Ольтене на огромном помосте повесили тысячи учителей младших и старших классов народной школы. Их согнали со всей страны.

В Граубюндене тем временем начался уже «великий мор». Если сначала люди предавались неописуемому разгулу, грабили, разрушали, истребляли все, что попадалось под руку, разжигали страшные пожары, останавливали всякое движение, то потом они впали в апатию. Их охватила свинцовая усталость. Они сидели у развалин своих домов, которые разрушили своими руками, неподвижно уставившись прямо перед собой, ложились где попало и умирали. Мало-помалу разрушения прекратились. Уже не оставалось автомобилей, дорог — одни руины, чудовищные скопления продуктов, заготовленных для восьмимиллионного населения, насчитывающего теперь не больше ста тысяч. Рядом с людьми гибли животные. На полях грудами лежали трупы. Зато птицы страшно расплодились.

Люди торжественно предавали мертвых земле. Сколачивались гробы, но их все время не хватало, тогда грабили старые кладбища, выкапывая то, что осталось от старых гробов, или закапывали умерших в шкафах. Похоронные процессии без конца; в страшной жаре, не спадавшей и осенью, люди шагали, одетые в черное, вслед за гробами или тянули на длинных канатах тачки, на которые рядами были уложены гробы. Справлялись роскошные поминки. Для большинства они становились последним пиршеством. Потом хоронили и этих, и похоронные шествия, все редея, тянулись к новым кладбищам. Казалось, народ хоронил сам себя.

Потом наш склад бомб в Шраттенфлу загорелся сам собой. По пути через Эмменталь мне встретилась деревня с большой молочной фермой. Она была чистенькая, ухоженная, на окнах стояла герань огненного цвета, а улицы — совершенно пустые. Я вошел в трактир под названием «У креста». В зале для гостей никого не оказалось. В кухне на полу лежал мертвый хозяин, настоящий гигант с лицом, выпачканным мороженым. Я вошел в столовую. Примерно сотня человек сидела за празднично накрытыми столами: мужчины, женщины всех возрастов, девочки и мальчики. За длинным столом посреди зала — жених и невеста. Невеста в белом подвенечном наряде, бок о бок с женихом — крупная женщина в бернском национальном костюме. Все

они были мертвы и выглядели чрезвычайно умиротворенно в своей воскресной одежде. Тарелки почти пустые, надо бы подложить еще еды. В проходах между столами лежали мертвые девушки-официантки. На столах возвышались огромные «бернские блюда»: деревенские окорока, свиные ребрышки, копченое мясо, шпиг, языковая колбаса, фасоль, кислая капуста, соленый картофель. Около невесты было отодвинуто кресло, а на полу лежал пожилой мужчина, роскошная борода накрыла его грудь словно покрывало. В правой руке он держал лист бумаги, я заглянул в него — это оказалось стихотворение. Взяв кресло, я уселся рядом с невестой и положил себе на тарелку еду с «бернского блюда» — она была еще теплая.

И вот я нерешительно высекаю эти свои воспоминания на стенах галереи: они во многом стали мне казаться невероятными. Так, в памяти у меня осталась прежде всего жара, не спадавшая всю зиму напролет; а когда я мысленно возвращаюсь в те времена, то мне всегда видится мощное наводнение. До своего родного города я добрался пешком по пустынной автостраде. Чем ближе подходил я к городу, тем безлюднее становилась страна. Автострада километр за километром заросла травой, пробившей бетон; я шел мимо скопления автомобилей, покрытого пышным плющом. Однажды мне почудилось, что в небе летит самолет, он летел так высоко, что его не было слышно.

Добравшись наконец до города, я увидел, что предместье в руинах: никому теперь не нужные торговые центры, выгоревшие коробки многоэтажных зданий. Я сошел с автострады. В лучах заходящего солнца передо мной предстал старый город. Расположенный на скалистом хребте, возвышающемся над рекой, он казался невредимым. Стены пронизывал теплый золотистый свет. Город был так прекрасен, что при воспоминании о нем тускнеет даже вид на Макалу и Джомолунгму. Однако мосты, ведущие к нему, оказались разрушенными. Я вернулся на автостраду, по ее обломкам мне удалось пересечь реку. Теперь атомный гриб стоял на юге. Он постепенно превращался в светящийся колпак, накрывший Альпы и освещавший ночное небо, в то время как я углублялся в лес.

Бункера были в целости и сохранности, кровати аккуратно застелены. Я стал ждать. Бюрки не пришел. Я заснул.

Наутро я отправился во Внутренний город. Университет представлял из себя сплошные руины, аудитория, в ко-

торой занимался прежде философский семинар, обуглилась, фасад обрушился, книги превратились в черную слипшуюся массу. Стол, за которым мы сидели, развалился. Сохранилась только доска. Перед ней стоял какой-то мужчина. Он стоял ко мне спиной, засунув руки в карманы поношенной шинели.

— Хэлло, — обратился я к нему.

Мужчина не пошевелился.

— Эй! — крикнул я.

Казалось, он не слышит. Я подошел и коснулся его плеча. Он повернулся ко мне лицом. Оно было сожжено облучением, лишено всякого выражения.

Взяв кусок мела, лежавший у доски, он написал: «Огнестрельная рана в голову. Глухонемой. Читаю по губам. Говорите медленно». И обернулся ко мне.

— Кто ты? — спросил я медленно.

Он пожал плечами.

— Где находится служба обеспечения солдат? — спросил я.

Он взял мел и написал на доске: «Тибет. Война». И глянул на меня.

— Служба обеспечения солдат, — повторил я медленно, по слогам, — где она?

Он написал «60 23 10 23», непонятное число, которое запомнилось только потому, что, будучи офицером, я привык запоминать номера: шестьдесят, двадцать три, десять, двадцать три. Он смотрел на меня. Его обгоревшие губы дрожали. Непонятно, издевался он или улыбался. Я постучал себя по лбу.

Глухонемой написал: «Соображай, достаточно ясно» — и опять уставился на меня.

Я взял у него мел, стер все, что он написал, сам написал: «Ерунда», кинул мел на пол, растоптал его и бросился прочь из университетских развалин.

Неподалеку от сгоревшей столовой мне попался навстречу какой-то маленький человечек. На правой щеке у него была большая черная язва. Он толкал тележку с книгами.

— С семинара по немецкой литературе, — сказал он, показывая в сторону сплошных развалин за университетом. Книги ему еще удалось найти. Я взял одну с тележки — «Эмилия Галотти». — Я переплетчик, — объяснил человечек, — со мной работает еще печатник. Мы выпускаем книгу — сто штук, потом еще сто штук. Люди снова читают, становятся настоящими книжными червями. Выгодное дель-

це! — Он засветился от удовольствия. — Я не умру. Ведь выжил. А на щеке у меня обыкновенная меланома.

Я сказал, что Лессинг сложноват для чтения. Он спросил, кто такой Лессинг. Я указал ему на книгу.

— Вот эта? — удивился он. — Это не для чтения, а для сожжения. Выпускаю я «Хайди» Иоганны Спири*. Запомните имя: Иоганна Спири. Классика. — Тут он подозрительно взглянул на меня. — Ты солдат?

Я кивнул.

— Офицер? — спросил он с угрозой в голосе.

Я помотал головой.

— А раньше что делал?

— Учился в университете.

Посмотрев на свою тележку, он мрачно уточнил:

— Читал такие вот книги?

— Да, и такие тоже, — ответил я.

— Черт-те что вы натворили с вашим образованием! — проворчал человечек. — Вы, с вашими дурацкими книжонками...

Я спросил, где находится служба обеспечения солдат.

— Рядом с ратушей, — ответил он. — Может, ты все-таки был офицером?

И он засеменил дальше, толкая перед собой тележку.

Я пошел обратно через развалины. В разрушенной аудитории, где проводился наш семинар, я сумел отыскать лишь куски из «Трагической истории литературы» и несколько страниц из предисловия, посвященных основным понятиям поэтики.

Вокзал за университетом был сплошной кучей мусора. Дома, больницы, торговые улицы находились в полном запустении, окна магазинов выбиты. Кафедральный собор стоял на месте. Я подошел к главному порталу и увидел, что «Страшный суд» уничтожен. Я шел по среднему нефу собора, а за спиной у меня, барабаня по полу, падали капли воды.

У входа на галерею, прислонившись к стене, стоял какой-то оборванец.

— Когда жизнь в опасности, ведь это бодрит, верно? — обратился он ко мне.

Я поинтересовался, кто разбил «Страшный суд».

— Я, — ответил мужчина. — «Страшный суд» нам больше не нужен.

Служба обеспечения солдат находилась неподалеку от ратуши, в бывшей часовне, как мне смутно помнилось. Вокруг

стен лежали несколько матрацев и стопка шерстяных одеял. Вокруг каменной купели стояли три стула, а на камне лежал кусок торта. На стенах виднелись бледные следы фресок, но разобрать, что они изображали прежде, было трудно. В часовне никого не было видно.

Я несколько раз прошелся туда-сюда. Никто не появился. Тогда я приоткрыл какую-то дверь рядом с купелью. Вошел в ризницу. За столом сидела толстая старуха в металлических очках и ела торт.

На мой вопрос, не здесь ли находится солдатская служба, она ответила, уплетая за обе щеки:

— Я солдатская служба, — и, проглотив кусок, в свою очередь спросила: — А ты кто такой?

Я назвал свой псевдоним:

— Рюкхард.

Толстуха задумалась.

— У моего отца была книга какого-то Рюкхарда, — сказала она, — «Брамсовы мудрости».

— «Мудрые мысли брахмана» Фридриха Рюккерта*, — поправил ее я.

— Возможно, — сказала женщина и отрезала себе еще кусок торта. — Ореховый, — объяснила она.

— А где комендант города? — спросил я.

Она продолжала есть.

— Армия капитулировала, — проговорила она, — коменданта больше нет. Теперь есть только Администрация.

Я тогда впервые услышал про эту Администрацию.

— Что вы под этим подразумеваете? — поинтересовался я.

Женщина облизывала пальцы.

— Под чем? — спросила она.

— Под Администрацией.

— Администрация есть Администрация, — объяснила она.

Я смотрел, как она поглощает торт. На мой вопрос, сколько солдат она обслуживает, толстуха ответила:

— Одного слепого.

— Бюрки? — спросил я осторожно.

Она все ела и ела.

— Штауффер, — наконец сказала она. — Слепого зовут Штауффер. Раньше у меня было больше солдат. Они все умерли. Они все были слепые. Ты тоже можешь здесь жить, ты, конечно, солдат, иначе бы сюда не пришел.

— Я живу в другом месте, — сказал я.

— Дело твое, — ответила она и затолкнула остаток торта в рот, — ровно в полдень и ровно в восемь вечера мы едим торт.

Я вышел из ризницы. В часовне у купели сидел какой-то старик. Я уселся против него.

— Я слепой, — сказал тот.

— Как это случилось?

— Увидел молнию, — рассказал он, — другие тоже ее видели. Все они умерли. — Он оттолкнул тарелку. — Ненавижу торт. Одна старуха в состоянии есть его с удовольствием.

— Вы Штауффер? — обратился я к нему.

— Нет, Хадорн. Меня зовут Хадорн. Штауффер умер. А тебя зовут Рюэгер?

— Меня зовут Рюкхард.

— Жаль, — посетовал Хадорн, — у меня кое-что есть для Рюэгера.

— Что же?

— Кое-что от Штауффера.

— Но он же умер.

— У него это тоже от одного умершего.

— От какого еще умершего?

— От Цауга.

— Не знаю такого.

— А он это получил от другого, который тоже умер.

— От Бюрки? — предположил я.

Он задумался.

— Нет, — вспомнил он, — от Бургера.

Я не сдавался:

— Может, все-таки от Бюрки?

Он опять задумался.

— У меня плохая память на имена, — сказал он наконец.

— А меня все-таки зовут Рюэгер, — решился я.

— Значит, у тебя тоже плохая память на имена, — упрекнул он меня, — ведь сначала ты сказал, что ты не Рюэгер. Однако мне все равно, кто ты.

И он мне протянул что-то. Это оказался ключ Бюрки.

— Кто теперь Администрация?

— Эдингер, — ответил слепой.

— А кто такой Эдингер?

— Не знаю.

Я поднялся, сунув ключ в карман пальто.

— Ну, я пошел, — сообщил я.

— А я остаюсь, — проговорил он, — все равно скоро умру.

Мецгергассе представляла собой кучу щебня, звонница обрушилась.

Когда я добрался до здания правительства, уже наступила ночь, но такая ясная, как будто светила полная луна. У обеих статуй, стоящих перед главным входом, отсутствовали головы. Купол был разбит, по лестнице можно было идти только с большой осторожностью, но зал Большой палаты чудом уцелел, даже чудовищная огромная фреска оказалась невредимой, однако скамьи для депутатов исчезли. А в зале поставили старые, потертые диваны, на которых сидели женщины в несколько потрепанных пеньюарах, некоторые — с голой грудью. Все это скупо освещалось керосиновой лампой. Ложи для зрителей прикрывал занавес. Трибуна для ораторов была на месте. В кресле председателя парламента сидела женщина с круглым энергичным лицом в форме офицера Армии спасения. Пахло луком.

Я в нерешительности остановился у входа в зал.

— Иди сюда, — приказала командирша, — выбирай какую хочешь.

— У меня нет денег, — сказал я.

Женщина удивленно уставилась на меня.

— Сын мой, откуда ты свалился?

— С фронта.

Она удивилась:

— Долго же тебе пришлось добираться сюда. У тебя есть ластик?

— Зачем он?

— Для девочки, конечно. Мы берем то, что нам нужно, конечно, лучше бы точилку для карандашей.

— У меня есть только револьвер, — сказал я.

— Сын мой, давай его сюда, не то мне придется доложить о тебе Администрации.

— Эдингеру?

— Кому ж еще?

— А где Администрация?

— На Айгерплац.

— Это Эдингер приказал устроить здесь бордель?

— Заведение, мой милый!

— Это — заведение?!

— Естественно, — ответила она, — мы ведь облучены, сынок. Мы умрем. Любая радость, доставленная одним из

нас другому, — акт божественного милосердия. Я — майор. И я горжусь тем, что моя бригада все это поняла. — Она указала на женщин, расположившихся на потертых диванах. — Обреченные на гибель готовы любить!

— Я ищу Нору, — сообщил я.

Майорша взяла колокольчик, позвонила.

— Нора! — позвала она.

Наверху в дипломатической ложе приоткрылся занавес. Оттуда выглянула Нора.

— Что такое? — спросила она.

— Клиент, — сообщила майорша.

— Я еще занята, — ответила Нора и исчезла за занавесом.

— Она еще на службе, — объяснила майорша.

— Я подожду.

Майорша назвала цену:

— За револьвер.

Я отдал свой револьвер.

— Присаживайся, сын мой, и подожди.

Я уселся на диван между двух женщин. Майорша взяла гитару, прислоненную к ее председательскому креслу, заиграла, и все запели:

В чистоте мы непреложны,
Коль душа любовь хранит.
Все страдания ничтожны,
Если смерть с косой летит.

Божий Сын страдал от жажды,
Мукой крестною сражен.
Бомбой ра́спяты однажды,
Мы несчастнее, чем Он.

Появилась Нора. Сначала мне показалось, что на руках у нее мальчик, но это был безногий шестидесятилетний инвалид со сморщенным детским личиком.

— Ну вот, попрыгунчик, — сказала Нора, усаживая его на диван, — теперь у тебя будет легче на душе.

— Нора, — сказала майорша, — вот твой следующий клиент.

Нора посмотрела на меня и сделала вид, что не узнала. Под халатом у нее ничего не было.

— Тогда пошли наверх, мой хороший, — сказала Нора и направилась к двери, ведущей на галерею. Я — за ней.

Майорша снова заиграла, и бригада запела:

Божьи девы, дружно — к бою!
Проявим веселый пыл!
Кто пожертвовал собою,
Сладкой вечности вкусил.[1]

— У тебя есть ключ? — спросила Нора.

Я кивнул.

— Пошли.

Мы медленно продвигались по разрушенному залу под куполом и по крытой галерее к восточному крылу здания. Попали в темный коридор и невольно остановились.

— Ничего не вижу, — сказал я.

— Надо привыкнуть к темноте, что-нибудь всегда можно разглядеть.

Мы стояли не двигаясь.

— Как ты могла! — воскликнул я.

— Что именно?

— Ты знаешь, что́ я имею в виду.

Она молчала. Темень была непроницаемая.

— Приходится держаться за это место, — пояснила она.

— Тебя что, Эдингер заставил?

Она засмеялась.

— Да нет! Иначе мне было бы незачем здесь жить. Ты что-нибудь видишь?

Я соврал:

— Видно кое-что.

— Ну, пошли.

Мы осторожно вошли в коридор. Я передвигался как слепой.

— Чего ты давеча так взбесился? — спросила Нора. — Я и раньше с вами со всеми спала!

Я ощупью продвигался в темноте.

— Так это с нами, — проговорил я с досадой.

— Милый мой, мне кажется, ваше времечко прошло.

Мы спустились в подвал.

— Сюда, — предупредила Нора, — осторожно, здесь лестница, двадцать две ступеньки.

Я принялся считать.

Она остановилась. Я слышал ее дыхание.

— Теперь направо, — скомандовала она, — в этой стене.

---

[1] *Перевод А.Солянова.*

Нащупав деревянную панель, я нашел место, где она поддавалась. Нащупал замочную скважину, ключ подошел.

— Закрой глаза, — сказал я.

Дверь бункера отворилась. Мы почувствовали, что стало светло. Дверь за нами захлопнулась. Мы открыли глаза. Это был компьютерный зал.

Нора проверила аппаратуру.

— Генераторы в порядке, — сказала она.

Мы подошли к радиоустановке. Нора включила ее, и, к нашему удивлению, зазвучала мелодия «Навстречу заре!», да так громко, что мы вздрогнули от неожиданности.

— Блюмлизальп! — воскликнула Нора.

— Автоматическая установка, — успокоил я ее, — не может быть, чтоб там кто-то остался в живых.

Но тут зазвучал голос. Голос Брюкмана, популярного ведущего ночной программы легкой музыки, анекдотов и интервью — «Из брюк явился Брюкман».

— Дорогие слушательницы и слушатели, — проговорил он, — сейчас двадцать два часа. — И Брюкман назвал дату и объявил о повторении какой-то патриотической передачи.

— Они еще живы! — кричала Нора. — Они еще живы! Он объявил сегодняшнее число.

Тут раздался голос начальника военного ведомства.

— Мой шеф! — Нора была вне себя.

Шеф своим звучным голосом произносил речь, обращенную к народу. Он объяснил, что все они: правительство, парламент, различные ведомства — всего четыре тысячи лиц обоего пола, главным образом мужчины и тысяча машинисток, — уцелели здесь, под Блюмлизальпом, избежав облучения, запаса продуктов хватит еще на два-три поколения, атомная электростанция работает, обеспечивая их светом и воздухом, это сводит на нет все протесты противников атомных электростанций; правительство, парламент и чиновники в состоянии и дальше осуществлять руководство страной и служить народу, хотя у них и нет возможности выйти из-под Блюмлизальпа, ведь враг вероломен и уже пытался сбросить бомбу на Блюмлизальп. Однако они не жалуются: исполнительная, законодательная власть и государственный аппарат должны принести в жертву себя, а не народ, и вот они жертвуют собой.

Пока начальник военного ведомства продолжал свою речь, я внимательно рассматривал Нору. Она стояла рядом, халат распахнулся, и не дыша слушала своего шефа. Я накинулся на нее: у меня целую вечность не было женщины.

А шеф говорил, что с большой радостью встретил известие о победе над коварным врагом в Ландеке, и он убежден: армия с ее храбрыми союзниками уже близка к окончательной победе в глубине азиатских степей и, возможно, уже ее одержала; он говорил, что, к сожалению, к нему, а также к остальным членам правительства еще не поступало известий из внешнего мира, так как крайне высокий уровень радиации в Блюмлизальпе, по-видимому, препятствует любой радиосвязи.

Он говорил и говорил. Нора продолжала слушать. Я запыхтел, застонал, тогда она зажала мне рот рукой, чтобы я не мешал ей слушать шефа, не пропуская ни слова. Я был ненасытен, а она, вслушиваясь в слова шефа, позволяла делать с собой все, что угодно.

— Конечно, может быть, — объяснял шеф, и в его голосе явственно звучала тревога, — конечно, не исключено, хотя и невероятно, что война приняла не тот оборот, какого ожидали: при гигантском численном превосходстве и лучшем качестве классических систем вооружения враг одержит верх, захватит страну, но лишь страну, а не народ, который непобедим, как в дни Моргартена, Земпаха и Муртена*.

Я все яростнее набрасывался на Нору, потому что она продолжала слушать и потому что я был ей безразличен.

— Именно этот факт мало-помалу уяснит себе враг, и не только благодаря героическому сопротивлению, которое все еще оказывает ему народ — кто в этом сомневается, — но еще и потому, что законное, избранное народом правительство, парламент и государственные органы власти, денно и нощно исполняющие свой долг под Блюмлизальпом, — они управляют, дают указания, принимают законы, они, собственно, и есть народ, и никто другой, и поэтому именно они уполномочены вести переговоры с противником, и не как побежденные, а как победители, ведь даже если страна подвергнется опустошению — допустим на минуту такой невероятный случай, — даже если она уже не в состоянии оказывать сопротивление или — и это, к сожалению, тоже возможно — если ее уже нет, то есть ее невредимое правительство и ее великолепные органы власти. Они никогда не сдадутся. Наоборот, они готовы в интересах всеобщего мира снова подтвердить свою независимость, опирающуюся на постоянный вооруженный нейтралитет.

Конечно, это были только обрывки речи, которые я теперь вспоминаю, увязывая друг с другом, такого со мной еще никогда не было, я ведь совсем не слушал, а когда наконец оторвался от Норы, из приемника опять неслось «Навстречу заре!».

Мы встали. Я обливался потом. Пошли в лабораторию, оба совершенно голые. Она взяла у меня кровь на анализ.

— Будешь жить.

— А ты? — спросил я.

— Меня обследовала Администрация. Мне повезло, как и тебе.

Я снова набросился на нее, прямо здесь, у лабораторного стола, но опять разозлился, потому что она, пока я пытался овладеть ею, сообщила холодным, деловым тоном:

— Невредимое правительство без народа — для правительства это, конечно, идеально. — И она захохотала и не переставала хохотать, пока я не отпустил ее.

— А сколько народу в Администрации? — спросил я, когда она наконец успокоилась.

— Двадцать-тридцать человек, не больше, — ответила она, поднялась и встала передо мной.

— А где живет Эдингер? — поинтересовался я, все еще сидя на полу, голый, совершенно без сил.

Она посмотрела на меня задумчиво.

— А зачем тебе знать?

— Да так.

— В Вифлееме. В пентхаузе*, — ответила она наконец.

— А ты знаешь его имя?

— Иеремия.

Я подошел к компьютеру. В банке памяти Эдингеров было не много, и среди них отыскался Иеремия. Я пробежал глазами данные: занимался философией (незаконченное философское образование), выступал в защиту окружающей среды, уклонялся от службы в армии, приговорен к смертной казни, которую парламент заменил пожизненным заключением.

Я опять пошел в радиоузел, закрыл дверь, ключ лежал в тайнике.

Затем вернулся к Норе, оделся. Она уже надела халат. Потом я отправился на склад, выбрал пистолет с глушителем, сказал ей, чтобы она заперла дверь и хранила ключ, а у меня кое-какие планы, возможно, и не совсем безопасные, ска-

зал я. Нора молчала. Я покинул правительственное здание, воспользовавшись дверью в восточном крыле.

В Вифлееме остался лишь один многоэтажный дом, казавшийся каким-то призрачным эшафотом. Войдя в здание, я убедился, что внизу все выгорело дотла, а шахты лифтов пусты. Наконец обнаружил лестницу. Этажи состояли теперь лишь из стальных балок, державших бетонные перекрытия. На верхнем, освещаемом светлым ночным светом этаже никого не было видно. Я уже решил, что ошибся и что дом необитаем, но неожиданно натолкнулся на приставную лестницу. Вскарабкавшись по ней, я вылез в центре плоской крыши перед темным пентхаузом. Через щели в двери проникал свет. Я постучал. Послышались шаги, дверь распахнулась, и на светлом голубоватом фоне возник силуэт.

— Как мне найти Иеремию Эдингера? — спросил я.

— Папа еще в конторе, — ответил детский голос.

— Я подожду его внизу.

— Подожди у меня, — сказала девочка, — входи. Мама тоже еще не вернулась.

Девочка пошла в пентхауз, я — следом за ней, сунув руки в карманы куртки.

Прямо напротив двери я увидел громадную стеклянную стену и понял, почему внутренность дома казалась освещенной. За стеклянной стеной стояла светлая ночь, но она была такой прозрачной и серебристой не из-за луны, а из-за словно фосфоресцирующих гор, а Блюмлизальп светился так сильно, что отбрасывал тень.

Я посмотрел на девочку. Она выглядела таинственно в этом освещении, очень худенькая, с большими глазами, волосы такой же белизны, что и Блюмлизальп, освещавший комнату.

У стены стояли две кровати, посредине — стол и три стула. На столе лежали две книги: «Хайди» и «История философии в очерках. Руководство для самообразования» Швеглера. У стены напротив стояла плита, а рядом со стеклянной стеной — кресло-качалка.

Девочка зажгла светильник с тремя свечами. Теплый свет преобразил помещение. На стенах стали видны разноцветные детские рисунки. Девочка была одета в красный тренировочный костюм, глаза у нее были большие и веселые, волосы — светло-русые, на вид ей было лет десять.

— Ты испугался, — сказала она, — потому что Блюмлизальп так здорово сияет.

— Пожалуй, да, — подтвердил я, — испугался немножко.

— В последнее время свечение усилилось. Папа опасается. Он считает, что нам с мамой нужно уехать.

Я рассматривал рисунки.

— Хайди, — объяснила девочка, — я нарисовала все про Хайди, вот это домовой, а это — Петер-козопас. Может, ты сядешь, — предложила она, — в кресло-качалку, оно как раз для гостей.

Я подошел к стеклянной стене, посмотрел на Блюмлизальп и устроился в кресле-качалке. Девочка села за стол и принялась за чтение «Хайди».

Было около трех часов утра, когда наконец послышались чьи-то шаги. В дверях показался большой толстый мужчина. Глянув в мою сторону, он обратился к девочке:

— Ты уже давно должна быть в постели, Глория. Марш спать!

Девочка закрыла книгу.

— Я не могу спать, пока ты не придешь, папа, — пожаловалась она. — И мама еще не возвращалась.

— Сейчас она придет, твоя мама, — сказал этот высокий, грузный, огромный человек и подошел ко мне. — Моя контора находится на Айгерплац, — заявил он.

— Мне хотелось бы поговорить с вами лично, Эдингер, — пояснил я.

— Вы не хотите назвать себя? — спросил он.

Я колебался в нерешительности.

— Мое имя не имеет значения, — ответил я.

— Ладно, — сказал он, — выпьем-ка коньяку.

Он направился к импровизированной кухне, нагнулся, вытащил бутылку и две рюмки. Вернувшись в комнату, погладил по голове девочку, которая уже улеглась, погасил свечи, открыл дверь, кивнул мне, и мы вместе вышли на плоскую широкую крышу, расстилавшуюся перед нами в таинственном свете фосфоресцирующих гор, будто равнина с нагроможденными на ней развалинами, кустами и небольшими деревцами.

Мы уселись на обломки дымовой трубы, под нами был разрушенный Вифлеем. За осевшей вниз бывшей многоэтажкой виднелось какое-то подобие города с возвышающимся над ним узким силуэтом кафедрального собора.

— Бывший солдат?

— Я и сейчас солдат, — ответил я.

Он протянул мне рюмку, налил мне, потом — себе.

— Из французского посольства, — сообщил он, — и рюмки оттуда. Хрусталь.

— А посольство еще существует?

— Один подвал остался, — сказал он. (У Администрации тоже свои секреты.)

Мы выпили.

— А чем ты раньше занимался? — спросил он.

— Был студентом, занимался у старого Кацбаха, — ответил я, — писал диссертацию.

— Вот что.

— О Платоне.

— А что именно о Платоне?

— О «Государстве», седьмой его книге.

— Я тоже учился у Кацбаха.

— Знаю, — сказал я.

— Я в курсе, что с ним произошло, — сказал он без удивления и выпил.

— Что же случилось с Кацбахом? — спросил я.

— Когда упала бомба, его квартира загорелась, — сообщил он, поболтав коньяком в рюмке, — у него было слишком много рукописей.

— Беда всех философов, — сказал я. — От философского семинара вообще ничего не осталось.

— Один Швеглер, — подтвердил он, — единственная книга, которую мне удалось найти.

— Я заметил ее на вашем столе.

Мы помолчали, глядя на Блюмлизальп.

— Приходите завтра на обследование, — предложил Эдингер, — на Айгерплац.

— Я буду жить, — ответил я, — меня уже обследовали.

Он не спросил, кто меня обследовал, подлил мне коньяку, потом и себе тоже.

— Где армия, Эдингер? — спросил я. — Мы ведь мобилизовали тысячу восемьсот мужчин.

— Армия, — сказал он, — армия. — Он глотнул коньяку. — На Инсбрук сбросили бомбу. — Он еще глотнул. — Вечерний салют. Вы из армии. Значит, вам повезло.

Мы опять помолчали, вглядываясь в очертания города. Пили.

— На нашей стране, видимо, надо поставить крест, — сказал Эдингер, — на Европе вообще. А что творится в Центральной и Южной Африке, просто невозможно передать. Не говоря о других континентах. Соединенные Штаты не пода-

ют никаких признаков жизни. На Земле вряд ли наберется хотя бы сто миллионов человек. А ведь до всего этого было десять миллиардов.

Я всматривался в Блюмлизальп. Он сиял ярче, чем полная луна.

— Мы создали всемирную Администрацию.

Я поболтал коньяком в рюмке.

— Мы? — спросил я.

Он ответил не сразу.

— Ты уже уклонился от службы, Эдингер, — сказал я, глядя сквозь рюмку на светящиеся горы. Рюмка таинственно засияла. — Ты жив, потому что тебя уберегли стены каторжной тюрьмы. Парадокс. Если бы в свое время парламент оказался более решительным, тебя давно бы расстреляли.

— У тебя-то уж хватило бы решительности.

Я кивнул утвердительно.

— Можешь взять это на заметку, Эдингер.

Я сделал глоток, посмаковал.

Со стороны города послышался глухой взрыв. Силуэт кафедрального собора покачнулся, потом раздался отдаленный громовой раскат, все окутала голубоватая пыль; когда она осела, от собора ничего не осталось.

— Рухнула терраса, на которой стоял собор, и потянула его за собой, — сообщил Эдингер равнодушным тоном. — Мы давно ждали этого. Впрочем, ты прав, полковник, — продолжал он, — мы, уклонявшиеся от службы, создали здесь всемирную Администрацию, в других местах это делают диссиденты или жертвы указа против радикалов.

Эдингер выдал себя. Он знал, кто я. Но пока это было неважно. Гораздо важнее было выведать что-нибудь об Администрации.

— Другими словами, существуют отделения вашей всемирной Администрации, — заметил я, — и ты об этом проинформирован, Эдингер.

— По радио, — сказал он.

— Электричества больше нет, — бросил я.

— Среди нас нашлись радиолюбители, — ответил он. Его лицо казалось в ночном свете лицом призрака, что-то необъяснимое исходило от него, какая-то странная неподвижность.

— Однажды мне почудилось, что я видел самолет, — сообщил я.

Он отхлебнул из рюмки.

— От центральной Администрации в Непале, — сказал он.

Я усиленно соображал. А ведь у них есть кое-что для проверки на радиоактивность. Что-то не вязалось во всей этой истории.

— Ты знаешь, кто я, Эдингер, — констатировал я.

— Я был уверен, что ты объявишься, полковник, — подтвердил он. — Бюрки меня предупредил.

Мы помолчали.

— Ключ он тебе тоже дал? — спросил я.

— Да.

— А Нора?

— Она ничего не знает, — сказал он, — бункер под восточным крылом найти совсем нетрудно. Я только послушал несколько речей правительства и вернул ключ Бюрки. Потом Бюрки умер, и по цепочке через Цауга, Штауффера, Рюэгера и Хадорна ключ попал ко мне.

— Ты в курсе, — сказал я.

Он допил свой коньяк.

— Администрация в курсе, — ответил Эдингер.

Я указал на светящуюся гору:

— Администрация там, Эдингер. Это полномочное, невредимое правительство, дееспособный парламент, действующие органы власти. Если мы его освободим, у нас будет Администрация намного лучше вашей всемирной из уклонившихся от службы в армии и диссидентов. Вы, конечно, это здорово придумали. Подлей-ка мне, Эдингер.

Он налил мне еще коньяку.

— Прежде всего ты, наверно, уже уяснил себе, Эдингер, — продолжал я, — что из нас двоих я сильнейший.

— Ты так считаешь, потому что у тебя есть оружие? — спросил он и глотнул из рюмки.

— Свой револьвер я отдал в правительственном здании бандерше, назначенной твоей Администрацией.

Он рассмеялся.

— Полковник, в бункере под восточным крылом находится склад оружия, он был в твоем распоряжении. И шифр.

Я опешил.

— Тебе известен шифр?

Он ответил не сразу. Уставился на гору, и его широкое, тяжелое лицо опять сковала странная неподвижность.

— Бюрки показал мне шифр к тайнику, расположенному под восточным крылом здания, — рассказал он, —

и мы вместе расшифровали несколько секретных посланий, отправленных правительством из Блюмлизальпа. Это удалось лишь потому, что подземный кабель остался неповрежденным, радиостанция в Блюмлизальпе вышла из строя по причине радиоактивности. С правительством можно связаться лишь из восточного крыла правительственного здания. Правительство в отчаянии. Оно безрезультатно пыталось вступить со мной в контакт и наконец прекратило эти попытки. Они надеялись, что я их освобожу, а теперь обращаются с этой просьбой к тем, кто, как они убеждены, победил, то есть к врагам, не подозревая, что нет победителей, есть только побежденные; что солдаты всех армий отказались продолжать борьбу и расстреляли своих офицеров; что власть в руках всемирной Администрации и что те солдаты, которые выжили после катастрофы, пытаются теперь сделать плодородной Сахару: возможно, это единственный шанс для выживания человечества.

Он замолчал.

Я слушал его и думал.

— Что ты мне предлагаешь? — спросил я.

Он допил свою рюмку.

— Люди работают в Сахаре, чтобы выжить, — сказал он. — Не исключено, что и туда проникнет радиация. Люди пытались невероятно примитивными средствами оросить пустыню. Они работали подобно первобытному человеку. Ненавидели технику. Ненавидели все, что напоминает о прошлом. Они находились в шоковом состоянии. Этот шок нужно было преодолеть. Я, как и ты, изучал философию. У меня есть теория Швеглера. Когда-то все мы смеялись над этими «Очерками философии», а теперь, может быть, именно тебе придется убеждать людей в Сахаре, что мыслить — это не самое опасное.

Эдингер замолчал. Его предложение было диким.

— Учить мыслить с помощью Швеглера, — рассмеялся я.

— У нас нет другого выхода, — возразил он.

— Другой возможности ты мне предложить не можешь?

Он помедлил.

— Могу, — ответил он наконец, — предлагаю, но без особой охоты.

— И что же это? — спросил я.

— Власть, — сказал он.

Я испытующе смотрел на Эдингера, чего-то он недоговаривал.

— Ты хочешь включить меня в Администрацию? — спросил я его.

— Нет, в Администрацию ты не можешь быть принят, полковник.

Он повернулся ко мне. Я опять увидел его тяжелое лицо.

— Администрация — это третейский суд, ничего больше. Он предоставляет право каждому решать, чего он хочет — бессилия или силы, хочет он быть гражданином или наемником. У тебя тоже есть право выбора. Твой выбор Администрация должна будет принять.

Я задумался.

— В чем состоит сила наемника? — спросил я с недоверием.

— В том же, в чем состоит любая сила, — во власти над людьми.

— Над какими людьми? — продолжал я допытываться.

— Над людьми, которые выданы на расправу наемникам, — непроницаемо сказал Эдингер.

— Не ходи вокруг да около, Эдингер.

— Ты совершенно не понимаешь, что творится, — ответил он, — Третья мировая война еще не кончилась.

— Скажи пожалуйста! И где же это она продолжается?

Он снова помешкал, разглядывая свою рюмку.

— В Тибете, — произнес он в конце концов, — там продолжают сражаться.

— Кто воюет?

— Наемники.

Это показалось мне невероятным.

— А кто нападает на этих наемников?

— Неприятель.

— А что это за неприятель? — допытывался я.

— Это дело наемников, — ответил он уклончиво. — Администрация не вмешивается в их дела.

Наш разговор зашел в тупик. Или враг был сильнее, чем хотел признать Эдингер, или же война в Тибете — какая-то ловушка. Я не мог рисковать.

— Эдингер, — обратился я к нему, — я был офицером связи нашей армии при командующем. Когда союзники капитулировали и штаб праздновал эту капитуляцию, командующий собственноручно расстрелял свой штаб.

— Ну и?..

Я внимательно смотрел на Эдингера.

— Эдингер, — продолжал я, — на обочине дороги у Цернеца лежало более трехсот офицеров, расстрелянных нашими солдатами.

Эдингер выпил до дна.

— Наши солдаты больше не хотели воевать, — заявил он.

Я достал пистолет с глушителем.

— Налей себе еще, Эдингер, — сказал я. — Наемники в Тибете меня не касаются, и твоя Администрация тоже. Для меня что-то значит только правительство под Блюмлизальпом. В стране полно умирающих. С ними, которые все равно погибнут, я спасу правительство.

Эдингер наполнил свою рюмку, повертел ее в руках.

— И все-таки ты отправишься в Тибет, полковник, — произнес он спокойно и, пригубив коньяк, поставил бутылку рядом с собой.

— Встать! — приказал я. — Подойти к краю крыши! Ты — уклоняющийся от службы и предатель родины.

Эдингер повиновался и, стоя на краю крыши, еще раз обернулся ко мне — силуэт на фоне светящейся горы.

— Блюмлизальп, — сказал он, улыбнулся и спросил меня: — Ты знаешь, о чем я невольно думаю, полковник, когда вижу, что гора светится вот так?

Я покачал головой.

— О том, — произнес он, — что на том суде, приговорившем меня к смертной казни, я предложил ликвидировать армию и на деньги, сэкономленные на ее содержании, совершить нечто безумное: построить на этой горе самую большую обсерваторию в мире.

Он засмеялся. Потом махнул мне. Допил коньяк, бросил рюмку вниз на развалины позади себя и повернулся ко мне спиной.

— От имени моего правительства, — крикнул я и трижды выстрелил в силуэт. Он растворился в воздухе. Светлое ночное небо впереди опустело. Я услышал звук падения далеко внизу. Мне чего-то недоставало. Взяв бутылку, я запустил ее вслед за ним.

Тут я почувствовал: кто-то стоит за моей спиной. Я развернулся кругом с пистолетом на изготовку. Это была Нора. На ней был комбинезон, какие носят рабочие. Волосы спадали на плечи. В ночном свете они казались такими же белыми, как у девочки в пентхаузе.

— Нора, — сказал я, — я убил изменника родины Эдингера. Следить за мной совершенно ни к чему.

Она ничего не ответила.

Я подошел к краю крыши, потом обернулся к ней.

— Нора, — сказал я в замешательстве, — мне чего-то не хватает, я сам не знаю чего.

— Я уже давно здесь, — наконец ответила она, — я все слышала. Глория — моя дочка, а Эдингер был моим мужем.

Я уставился на нее.

— Этого не было в компьютерных данных, — сказал я.

— Если бы там это было, я не смогла бы найти работу в правительственном заведении, — проговорила она, прошла мимо меня к краю крыши и посмотрела вниз. — Я рада, что ты его убил. Когда взорвалась бомба, он работал вместе с другими заключенными на Большом болоте. Он был безнадежен. Страдал от ужасных болей. Терпел адские муки. — Она обернулась и подошла ко мне. — Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, ведь ты способен мыслить только определенными категориями.

Она остановилась передо мной: темная фигура на светлеющем небе.

— Но я не предательница. Эдингер был моим мужем, только и всего. Муж. Но мне кажется, он был чудак. Я верила в эту чушь — в защиту родины. Я была беременна, когда его за восемь лет до начала войны приговорили к смертной казни, а затем к пожизненной каторге как уклоняющегося от службы в армии. Я дала ему возможность заниматься философией. В шутку он называл меня своей Ксантиппой*, сделавшей для философии больше, чем любая другая женщина. Он стал уклоняться от службы в армии, потому что это предписывала ему честность: как человек мыслит, так он и должен поступать. Не существует веления совести, есть веление мысли. Совесть и мысль едины. Он любил нашу страну, но ставил ей в упрек, что она уклоняется от Мысли. Ненависти он ни к кому не испытывал. А я чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. Мне было страшно. Инстинкт подсказывал мне, что мы должны защищать свою страну. Он же говорил мне, что спасутся только правительство, парламент и государственный аппарат. Он все предвидел, все, что случилось. А я не верила ему. Когда он отправился на каторгу, я стала мстить ему: спала с каждым из вас.

Стало так светло, что я уже различал черты ее лица. Оно как бы окаменело и казалось абсолютно спокойным.

— А раз я мстила мужу, которого любила, и раз я спала с каждым из вас, принадлежавших к высшему военному руководству, значит, я стала патриоткой, и я осталась ею даже тогда, когда произошло все то, что предсказывал Эдингер.

Она улыбнулась, и вдруг в чертах ее лица проступила нежность, которой я никогда не замечал в ней.

— Я до такой степени осталась патриоткой, что пошла в бордель, который он устроил в правительственном здании, и тоже из чистой логики: потому что умирающие нуждаются в борделе. И создать Армию спасения удалось тоже ему. — Она рассмеялась. — Итак, я стала публичной девкой, чтобы дожидаться тебя и твоего поручения. Я думала, что Эдингер не подозревает об этом, а теперь знаю, что он был в курсе дела.

— Ты была ему безразлична, — сказал я.

Она посмотрела на меня.

— Каждую ночь в это время я приходила сюда. Эдингер не спал из-за болей, и никогда ни с одним человеком мне не было так хорошо, как в эти часы перед рассветом. Мы говорили друг с другом, и, когда он брал книгу, которую нашел в развалинах университета, я уже знала, что он хочет еще подумать, и я шла спать. Он восстановил по памяти всю философию, сказал он мне однажды, на основе одного лишь смехотворного учебника. Иногда по ночам к нему приходил какой-то глухонемой. Они вспоминали математику, физику, астрономию. Все можно восстановить, объяснял он, потому что ни одна мысль не исчезает окончательно.

Я подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Далеко внизу виднелась распростертая фигура Эдингера, он лежал — на спине или нет, было не разобрать, — широко раскинув руки и ноги.

— Был Эдингер гением или нет, — сказал я, возвращаясь к Норе, — для нас это теперь не имеет значения.

— Ты ведь хочешь организовать умирающих, — сказала она.

— Мне надо выполнить поручение, — ответил я, — а потому как можно скорее проинформировать правительство в Блюмлизальпе, не дожидаясь, пока мне помешает в этом деле Администрация.

— Теперь ты этого уже не сделаешь, — произнесла она спокойно, — после того как ты вышел из бункера в восточном

крыле, я установила там автоматическое взрывное устройство, а затем уж догнала тебя. Я видела, как ты поднялся в пентхауз. Ждала снаружи. Эдингер тоже не заметил меня. Я стояла позади вас, когда произошел взрыв. Остатки купола еще стоят. Но сам собор полностью разрушен. И больше никакой связи с правительством нет.

Я с ужасом смотрел на нее. Я ничего не понимал. Нора сошла с ума. Она глядела на Блюмлизальп.

— Когда мы находились в помещении радиостанции и вдруг услышали голос диктора, а потом речь шефа, я неожиданно поняла, что Эдингер прав, — пояснила Нора.

— А я взял тебя! — закричал я.

Она подошла ко мне и встала рядом.

— Полковник, — сказала она спокойно, — разве ты не понял, о чем говорил шеф?

— Я взял тебя! — опять крикнул я.

— Возможно, — ответила она, — мне безразлично, что ты со мной вытворял. Но я прислушивалась к речи шефа, и меня вдруг осенило. Я поняла, что вы творили с нами: правительство, парламент, государственные учреждения, называющие себя народом, для которых народ всего лишь отговорка, чтобы обеспечить себе безопасность, — ведь это дико смешно. Полковник! Пусть они до скончания века сидят в своем Блюмлизальпе! И тут являешься ты со своей идиотской затеей: вытащить это правительство из могилы с помощью умирающих, из могилы, которую они сами себе вырыли. Неужели до тебя не доходит, что патриотизм — это глупость? Для чего это правительство вообще существует? Может, ты думаешь, что это единственное правительство, засевшее в подобном убежище? Правительства всего мира забрались в такие же норы, и именно это предсказывал Эдингер, такие же правительства, как наше, — без народа и без врагов.

Вдруг я понял, чего мне недоставало после того, как я убил Эдингера.

— Враг, — выговорил я медленно, — у меня нет больше врага.

Я почувствовал себя невероятно усталым и потерявшим всякую надежду.

Стало светло как днем, контуры горы расплывались перед глазами. Наступило утро. Девочка прошмыгнула мимо меня, прижалась к матери, стоявшей передо мной, — гордой и красивой.

— Отправляйся в Тибет, — сказала Нора, — на Зимнюю войну.

*(Здесь запись прерывается. Часть продолжения была обнаружена в одной из дальних галерей.)*

...Какое-то время назад (месяцы, годы) я сбился, запутался. И не потому, что живу в полной темноте, ориентируюсь я прекрасно и всегда нахожу дорогу к складу боеприпасов и консервов. Конечно, враг мог проникнуть в систему галерей, которую я держал под контролем, пока освещение было в порядке, возможно, враг и проник сюда, но зато теперь труднее найти меня самого.

Писать для меня — мучение. Проверить, исписал ли я уже стену, я могу с помощью крошечной части правой руки, не захваченной протезом, или касаясь щеками скалы. Пишу строки в два километра длиной, что удалось установить при помощи кресла на колесах — по количеству поворотов, и теперь всего две строки, одну под другой.

Меня не беспокоит ни возможность вражеского нападения, ни собственные трудности, я смирился со своим положением. Оно наполняет меня гордостью: ведь я стал на позицию Эдингера. В этом лабиринте под Джомолунгмой я являюсь единственным защитником Администрации. И я искупаю здесь убийство Эдингера, даже в том случае, если мой выстрел был для него избавлением. Его предложение донести философские знания до тех, кто занят ороситель-ными работами в Сахаре, теперь мне понятно. Он хотел восстановить философию. Нора оказалась права: благодаря моей функции и сложившейся судьбе я нужнее Администрации на Зимней войне. Как ни ужасно, это имеет смысл.

Я вспоминаю ту ночь у вершины Госаинтана на командном пункте, когда мы поймали на коротких волнах знакомый мотив: «Навстречу заре!» Может, случайно радиостанция Блюмлизальпа пробилась сквозь радиоактивность. Мы услышали также речь президента: он готов достойным образом вступить в переговоры с врагом. Мне было неприятно думать, что я служил такому правительству.

Иногда мы слышали и другие государственные гимны и представителей других правительств, сообщавших о своей готовности к мирным переговорам, как-то раз какой-то отчаявшийся беспрерывно говорил по-русски, однако мы не

знали русского языка. В конце он объявил о капитуляции на всех языках. Администрация, которой я служу теперь, неспособна на подобные заявления. Она не капитулирует никогда. Что меня все-таки сбивает с толку, так это одно событие, которого я не в состоянии осознать. Совершенно исключено, что война приняла катастрофический оборот для Администрации. Я верю в конечную победу. Это само собой разумеется.

Но когда я недавно, делая записи, добрался до места, которое, видимо, находилось недалеко от давно бездействующего борделя, я заметил какой-то огонек. Возможно, это был неприятель, не появлявшийся уже несколько лет. А вдруг враг предпринял генеральное наступление? Осторожно продвигаясь вперед, я оказался в большом зале, где было светло как днем и полно людей: мужчины, женщины, целые семейства, много фотографирующих; были и другие: в форме, объяснявшие здешнее устройство. Я был настолько поражен, что, ослепленный светом, въехал в гущу этой толпы и чуть было не выстрелил, но вовремя спохватился, сообразив, что нахожусь не среди вражеских наемников, а среди туристов.

Я дал предупредительный залп из автомата: туристы в опасности, ведь на них могли напасть враги. Какое легкомыслие — разрешить и организовать подобное посещение бывшего борделя. Люди в ужасе закричали и побежали в одну из больших галерей. Я последовал за ними — может быть, это все-таки замаскированные враги. Галерея, как и бордель, оказалась освещенной, пол — заасфальтированным. Вдруг я очутился под открытым небом. Из ледяной пещеры на меня уставились наемники в кислородных масках и с автоматами. Я выстрелил. Стекло разлетелось вдребезги: наемники оказались выставленными в застекленной витрине и искусно освещенными восковыми фигурами. Я находился в большом выставочном зале, в витринах которого передо мной представали все новые и новые сцены из Зимней войны. Я пришел в ужас, когда в одной из витрин узнал самого себя и командующего; наш командный пункт на вершине Госаинтана был воспроизведен с поразительной точностью. Так что я попал в музей.

В ярости я расстреливал витрины, перед глазами у меня расплывались силуэты одетых в форму людей, спасавшихся бегством, — служители музея. Я покатил за ними и неожиданно оказался у выхода. Снаружи виднелся парк с расту-

щими в нем рододендронами, голубое безоблачное небо, мужчина в белом халате, как врач, лысый, в очках, он махал белым платком. Я застрелил его и отправился обратно через музей в галерею, затем — в заброшенный бордель. Зажимом правого протеза поднял с пола какой-то проспект. На нем было написано: «Путеводитель по борделю в Гашербрум III: "Светящаяся стена"». Кругом валялись и другие проспекты, снабженные подобными заголовками. Лишь через несколько дней я добрался до старой пещеры.

В непроницаемой темноте я выцарапываю эти записи на стенах новой галереи. Меня обескуражило не проникновение сюда врагов. Я сбит с толку, так как всегда считал, что бордель находится под Канченджангой, в «Пяти сокровищницах великого снега», в восточных Гималаях, а Гашербрум, о котором в проспектах сообщается, что именно под ним находится бордель, расположен в горах Каракорума на расстоянии более тысячи километров в северо-западном направлении. Конечно, не исключено, что эти проспекты намеренно подделаны врагами.

Так и получилось, что мое прежнее местопребывание теперь небезопасно. Мне припомнилась одна пещера, в которой я, будучи еще лейтенантом, собирал свою первую ударную группу. Жестокий отбор: вряд ли выживет хотя бы треть группы. Я решил попробовать отыскать этот учебный лагерь в надежде, что снова найду эту группу, если только лагерь не занял неприятель. С такой опасностью тоже нельзя не считаться. Правда, обстоятельство, что туристы посетили бордель, как раньше посещали раскопки, указывает на то, что бои идут значительно западнее, однако возможно, враг завоевал большую часть территории, подчиняющейся Администрации, во что я, однако, не верю. И все же: я убил человека в белом халате, а он, может быть, принадлежал к Администрации. Но возможно, он все-таки был враг. На этом кончаю записи в этой галерее.

*(Конец записи.)*

Итак, я осторожно двинулся в сторону системы галерей, ведущих к учебному лагерю, запасшись провиантом на много дней вперед. Дорогу я помнил хорошо: не обладая абсолютной памятью, выжить в этой войне было бы невозможно.

На перекрестке двух галерей, о существовании которого можно было догадаться лишь по чуть ощутимому сквозняку, обязательно возникающему на любом перекрестке, мне почудился в соседней галерее какой-то скрежет. Звук был такой, как будто кто-то царапал по стене. Медленно въехав в галерею, я продвигался вперед осторожно, сантиметр за сантиметром, остановился, прислушался: царапанья больше не было слышно, мне показалось, что кто-то едет навстречу, потом опять стало тихо. Продвинувшись вперед еще немного, я опять остановился, прислушался. Снова кто-то катил мне навстречу. Снова стало тихо. Я двинулся дальше, остановился, прислушался. Это сближение длилось несколько часов. Вдруг кто-то вздохнул совсем близко, я застыл, задержав дыхание. Снова рядом кто-то вздохнул. Поскольку поблизости могло оказаться еще много врагов, автомат лучше было не применять. Размахнувшись правым хватательным протезом, я ударил и угодил в пустоту; продвинувшись, ударил снова; раздался такой звук, как будто сталь стукнулась о сталь. Продолжая колотить своим протезом, я выпал из кресла и начал кататься с кем-то или с чем-то другим по полу, нанося удары, иногда попадал по чему-то металлическому, иногда — по чему-то мягкому. Потом тот, другой, перестал двигаться. Я попробовал найти свое кресло-каталку. Теперь это был сплошной металлический лом. Я пополз на своих культях и остатках протезов, свалился в какую-то шахту, ударился обо что-то лицом, перекувырнулся и провалился в следующую шахту.

Видимо, я был без сознания. Когда наконец пришел в себя, то оказалось, что я лежу в чем-то клейком, покрывавшем мне лицо. Подумал: надо открыть огонь — ведь кругом враги, однако мой левый протез с автоматом пропал. Я остался безоружным.

Я еще существую. По всей вероятности, нахожусь в пещере. Чувствую, что лицо мое превратилось в кровавую массу. Подо мной — мелкие камушки. Я с трудом волокусь вдоль стены; наверно, пещера бесконечная. То подует ледяной ветер, то наступит невыносимая жара: возможно, где-то поблизости работают огромные мастерские по производству оружия; только неизвестно для кого: для нас или для неприятеля.

Положение у меня безнадежное. Теперь, когда я предоставлен самому себе и ползу вдоль стены этой ужасной пе-

щеры, часто делающей немыслимые повороты, я задаю себе вопрос, на который никогда не отважился бы во время боев: кто же враг? Теперь этот вопрос уже не расслабит меня, так же как и ответ на него. Мне нечего терять. В этом моя сила. Я стал непобедим, разгадав загадку Зимней войны.

У меня больше нет кресла-каталки, протез с автоматом валяется где-то далеко в одной из галерей, однако при помощи стального грифеля я выцарапываю крошечными буковками на скале свои раздумья — не для того, чтобы их прочли, а чтобы лучше сформулировать мысль. Выцарапывая мысль на камне, одновременно я выцарапываю ее в своем мозгу: путь, ведущий к познанию, пройти трудно, еще труднее — те пути, которые я оставил позади с тех пор, как в маленьком непальском городке скатился с грязной лестницы. Без дерзкого вымысла путь познания не пройти. И вот я представляю себе свет в той абсолютной темноте, в которой пребываю, не абсолютный свет, а лишь такой, что соответствует моему положению.

Я представляю себе людей в какой-то пещере, людей, у которых смолоду бедра и шея скованы цепью — так, что они сидят совершенно неподвижно и могут смотреть только впе-

ред, на стену пещеры. В руках у них автоматы. Вверху светит огонь. Между людьми и этим огнем есть переход. Вдоль него мне видится невысокая стена. А по этой стене здоровенные тюремщики проводят людей, тоже закованных в кандалы и с оружием в руках.

И тогда, продвигаясь ползком по камням на полу пещеры и выцарапывая на стене свои каракули, я задаюсь вопросом: увижу ли я себя и других иначе, чем в виде теней, отбрасываемых огнем на стену, расположенную против моего лица, и не приму ли тени этих фигур за них самих? Ну вот, и если голос, идущий непонятно откуда, крикнет мне, что эти тени, вооруженные тенями от автоматов, мои враги, то не случится ли, что, выстрелив в эти тени на стене пещеры, я вроде бы убью тех, кто, как и я, закован в кандалы, потому что пули, отскочив от стены, рикошетом попадут в них и, возможно, что и они, верящие в то, во что верю я, и действующие подобно мне, убьют меня? Однако, если меня освободят и заставят вдруг встать, повернуть голову, ходить вокруг, смотреть на свет и если при этом я почувствую боль и из-за непривычно яркого света не смогу смотреть на людей, тени которых все

время видел до этого, людей, находящихся в том же положении, что и я, разве не сложится у меня тогда мнение, что тени, которые я видел раньше, реальнее людей, представших передо мной воочию? И если я вынужден буду долго смотреть на свет, то, спасаясь от боли, снова повернусь к людям-теням, на которых я в силах глядеть; и я останусь в убеждении, что эти тени гораздо отчетливее, чем люди, которых мне показали, потому что именно тени — мои враги; и разве не начну я опять стрелять, чтобы убить их и чтобы они снова и снова убивали меня самого?

Дальше рассуждать незачем! Когда-то я уже боролся с подобным представлением, может, я де-то все это вычитал, может, сам придумал, не знаю. Скорее всего, я выдумал это, выписывая на скале свои размышления.

Огонь, отбрасывающий тени, возник в первобытные времена, не случайно звери боятся огня, огонь — что-то враждебное, а враг человека — его собственная тень.

Потому я и застрелил Эдингера и висевшего в пещере мужчину, убил командующего: они ведь больше не верили, что тени — враги, они знали, что, так же как и я, закованы в кандалы.

И теперь, думая обо всем этом, я вдруг понял Администрацию: победив в трех мировых войнах, она управляет человечеством, которое из-за того, что им управляют, потеряло смысл; животное-человек лишено смысла, его существование на Земле совершенно бесцельно. Для чего он вообще существует, человек? Вопрос, на который ответа нет. У человека и у Земли нет предназначения. Человек страдает, по сути он болезненное животное, но его проблема не только страдание само по себе, а то, что отсутствует ответ на кричащий вопрос: «Ради чего страдать?» Человек — самое храброе и привычное к мучениям животное, он не отвергает страдание как таковое, он жаждет его, ищет его при условии, что ему укажут смысл, смысл страдания. Бессмысленность страдания, а не само страдание — вот проклятие, какого не могла снять с человека Администрация, не возвратив человеку прежнего смысла существования — врага, от которого она его чудовищным способом избавила.

Человек может существовать только как хищное животное. Нельзя придумать жребия страшнее, чем судьба хищного зверя, гонимого жестокой мукой лабиринтами под Джомолунгмой, Макалу, Манаслу или Госаинтаном, редко

находящего успокоение, да и успокоение превращается в пытку в жестокой борьбе с другими хищными животными или в тошнотворной алчности и пресыщении подземных борделей. Так слепо и дико цепляться за жизнь, без иного вознаграждения, нисколько не понимая, за что так наказан, желая этого наказания как счастья, — это и значит быть хищным животным; и если вся природа устремилась к разбою, то так она дает понять, что это необходимо для освобождения от проклятия жизни и что таким образом само бытие смотрится в зеркало, в котором жизнь видится уже не бессмысленной, а предстает в своем метафизическом значении. Подумайте хорошенько: где кончается хищное животное, свирепая, кровавая обезьяна, называемая человеком, и где начинается сверхчеловек? В существе, обозревающем преисподнюю пещерной жизни, куда он загнан; в том, кто сорвал этот искуснейший покров с истины, под которым она была запрятана: цель человека — быть врагом самого себя, человек и его тень едины. Кто дошел до этой истины, тому достанется мир и он постигнет смысл Администрации.

Господин мира — я. В ослепительно ярком свете вижу я себя в своем кресле-каталке выбирающимся из галереи в пещеру; и из галереи напротив себе навстречу качу я сам, у нас у обоих по два автомата, приделанных к протезам, выцарапывать на стенах больше нечего, мы направляем все четыре автомата друг в друга и одновременно стреляем.

*(Труп наемника был найден альпинистами у подножия Гашербрума III, 7952 м, у Каракорума, на откосе осыпи. Наемник примерно сто пятьдесят метров протащился вдоль скал, выписывая правым протезом записи на стене и на больших камнях, которые он, по-видимому, принял за отвесную стену Гашербрума III или какую-нибудь другую гору. Его лицо представляло собой кровавую массу. Вероятно, он ослеп. Вообще на труп, видимо, нападали стервятники, но потом оставили его в покое.*

*В записях разобраться очень трудно, так как они часто, и в галереях Гашербрума III тоже, почти все время написаны справа налево, а не слева направо, то же самое наблюдается и на противоположной стене, возможно, так получилось из-за кресла-каталки: наверно, в темноте наемнику было удобнее писать именно таким образом. Снаружи, на осыпи, у подножия горы, он продолжал писать длиннющей цепочкой в сто пятьдесят метров*

*справа налево, малюсенькими буквами, их трудно разобрать, отсутствуют интервалы между словами и знаки препинания.*

*Окончательный текст заключает в себе его ранние философские исследования, по всей вероятности, это реминисценции, некий коллаж из Платона («Государство», Пещерная притча) и Ницше («Генеалогия морали», «Шопенгауэр как воспитатель»). Почти неспособный уже думать самостоятельно, он вынужден был пользоваться цитатами. Сам того не желая, он выстроил не философию вообще, а собственную философию. Во всяком случае, мы должны это предположить, с тех пор как нашли в Джеймстауне (Австралия) библиотеку, принадлежавшую, наверно, какому-то философу; главное наше дополнение к Швеглеру. (Кроме «Государства» Платона и Собрания сочинений Ницше, в библиотеке оказался еще «Миф XX века» Розенберга. Поскольку ни Ницше, ни Розенберг не встречаются у Швеглера, современная наука рассматривает их как философские фикции.)*

*Однако эти записи полны противоречий. Тяжелое положение, в котором все еще находится человечество после Третьей мировой войны, позволяет Администрации финансировать только одну исследовательскую группу для работы на массиве Гашербрум. Незадолго до окончания ее работ горный массив обвалился из-за того, что наемники чересчур изрыли его изнутри. Почему они думали, что находятся в Гималаях, непонятно.*

*Существует единственная копия этих записей. Ученые считают, что они сделаны двумя «я». Номер 60 23 01 23, который немой поставил на стене, может быть прочитан и как число Лошмидта: $6{,}023 \cdot 10^{23}$. Впрочем, именно записям мы обязаны новым открытием этого числа.*

*Второе «я» — это, по всей видимости, глухонемой. Кнюрбёль, Хопплер и Артур Полл считают, что этот глухонемой — Джонатан. Ведь он тоже писал на скалах. Странно, что позже он не появляется. Нора рассказывала «полковнику», что Эдингер вместе с глухонемым пытались вспоминать математику, физику и астрономию; «полковник» же поглощен был проблемой врага, а часть записей посвящена судьбе человечества и связывает этот вопрос с небесными светилами; совершенно невозможно представить, чтобы эта часть записей принадлежала «полковнику».*

*Другие, такие, как Штирнкналь, Де ла Пудр и Тайльхард фон Цель, указывают, что в архиве Администрации не упоминается ни о каком Эдингере и что записи представляют собой фантазию, захватившую «полковника», который, оказавшись в безнадежном положении, словно бы разделился на действующего и мыслящего наемника.*

*Ко всему надо еще добавить, что мы ничего конкретного не знаем о погибшей Европе. Сохранилась лишь музыка, достижение этого континента. К примеру, мелодия «Навстречу заре!». То, что некий радиолюбитель на днях якобы поймал этот мотив на коротких волнах, вызывает сомнения, потому что он известный пропойца.)*

# Лунное затмение

# Mondfinsternis

В середине зимы, перед самым Новым годом, через деревню Флётиген, лежащую у подножия горы, откуда начинался подъем в горную долину Флётенбах, проехал огромный «кадиллак», с шумом пропахав широким брюхом заснеженную улицу, и остановился у гаража, возле ремонтных мастерских.

Из машины с трудом вылез Уолт Лачер, двухметровый колосс с мощным квадратным торсом, прибывший вместе со своим «кадиллаком» чартерным рейсом из Канады в Швейцарию, в Клотен, — шестидесяти пяти лет от роду, с кудрявыми седыми волосами, всклокоченной седой бородой с пучками черных волос, в меховой шубе и унтах.

— Цепи, — бросил он хозяину гаража и спросил, не глядя, не сын ли он Виллу Граберу.

— Младший, — ответил тот, — пораженный, что заморский великан говорит на бернском диалекте, да еще с флётенбахским выговором. Грабера уже больше тридцати лет нет в живых. Он что, знал его отца?

— Да, он продавал велосипеды, — ответил Лачер.

Хозяин гаража посмотрел на него недоверчиво.

— Куда вам? — спросил он наконец.

— Наверх, в долину, — сказал Лачер.

Наверх он, да еще с цепями, не проедет, проворчал хозяин, эти чудики с горы отказались оплатить снегомет, к ним даже почтовый автобус не ходит.

— Все равно давай цепи, — приказал Лачер, топчась в меховых унтах по рыхлому снегу, пока Грабер возился с цепями. Расплатившись, он втиснулся в «кадиллак» и тронулся наверх, в долину, мимо ребятишек, катавшихся на салазках с горы, мимо последних дворов, уже чувствуя, как заносит машину. Чуть только дорога стала выравниваться, он нажал на газ и тут же сшиб крылом телеграфный столб, тот, хрустнув, переломился пополам, а «кадиллак» опять

вырулил на дорогу — та круто поднималась в гору и уходила в лес; на одном из поворотов машина, несмотря на цепи, сползла с крутого склона и прочно застряла в мягком снегу.

Лачер пробует выбраться из машины — метровой глубины снег мешает ему открыть дверцу — и тут же проваливается по пояс. Он карабкается по склону к дороге, срывается вниз, опять лезет наверх и, почувствовав ногами дорогу, отряхивается, снег сыплется с шубы.

Он упрямо месит рыхлый снег, дорогу местами совершенно не видно. Белые ели с прогнувшимися от тяжести лапами срослись по обеим сторонам в сплошную бесформенную снежную массу. Лачер шагает как в разломе глетчера. Небо над ним искрится и сверкает холодным серебром. Он обо что-то спотыкается, падает, встает, выуживая из-под снега то, обо что споткнулся, — в руках у него труп, он встряхивает его, сбрасывая снег; остекленевшими глазами глядит на него старик с заиндевевшим лицом и белой обледеневшей щетиной. Лачер бросает труп и шагает дальше, доходит до прогалины — на макушках елей кровавые блики уходящего за черную гору солнца, но небо еще в светлых отблесках, только под ели легли густые сине-черные тени. Дорогу перебежала косуля, ей тоже трудно в глубоком снегу, за ней вторая — смотрит на него застывшими в смертельном страхе круглыми блестящими глазами. Лачер почти доходит до нее, и тогда она бесшумно исчезает в лесу. Придавленный снегом кустарник преграждает ему дорогу. Лачер продирается сквозь него, превращаясь в огромного снеговика, выйдя, отряхивается, пытаясь сбросить с себя обрушившиеся на него горы снега. Все вокруг плывет в сумеречном свете — снеговые шапки на елях, только что сверкавшие льдинками и теперь быстро погрузившиеся в темноту неба. В одном месте Лачер, поскользнувшись, сползает по склону вниз, налетает с размаху на здоровенную ель, обрушивая на себя лавину снега, и теряет не меньше получаса, прежде чем вновь выбирается на дорогу. Он напрягается из последних сил, дыхание его вырывается клубами горячего пара, кромешная тьма заливает все вокруг, он пробивается как сквозь снежную стену, ничего не видя и не различая, и вдруг ощущает свободу.

Ели отступают назад, на небе горят звезды, почти в зените над ним Капелла, Орион закрыт наполовину зубчатым горным хребтом — Лачер хорошо разбирается в звездах*. Перед ним вырастают расплывчатые очертания скалы, огромной, как небоскреб, он ощупью пробирается, осторожно огибая ее,

и выходит опять на дорогу — вспыхивают огни, светит уличный фонарь, в домах три-четыре освещенных окна. Дорога расчищена и даже посыпана солью.

Лачер входит в деревенский трактир «Медведь», идет по узкому коридору, открывает дверь с табличкой «Зала», останавливается на пороге, оглядывается — за длинным столом вдоль ряда крохотных оконцев сидят крестьяне горной деревушки, толстый полицейский, сам хозяин трактира, а в дальнем углу, на конце стола, под фотографией генерала Гисана* на стене, четверо парней играют в ясс.

Лачер садится за столик около напольных часов, не снимая меховой шубы, и говорит, что в снегу на дороге, во флётенбахском лесу, лежит труп.

— Это старик Эбигер, — произносит хозяин трактира, раскуривая короткую сигару.

Лачер заказывает литр беци*. Девушка за стойкой вопросительно смотрит на длинный стол. Хозяин трактира, толстый, приземистый мужчина, в рубашке без воротничка и в распахнутой жилетке, поднимается из-за стола и подходит к Лачеру.

Литр беци? Не может быть и речи, говорит, двести граммов, пожалуйста. Лачер пристально разглядывает его.

— Шлагинхауфена сын Зеппу стал, значит, новым трактирщиком. Может, заодно и председателем общины?

— Подумать только, — удивляется трактирщик. — Да вы никак знаете меня?

— А ты пошевели мозгами, — говорит Лачер.

— Бог ты мой, — прозревает вдруг трактирщик, — да ты уж не Лохеров ли Ваути?

— Ты всегда туго соображал, — говорит Лачер. — Так где литр твоей беци?

По знаку хозяина девушка выносит бутылку, наливает Лачеру. Тот, все еще не сняв мокрую, в ледяных сосульках шубу, опрокидывает стопку водки и тут же наливает себе опять.

— Откуда ты, черт побери, взялся? — спрашивает трактирщик.

— Из Канады, — отвечает Лачер, наливая себе еще и потом еще раз.

Хозяин вновь раскуривает сигару.

— Вот Клери удивится, — говорит он.

— Какая еще Клери? — не понимает Лачер.

— Ха! Цурбрюггенова Клери, — недоумевает трактирщик. — Та, которую у тебя тогда Мани Дёуфу увел.

— Ах вот что, — говорит Лачер и наливает себе еще. — Цурбрюггенова Клери теперь жена Дёуфу Мани. Я как-то совершенно забыл об этом.

— И хоть Клери была тогда беременна от тебя, — продолжает трактирщик, — она все равно стала женой Мани.

Оторопев на мгновение, Лачер опрокидывает стопку.

— Ну и что там получилось? — спрашивает он наконец.

— Малец. Ему теперь уже под сорок. Вон он там под генералом Гисаном режется в ясс.

Лачер даже не глядит в ту сторону.

— А кем же ты стал в Канаде? — спрашивает его трактирщик, попыхивая сигарой.

— Уолтом Лачером, — отвечает тот.

— Воутом Ла-а-чером, — тянет удивленно трактирщик. — Чудно́е какое-то имя.

— Да так по-ихнему читается Лохер, — объясняет Лачер.

— А зачем назад приехал? — спрашивает трактирщик, чувствуя вдруг закипающее в нем недоверие, сам не ведая почему.

— А вы все по-прежнему тут копошитесь? — хмыкает Лачер, даже не взмокнув в своей дохе, хотя пьет домашнюю водку, как воду.

Э-э, да чего уж, в этой дыре то дождь льет, то снег сыплет, вздыхает трактирщик. Долина прозевала момент, не подключилась к прогрессу, вот многие и спустились вниз, а тут застряли только те, кто поглупее, кому все равно, бедны они как церковные мыши или нет. Ему самому тоже не ахти как повезло. Не говоря уже о том, что не велика честь быть председателем одной из самых заброшенных общин в горах под Берном, его и в личном плане постигла неудача — его первая жена, Оксенблутова Эмми, не беременела, и все тут, наконец один доктор, кудесник из Аппенцелля, помог ей, и она родила Сему, но, по всему, была уже стара для этого и померла от родов. Тогда он через год женился на молоденькой, из Флётингена, от нее у него дочь Энни, вот только что конфирмация была, но матери-то всего лишь тридцать два, он уже стар для этой чертовки, тут глаз да глаз нужен.

А Лачер пил тем временем водку, и нельзя было понять, интересует его болтовня трактирщика или нет.

— В Канаде, — заметил он сухо, — у меня земли больше, чем все ваши горные общины тут, вместе взятые. Уран,

нефть, железо. — Потом спросил: — Сколько вас тут осталось еще наверху?

— Шестнадцать, — ответил трактирщик, — остальные ушли.

— А учитель и полицейский откуда? — спрашивает Лачер.

— Учительницу прислали из столицы, а полицейский из Конигена, — говорит трактирщик. — Он же и инспектор лесных угодий.

— Учительница и полицейский не в счет, — бросает Лачер. — Значит, вас четырнадцать семей. И я даю вам четырнадцать миллионов.

— Четырнадцать миллионов? — ахает трактирщик и разражается смехом. — Эка размахнулся, поди, не по карману!

— Мне по карману сумма и побольше, — говорит жестко Лачер.

Трактирщику становится не по себе.

— Четырнадцать миллионов? За так? — спрашивает он тихо.

— Нет, — говорит Лачер. — За это вы мне прикончите Дёуфу Мани.

— Дёуфу Мани? — трактирщик не верит своим ушам.

— Дёуфу Мани, — повторяет Лачер.

— Убить до смерти? — переспрашивает трактирщик. — Его? — И не знает, что даже думать по этому поводу.

— Ну что ты вылупился, как идиот, — говорит Лачер. — Я когда-то поклялся отомстить, теперь вот вспомнил и клятву свою сдержу.

Трактирщик не мигая смотрит на Лачера.

— Ты спятил.

— С чего ты взял? — ухмыляется Лачер.

— Ты просто слишком много выпил, — решает трактирщик, его вдруг начинает бить озноб.

— Слишком много для меня никогда не бывает, — говорит Лачер и наливает себе еще стопку беци.

— Клери у Мани уже совсем старушка, — произносит задумчиво трактирщик.

— Клятва есть клятва, — говорит Лачер.

— Ты просто рехнулся, Воут Лаачер, — убежденно заявляет трактирщик, встает, тоже приносит себе водки и опять садится. — Просто окончательно рехнулся.

— Мне и это по карману, — смеется Лачер.

— А кому ты, собственно, собираешься мстить? — спрашивает трактирщик, постепенно до него доходит, что тот вовсе не шутит. — Клери или Дёуфу?

Лачер задумывается.

— Забыл, — говорит он наконец. — Помню только, что должен отомстить, помню, что поклялся.

— Бред какой-то, — не может прийти в себя трактирщик и качает головой.

— Возможно, — соглашается Лачер.

Трактирщик молча пьет.

— Тридцать миллионов, — произносит он наконец нерешительно.

— Четырнадцать, — твердо говорит Лачер, опрокидывая стопку. — Вы и с этими-то ничего путного не сделаете.

— Когда? — спрашивает трактирщик.

— Через десять дней, — отвечает Лачер.

— Завтра созову общину, — соображает трактирщик, — только без полицейского.

— Давай действуй, — говорит Лачер.

— Община не согласится, — заявляет трактирщик.

Лачер смеется.

— Согласится. И Дёуфу Мани тоже, я этого сморчка знаю.

Лачер встает.

— Отнеси мне бутылку в комнату.

— Фрида, приготовь четырнадцатый номер, — приказывает трактирщик.

Девушка стрелой взлетает по лестнице. Лачер смотрит ей вслед.

— Хорошая служанка, старшая у Бингу Коблера, — говорит трактирщик.

— Главное, телом хороша, — говорит Лачер и тоже поднимается по лестнице.

Трактирщик за ним.

— У тебя что, нет никакого багажа? — спрашивает он.

— В машине, — говорит Лачер. — Она застряла в снегу недалеко от Флётигена, на краю леса, сползла с дороги по склону вниз. Вместе с четырнадцатью миллионами. В тысячных купюрах.

Они входят в комнату. Фрида стелет постель. Лачер бросает в угол шубу, открывает одно из двух маленьких оконцев, в комнату врывается вихрь снега, он стоит в одном тренировочном спортивном костюме — темно-синем с двойными желтыми полосами. Лачер стаскивает унты. В дверях появляется молодой человек высокого роста, однако несколько толстоватый для своих лет.

— Это мой сын Сему, ему восемнадцать, — представляет его трактирщик.

Лачер снимает синий тренировочный костюм, под ним у него красный, с двойными полосами, он снимает и красный, голым подходит к ночному столику, где уже стоит бутылка с водкой, отвинчивает крышку, пьет, в комнату опять метет снегом. Лачер могуч, без лишнего жира, загорелый, только волосы, густо покрывающие его тело, седые. Трактирщик стоит в дверях. Сему не отрываясь смотрит вытаращенными глазами, Фрида, опустив голову, откидывает на свежезаправленной постели одеяло.

— Раздевайся, — приказывает Лачер, — я без женщин не сплю.

— Да, но... — подает голос Сему.

— Пошел вон! — кричит на него трактирщик и прикрывает дверь. — Идем!

Он с грохотом спускается по лестнице.

— Болван! — орет он на сына. — Запрягай коней и скажи Оксенблутову Мексу, пусть приведет своих двоих тоже. Надо вытащить машину Ваути Лохера. Ты даже не представляешь себе, какой шанс мы можем упустить. Потом будешь вечно волосы на себе рвать, что не дал ему переспать со своей Фридой.

Четырех лошадей хватило, правда, одна из них, Оксенблутова, оступилась, сорвалась и с шумом унеслась во Флётенбахское ущелье, но «кадиллак» утром стоял во дворе «Медведя». Голубое небо, яркое, до рези в глазах, солнце. В трактире за столом на кухне сидит хозяйка с дочерью Энни, и Фрида тоже тут, бледная и измученная после бессонной ночи. Они пьют кофе с молоком, трактирщик наливает себе полную чашку. Он опять требует кого-нибудь к себе наверх, говорит Фрида и намазывает хлеб маслом. Она может быть сегодня свободна, решает трактирщик. Вместо нее за стойкой постоит его жена. Но он хочет теперь другую, говорит Фрида, вонзая зубы в кусок хлеба с маслом. Трактирщик пьет кофе с молоком. Между прочим, Лохер называет себя теперь Лаачером, Воутом Лаачером, поясняет он. Женщины молчат. А в чем, собственно, дело? — спрашивает жена. Шанс появился, колоссальный шанс, кричит трактирщик, встает и, с шумом и грохотом поднявшись по лестнице, толкает дверь.

Окно закрыто, Лачер ест в кровати яичницу с ветчиной, пьет из огромной чашки кофе с молоком, бутылка рядом пуста. Машину они притащили, докладывает трактирщик.

А мертвец где? — спрашивает Лачер. Тоже привезли, это старик Эбигер, отвечает трактирщик, а почему его так интересует мертвый? А кто его знает, пожимает плечами Лачер. Ключ зажигания все еще торчит в замке? Целая связка ключей, говорит трактирщик. Так вот, тем ключом можно открыть багажник, поясняет Лачер, пусть принесут сюда чемодан, и, кроме того, трактирщику хорошо известно, что́ ему еще надо сюда поставить.

Трактирщик, крутанувшись на месте, кидается по лестнице вниз, бросается к машине и появляется через некоторое время с большим старым чемоданом в руках, он стремительно поднимается с ним наверх, кладет чемодан на столик у маленького оконца, что в ногах у Лачера, открывает его и остолбеневает при виде пачек из одних только тысячных купюр. Сколько же тут? — хрипит он. Тютелька в тютельку четырнадцать миллионов, говорит Лачер. Значит, ему все про них тут в деревне было известно, медленно доходит до трактирщика. Он всегда получает нужную информацию, бросает лениво Лачер.

Трактирщик открывает дверь.

— Энни! Энни! — кричит он чуть ли не десять раз подряд, пока внизу в дверях не появляется с широко раскрытыми глазами Энни, что ему от нее нужно. — Подымайся сюда. — И когда она поднимается, он вталкивает ее в комнату к Лачеру.

— Вот, вот и вот, — кричит он и показывает ей пачки денег, — вот он, шанс, раздевайся и ложись к Лаачеру.

Она же только что от конфирмации, сопротивляется Энни.

— Э-э, брось, — обрывает ее трактирщик, — ведь с Хинтеркрахеновым Хригу ты успела уже переспать, да и мать твоя проделывала то же самое еще до конфирмации.

Энни раздевается, а трактирщик, повернувшись спиной к кровати, начинает пересчитывать деньги. За спиной у него вскрикивает Энни.

Трактирщик считает и считает, в каждой пачке по десять тысячных купюр, солнце слепит ему сквозь оконное стекло глаза, а он считает и считает, за его спиной слышится прерывистое дыхание Энни. В окне, нижняя часть которого закрыта крышей соседнего дома, отражается все как в зеркале — видна танцующая спина голой Энни, — пятьсот тысяч он уже отложил, думает трактирщик, но ему надо точно знать, сколько тут всего, сзади него дыбится огромное тело

Лачера, двигается размеренно, как маневровый паровоз из костей и мяса. Трактирщик считает и считает, Энни опять вскрикивает, а он все считает, уф, миллион наконец, осталось еще тринадцать, ему надо пощупать руками каждую бумажку. Теперь давай сюда Фриду, командует Лачер. Еще, еле переводя дыхание, с трудом выговаривает Энни. Ну держись, я тебе сейчас покажу, смеется Лачер. Кровать ходит ходуном, стоит уже поперек комнаты, а трактирщик все считает и считает, солнце ушло в сторону, потускневшие стекла отсвечивают все четче и четче, два миллиона. Не могу больше, кричит Энни. Фриду сюда, приказывает трактирщик, а Энни пусть позовет еще и Оксенблутову Ойзи. И водки пусть принесут, вставляет Лачер. Трактирщик считает, не отрываясь, дальше, а позади него опять все начинается сначала, сперва медленно, потом все быстрее и быстрее, и не одна только Фрида тут, но и Энни тоже. А Оксенблутова Ойзи придет? — спрашивает трактирщик, считая одну тысячу за другой. За ней мама пошла, задыхаясь, произносит Энни, она еще и Хаккерову Сюзи приведет, а трактирщик считает и считает, пальцы его дрожат все сильнее и сильнее, и, когда ему кажется, он сбился со счета, он пересчитывает пачку заново. Прошло много часов, небо потемнело, трактирщик зажег свет, чтоб лучше было видно, позади него давно уже тишина — ни хрипов, ни скрипа, ни голых пляшущих спин, ни огромного тела Лачера, а он все считает и считает. Вдруг в черном окне опять заплясала голая спина, то ли Оксенблутовой Ойзи, то ли Хаккеровой Сюзи, а он все считает и считает, за окном уже ночь, все громче и громче за его спиной и стоны, и сопение, и рев, и вскрики.

Трактирщик вдруг вскочил, точно четырнадцать миллионов, закричал он, тютелька в тютельку, и бросился из комнаты по лестнице вниз — в зале уже собралась вся община, с трактирщика пот льет ручьем, тютелька в тютельку четырнадцать миллионов, он их сам пересчитал, говорит он сдавленным от возбуждения голосом: споткнувшись и чуть не перелетев через головы трех примостившихся на предпоследней ступеньке мужиков, он двинулся к длинному столу, где сидит Хегу Хинтеркрахен, писарь общины, зала полна, за каждым столиком крестьяне.

— Протокол вести? — спрашивает Хегу.

— С ума спятил, — подскочил трактирщик, — нечего тут писать, и спросил своего сына, резавшегося, как и вчера вечером, в конце стола с Мани Йоггу, Оксенблутовым Мексу

и Хаккеровым Миггу в ясс, уладил ли он дело с полицейским.

— Отнес ему корзину красного, — сказал Сему, — тот уже нализался и дрыхнет.

— Может, приступить уже к делу? — спрашивает Херменли Цурбрюгген, речь, собственно, идет об этом «чучеле», муже его сестры, о Дёуфу Мани, лично он всегда был против этого брака, было бы лучше всего сразу прихлопнуть его прямо за «Медведем» и закопать во флётенбахской земельке, четырнадцать миллионов есть четырнадцать миллионов, а пока пусть кто-нибудь сбегает к училке, чтобы она ненароком не заявилась проведать трактирщицу, ну вот хоть Мани Йоггу, она его страсть как любит, а Йоггу пусть еще попросит почитать ему стишки, она же их все время сочиняет.

— А где учительница-то? — спрашивает трактирщик.

— Она в церкви, играет на органе, просидит там еще часа два, — говорит Оксенблутов Рёуфу, брат Оксенблутова Мексу.

— Ну и прекрасно, тогда, пожалуй, можно и начать, — рассудил трактирщик, его мнение таково: первым будет говорить Дёуфу Мани, у них как-никак в стране демократия.

А о чем ему говорить, выдыхает Мани, худой, слегка сгорбленный крестьянин, весь какой-то косой и кривой, когда встает; ему, как и всем в деревне, тоже нужны деньги, не настолько он глуп, чтобы не понять этого, пусть даже они будут стоить ему жизни, ведь жизнь так и так давно уж не радует его, так что пусть они собираются и пристукнут его, лучше всего, как предложил Херменли Цурбрюгген, прямо сейчас. Мани садится на свое место. Мужики потягивают красное вино и молчат.

Свои слова про «чучело» он берет назад, подает голос Цурбрюгген. Мани вел себя порядочно, прямо даже очень порядочно, остается только решить, кто его ударит за «Медведем» топором.

Но тут вдруг с лестницы раздается девичий голосок, Воулт Лаачер просил сказать, что все должно свершиться ночью, в следующее полнолуние. На лестнице нагишом стоит Хинтеркрахенова Марианли, те, кто сидит близко к лестнице, в смущении отвернулись, но она уже исчезла наверху за дверью.

— А девка-то его ничего, — ухмыляется Миггу Хаккер, тасуя карты и кивая на писаря.

Заткнулся бы, огрызается писарь, закуривая «Бриссаго», как будто евоная не побывала там наверху. А Сему говорит,

разбирая свои карты, его невесту теперь силком не вытащишь от Ваути Лохера, так его, собственно, зовут, никакой он не Лаачер. В деревне вдруг такое стало твориться, какое разве только в немецких книжках с картинками увидишь, тех, что продаются в табачном киоске; и, посмотрев на свои карты, объявил: вини.

Значит, до полнолуния ничего не выйдет, рассуждает вслух трактирщик, не то они его ухлопают, а Лохер не даст им ни шиша.

— А на какой день падает полнолуние? — спрашивает хилый допотопный старикашка с космами белых волос, без бороды и с таким морщинистым лицом, будто ему давно уже перевалило за сотню.

Он не знает, говорит трактирщик, сначала Лохер сказал — через десять дней, а теперь говорит — в полнолуние. Чудно́.

А потому что полнолуние будет в воскресенье, то есть через воскресенье, вот и пройдет десять дней, говорит старикашка, попивая красное винцо, и всем будет крышка. Ваути Лохер точно рассчитал, когда будет полнолуние, да еще первое в новом году, но и он не лыком шит, тоже знает, так что Ваути Лохеру его не провести.

Херменли Цурбрюгген вскакивает как ошпаренный. И они тоже знают, что Ноби Гайсгразер всегда знает все лучше других и что ему везде мерещится черт да его теща, но ему, Херменли, на это наплевать.

Он не притронется к деньгам, упорствует старик, не возьмет ни десятки.

— Тем лучше, отец, — выкрикивает ему в лицо Луди Гайсгразер, его сын, ему тоже уже под семьдесят; в таком случае все достанется ему одному, а старик пусть подохнет, как он того давно желает им — своему сыну и своим внукам, и весь стол с восемью Гайсгразерами хором кричит: сами все возьмем, одни!

Гробовое молчание в зале.

Тогда у него есть, пожалуй, что сказать, говорит своему сыну старик.

Но тот только смеется в ответ, нечего ему сказать, пусть лучше попридержит язык за зубами, а не то он пойдет к префекту в Оберлоттикофене и расскажет, от кого у его сестры двое внебрачных идиотов и кто обрюхатил его младшую дочь; если уж есть кто на свете старый греховодник, так это Ноби, старый козел, а они если даже и убьют Мани, так только потому, что им позарез нужен миллион.

— Может, еще кто хочет что сказать? — спрашивает трактирщик и вытирает пот со лба.

— Кончим на этом, — говорит Мани и идет к двери, протискиваясь промеж тесно сидящих крестьян, — прощайте пока. — И выходит.

Гробовое молчание.

— Надо приставить кого-нибудь к Мани, чтобы он не смылся, лучше даже двоих, а еще лучше, если караульные будут сменять друг друга, — говорит Оксенблутов Мексу.

— Надо бы организовать, — соглашается общинный писарь.

Опять гробовое молчание.

Наверху на лестнице показалась сияющая Фрида, голая, как и Марианли, и потребовала, тяжело дыша, как загнанная лошадь, бутылку беци.

Трактирщик распорядился, чтобы Сему принес еще одну литровую бутылку, и уселся, довольный, под застекленный навесной шкафчик с серебряным кубком от ферейна борцов, которого уже давным-давно не было и в помине, так что последнему борцу их общины, Оксенблутову Рёуфу, приходилось бороться со спортсменами из Флётигена.

Бингу Коблер, глядя остолбенело на Фриду, шепчет заплетающимся языком: это же его дочь.

А Сему, галантно изогнувшись, подал своей нареченной, стоящей перед ним в чем мать родила, бутылку, за что община дружно награждает его аплодисментами — он внес свою лепту в общее дело. Фрида кидается назад к Лохеру.

И только Рес Штирер, неподвижно сидящий, уставившись в одну точку, толстый крестьянин с красным носом и руками мясника, нарушает вдруг повисшую над всеми тишину, тяжело обронив: надо сделать так, чтоб все выглядело как несчастный случай, — посадить Мани под елью, а потом повалить ее.

— Под буком, — деловито предлагает общинный писарь, подхватывая мысль на лету. — Лучше всего под буком, что в Блюттлиевом лесу. Мы давно уже обещали церкви новую балку, а буковая лучше всего.

— Тогда нужно заранее подпилить бук, — обдумывает трактирщик, — иначе они слишком долго провозятся.

Ну это они сделают вдвоем с Мексу, вызвался Оксенблутов Рёуфу.

— А кто же ударит топором? — спрашивает Коблер.

— Все, — решает трактирщик и только потом спрашивает: — Кто — за? — Все, кроме старика Гайсгразера, поднимают руку.

— А если Ноби пойдет в полицию... — но трактирщику не удалось даже докончить свою мысль. Он не собирается никому препятствовать прямехонько отправиться в ад, обрезал его старик.

Да, вот что еще, говорит трактирщик, он чуть не забыл, старика Эбигера они похоронят потом, после того, как будет сделано дело, на похороны люди слетаются, как мухи на навозную кучу, а у Эбигера много родственников во Флётигене и других деревнях.

— Тут нет проблемы, труп замерз в камень, да и гроб они уже заколотили, чтоб лисы не полакомились, — говорит Эбигеров Фриду.

Трактирщик совсем уже собрался всех распустить, как вдруг в дверях, вызвав общее оцепенение, появилась жертва, он еще раз все обдумал, говорит Мани и сморкается в большой носовой платок в красную клетку.

Застывшие в шоке лица повернуты к нему. Вот теперь бы его и пристукнуть тут на месте, мелькает в голове у трактирщика, он тоже застыл, как парализованный.

Мани аккуратно складывает огромный клетчатый платок и по-прежнему стоит в дверях, худой, слегка сгорбленный и кособокий. Полнолуние будет через воскресенье, сказал Ноби, а в субботу, накануне перед этим, в Оберлоттикофене откроется сельскохозяйственная выставка, ему бы хотелось сходить и, может, посоветовать своим парням Йоггу и Алексу, что купить на те большие деньги, которые они получат, он давно уже про себя думает: вот если бы у него был новый хлев и трактор, его жизнь была бы совсем другой. Мани смущенно замолкает.

Молодой Гайсгразер нервно хихикает, а Херменли Цурбрюгген одним залпом осушает свой бокал; не знаю, не знаю, бормочет он, но тут уже и трактирщик и писарь тоже схватились за вино, и председатель общины принимает решение:

— В субботу, накануне полнолуния, всем скопом отправляемся в Оберлоттикофен.

И они отправились. Затопали в предрассветных сумерках по пушистому снегу, спускаясь с горы вниз, во Флётиген. Дёуфу Мани шел между трактирщиком Зеппу Шлагинхауфеном и Рёуфу Оксенблутом, занявшим на последнем состязании борцов в Бриенце третье от конца место. Во Флётигене

они сели в поезд на Оберлоттикофен — Мани был все время зажат локтями, не сбежать ему, ведь завтра — полнолуние.

По сельскохозяйственной выставке их водит маленький человечек с усиками и розовой лысиной, в клетчатом костюме из красно-зеленой «шотландки».

— Бенно фон Лафриген, — представился человечек на чисто немецкий лад, прищелкнув каблуками, — швейцарец, проживающий за границей.

Фон Лафриген ведет их сначала на лужайку, предназначенную для торжественных моментов, где на «мраморном» постаменте из пластика стоит пластиковая корова, а перед ней играет капелла сельских музыкантов, потом они направляются к экспонатам — в ультрасовременном хлеву стоят уже настоящие коровы.

Фон Лафриген гребет руками, собирая флётенбахцев вокруг себя. Он подробно разъясняет им, что в современном хозяйстве крупный рогатый скот содержат по-разному. Известны способы привязного и беспривязного содержания скота, поэтому коровники бывают со стойлами, с секциями, а также с площадками на открытом воздухе. При строительстве нового коровника следует, кроме того, предусматривать, чтобы его можно было использовать и для содержания других домашних животных, не производя при этом дорогостоящих перестроек.

— Тот еще лапоть этот Лафриген, — бубнит Херменли Цурбрюгген.

Таким образом, фермер, совершенствуя свое хозяйство, получает возможность большей приспособляемости к изменчивой конъюнктуре рынка, продолжает фон Лафриген, поправляя свой галстук. Коровники с привязным содержанием скота — самые распространенные в Европе. В этом случае животные стоят в стойлах в один или несколько рядов вдоль коровника, ширину которого целесообразно рассчитывать так, чтобы мог пройти кормораздгрузчик, доставляющий фураж и сочные зеленые корма и опрокидывающий их в кормушку.

— Опрокидывающий, — вторит как завороженный Мани, — такую тележку тоже надо бы купить.

— Помалкивай уж, — шипит у него за спиной его сын Йоггу.

Уборка навоза осуществляется здесь вручную или автоматически, поясняет им фон Лафриген. Секционные коровники — наименее дорогостоящий вид строительства, по-

скольку скот содержится в них в одном или нескольких больших боксах без привязи.

— Если корова поднимет хвост, этому «фону» из лепешки не выбраться, — говорит Миггу Хаккер.

Перегнивший, то есть готовый к употреблению, навоз выбирают только весной или осенью фронтальным погрузчиком, или грейфером, вещает невозмутимо фон Лафриген и сморкается в белоснежный шелковый платок; ежедневные затраты труда минимальные — подсыпать только свежей соломки да подоить в специально отведенном для этого боксе, где дойные коровы, кроме всего прочего, получают одновременно в соответствии с их потребностями концентрированные корма.

— Концентрированные корма, Алекс, — говорит Мани, — это вам потом надо будет обязательно приобрести, — и семенит, по-прежнему зажатый между трактирщиком и Оксенблутовым Рёуфу, вслед за «заграничным» швейцарцем.

Секции же используются главным образом для содержания мясного скота, говорит фон Лафриген и вводит их в новый хлев. Мычит корова. Слышится глухой шлепок. Манежи на открытом воздухе — самый простой способ содержания скота; открытый с наиболее благоприятной в метеорологическом отношении стороны, такой коровник способствует постоянному выходу животных на выгульно-кормовой двор. Вновь мычит корова, и вновь слышен шлепок. Коровники же привязного способа содержания скота, подобно вот этому, различаются по длине стойла, предназначенного для животного, на длинно-, средне- и короткостойловые.

— Пожалуйста, пройдемте сюда.

Мычит корова, потом шлепок.

— Боже праведный, опять его понесло, — вздыхает Оксенблутов Мексу.

А лекция в новом хлеву идет тем временем своим чередом. Из-за механизированного способа уборки навоза в коровниках нового типа предпочтительно используются короткие стойла, длина которых на 10—20 см короче туловища животного, с задней стороны стойла, чуть ниже уровня пола, проходит выгребной желоб, очищаемый скребковым транспортером, его или тянет канатная лебедка, или толкает вперед малогабаритный одноосный трактор.

— Потрясающе, — ахает Мани.

При шатунном способе уборки навоза, дает пояснение фон Лафриген, экскременты животных, перемешиваемые с мате-

риалом, используемым для подстилки, то есть с соломой, и остатками кормов, толчкообразно продвигаются вперед и доходят до цепного конвейера, подающего отходы стойлового содержания в яму-накопитель. Однако в последние годы все большее применение находит смывной способ уборки навоза, требующий еще меньших затрат труда. В этом случае полностью отпадает необходимость приготовления подстилки для животного. Непосредственно к стойлу примыкает решетка — «пожалуйста, подойдите поближе», — под которой помещается расположенный под небольшим наклоном желоб, ведущий к резервуару, отстойнику для навозной жижи, находящемуся за пределами коровника.

Уже давно пора смыть этого болтуна самого вместе с навозной жижей, предлагает Херменли Цурбрюгген, да только фон Лафриген ни слова не понимает на горном швейцарском диалекте.

Экскременты и моча, перемешиваясь, текут в отстойник, поясняет он им дальше, а животные лежат уже не на соломе, а на изолированном от грязи полу из пластика, дерева или даже керамики. Поддержание чистоты в коровнике тем самым чрезвычайно упрощается, и значительно облегчается борьба с возбудителями болезней. Животные содержатся в большей чистоте, так что и производство молока осуществляется в более гигиеничных условиях.

— Смотри-ка, все время болтает про коров, а сам небось козу от теленка отличить не может, — говорит Хегу Хинтеркрахен и закуривает.

Наряду с механизацией коровника, поучает их фон Лафриген, вывоз навоза и его обработка представляют собой не менее важную сельскохозяйственную проблему, поскольку уборка стойл вручную — трудоемкая работа, относящаяся к тому же не к самым приятным трудовым операциям. Произвольно стекающая в яму навозная жижа, оседая в резервуаре, сильно расслаивается — более тяжелые частицы опускаются на дно, а более легкие составные части образуют так называемые плавучие слои, поэтому содержимое отстойника подлежит тщательной перемешке, существуют механический способ перемешивания, пневматический и гидравлический.

— Все это прекрасно, — говорит Мани, зажатый между трактирщиком и Оксенблутом, но теперь ему хотелось бы посмотреть трактор, ведь это самое главное, его мечта, потому что решать вопрос о новом коровнике можно лишь тогда, когда есть трактор.

— Тогда прошу вас, — говорит фон Лафриген и ведет их мимо пластиковой коровы с капеллой музыкантов в павильон сельскохозяйственных машин. Где-то поет мужской хор.

Трактор — важнейшая сельскохозяйственная машина в современном фермерском производстве, начал фон Лафриген новый доклад и вытер пот со лба, так как наряду со своей задачей тягового механизма он служит еще, что чрезвычайно важно, источником механической энергии для работы навесных машин.

Если бы еще хоть чуть лучше понимать этот чертов немецкий, злится Рес Штирер. И зачем они только присылают сюда всяких чужеземных болтунов. В жизни еще не слыхал, чтобы швейцарца звали «фон Лафриген»*, громко, без всякого стеснения, выражает свое недовольство Гайсгразеров Луди, а старик Гайсгразер, тоже приехавший со всеми, пробрюзжал, что Швейцария давно уже катится под гору.

Энергия отбирается с помощью так называемых приводов от валов отбора мощности, выступающих из коробки передач, продолжает фон Лафриген, современный трактор снабжен тремя валами с приводами — два на конце коробки передач под муфтой сцепления, откуда с помощью карданного вала энергия передается на навесную машину, а третий выступает из передней части коробки скоростей и служит специально для приведения в движение навесной жатки.

Вот именно ее ему бы и хотелось увидеть, но только такую, чтобы сгодилась для флётенбахской долины, требует Мани, а Рёуфу и трактирщик, обеспокоенные, зажимают его покрепче и только потом начинают осмотр навесных сельскохозяйственных машин, способных тащить за собой по кручам лебедки и плуги и всякие другие приспособления для горных склонов.

Вот что надо покупать, говорит Мани своим сыновьям Йоггу и Алексу, на что флётенбахцы дружно поворачиваются к фон Лафригену спиной и покидают выставку.

По дороге на вокзал в Оберлоттикофене у них на пути трактир «Монах», но местный Союз национальных альпийских костюмов празднует там свой вековой юбилей, тогда они направляются к «Гражданину Швейцарской Конфедерации», от него ко «Льву», а потом поочередно к каждой «горе» — «Айгер», «Юнгфрау», «Блюмлисальп», «Вильдштрубель» и, наконец, «Вильдер Манн». Мест нет нигде, везде полно, и им, в общем-то, пора на вокзал, но ноги сами несут их опять к «Монаху». Жена председателя Союза, Христина Эллиг,

стоит как раз на террасе, вышла подышать свежим воздухом, увидев их, она кричит на всю Вокзальную улицу, Рес Штирер, конечно, подошел к ней, и через минуту они уже отплясывали в большом зале на юбилейном празднике Союза. Сему, Миггу Хаккер и Херменли Цурбрюгген скакали как бешеные, да и Рес Штирер тоже. А Мани, прижатый столом к дощатой стене, сидя между трактирщиком и Рёуфу с литровой бутылкой красного вина перед носом и не смея шевельнуться, искренне удивлялся, что толстый Штирер еще может так плясать. А когда Христина, проходя мимо, спросила, чего это они сидят как истуканы и подпирают стены, трактирщик ответил, да так, ничего, просто Мани что-то не по себе, а они ведь как-никак друзья.

— Твое здоровье, Дёуфу, — говорит трактирщик и поднимает бокал вина.

— Как Клери поживает? — спрашивает на ходу Христина.

— Хорошо, — отвечает ей Мани.

А потом к ним из «Айгера» перешло несколько унтерфлётигенских парней, и Хинтеркрахеновой Эмми внебрачный сын из Миттельлоттикофена с ними тоже, — все здорово подвыпивши, и тут началась заварушка, грандиозная драка с оберлоттикофенцами — членами Союза национальных альпийских костюмов, из «Блюмлисальпа» прибежали на подмогу унтерлоттикофенцы и поддали жару. Кто-то запустил Оксенблутову Рёуфу деревянной пивной кружкой в голову, тот даже не шелохнулся, даже не вытер кровь со лба. Только бы не было полиции, думал он, только бы не полиция.

Но вышло еще хуже. Из маленького зальца наверху появились вдруг сидевшие там член Совета кантонов Этти, собственно, для всех тут просто Херду Этти, он вырос в Оберлоттикофене, член правительства Шафрот и председатель местной общины Эмиль Мюэттерли. Жители Унтер-, Миттель- и Оберлоттикофена окаменели — они еще никогда не удостаивались подобной чести.

— Что встали, валяйте деритесь дальше, — махнул рукой депутат парламента Этти, вызвав всеобщий хохот.

— Этти просто супер! — раздались выкрики из зала внизу, и все расселись по своим местам.

Юбилей потек своим чередом дальше, а депутат парламента, член правительства и председатель общины уселись, как нарочно, напротив трактирщика и Рёуфу с Мани между ними. Хозяин «Монаха» обслуживал лично, трое почетных гостей взяли бутылку «дезалея», член правительства — на

вид еще не достигший сорокалетнего возраста здоровенный детина крестьянского телосложения, а на поверку один из самых преуспевающих адвокатов и прожженных политиков в кантоне — спросил троицу, сидевшую напротив него у стены, откуда они родом, не из Оберлоттикофена во всяком случае.

Этот вот — хозяин трактира «Медведь» во флётенбахской долине, говорит Мюэттерли и показывает на Шлагинхауфена, первый раз в своей жизни видя, как тот сидит, словно воды в рот набрал, хотя обычно за словом в карман не лезет.

Так, так, почтенные гости, значит, из флётенбахской долины, ай-ай, наслышан, наслышан, у него в департаменте поговаривали, что флётенбахцы отказались расчищать дорогу от снега, черт возьми, с такого рода глупым упрямством ему давно уже не приходилось иметь дело.

Он за это не в ответе, открыл наконец рот трактирщик, охваченный смертельным страхом — вдруг Мани заговорит. Они не настолько дураки, почтовый автобус находится в ведении дирекции почты, а поэтому снегоочиститель пусть оплачивает правительство.

Но дорога необходима не только для нужд департамента, прежде всего она нужна ведь самой общине, возразил член правительства Шафрот.

А мы и так обойдемся, отрезал трактирщик, вызвав смех господина Шафрота: ну, тогда им еще долго придется сидеть по уши в снегу, сказал он, ради них он не собирается чистить дорогу за счет кантона, но тут же вдруг рассвирепел и пригрозил, что прикажет расчистить дорогу и вышлет им счет вместе со штрафом.

Депутат парламента Этти рассмеялся и наполнил бокалы флётенбахцев, заказав еще бутылку «дезалея». Если бы он был на месте Шафрота, то как важное государственное лицо, представляющее государственную систему социальных услуг, он не стал бы связываться с крестьянами горной общины, не хотят оплачивать снегомет — значит, не хотят, да и зачем он, собственно, флётенбахцам. Они же настоящие жители гор, и их долина все еще такая же, как была прежде, и слава Богу, не то что здесь, в Оберлоттикофене, где на каждый бугор поднимается кресельный канатный подъемник, а Эмиль Мюэттерли, вот он сидит тут рядом с ним, хочет еще протолкнуть свою идею пробить внутри Эдхорна шахту для лифта до самой вершины, поистине сногсшибательная идея, и ничего удивительного, ведь альпийские проводники волокут туда тысячи туристов, и среди

них не один уже десяток сверзился оттуда, пытаясь одолеть вершину в одиночку, это же так модно — побывать на Эдхорне.

— А что это Херду Этти вдруг возымел против прогресса? — забеспокоился председатель общины Мюэттерли.

Да нет, ничего, говорит депутат парламента, но то, что у всех в голове одни только деньги, начинает постепенно отравлять ему жизнь, швейцарцы ни о чем другом, кроме денег, комфорта, туризма и прочего свинства, вообще уже не думают; сколько зарабатывает в Швейцарии на туризме проститутка, просто уму непостижимо — больше учителя гимназии; а вот если вдруг простые крестьяне гор, как эти трое, не хотят принимать участия в поголовной пляске вокруг золотого тельца, сохраняют простые обычаи и нравы гор в чистоте и оберегают красоту своей долины — а что может быть еще прекраснее и возвышеннее занесенной снегом горной деревушки, — так правительство тут как тут со своими репрессиями. Однако им пора уже к унтерлоттикофенцам, иначе не миновать раздора.

Трое почетных гостей встают и прощаются, а хозяин «Медведя» испытывает такое облегчение, что тут же заказывает бутылку дорогого «дезалея», потом еще две, а после этого еще кофе и шнапс и за все платит сам.

Уже наступает утро, когда они наконец ранним поездом приезжают из Оберлоттикофена во Флётиген, к подножию своей горы. Когда они проходят мимо церкви и пасторского дома, топая по хорошо расчищенной дороге, перед ними вдруг вырастает фигура пастора.

Ну вот, говорит он, из-за них, деревенских упрямцев, не пожелавших сделать взнос на снегоочистительные работы, ему теперь тоже придется подниматься наверх пешком, должен же он раз в месяц прочитать воскресную проповедь.

Зато сегодня ночью они повалят бук на Блюттлиевой поляне и заменят балку в церковной кровле, поспешил сообщить трактирщик.

Наконец-то хоть одно божеское дело, за которое Бог воздаст им сторицей, расплылся в умилении пастор. Он намеревается сегодня с особой тщательностью выполнить свою миссию духовного пастыря и посетить каждую семью, чтобы выяснить, у кого какие трудности и чем занимаются его бывшие конфирмантки — Шлагинхауфенова Эннели, Оксенблутова Эльзели, Хаккерова Сюзели и Хинтеркрахенова Марианли, все такие на редкость чистые и набожные девочки,

а еще ему хочется хорошенько поесть в трактире, полакомиться в «Медведе» мясом в горшочке по-бернски, а вечером глазуньей с рёшти, времени у него предостаточно, сегодня ведь полнолуние, и он заранее радуется, воображая, как будет спускаться по дороге вниз, залитой мягким лунным светом.

Крестьяне, сбившись кучкой вокруг пастора, вышли за деревню, откуда начиналась по-прежнему засыпанная снегом дорога во флётенбахскую долину. Пастор месил снег рядом с хозяином «Медведя», а между трактирщиком и Оксенблутом, погруженный в свои думы, брел, как арестант, Мани.

Собственно, он никак не может взять в толк, почему они все так недоверчивы, ведь он же на все согласился; пастор тоже был занят своими мыслями: собственно, сегодня утром ему повезло, обычно истинное наказание с этими общинами в горах, чистая Голгофа, люди там сверхпримитивны, а сейчас вроде представилась возможность завоевать у них хоть какую-то популярность, дело, к сожалению, обстояло так, что этот догматик Вундерборн очень гордился тем, что прослыл однажды в Эмисвиле любимым деревенским пастором. Не где-нибудь, а именно в этой глухомани, в этой до фанатизма религиозной дыре Эмисвиле, а теперь он проповедует теологию без Бога, и тот, кто хочет стать его преемником, должен быть, как и он, популярным в народе пастором, по возможности в одной из горных общин, это его главное условие.

Они вошли уже в лес, а трактирщик все думал, что же делать с пастором, будь она неладна, эта проповедь, а потом еще его хождения по домам, стоит только кому-нибудь открыть рот, как миллионы навсегда утекут от них по дорожке вниз, пиши-прощай тогда все, а Миггу Хаккер прикидывал, если спихнуть сейчас пастора во флётенбахское ущелье, остальные, пожалуй, не выдадут, будут помалкивать.

Сквозь заснеженные ели пробиваются солнечные лучи. Пастора захлестывает ощущение счастья. Его «Фундамент Радость», только что вышедший в четырех томах, поистине чудо открытия в теологии, вот теперь это стало ясно и ему самому, колокольным звоном возвещает оно о начале третьего тысячелетия, как написал в обозрении Нидерхауэр. Конечно, шапку долой перед Нидерхауэром, однако последнюю теологическую задачу двадцатого века — как интегрировать Барта с Блохом*, а их обоих, охватив еще теологов Доротею Зёлле, Зёльтермана и Глойбериха, вернуть назад, в лоно

Гегеля, воссоединив в одно целое, — решил он, пастор маленького прихода в горной общине Флётиген, быть того не может, чтобы Вундерборн игнорировал его сейчас.

— А вообще-то существует ли Господь Бог? — спрашивает вдруг Мани и останавливается.

Рёуфу Оксенблут останавливается тоже, останавливается и пастор, только трактирщик шагает дальше, обдумывает как раз, словно подслушав мысли Хаккерова Миггу, не сбросить ли пастора во флётенбахское ущелье, потом можно ведь сказать, что тот оступился, но, почувствовав вдруг, что месит снег в одиночестве, трактирщик оборачивается и видит, к своему ужасу, что перед Мани стоит пастор, потрясенный безмерной глупостью заданного ему вопроса.

Двадцатый век клонится к закату, а крестьяне, оказывается, все еще совершенно не разбираются в теологии, констатирует он с горечью, и его еще обязывают завоевать популярность у этих неандертальцев.

Крестьяне сгрудились кучкой, тесно обступив пастора. Мани сейчас заговорит, подсказывает им их инстинкт, и хотя до Флётенбаха почти еще час пути, надо бы уже сейчас покончить с происками пастора. В глазах их лихорадочный блеск.

Но пастор уже приступил к делу, с несколько, правда, большим гневом, чем бы ему хотелось. Крестьянин, изрек он, как кого звали — Лохер, Оксенблут или еще как, — он был не в состоянии запомнить, да и кто же может упомнить эти мудреные имена, все равно что в русских романах, — он действительно серьезно задал ему столь глупый вопрос? «Бог» — он как пастор просто не может больше слышать этого слова. Может, ему еще и сказку рассказать, как на Айгере в Альпах, а может, на Веттерхорне, Блюмлизальпе, Финстераархорне или Эдхорне сидит старичок с белой бородой и правит миром? Ведь дело в радости, крестьянин, если она в тебе, тогда и нужды нет задавать детские вопросы. Вот они только что пришли с вокзала, весслые, счастливые, поплясав в Оберлоттикофене от души, насколько он себе представляет, а до этого они, радостные, восхищались сельскохозяйственной выставкой, но стоило им увидеть своего пастора, как радость ускользнула от них — он напомнил им о наличии пресловутых вопросов, например существует ли Господь Бог, был ли Иисус Христос действительно Сыном Божьим, воскрес ли он из мертвых и не воскреснут ли они сами когда-нибудь тоже, и человек мрачнеет от подобных мыслей; а вот

когда удастся лицезреть нечто прекрасное, самое обычное и простое — новорожденного теленка, или хорошенькую женщину, или этот великолепный лес и полную луну, тогда их вдруг опять охватывает чувство радости, и вот так надо понимать и христианство, оно — сама Радость, и поскольку оно — сама воплощенная Радость, все те вопросы, которые обычно задают себе, отпадут сами собой, перед лицом Радости они теряют смысл и оказываются мертвыми.

И пока пастор продолжает в том же духе разглагольствовать и дальше, именуя Радость первоосновой фундамента, трактирщика самого охватывает радостное чувство — у него родилась вдруг идея, он останавливается, пропуская мимо себя крестьян, и подходит к Миггу, все еще полному решимости столкнуть пастора в пропасть.

— Миггу, — говорит трактирщик, — пастор болтает и болтает, к счастью, не давая Мани вставить хоть слово и выдать нас. Надо рвануть в деревню и сделать так, чтоб церковь была пуста, чтоб ни одной живой души там не было.

Миггу подхватывается, проносится наверх пулей мимо крестьян, а пастор, целиком погруженный в теорию Радости, даже не замечает этого.

Когда они входят в деревню, Мани благодарит пастора за разъяснения и идет к своему двору, граничащему с хозяйством Оксенблутов, и другие крестьяне тоже расходятся, один только пастор стоит с трактирщиком перед входом в «Медведь».

А теперь пора, говорит пастор, отправляться в церковку, бабоньки и девицы уже заждались его, что мужчины сегодня не придут, ему понятно, он тоже человек, но тут он на полуслове обрывает себя — мимо них в «Медведь» прошмыгнула девушка, даже не поприветствовав их.

— Не Хаккерова ли это Сюзели? — спрашивает ошеломленный пастор.

Да он не приглядывался, уклоняется от ответа трактирщик.

Да-да, говорит пастор, Хаккерова Сюзели — самая любимая его конфирмантка, и его крайне удивляет, что она пришла в трактир, а не в церковь, однако проповедь не ждет, а впрочем, он так радуется, предвкушая, как после обхода первых дворов вернется сюда и съест горшочек мяса по-бернски.

С этими словами пастор направился в церковь, одиноко притулившуюся на склоне горы между «Медведем» и двором

Штирера. Придя туда, он застывает от удивления на месте — церковь пуста, только перед органом, над хорами, сидит фройляйн Клаудина Цепфель, учительница, тоже в полном недоумении.

В чем дело, почему, собственно, никого нет, заикается пастор, и почему никто не звонит к воскресной службе (на это он только теперь обратил внимание)?

Ну ладно, раз уж ему так обязательно все хочется знать, говорит трактирщик у него за спиной, он, собственно, для этого и пришел сюда за пастором, церковь пуста, потому что община не находит с ним общего языка. Только что, когда они поднимались в деревню, Мани спросил у него, есть ли Бог, на что он, господин пастор, ответил, это не важно и вообще его, Мани, дело только радоваться и ни о чем больше не думать, а их это здесь, в горах, не устраивает. То, что господин пастор тут проповедует, с тех пор как появился в их деревне, для них пустой звук, они хотят слышать, как прежде, про своего старого, привычного Господа Бога, про Спасителя Иисуса Христа и его воскресение из мертвых, а иначе на что же ему уповать, ему, трактирщику, когда придет его последний час, или тому же Мани, если вдруг, не ровен час, при рубке леса он угодит под сосну или тем паче под бук? Короче, они требуют других проповедей, набожных, а не то они лучше перейдут в католичество, а так как господин пастор не может такое им дать, раз сам не верит в Бога, они тут наверху все как один отказываются признавать его своим пастором, потому церковь и пуста, и он сам, председатель общины, собственноручно напишет об этом в консисторию. Хозяин «Медведя» разворачивается, показывая пастору спину, выходит в церковную дверь и растворяется в белом мареве.

На какое-то мгновение пастору кажется, он лишится сейчас чувств, из-за Вундерборна, конечно, чью кафедру ему так хочется получить и ради которой он стремился стать здесь популярным, как Вундерборн в Эмисвиле. Но он колеблется лишь мгновение, потом спрашивает Клаудину Цепфель, не поможет ли она ему в ризнице надеть ризу, так как дьячка, по-видимому, тоже нет, и после того, как Клаудина Цепфель помогла ему надеть ризу и повязала поверх брыжи, он отослал учительницу прочь, взошел на кафедру, открыл Библию, полистал ее и начал охрипшим вдруг голосом проповедь:

— Я прочитаю из Деяний святых Апостолов, глава 23, стих 26: «Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу — радоваться!»

Любезные скамьи, купель, орган и хоры, любезные окна, стены, балки и своды, любезная моя пустая церковь! Слова из Библии, услышанные вами, являются началом письма. Клавдий Лисий — его отправитель, правитель Феликс — получатель, а «радоваться» — приветствие. Но если я начну сейчас объяснять вам, кто такие Клавдий Лисий и правитель Феликс, то вам до них — до этого Клавдия Лисия и правителя Феликса, или даже человека, ради которого написано письмо, а им был Апостол Павел, — совершенно по справедливости нет никакого дела, потому что где же вам, деревянным балкам и каменным стенам, понять, кто были эти люди, а вот если бы сегодня, как каждое четвертое воскресенье, на вас, мои любезные скамьи, восседали бы члены здешней общины, как возгорелось бы в них любопытство, ибо испокон веков, сидя тут безвылазно на своей горе, они интересуются только второстепенными вещами, тогда как самое важное, гораздо важнее того, что случилось в древние библейские времена, то, что живет присно, ныне и во веки веков и что не доступно этим мужикам и мужи́чкам, самое суть всех сутей, и это хорошо сейчас чувствуешь ты, моя пустая церковь, есть приветствие «радоваться!», его ты ощущаешь сейчас, можно сказать, почти физически, испытывая радость оттого, что зловоние, исходящее от них, не отравляет твой воздух, а вас, мои любезные скамьи, не попирают их толстые зады, а вы, мои стены, не дрожите от их храпа, и тебе, мой орган, нет надобности вторить их жалкому пению.

Ты обрела свободу, пустая церковь, и, обретя ее и будучи со всем своим деревом, камнем, металлом и стеклом земным прахом, способна теперь понять отправителя, тысяченачальника Клавдия Лисия, и причину, побудившую его написать письмо, и Апостола Павла, и получателя, правителя Феликса, — ведь все они давно уже превратились в прах, да и я тоже однажды обращусь в него, как обратятся в прах все эти крестьяне и крестьянки, собственно, давно уже обратились, да только не ведают этого.

И поскольку прах понимает прах, все мы узнаём себя друг в друге, отражаемся, как зеркало в зеркале, и принимаем единую веру — радоваться правителю, при сем не суть важно, как его нарекли — Феликсом ли, как в Деяниях святых Апостолов, Богом или Вселенной, — главное, чтоб каждая песчинка, будь то дерево, камень, ползучий гад, зверье или человек, Земля, Солнце, Млечный Путь или системы звездных галактик, ликуя, оглашала пустоту — радоваться!

Именно поэтому, пустая церковь, что мы — прах и рождены из праха и ведем существование ничтожных песчинок, порожденных другими такими же песчинками, жизнь которых отмерена коротким отрезком времени — несколькими годами или месяцами, несколькими часами, секундами или даже, как для некоторых частичек, являющихся миллионной долей одной песчинки, лишь несколькими миллионными долями одной секунды, — прожить эти мгновения надо с радостью! Потому что для всех и вся нет иного фундамента, кроме как — радоваться, ибо одна только радость не задает вопросов, не копается в сомнениях и не пытается утешить, потому что она одна не нуждается в утешениях, она выше их, превыше всего — радоваться! Аминь.

С этими словами пастор из Флётигена с шумом захлопывает большую тяжелую Библию, с достоинством спускается с кафедры, направляется в ризницу, развязывает брыжи, снимает ризу, складывает ее и, собираясь выйти на волю, оказывается лицом к лицу с Клаудиной Цепфель.

Огромные глаза учительницы горят от восторга, пастор был неотразим, лепечет она, заикаясь, она прослушала всю проповедь от начала до конца. Он смотрит, оцепенев, на Клаудину Цепфель, его охватывает бешеный гнев, ярость на весь белый свет, на Вундерборна, на собственную жену, уроженку здешних мест, палец о палец не ударившую, чтобы сделать его популярным, — кому нужны ее курсы о браке и семье?

Рывком он притягивает к себе Клаудину Цепфель — «радоваться!» — и, сжимая ее в объятиях, страстно целует ее: послезавтра его жена уедет со своим курсом о супружеской верности в Кониген; и, взревев на всю округу, так что эхо раскатилось по долине, — «Задал же я им, однако, перцу!» — пастор, оставив зацелованную и безмерно счастливую Клаудину Цепфель одну, бросается мимо «Медведя» по дороге вниз, оборачивается еще только один-единственный раз, когда доходит до флётенбахского леса, и потрясает угрожающе кулаком — «радоваться!».

А трактирщик, выйдя на порог, ехидно ухмыляется, ловко же они отделались от пастора, и, вернувшись в залу, спрашивает Сему, кто там сейчас у Лохера.

— Опять Фрида, — отвечает тот недовольно.

Ну и что, как дочка Коблера она получит теперь ого-го какое наследство. Не надо быть дураком, и Энни, и все другие в долине тоже переспали с Ваути.

С этими словами он протягивает Сему бутылку беци, «на, отнеси ему наверх», да и полицейскому тоже не мешает дать еще бутылки четыре «алжирского», чтоб он этой ночью не мешал им, слава Богу, что полнолуние уже сегодня, значит, скоро конец, он хочет сказать, другие, наверно, тоже так думают, иначе чего они торчат все по домам, а не сидят у него в трактире и не режутся в ясс, каждый, поди, тоже волнуется немного.

Наконец пробил полдень, пошла вторая половина дня, и тянется, и тянется, конца ей нет, небо цвета густой синьки, ни ветерка, ни малейшего движения воздуха, только космический холод, да один раз прогромыхало со стороны гор — в ущелье сошла лавина, а около пяти с воскресной прогулки вернулся Мани, одетый как обычно, даже без галстука и без шляпы, на некотором расстоянии от него шли Рес Штирер и его сын Штёффу. Дойдя до своего дома, Мани прислонил к дверной притолоке палку, прошел через кухню в большую комнату, где за столом сидели Йоггу и Алекс, а у окна стояла жена Мани и смотрела на дальний лес, старый Штирер уселся на улице на скамейку перед домом, а молодой обошел его кругом.

Он еще раз поднялся к водопаду, говорит Мани, но тот совсем замерз, а солнце только что опустилось за Цолленгратом. Красное и огромное.

Значит, через день-два опять повалит снег, говорит Алекс, а Йоггу так язвительно замечает, господину Мани следовало бы надеть в такой холод пальто, а не то вдруг он простудится.

Что это он говорит ему «господин Мани»? — спрашивает крестьянин.

Потому что его отец — Ваути Лохер, отвечает Йоггу.

Так, значит, Ваути обо всем рассказал Йоггу, обращается Мани к своей жене. Та ничего не отвечает, Йоггу поднимается из-за стола — огромный, обычно добродушный деревенский малый.

И о том, что, когда она забеременела от него и Лохер хотел взять ее с собой в Канаду, она, его мать, телка такая, рычит в бешенстве Йоггу, вышла замуж не за него, а за Мани, с его домишком, а не то он бы, Йоггу, был бы сейчас в Канаде и имел миллионы и не киснул бы тут и не батрачил бесплатно на отчима, не имея даже денег на жену для себя.

Но один миллион они ведь сейчас получат, говорит Мани. То, что здесь было нелегко, он согласен, их дом, собственно, скорее лачуга, но теперь все будет по-другому, гораздо

лучше, и в отношении хозяйства тоже — у них будет современный хлев и трактор, и не только его жене, но и Йоггу и Алексу жить будет легче, да и всей деревне тоже.

Да, но он не собирается делить миллион с Алексом, заявляет Йоггу, деньги его, и ни о каком современном коровнике или тракторе не может даже быть речи, с этим миллионом он уедет в Канаду, и уж с Лохером он как-нибудь договорится и вытряхнет из него еще пару миллиончиков. В конце концов, Лохер его отец, все говорят, он похож на него.

Что правда, то правда, раскрыл наконец рот Алекс, все эти сельскохозяйственные новинки — чепуха, но своего полмиллиона он не уступит, ему уже тридцать восемь, и, имея полмиллиона в кармане, он проживет в городе куда лучше, чем здесь.

А при чем тут миллион или полмиллиона, говорит Мани, миллион получит вся семья: треть — его жене, а Йоггу и Алексу — каждому тоже по одной трети.

Она не возьмет из этих денег ни гроша, говорит вдруг его жена, обходя стол кругом и глядя своему мужу прямо в глаза. Работа износила ее, однако она выглядит намного моложе, чем есть на самом деле, и хотя волосы ее белы как снег, она стройна и здорова телом.

— Я вышла тогда за тебя замуж, Мани, — начала она, — потому что ты был порядочным парнем и хотел взять меня в жены, несмотря на то что я была беременна. Я уже тогда знала, на Лохéра нельзя полагаться. И теперь ты сам убедился, я была права. Может, ты думаешь, он пришел затем, чтобы отомстить тебе? Нет, он просто решил поразвлечься, посмеяться над нами, бедными, несчастными людишками, которых он всегда презирал, как сегодня, так и тогда. Его забавляет, какая нас ждет судьба — все, кто живет в деревне, перессорятся друг с другом. Ты же это видишь по Йоггу и Алексу, ведь в одной семье детей столько, что от них в глазах рябит, как, например, у Гайсгразеров, а в другой всего только два человека, как у Штиреров. Вот что я скажу тебе, Мани, в этой деревне скоро будет как в аду. Убив тебя, они начнут грызться как волки, и только страх, а вдруг кто заговорит, не даст им перерезать друг другу глотки. Да что я тут болтаю. Тебе умирать, не мне, но, раз уж настала пора прощаться, и навсегда, я хочу сказать тебе, Мани, ты как был порядочным человеком, за которого я когда-то вышла замуж, так до конца им и остался, и я не плачу, что скоро они повалят на тебя бук в Блюттлиевом лесу, я только рада,

что мне не придется смеяться со всеми над твоей глупостью — настолько она бессмысленна. Бог мой, как ты гнул спину все эти долгие годы, да и мы тоже, и Йоггу, и Алекс, и я, пожалуй, больше всех, а стоило этому хвастуну из Канады заявиться со своими миллионами, и что делаешь ты? Приносишь себя в жертву! Зачем? Что тебе дадут эти деньги? Или, может, твоя жертва принесет пользу остальной деревне? Они еще не получили ни гроша, а уже все продались и развратились, не только их дочери.

А ведь ты, зная в долине все ходы и выходы, как никто другой, мог бы спастись в любой из этих десяти дней. Раскрыл ты их планы полицейскому? Нет, ты этого не сделал, а ведь трактирщик прекрасно знал, отчего тому лучше ничего не знать, иначе он прижал бы их как следует и своего не упустил. А в «Монахе», в Оберлоттикофене, открыл ты рот, когда сидел напротив депутата парламента, члена правительства и председателя общины? Нет, ты промолчал. А потом, когда гурьбой брели по Флётигену, завопил ты во все горло: «Люди добрые, меня убивают за четырнадцать миллионов!»? И все были такие пьяные, что уйти от них ничего не стоило, и пастору ты тоже ни слова не сказал. Хотя в лесу было уже поздно, скорее всего, они скинули бы его в пропасть. А знаешь, почему ты не защищался? Я тебе скажу, всю свою жизнь ты мечтал только об одном — иметь современный хлев и трактор, и вбил себе в голову, что Йоггу и Алекс тоже о них мечтают. Поэтому ты и не защищался, и вот теперь сам видишь, никому твой хлев с трактором не нужен, ни Алексу, ни Йоггу, и никому другому в деревне. Все жаждут только денег. И тебя, Дёуфу Мани, уже ничто не спасет.

— Оставь, жена, — говорит Мани, — что ж делать, раз уж так вышло.

В дверях вырастает фигура трактирщика, пора, говорит он и, обращаясь к Рёуфу Оксенблуту, стоящему сзади него, роняет:

— Останься на всякий случай тут.

— Прощай, — говорит Мани жене.

Она не отвечает.

Все, кроме Рёуфу, направляются вместе с Мани мимо «Медведя» прямиком в долину и, перейдя через замерзший Флётен, входят в Маннеренский лес. Над Бальценхубелем плывет луна, продвигаясь к Эдхорну, видимому только из Маннеренского леса, кругом светло как днем, и, когда лес начинает взбираться в гору, идти становится труднее, они

карабкаются по рыхлому снегу вверх, на Блюттли, где посреди поляны стоит огромный бук — блюттлиев бук. Флётенбахцы окружают его, в руках у них длинные мощные топоры, изо рта вырываются горячие клубы пара.

— А подпилен ли блюттлиев бук? — спрашивает трактирщик.

— Сделали сегодня после обеда, — буркнул Оксенблутов Мексу.

— Мани, садись сюда, — распоряжается хозяин «Медведя».

Мани утрамбовывает под буком с залитой лунным светом стороны поплотнее снег и садится спиной к буку в том месте, где он подпилен.

— Начнем, — командует трактирщик, и топоры Хаккерова Хригу и Гайсгразерова Луди тут же обрушиваются на блюттлиев бук, но при первых ударах отскакивают от твердой, как железо, древесины, эхо разносится по всей долине, мощное бухание ударов слышно и в деревне, но постепенно острые топоры вонзаются в ствол все глубже и глубже, теперь рубят Рес Штирер и Бингу Коблер, а хозяин «Медведя» вдруг замечает, что Мани, прислоненный к дереву, шевелит губами.

Трактирщик подает знак, Коблер и Штирер замирают, а он наклоняется к Мани и спрашивает, может, тому что нужно?

— Луна, — говорит Мани с широко раскрытыми глазами.

— Луна? — переспрашивает трактирщик и смотрит недоуменно на небо. — А что с ней?

Потом поворачивается опять к мужикам с топорами.

— Все в порядке, рубите дальше.

— Не знаю, — тянет Бингу, а Рес говорит:

— Посмотри-ка еще разок на луну, хозяин.

Тот поднимает голову.

— Какая-то она не такая круглая, — говорит он задумчиво.

— Одного кусочка вроде не хватает, — шепчет позади него боязливо Сему.

Трактирщика вдруг осеняет.

— Лунное затмение, — объясняет он. — Каждый месяц бывает.

— Никогда в жизни не видал, — мямлит Херменли Цурбрюгген.

А разве они когда-нибудь разглядывают луну или звезды, ухмыляется трактирщик. Каждый вечер сидят у него до по-

луночи в трактире, а когда расходятся по домам, тут уж им не до луны, такие они пьяные, а лунное затмение случается чуть ли не каждую неделю, и ему уже приходилось видеть луну точь-в-точь как четверть сырного круга, и длилось это каждый раз всего несколько минут.

— Что-то не похоже, — вздыхает Бингу, — луна все уменьшается.

Они молча смотрят, и тут от опушки леса на флётенбахцев двинулся старик Гайсгразер, поплыл, как привидение, в лунном свете, неумолимо гаснущем с каждым мгновением.

— Вот теперь вам, баранам, ясно, почему Ваути Лохер сманил вас своими миллионами убить Мани именно сегодня, в полнолуние, — захихикал старикашка злорадно. — Да потому что сегодня ночью луна лопнет, смотрите, как она светится пламенем изнутри, кипит вся, сейчас сами убедитесь. Я уже видел такое несколько раз, но еще ни разу это не попадало на воскресенье. Сегодня луна обломками будет валиться на землю, и каждый кусок больше целой Европы, и Земле, и всему белому свету придет конец. Поэтому Лохер и раздает свои миллионы, они ему все равно больше не понадобятся.

Старик хохочет, беснуется от радости на снегу, и сын его, Луди, кричит на него:

— Заткнулся бы!

А Бингу лупит, как сумасшедший, топором по буку, тогда и Рес начинает вторить ему, так же безумно, с сатанинским упорством, в дьявольски монотонном темпе.

— Прекратите! — кричит в ужасе трактирщик. — Луна исчезает!

Оба с топорами в руках смотрят, оцепенев, со всеми вместе на луну.

— Она не исчезает, — подает голос Рес Штирер, — что-то ржаво-коричневое наползает на нее.

— Это солнце, — размышляет вслух Бингу Коблер.

— Я думаю, Австралия, — поправляет его Цурбрюггенов Семи, — мне кажется, нас так учили в школе.

— Чепуха, — заявляет Рес. — Земля круглая, не могут же они одновременно находиться и тут, и там, а не то те из Австралии уже давно разгуливали бы по луне, чушь какая-то.

Флётенбахцы смотрят и смотрят неотрывно.

Луна все больше и больше заволакивается тьмой, из землисто-коричневой становится ржаво-охристой, вокруг ярко пылают звезды, их до того вовсе не было, и наконец диск

луны превращается в раскаленное зияющее око, изъеденное чудовищными язвами, оно зло уставилось на побагровевший снег и кучку крестьян на нем, чьи топоры сверкают, словно вымазанные кровью.

— Проваливай, Мани, — ревет трактирщик, — проваливай отсюда. — И бухается на колени. — Отче наш, сущий на небесах! — начинает он молиться, флётенбахцы тут же подхватывают молитву:

— Да святится имя Твое.

Только старый Гайсгразер катается по снегу, луна лопнет от натуги, гной ее зальет, затопит все вокруг, и настанет конец света; он воет, хохочет, ликует в безумии.

— Да приидет Царствие Твое, — молятся крестьяне.

А Мани словно не понял, что он свободен, он все так же неподвижно сидит на прежнем месте.

— Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

Наконец Мани поднимается, и тут за огненно-красным язвенным нарывом проблескивает светлая искорка.

— Она опять появляется, — кричит Херменли Цурбрюггген. — Луна опять тут, луна!

Крестьяне вскакивают на ноги, единый крик радости исторгается из их груди, страх утихает, и тем быстрее, чем скорее растет яркая блестящая искра, превращаясь постепенно в старую добрую круглую луну.

— Рубите, — рычит трактирщик, и Рес и Бингу мощными ударами сотрясают дерево, вонзая топоры в ствол, а Мани, растопырив ноги, опять сидит, прислонившись к буку, на снегу, с которого медленно сходит зловещий кроваво-красный отблеск; вот топорами вновь замахали Луди и Хригу, а луна все щедрее сияет из-под кровавого нарыва, тающего в небе на глазах, и звезды исчезают, теперь подошел черед Хинтеркрахена и старого Цурбрюггена, а за ним Эбигера, Фезера, Эллена и Бёдельмана, а под конец все крестьяне, включая и трактирщика, подскакивают по очереди к буку и каждый по разу вскидывает топор — удар, следующий, опять удар; и когда блюттлиев бук падает, рухнув на снег, полный диск луны — огромный, круглый, ласковый, весь молочный, как до затмения, — льет на землю с небес свой мягкий серебристый свет.

Надо еще вытащить его из-под дерева, блюттлиев бук жуть какой здоровый, хлопочет трактирщик, Мани здорово размолотило всего, насколько тут что можно разобрать, каша сплошная. И потому в восемь утра, когда уже рассвело, трак-

тирщик испытывает разочарование — Лачер не проявляет ни малейшего интереса к трупу, говорит только, он ему и так охотно верит, что Мани угодил под бук. Зачем же ему еще и на труп смотреть?

Впервые с той ночи, когда из кромешной зимней тьмы он шагнул в залу, Лачер вышел из своей комнаты и спустился вниз. На нем меховая шуба и унты, он сидит за длинным столом и пьет из огромной чашки кофе с молоком, напротив него — Фрида и Энни. Трактирщику кажется, что у Лачера дрожат руки, да и вид у него какой-то постаревший, вроде бы он и поседел, и бледный с лица.

Деньги наверху, кивает Лачер.

Трактирщик с грохотом кидается наверх, рывком открывает дверь, на столике под окном все так же лежит незапертый чемодан, хозяин «Медведя» откидывает крышку, деньги на месте. В кровати Лачера нежится его жена.

— Мани угодил под бук на Блюттли, — говорит он, не отрывая глаз от пачек денег, — нужны были новые балки для часовни.

Они слышали здесь удары топоров, зевает Лизетта.

Трактирщик не мигая смотрит на деньги, потом начинает пересчитывать купюры — десять тысяч, десять тысяч, десять тысяч, нет, он чувствует, здесь что-то не так, десять тысяч, девять тысяч, еще раз девять тысяч, десять тысяч, восемь тысяч.

— Вы, бабы, взяли тут себе по тысяче, все до одной, каждая стянула по купюре!

Лизетта смеется:

— Мы тоже чего-то да стоим, а если вас это не устраивает, то и у нас могут развязаться языки.

Трактирщик захлопывает чемодан, уносит его в спальню, собираясь запереть его там, но тут ему приходит на ум, что у жены есть второй ключ от спальни, и тогда он спускается с чемоданом вниз.

Лачера в зале уже нет.

— А где Ваути? — спрашивает трактирщик у Энни, еще стоя на лестнице.

Она не знает, отвечает та, а когда он приказывает ей, марш на кухню мыть посуду, не может быть и речи, возражает она, что́ она там потеряла, тогда он рычит, набрасываясь на Фриду, хватит бездельничать, пора браться за работу, а та говорит, что уходит от него — она дочь миллионера и в ближайшем будущем станет к тому же невесткой другого миллионе-

ра, самого хозяина «Медведя», ведь она выходит замуж за Сему, так что работать она больше не собирается.

Пот льет с трактирщика ручьем, а сквозь маленькие оконца ему видно, как мимо проплывает «кадиллак».

Машина плавно покидает деревню и катит из долины вниз. У скалы, там, где дорога входит в лес, Лачер нагоняет жену мертвого Мани. Почти через сорок лет он вновь встречает Цурбрюггенову Клери. В руках у нее чемодан. «Кадиллак» останавливается. Она идет себе дальше. Он опускает стекло, высовывается из машины и говорит:

— Эй, Клери, садись.

Она останавливается, разглядывает его, потом произносит:

— Но если уж ты меня приглашаешь, Ваути Лохер.

Он открывает правую дверцу, она кладет чемодан на заднее сиденье, садится рядом с Лохером и говорит:

— У тебя вид, как будто тебе сто лет.

— Мы оба состарились, — говорит Лачер. — Куда ты собралась? — спрашивает он, когда они уже въехали в лес.

— В Оберлоттикофен, искать работу, — отвечает она.

Машина осторожно спускается вниз.

Перед самым флётенбахским ущельем Лачер резко крутит руль, так что машина встает поперек дороги. Он выключает мотор. Молча смотрит перед собой.

— Клери, — говорит он потом. — Ты скрыла от меня, что ждала ребенка.

— Мы с Мани хотели пожениться, это были наши заботы, не твои, — отвечает она.

— И Мани это не остановило? — спрашивает он.

— Ребенок есть ребенок, — говорит она.

В полной задумчивости он молчит, наконец произносит:

— Так было лучше, что ты вышла замуж за Мани. Мы с тобой сделаны из одного теста, мы не подходим друг другу. — Он расстегивает шубу, потом молнии на синем и красном спортивных костюмах, высвобождает грудь. — Опять схватило, — говорит он. — Боль такая же, как полгода назад. — Он откидывается на спинку сиденья, руки повисают как плети. — Я только что из больницы. У меня был инфаркт.

Оба молчат.

Небо над белыми елями молочно-серое, местами сгустилось и светится от пробивающихся лучей, солнца, однако, нигде не видно.

Лачер медленно и плавно растирает себе правой рукой грудь.

— Признаюсь, что тогда, когда я ушел из деревни, я был в бешенстве, но злоба прошла уже здесь, прямо в лесу, и так мне вдруг захотелось покинуть все это, и эту страну, и всю безмозглую Европу. И вот там, за океаном, я стал богатым, честным или нечестным путем, лучше не спрашивай. Я никогда об этом не задумывался, и о женщинах меня не расспрашивай по ту сторону вонючего Атлантического океана, и о сыне тоже не надо, тот все унаследует после меня, хотя в десять раз больший негодяй, чем я. А вас в вашем медвежьем углу я давным-давно позабыл, да, по правде говоря, с тех пор, как я тогда отчалил из Флётигена, я никогда вас больше и не вспоминал, вы как исчезли из моей памяти.

Он молчит, с трудом шарит правой рукой, словно левая парализована, по двери с левой стороны, бесшумно опускает ветровое стекло, холодный и сырой воздух окутывает их, женщина рядом с ним — глубоким и дряхлым стариком — кажется вдруг совсем молодой.

— Прямо в самой середине колет, — говорит он равнодушным голосом, — боль от груди до самого подбородка. А в левой руке от плеча до кончиков пальцев.

Он умолкает, женщина рядом с ним сидит неподвижно, он даже не уверен, слышала ли она его.

— А потом меня хватил инфаркт, — продолжает Лачер, — не так сильно, как сейчас, но тоже достаточно крепко. И пока я неделями валялся в постели, у меня вдруг всплыла перед глазами деревня, не то чтобы кто-то один, а вообще деревня. Собственно, даже вот этот лес. Тогда я навел справки, впервые с тех пор повидал швейцарского консула. Потом прилетел в Цюрих и снял с одного из своих конто в банке четырнадцать миллионов.

Он задумывается.

— От доброты, пожалуй. Хотел вам как-то помочь встать на ноги, ну что такое четырнадцать миллионов? Но стоило трактирщику сказать, что ты была тогда от меня беременна, как меня вновь охватила бешеная злоба, и я поставил условие — тебе оно известно — убить Мани. Собственно, им следовало бы убить тебя, но настолько моей злости опять же не хватало, вот и пришлось отдуваться за все Мани, а сейчас, когда вспоминаю тот вечер в «Медведе», я даже и не уверен, а была ли злость-то? Может, меня просто вновь обуяла нечеловеческая жажда жизни, тогда понятно и мое условие,

потому что, пока хочется жить, хочется и убивать, не одними же юбками исчерпывается интерес к жизни — кто там только не перебывал у меня наверху за эти десять дней в моей постели, чтоб урвать одну или несколько тысчонок, а мне было совершенно наплевать, как наплевать и на то, кого они там убили. Могли убить кого угодно вместо Мани, я все равно на труп не смотрел, и если бы они даже никого не убили, я бы и так отдал им эти деньги.

Он умолкает. Большая черная птица опускается на переднюю дверцу рядом с Лачером.

— Ко мне всегда прилетают вороны, они и раньше ко мне прилетали, — говорит Лачер, а черная птица прыгает вовнутрь машины и садится на его правую руку, что лежит на руле.

— Когда они поехали на сельскохозяйственную выставку, мне надо было пойти во Флётиген и заявить на тебя, — говорит она.

— Но ты же этого не сделала, — хмыкает он.

Она молчит.

— Я бы стала презирать Мани, — говорит она после паузы, а он равнодушно заявляет:

— Что теперь проку толковать про это, он же мертв.

Она опять молчит, а через некоторое время говорит так же равнодушно, как и он:

— А теперь я презираю себя.

— Подумаешь, — фыркает Лачер, — я всегда себя презирал.

Птица перескакивает на дверцу.

— Мне пора, — говорит она, — иначе я пропущу поезд на Оберлоттикофен.

Он не отвечает.

Ворон вспархивает и улетает в монотонно-молочное утро. С неба падает легкий снежок.

Она открывает дверцу машины, берет с заднего сиденья чемодан, утопает, барахтаясь вокруг широкого радиатора, в снегу и, выбравшись на дорогу, идет по рыхлому снегу вниз, растворяясь в снежном тумане. Она доходит до поляны, потом до густого леса с огромными елями, снежные хлопья плавают и кружат в воздухе, как бы не желая опускаться на землю, большие, воздушные, легкие и невесомые, как лепестки цветов. Время от времени она перекладывает чемодан из одной руки в другую; когда она добирается до Флётигена,

снегопад прекратился. Она идет мимо церкви, вот и вокзал, пассажирский поезд только что отошел.

Она берет билет, садится на зеленую скамейку около железнодорожного поста. Раздается мелодичный звук сигнального колокольчика, из своего помещения выходит начальник станции Берчи.

— Госпожа Мани, — говорит он, — следующий пассажирский поезд на Оберлоттикофен пойдет только через час десять минут. Вы здесь замерзнете и окоченеете.

Она никогда не мерзнет, говорит она. Становится холоднее и холоднее, она сидит неподвижно. С одной из мачт высоковольтной линии передачи на нее глядит ворон, его почти нельзя различить на черном фоне высящейся громады Эдхорна.

Подходит пастор со своей женой, опять слышен сигнал колокольчика, пассажирский поезд из Оберлоттикофена огибает лесистый горный склон, останавливается, кондуктор соскакивает с подножки, кричит «Флётиген!», пастор целует свою жену, та садится в вагон, начальник станции поднимает жезл, пассажирский поезд трогается, кондуктор вскакивает на подножку, пастор машет рукой, поворачивается, видит Клери Мани, хочет поздороваться, но потом раздумывает и уходит.

Часы на церкви бьют десять раз. Из школы доносится крик детей, большая перемена, черная птица вспархивает и улетает, направляясь во флётенбахский лес.

Там, наверху, во флётенбахском лесу, несколькими часами позже Лачер приходит в себя, стекла по-прежнему опущены, в машине полно снега, и у него на пальто, и на синем, и на красном тренировочном костюме тоже снег. На какой-то момент он осознает, ему жутко холодно, и что-то теплое, сладковатое и черное течет у него изо рта, но боли он не чувствует, великий покой разлился по всему телу. Руки его машинально нащупывают зажигание, мотор взревел, он берется за ручку автоматического управления, не отдавая себе отчета в своих действиях, машину кидает назад, потом вперед, чуть вбок по дороге, затем она пробивает снежный боковой барьер, сползает со склона в кювет, бесшумно погружаясь в глубокий мягкий снег, и остается там лежать среди белых елей. Необычайное свечение исходит от нее, пробиваясь сквозь сумеречный снег и разливаясь вокруг.

С дороги до него доносится пение: «Взошла луна, на небе сияют звезды ярко, блестят, как огоньки». С удивлением он

отмечает про себя, что кто-то идет там наверху по дороге и что уже ночь, а он точно помнит, что было утро и с ним в машине кто-то был, вот он только не может вспомнить кто. «Какая святость в мире, и под покровом ночи так благостно в тиши!»* — поет женский голос, а ему еще чудится, будто песня отлетела далеко-далеко, а потом опять приблизилась и, наконец, захлебнувшись в бесконечных рифмах, отзвучала навечно.

Остается только добавить: Клаудине Цепфель, спускавшейся, распевая, по нерасчищенной дороге заснеженным лесом во Флётиген, нет нужды возвращаться на следующее утро назад в горы пешком, чтобы провести в деревне несколько уроков с горсткой учеников. Когда она на рассвете, где-то около восьми утра, выскользнула незаметно из пасторского дома через заднюю дверь, оставив обессиленного пастора глубоко спящим, и выбиралась краешком леса на дорогу, обеспокоенная только одним — как бы остаться незамеченной, то это обстоятельство чуть не оказалось для нее роковым: по дороге наверх медленно двигался огромный снегомет, а за ним ползли снегоуборочный плуг, заправочная машина и солеразбрасыватель, окруженные, как муравьями, дорожными рабочими в ярко-оранжевых халатах, орудующими лопатами. Застигнутая врасплох обрушившимися на нее снежными массами, извергаемыми снегометом, Клаудина Цепфель вмиг оказалась погребенной под снегом, засыпавшим ее по самую маковку, и нет сомнения, она непременно бы задохнулась, если бы не депутат парламента доктор Этти, ехавший в одном лендровере с членом правительства Шафротом, следуя по пятам за караваном из техники и людей, и, как патриот родного края, осуществлявший руководство всей операцией и подбадривавший ее участников; он-то и заметил своевременно беду и распорядился откопать несчастную учительницу. Еще лепеча что-то про ранний утренний поезд, которым она вроде бы как приехала во Флётиген, укутанная в шерстяной плед и зажатая между депутатом парламента и членом правительства, Клаудина Цепфель покатила, как во сне, наверх в долину. Продвигались они, правда, довольно медленно, неимоверные снежные заносы поставили перед мощным снегометом почти неразрешимые задачи, хотя он работал как зверь и с таким шумовым эффектом, словно в горах шли снежные обвалы, а «кадиллак», сползший где-то на его пути с дороги, полностью скрылся под выбросами

снежных лавин, хотя его, правда, и без того было почти не видно среди занесенных снегом дебрей. Но каким бы трудным ни был бой с массами снега и льда, да еще в условиях начавшегося обильного снегопада, угрожавшего всей экспедиции аналогичной битвой на обратном пути, они все-таки добрались до деревни, где все жители были уже в сборе, включая даже протрезвевшего наконец полицейского, не видевшего белого света вот уже более десяти дней. Все с удивлением разглядывали диковинные машины, так что Клаудина Цепфель смогла незаметно под общий шумок проскользнуть в класс, довольная, что никого из ее учеников не оказалось на месте. Ее отсутствие тем более прошло незамеченным, поскольку депутат парламента д-р Этти — тут же, рядышком, стоял с сияющим лицом и член правительства Шафрот — подошел к насторожившемуся хозяину «Медведя», вокруг которого сгрудились мрачные крестьяне, потряс ему руку и объявил, что он, находясь под впечатлением непреклонной воли флётенбахцев сохранить свою долину в девственном, нетронутом виде, чему он лично был свидетелем в Оберлоттикофене в «Монахе», предпринял как депутат парламента конкретные шаги: он искренне считает долгом общественности и ее общественных фондов прийти им по-дружески на помощь силами Швейцарской Конфедерации, облегчить их суровую долю здесь, наверху, для чего он, не откладывая дела в долгий ящик, прямо в воскресенье утром вытащил из постели члена федерального совета Швейцарской Конфедерации, в чьей компетенции находятся решения подобных вопросов, срочно собрал директоров крупных страховых компаний, сделал им заявление, что земли Флётенбаха — единственная горная долина в стране, не оскверненная пока еще канатными подъемниками и прочими типовыми застройками индустрии туризма, и что экология окружающих гор еще сохранила свою естественность, а на альпийские луга и очередную гору здесь нужно еще самому карабкаться с лыжами, чтоб потом с ветерком промчаться вниз или плавно спуститься, демонстрируя искусство владения горными лыжами, а посему невольно напрашивается вывод, что именно здесь надлежит создать давно запланированный зимний оздоровительный курортный центр для блага швейцарского народа — с просторными помещениями для групп здоровья, с оборудованными гимнастическими залами, с катками, закрытыми плавательными бассейнами, гостиничным комплексом, больницей и, возможно, все же несколькими небольшими канат-

ными подъемниками для тех, кто еще слишком слаб выдерживать режим нагрузок, предусмотренных полным курсом лечения в оздоровительном центре. Обстоятельства требуют, конечно, немедленно начать строительство шоссейной дороги на Флётенбах с подключением ее к автобану, короче — он развернул перед ними проект, убедивший их всех и, можно даже сказать, воодушевивший, тем более что необходимые суммы — десять миллионов от Конфедерации, пять от кантона и двадцать пять от страховых компаний — уже давным-давно были одобрены различными инстанциями и парламентом, еще до того, как было достигнуто согласие относительно выбора места, оставалось лишь назвать его, и вот отныне для них в их заброшенном медвежьем углу открывается перспектива счастливого будущего; этими словами депутат парламента закончил свою речь, вызвавшую среди флётенбахцев, ожидавших совсем иного к себе обращения и мысленно сидевших уже на скамье подсудимых перед судом присяжных в Оберлоттикофене, все нараставшее волнение, вылившееся в гробовое молчание, бездонную тишину которого еще больше усилил крик ворона, кружившего над людским безмолвием. Но вот лицо Шлагинхауфена, хозяина «Медведя» и председателя общины, просветлело, и он со слезами на глазах, нисколько не стыдясь их, принялся сердечно благодарить в самых простых выражениях депутата парламента, невольно перейдя с ним на «ты»:

— Этти, мы от души благодарим тебя, Бог ниспослал нам свое благословение.

# Бунтовщик

# Der Rebell

Историю главного героя надо бы начать с его юношеских лет. А. (к сожалению, имя его выпало у меня из головы) вырос в довольно крупном населенном пункте, ну, например, тысяч в сто жителей, условия преимущественно городские, ландшафт сельский, среднеевропейский, однако это неважно — начало повествования неопределенно, смутно, как будто рассказчик располагает лишь приблизительными данными о ранней юности А.

А. — единственный ребенок обеспеченного торговца. Своего отца ни разу в жизни не видел. Когда жена его была беременна, тот отправился в путешествие и так никогда и не вернулся. Сын живет с матерью и старой служанкой в большом доме в центре города. Служанка — глухонемая старуха, только мать может объясняться с ней при помощи знаков. Мать — очень красивая женщина. К сыну она равнодушна, целыми днями сидит в своей комнате, выходит оттуда, только чтобы поужинать, прислуживает им старуха, ужин проходит в полном молчании, в лучшем случае мать справляется об успехах А. на уроках, которые дает ему домашний учитель, горбун. О своем пропавшем муже она не говорит никогда. Если А. и спрашивает об отце, то не получает ответа; только однажды мать упоминает, как бы между прочим, что отцу было уже семьдесят, когда она вышла за него. После ужина она идет к себе, чтобы позже в другом наряде покинуть дом и вернуться под утро.

Однажды, в ночь полнолуния, мальчик следит за ней. Она пересекает центр города, выходит по одному из мостов в предместье по ту сторону реки, проходит и его, там стоят только виллы среди лесных участков. Мать отворяет какую-то решетчатую калитку, распахивает ее широко, мальчик незаметно следует за ней. Из-за вековых деревьев внезапно появляется небольшой, освещенный огнями дворец, она поднимается по лестнице, слуги в ливреях встречают ее, кланяясь. Из дворца доносятся звуки музыки, одно за другим гаснут

затем окна. Только в верхнем этаже светится стеклянная дверь, ведущая на балкон.

Мальчик пробирается в тени деревьев ко дворцу и пробует взобраться на балкон. Огромный, скуластый, с раскосыми глазами слуга в ливрее спугивает его, большой черный дог с рычанием бежит за мальчиком и гонит его вон из парка, через предместье, через мост в центр города, пока мальчик вновь не оказывается в отцовском доме, захлопывает за собой дверь, бледный и дрожащий, прижимается к ней.

Так проходят юные годы. После уроков А. обшаривает огромный чердак, полный всякой рухляди, привезенной из путешествий отцом: кроваво-красные азиатские маски, маленькие каменные чертики с огромными гениталиями, пожелтевшие гравюры с причудливыми ландшафтами.

Позже, став старше, он любит проводить время в библиотеке отца, перелистывает атласы, погружается в описания путешествий. Среди старых книг он находит учебник грамматики незнакомого языка. К кому он только не обращается: к горбатому домашнему учителю, к священнику, у которого конфирмовался и который представляется ему некоей высшей инстанцией, а позже и к специалистам, исследователям языков и сравнительного языкознания, — язык остается неразгаданным, не похожим ни на какой другой.

В этом языке нет существительных и прилагательных, одни глаголы, различается более пятисот спряжений, благодаря которым наряду со словами, выражающими действие, выражаются главные состояния и свойства: так, глаголы в застывшей форме настоящего времени выступают как существительные, «ненавидеть» — «ненависть», в то время как застывшая форма прошедшего выражает прошлую ненависть, однако если говорится это о времени настоящем, то прошлая ненависть — это уже «любовь».

А. изучает этот крайне сложный язык с трудом, потому что никто не в силах помочь ему, до всего приходится доходить самому, сначала он говорит на ломаном языке, затем все свободнее и, наконец, вполне гладко, не зная даже, правильно ли он выговаривает слова. Язык этот становится для него языком пропавшего без вести отца, хотя он и знает, что мысль эта абсурдна, это уже навязчивая идея, ибо семья отца на протяжении многих поколений живет в этом городе, многие из его предков были бургомистрами, и родители его родителей из этих же мест, и все же...

А. начинает выяснять, кем был его отец. Он находит старого прокуриста, служившего еще при его отце. Прокурист

отзывается о нем как о надменном, строгом, но справедливом торговце старой закваски. А. продолжает розыски. Еще более старый человек, бывший закупщик, который работал у отца, рисует юноше совершенно другой портрет: отец никогда не заботился о своих торговых делах; другой — совсем уже древний работник фирмы, — чертыхаясь, рассказывает об отце как о самом известном в городе бабнике, который переспал и с его женой; четвертый старец, еще древнее этого древнего, вспоминает, что отец якобы был во всех отношениях благочестивым человеком. А. узнает о своем отце абсолютно противоположные мнения, остальные сведения он находит в домах для престарелых у людей таких старых, что они, возможно, путают его отца с кем-то другим. И он отказывается от дальнейших розысков.

Ему исполняется двадцать лет. Он поступает в университет. Собирается стать математиком. Больше всего его интересует неевклидова геометрия Римана. Он все так же ужинает со своей матерью, все такой же красивой, она все так же уходит из дома по ночам — и вот однажды утром не возвращается. Сын, беспокоясь, обшаривает весь дворец, который ему с трудом удается отыскать, тот — пуст. Предпринятые поиски показывают, что он пустовал всегда. Соседи из близлежащих вилл никогда ничего не замечали, сам парк, окружавший дворец, разросся, хозяин неизвестен, дворцом управляет какой-то банк, дворец не продается, все это связано в конце концов с какими-то банковскими тайнами. Кроме того, А. не до конца уверен, тот ли это дворец, который обычно посещала его мать. Он возвращается домой. Старухи служанки тоже нет.

А. продает дом и без определенной цели покидает родину, из необъяснимого чувства, что должен отправиться туда, откуда более двадцати лет назад не вернулся его отец. Он скитается по Балканам, Малой Азии, Персии, то и дело ему кажется, что он видит ту землю, которую видел когда-то на старых гравюрах на чердаке.

В каком-то лесистом ущелье на развалинах старого храма он находит маленького каменного чертика с огромными гениталиями, похожего на того, который был у отца. Теперь он уверен, что найден верный след, но его уверенность разбивают другие свидетельства и факты. Он сбивается с пути, скитается по ущельям, неисследованным горным массивам, пустыням, он не раз поднимается на один и тот же унылый перевал, не замечая, что движется по кругу.

И вот уже А. подумывает отказаться от своих намерений, поиски кажутся ему безнадежными, даже возвращение домой сомнительно: на него нападают разбойники, слуги убиты, его лошади, багаж, оружие, географические карты, компас украдены, — он случайно оказывается на границе какой-то страны, не зная точно, где он находится, и бредет, хромая, в лохмотьях.

Здание таможни — убогий, покосившийся домишко, таможенник — маленького роста, раскосый, широкоскулый — останавливает А. и обращается к нему на странном языке, который А. изучал в юности. «Язык отца» становится реальностью, только звучит он гораздо грубее и в нем больше шипящих звуков, чем А. себе представлял.

А. изумлен, он отвечает на том же языке, таможенник удивляется, все время кланяется, обращается к А. с уважением и с тайным страхом. Он дает ему есть и пить, укрывает меховой шубой и предлагает лошака.

А. принимает решение изучить незнакомую страну. Он едет по широкому, продуваемому всеми ветрами плато, окруженному низкими голыми холмами, где на склонах лепятся деревушки из одноэтажных домиков. Небо безоблачно и необъятно, чаще всего густо-фиолетового цвета, так что даже днем видны звезды. Сверкает Сириус, а на горизонте горит яркая звезда, которую А. сначала принимает за планету и только потом признает в ней Канопус: оказывается, он попал далеко на юг.

Скупая растительность, тут и там кустарники да редкие уродливые деревья. Пастухи, неподвижно опираясь на свои палки и молча наблюдая за ним, пасут небольшие овечьи стада, изредка попадается несколько коз. Коров или буйволов не видно. Деревни лежат в стороне от пыльной дороги, и все-таки оттуда, издалека, приходят малорослые, раскосые, широкоскулые люди, как тот таможенник, чтобы поглазеть на А., становятся по обе стороны дороги, молчаливые, смиренные, бедные на вид, женщины поднимают маленьких детей повыше.

А. медленно приближается к столице, деревни попадаются все чаще, они уже побольше, появляются даже признаки некоторого благосостояния, дорога теперь вымощена камнем. Коренные жители одеты, как А., в меховые шубы, ниспадающие до земли, которые они не снимают и дома, обходятся с А. все более почтительно. Если раньше он ночевал в темных каменных маленьких домишках, в дымных сумрачных трущобах, то теперь он ночует у помещиков и зажиточных крестьян, которые встречают его на лошаках и приглашают в свои дома, пусть внешне и похожие на дома бедняков, но более

просторные, разделенные внутри на маленькие смежные комнаты, на полу ковры и мягкие подушки.

Приезд А. в столицу откладывается: всё новые сановники ищут знакомства с ним, ему приходится ночевать у каждого, люди здесь легко обижаются, а он не хочет никого обижать. Его произношение со временем все более приближается к местному, он чувствует себя как дома, все до странности знакомое, родное, и чуждое одновременно, но он не может не заметить беспокойства, которое довлеет над всем вокруг.

Политическая обстановка хаотична. Страной управляет властитель, который жестоко угнетает народ: людей ежедневно арестовывают, публично казнят, а после жители сопровождают их в торжественных похоронных процессиях под тихую мелодичную музыку к могиле, гроб покрыт голубым ковром.

А. наблюдает большое количество казней, возмущается, удивляясь тому, что, несмотря на все ужасы, страна охвачена тлеющей, иррациональной надеждой, которая делает открытый бунт невозможным: в нем нет смысла, потому что он привел бы лишь к насильственному изменению порядка вещей, а это все равно произойдет — ведь народ верит в некоего таинственного бунтовщика, который однажды явится и освободит его. Все живут этим ожиданием, уже не могут без этой надежды.

А. намерен прояснить для себя причины этого странного ожидания. Он беседует с бедными крестьянами, ремесленниками, подручными рабочими, беседует дружелюбно, тронутый вниманием, которое оказывают ему эти люди, без всякого определенного желания что-либо изменить, из интереса к их наивной мечте, которая живет во всех: что явится бунтовщик, быть может, он уже здесь и находится среди них.

А. прибывает в столицу, внешне она выглядит также примитивно, построена вокруг скалы, на вершине стоит дворец правителя — квадратный, без украшений, без окон, замок с беспорядочно пробитыми бойницами; снизу к скале лепятся дома, карабкаются вверх друг на друга, дальше несколько грубых дворцов, за ними круто спускаются вниз улочки и площади.

Его приглашают во дворец главы церкви; старый, лет за сто, теолог дружески принимает А. и просит остановиться у него. Религия здесь — странное христианство или, точнее, смесь христианства с незнакомыми местными верованиями, люди верят в некоего шестиединого Бога, в единство Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, но также равным образом в Бога святой энергии, Бога святой материи и Бога святого

Ничто, которое также считают и бытием, так что единство Бога — это шесть состояний бытия. Однако глава этой необычной церкви вовсе не такой уж упрямый догматик, чего А. вначале опасался, напротив, это достопочтенный теолог, который излагает свое учение с некоей благочестивой иронией и учтивостью, как будто считает своим долгом разъяснить чужестранцу особенности этой земли.

Больше, чем церковная догма, его, кажется, волнует судьба несчастного народа, о чем он говорит во время первой же аудиенции. Теолог берет А. под руку и ведет в зал, где политики страны собирают тайный, как выражается глава церкви, парламент: консерваторы, реформаторы, революционеры, идеалисты, атеисты и анархисты.

Теолог представляет А. и открывает собрание. Каждый начинает излагать свою позицию, мнения противоречат одно другому, причем теолог не поддерживает никого. Кажется, что он только глава оппозиции, но не способен направить различные течения в единое русло, для этого он политически слишком неопытен и наивен, тем не менее вокруг него сплачиваются все, потому что его собственная позиция неизменна, как духовный глава церкви, он по рангу стоит выше правителя, хотя у него и нет никакой политической власти.

Теолог удаляется, А. остается один с политиками. Он затевает с ними разговор, добивается, чтобы каждый еще раз выступил, разбирает их аргументы, но не для того, чтобы вести переговоры, а из чистого, иногда даже веселого любопытства, как сторонний наблюдатель.

Хотя все сходятся на том, что революция необходима, и все дают понять А., что она вот-вот произойдет, потому что по всем признакам скоро появится бунтовщик, но каждый хочет благодаря революции достичь разных целей: один — создать государство по европейскому образцу, с развитой индустрией, ведь в стране полно полезных ископаемых; другой оспаривает наличие этих полезных ископаемых, говоря, что страна должна вернуться к своей исконной свободной пастушеской культуре; третий — молодой, горячий, симпатичный, с рыжим чубом — вскакивает и заявляет, что христианские элементы должны быть удалены из религии, шестиединство Бога привело не только к тому, что каждый может иметь лишь шесть акров земли и шесть жен, а не столько, сколько хочет и может иметь, но чуждое стране христианство является также причиной, почему теперь страной управляет только один правитель: якобы это является ложным истол-

кованием шестиединства Бога; третьему возражает четвертый — человек огромного роста: именно так и извращается шестиединство, на самом деле оно означает наличие шести классов: правители, чиновники, теологи, солдаты, пастухи, ремесленники — все составляют один класс, так что все принадлежит всем и все управляют всеми; тут подскакивает какой-то невысокого роста толстяк, чьи раскосые глаза едва можно различить среди жировых складок, и кричит: пора кончать идеологическую возню, единственное, что нам необходимо, — парламент и подотчетное ему правительство и избранный народом авторитетный президент государства. Ты хочешь, чтобы выбрали тебя, кричат ему одни, демократия — это плутократия, орут другие, начинается столпотворение, кому-то в кровь разбили лицо.

Расстаются лишь на рассвете, но тайный парламент собирается вновь уже следующей ночью, потом и в другие ночи. А. примиряет революционеров различного толка, сглаживает противоречия. Его нейтральность, его спокойствие и юмор, поскольку ему смешны многие слишком радикальные мнения, действуют примиряюще, приводят к единодушию, так что в конце концов возникает только один вопрос: можно ли доверять капитану дворцовой охраны, у которого в подчинении и тайная полиция? Все расходятся, так и не разрешив этого вопроса, так как большинство не доверяет капитану, однако, с другой стороны, очевидно, что без него совершить переворот не удастся; теолог призывает А. к себе.

А. хочет все рассказать. Теолог прерывает его, говоря, что он в курсе дела, однако, прежде чем тайный парламент предпримет какие-то действия, его долг в качестве главы церкви разъяснить А. некоторые особенности нынешнего правителя, при всем его к нему уважении. Никому никогда не удавалось его увидеть.

Правитель никого не принимает, он живет абсолютно замкнуто, некоторые теологи и политики высказывают предположение, что, возможно, его нет и вовсе, что его существование — чистая фикция, придуманная либо капитаном дворцовой охраны, либо самим народом.

На вопрос А. о том, как же может править властитель, о котором неизвестно, существует ли он вообще, старик отвечает, что сам он никогда не получал никаких распоряжений, но другие утверждают, что получали приказы, спущенные, однако, через капитана дворцовой охраны, но, как уверяют, и самому капитану неизвестно, от кого они исходят, от самого правителя или от какой-то нижестоящей инстанции, ведь административная сеть во дворце всеобъемлюща.

Но самое главное, что тирания держится только благодаря тому, что никто не может разгадать, существует ли этот ужасный правитель на самом деле. Сам он, как глава церкви, считает, однако, что иначе и быть не может, и никакой революции не дано ничего изменить, потому что эта «невидимость правителя» воплощает сущность святого Ничто в шестидином Боге.

Ошеломленный рассуждениями теолога, А. возвращается в свои апартаменты. Тут, по обычаю страны, тоже нет никакой мебели, только дорогие ковры и мягкие подушки на полу, большая свеча освещает помещение. А. погружается в глубокий сон, но внезапно вскакивает в испуге: над его лицом веет теплое дыхание, перед ним стоит огромный черный дог, точь-в-точь как тот, который преследовал его однажды в юности, его глаза сверкают в свете свечи, как отшлифованные камни, дог рычит, как будто хочет схватить его, затем отворачивается от А. и выпрыгивает за дверь. А. поднимает по тревоге дворец главы церкви, молодые теологи обшаривают здание, но безрезультатно, главный портал и боковые двери заперты.

На другой день, когда А. прогуливается по столице, ему кажется, что в одной из боковых улочек он видит огромного слугу, который однажды испугал его в дворцовом парке, куда всегда ходила его мать; на другой день мимо него проходит глухонемая старуха, служившая некогда в их доме; однако он, конечно, мог и ошибиться, как и в случаях с догом и со слугой, до конца он не уверен, что это именно они. Он идет за старухой, она поднимается во дворец правителя по крутой лестнице и неожиданно исчезает.

Когда А. возвращается к себе, его уже ждет капитан дворцовой охраны, офицер высокого роста, интеллигентный, с почти европейскими чертами лица. Капитан в курсе дел оппозиции, тайная полиция уже донесла ему. Он пренебрежительно отзывается о главе церкви, теологе: да он просто суеверный мистик, на самом деле правитель вовсе не является воплощением шестиединого Бога, или как там называется эта чушь, в действительности это просто бессовестный человек, который скрывается за раздутым штатом чиновников, в одном только дворце правителя служат более двухсот писцов, все давно безнадежно коррумпировано, подгнило, все это средневековые пережитки. Просто надо выкурить всех их из этого гнезда, нужно действовать, вот и все. Начались эти безобразия более двадцати лет назад, к сожалению, сам он тогда был еще слишком молод, так что точно ничего не знает.

Но, насколько ему известно, однажды откуда-то пришел некий чужестранец, пешком, в лохмотьях, который по какой-то случайности знал язык страны и по этой причине был принят народом как предреченный правитель, после чего чужестранец овладел столицей, что ему легко удалось, потому что страна находилась тогда в состоянии полной анархии, в абсолютном беспорядке, борьбе всех против всех. И будто бы потому население приветствовало новый строгий порядок, как бы предопределенный шестиединым Богом; это был всегдашний обман, которому поддались все.

Этот порядок снова выродился в невыносимую диктатуру, которая стала таким же произволом, как прежде анархия, и требует столь же много жертв, никто не застрахован от ареста и смертного приговора, даже он, капитан. Очевидно, правитель сошел с ума, а быть может, он тоже пленник административного аппарата, который никого к нему не допускает и держит его в изоляции, поэтому все свои надежды народ связывает с бунтовщиком, который тем временем уже объявился и в котором народ так же видит посланца Бога, как и более двадцати лет назад видел его в нынешнем правителе, народ так же религиозен, как и тогда.

А. изумлен. Наконец он отвечает, что ему ничего не известно о приходе бунтовщика. Капитан смеется, кланяется и умолкает.

Во дворец главы церкви приходят политики и удивляются, увидев капитана. Но тот объясняет им, что он заодно с ними, что больше колебаться нельзя и уже на рассвете надо совершить государственный переворот, охрана дворца посвящена в тайну и готова действовать.

Так как бунтовщик наконец объявился и устранил все противоречия в народе и среди политиков благодаря своему мудрому посредничеству, дальнейшее промедление бессмысленно. Послан ли бунтовщик самим шестиединым Богом, как верит в это народ, или он такой же человек, как и все другие, который только воспользовался исключительной, может быть случайной, возможностью, чтобы вновь подарить народу свободу, во что он сам верит, будучи капитаном дворцовой охраны, не играет никакой роли, да, собственно, все, что думает о себе бунтовщик, неважно, решающим является то, что он представляет собой политическую реальность, которую нужно использовать, ведь речь идет о свержении ненавистного правителя, и ни о чем больше.

А. вдруг начинает осознавать, что все воспринимают его как того самого бунтовщика. Он тщетно пытается разъяснить это недоразумение, но никто ему не верит, все смеются, нико-

го невозможно разубедить в этом заблуждении. А. знает язык страны, А. — тот самый долгожданный бунтовщик, мессия.

Политики и капитан дворцовой охраны расходятся только в полночь. Глава церкви остается стоять перед А., серьезный и печальный.

— Ты — бунтовщик, — говорит он ему, — не пытайся более отрекаться. Прими свой рок, ни один человек не может больше помочь тебе.

Потом старик поднимает руку, как будто благословляет его, уходит из зала и возвращается в свои покои.

А. в смущении идет к себе, где его поджидает некий молодой священник, который уже не раз попадался А. на глаза. Всегда казалось, что он хочет что-то сообщить ему. И теперь он тоже колеблется, смущается, наконец он просит А. позволить ему что-то сказать. А. кивает. Молодой священник ведет А. обратно в зал и проводит в покои главы церкви. Там пусто. А. смотрит на молодого священника, но все еще не понимает, чего тот от него хочет.

— Главы церкви во дворце нет, — говорит молодой священник.

— Ну и что? — спрашивает А.

— Глава церкви и есть наш правитель, — говорит молодой священник. Правда, у него нет никаких доказательств, добавляет он, но все его поиски приводят именно к такому заключению.

Глава церкви и есть тот чужестранец, который более двадцати лет назад пришел в страну в лохмотьях, пешком. Он въехал в столицу на лошаке, как теперь А., и захватил одновременно и церковную и государственную власть, и все сочли его правителем, предопределенным шестиединым Богом, как теперь все видят в А. предреченного бунтовщика. Однако глава церкви как будто проявился в двух ипостасях: с одной стороны, неприступный, немилосердный правитель, с другой — добродушный теолог, открытый каждому и дарящий всем утешение; таким образом, он внушал народу надежду и ужас.

— Это чепуха, — возражает А.

Молодой священник кланяется.

— Это следы истины, господин, — отвечает он, собираясь проводить А. обратно в его апартаменты.

— Я сам найду дорогу, — говорит А., все еще возмущаясь этими нелепыми домыслами. Но в зале его хватают и арестовывают два солдата из дворцовой охраны.

— Кто отдал приказ? — спрашивает А. невозмутимо.

— Правитель, — отвечает один.

— Вы сами разговаривали с правителем? — продолжает спрашивать А.

— С ним никто не разговаривал, — отвечает другой.

А. продолжает настаивать:

— Откуда же вам известно, что приказ исходит от него?

— Это точно известно, — звучит ответ.

А. дает увести себя. В дверях, ведущих во внутренние покои главы церкви, стоит молодой священник, с безучастным видом, молча.

Оба солдата проводят А. через ночной город во дворец правителя, где его встречает капитан дворцовой охраны, который шепчет ему, что все это только подстроенная хитрость, что солдаты, как и все, верят, что арестовать А. приказал сам правитель. На самом же деле А. арестовали по его, капитана, приказу, чтобы обмануть правителя, осторожность в таком деле не помешает. Через несколько минут А. будет освобожден, бунт может начаться еще до рассвета, в любой момент, даже раньше, чем запланировано, все готово, все на подходе.

Но едва мнимый бунтовщик оказывается в следственной тюрьме, как все старые разногласия вспыхивают среди союзников снова, они сами мешают себе, вновь обнаруживаются старые противоречия, консервативно настроенные политики начинают сомневаться, действительно ли А. тот самый предопределенный шестиединым Богом бунтовщик, если это так, то он мог бы сам себя освободить. Политики прогрессивного революционного направления опасаются, что А., как и старый правитель, просто установит новую диктатуру, ведь он тоже пришел в страну в лохмотьях, из чужих земель. Наконец, колеблется и сам капитан дворцовой охраны.

Дискуссии и переговоры тянутся до утра, потом продолжаются весь день, потом весь следующий. Администрация не знает, будет она арестована или нет, правитель, как и прежде, невидим, глава церкви хранит молчание, а народ ждет, как ждал и доныне. Бунт откладывается. Сначала временно, а потом навсегда.

Политики покидают столицу, возвращаются в свои поместья, проводятся первые аресты, первые казни, трупы под тихую мелодичную музыку несут к могилам, в гробах, покрытых голубыми коврами.

А., не зная никаких новостей, ждет своего освобождения, он все еще убежден, что каждую минуту, каждую секунду может вернуться капитан. Тогда А. выйдет перед народом, перед *своим* народом, чтобы объявить ему свободу. Проходят

секунды, минуты, часы, дни, он зовет, кричит, никто не отзывается.

А. помещают в зал, стены которого сложены из зеркал. Пол и потолок тоже из зеркал. Он ищет дверь, но она тоже из зеркала, и потому он ее не находит.

Время идет, ни допросов, ни единой весточки извне. А. мечется по своей тюрьме; то ему кажется, что все стены раздвинулись, то ему чудится, что они сузились, а зал представляется крошечным помещением, состоящим из многих комнат, из анфилады комнат.

Постепенно он теряет рассудок. Он принимает себя, отраженного во многих зеркалах, за необъятную толпу, которая собралась, чтобы поднять бунт против правителя. Он выступает перед этой мнящейся ему массой людей с обвинительными речами против произвола и несправедливости правителя, произносит все более пламенные слова о свободе и справедливости для всех, требует со все более безумной риторикой, чтобы объявились добровольцы, готовые пойти на штурм дворца, где скрывается невидимый правитель, отважно разбить стены, свергнуть тиранию, сжечь все законы, открыть темницы и освободить его.

Его дух так запутывается, что он одновременно воображает себя и внутри и снаружи, и на свободе и в тюрьме. Но никто не отзывается, когда он недвижно ждет ответа, его тысячекратно отраженный в зеркалах образ и есть толпа бунтовщиков, но она неподвижна, как и он сам. Он впадает в отчаяние, он думает, что приверженцы покинули его, и бросает им в лицо слова свободы.

Постепенно он прекращает борьбу, целыми днями молчит, уставясь на самого себя. Никто не приносит ему еду, иногда он слизывает лужу, время от времени появляющуюся на полу из твердого зеркального стекла, откуда-то просачивающиеся капли воды. А где-то, за зеркалами, прячется кто-то, быть может, наблюдает за ним, всего в нескольких метрах от него, тот, против кого он бунтовал, если этот тот вообще существует, может, он и правитель, а может, и глава церкви, а может, и его отец, ему это безразлично. Ему действительно безразлично.

А. лежит, забывает о бунте, об окружающем его мире, о зеркалах, о самом себе. Когда-нибудь он издохнет как зверь, его труп высохнет, превратится в мумию, его забудут и политики, и народ, который будет ждать нового бунтовщика или нового правителя, со все той же благостной надеждой, что это когда-нибудь исполнится, быть может, скоро, быть может, через год, быть может, через десять лет или в каком-нибудь будущем поколении.

# Правосудие

# Justiz

Этот роман не основан на фактах. Имена, лица, место, действие выдуманы автором. Возможное сходство с истинными событиями, местами или лицами, все равно — живыми или мертвыми, носит чисто случайный характер.

## I

Спору нет, я пишу этот отчет для порядка, из своего рода педантизма, чтобы приобщить его к делу. Я хочу заставить себя еще раз пересмотреть весь ход событий, которые привели к оправданию убийцы и к гибели невиновного. Я хочу еще раз продумать шаги, на которые меня толкнули, меры, которые я принял, возможности, которые были мной упущены. Я хочу повторно и добросовестно взвесить все шансы, которыми предположительно еще располагает юстиция. Но главным образом я пишу этот отчет потому, что в запасе у меня есть время, много времени, месяца два как минимум. Я только что вернулся прямиком из аэропорта (те бары, куда я заглядывал на обратном пути, в счет не идут, мое теперешнее состояние тоже не имеет значения. Я пьян в стельку, но до утра я снова протрезвею).

Когда я выскочил из своего «фольксвагена», сняв револьвер с предохранителя, гигантская машина, уносящая доктора honoris causa Исаака Колера, с ревом и воем взмыла в ночное небо и взяла курс на Австралию. Старик проделал один из своих гениальных трюков, позвонив мне перед отлетом; ему, без сомнения, было известно, что́ я задумал, так же как всем было известно, что у меня нет денег, чтобы за ним последовать.

Поэтому мне ничего другого не остается, кроме как ждать, когда он вернется, когда-нибудь в июне, а может, в июле, напиваться, часто или изредка, смотря по состоянию моих финансов, и писать, писать — единственное занятие, которое еще подобает окончательно прогоревшему адвокату.

Но в одном кантональный советник просчитался: время не загладит совершенное им преступление, мое ожидание его

не уменьшит, мое пьянство его не зальет, мои записи его не оправдают. Рассказывая всю правду, я тем самым запечатлеваю ее глубоко в памяти, я вызываю в себе способность однажды — в июне, как я уже говорил, или в июле, словом, когда бы он ни вернулся (а он непременно вернется), все равно, буду я пьян или трезв, — совершить в здравом уме и твердой памяти то, что я намеревался совершить в состоянии аффекта. Мой отчет не только обоснование, но и подготовка убийства. Справедливого убийства.

Снова протрезвясь у себя в кабинете, я решил: справедливость теперь можно восстановить только с помощью преступления. И не покончить после этого с собой нельзя. Я отнюдь не собираюсь таким путем избежать ответственности, напротив, лишь таким путем я отвечу за свой поступок, пусть даже не с юридической, зато по крайней мере с человеческой точки зрения. Я знаю всю правду и не могу ее доказать. У меня нет свидетелей по самому главному пункту. Благодаря моему добровольному уходу из жизни им будет проще поверить мне и без свидетелей. Я иду на смерть не как ученый, который, поставив опыт на самом себе, убивает себя во имя науки, нет, я умираю потому, что продумал свое дело до логического конца.

Место преступления (оно особенно важно). Ресторан «Театральный» с фасадом в стиле рококо — один из немногих архитектурных памятников, сохранившихся в нашем безнадежно застроенном городе. Ресторан занимает три этажа, что известно далеко не каждому, большинство знает только про два. На первом этаже в нескончаемо долгие утра — у нас рано встают — можно найти заспанных студентов, впрочем, и деловых людей тоже, последние часто засиживаются до обеда, а то и позже, затем, после кофе с вишневкой, все стихает, официантки прячутся, и лишь часов около четырех прибывают истомленные учителя, заявляются усталые чиновники. Но основной вал накатывает к ужину и потом еще раз, после половины одиннадцатого: наряду с политическими деятелями, менеджерами и финансовыми воротилами — прочие представители свободных и сверхсвободных профессий, но одновременно и слегка робеющие иностранцы, ибо наш город любит выдавать себя за международный центр. Поэтому на втором этаже все до ужаса изысканно. До ужаса, иначе не скажешь: в двух низких, с красными обоями залах стоит тропическая жара, но гости терпят, дамы — в вечерних туалетах, мужчины нередко в смокингах. Воздух пропитан

пóтом, духами и, сообразно с профилем заведения, ароматом кулинарных изысков нашего города — телячьи медальоны с пом-фри и тому подобное. Здесь встречаются (собственно, то же самое общество, что и этажом ниже, только в парадном обличье) после премьер и после крупных сделок, однако не затем, чтобы провернуть дело, а затем, чтобы отпраздновать уже провернутое. На третьем этаже характер «Театрального» снова меняется, и ты с удивлением отмечаешь известный налет распущенности. Здесь правит бал бесцеремонность. Залы третьего этажа, высокие, светлые и большие, смахивают на залы дешевого питейного заведения — обычные деревянные стулья, на столах клетчатые скатерти, всюду подставки для пивных кружек, у самой лестницы — полупустое кабаре с второразрядными фокусниками и третьеразрядным стриптизом. Гости играют в карты и в бильярд. В этом зале собираются городские зеленщики, строительные подрядчики, владельцы универсальных магазинов, хозяева больших гаражей, специалисты по сносу домов, они порой сидят часами, ставки здесь фантастические, а вокруг игроков шныряют подлипалы, нелепые и подозрительные личности, проститутки тоже сидят и ждут, иногда их три, иногда четыре, все время за одним и тем же столом у окна, их не просто терпят, нет, они являются частью обстановки по доступной цене. Относительно доступной. Люди и в самом деле богатые считают и пересчитывают каждый грош.

Первый раз я встретил кантонального советника, когда сам только что сдал государственный экзамен, написал диссертацию, получил звание доктора и патент на адвокатскую практику, но продолжал работать, как и в студенческие годы, у Штюсси-Лойпина в роли мальчика на побегушках, хоть и рангом повыше. Мой принципал успел к тому времени снискать известность далеко за пределами нашей страны благодаря оправдательным приговорам, которых сумел добиться для лиц, обвиняемых в убийстве братьев Этти, Розы Пик, Дойбельбайса и Амслера, и благодаря сделанному им сравнению между Вспомогательными мастерскими «Трёг» и Соединенными Штатами Америки (причем очень и очень в пользу трёгенцев). Мне надлежало препроводить Штюсси-Лойпину в «Театральный» заключение по поводу одного из тех сомнительных дел, которым он отдавал явное предпочтение. Я застал прима-адвоката на третьем этаже, у бильярдного стола, где он только что завершил партию с кантональным советником, а за другим столом играл доктор Бенно с профес-

сором Винтером, и лишь теперь, когда я это записываю, мне задним числом становится ясно, что там собрались все главные персонажи предстоящего действия, словно в некоем Прологе. Был собачий холод, на дворе стоял не то ноябрь, не то декабрь, точную дату установить нетрудно, и я замерз, так как по привычке ходил без пальто, а мой «фольксваген» мне пришлось оставить в нескольких кварталах от «Театрального».

— Закажите-ка себе грогу, молодой человек, — обратился ко мне кантональный советник. Он пристально оглядел меня и подозвал официанта. Я невольно повиновался, тем более что мне все равно следовало ожидать распоряжений от Штюсси-Лойпина, который отошел с моим заключением в сторону и теперь листал его за одним из столиков.

В передней части зала играли зеленщики, темными силуэтами выступали они на фоне окон. С улицы доносился приглушенный грохот трамвая. Кантональный советник все еще разглядывал меня, не пряча взгляда и без тени смущения. На вид ему было под семьдесят. Он, единственный из всех, не снял пиджак, но и потеть не потел. Я наконец назвал себя, смутно догадываясь, что имею дело с человеком высокопоставленным, но имя его мне в голову не приходило.

— Вы не родственник ли полковнику Шпету? — спросил он, но себя не назвал, то ли не придавая этому значения, то ли предполагая, что он мне и без того знаком. (Полковник Шпет, воинствующий аграрий, ныне федеральный советник. Сторонник наращивания атомных вооружений.)

— Едва ли, — ответил я. (Чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом: я родился в 1930 году. Свою мать, Анну Шпет, я никогда не знал, отец вообще неизвестен. Я вырос в сиротском приюте, о котором вспоминаю с удовольствием, особенно необозримый лес, к нему примыкавший. Дирекция и педагогический состав были там выше всяких похвал, детство — счастливое, иметь родителей — это не всегда к лучшему. Мои несчастья начались с доктора h.c. Исаака Колера, до того у меня хоть и бывали затруднения, но не безнадежные.)

— Вы собираетесь стать компаньоном Штюсси-Лойпина? — спросил он.

Я удивленно взглянул на него.

— И не думал.

— Он высоко вас ценит.

— От меня он это почему-то до сих пор скрывал.

— Штюсси-Лойпин все от всех скрывает, — сухо заметил старик.

— Ну и напрасно, — беззаботно отвечал я. — Мне хочется самостоятельности.

— Вам будет очень нелегко.

— Возможно.

Старик засмеялся.

— Вы еще всякого натерпитесь. В нашей стране без поддержки трудно пробиться наверх. В бильярд играете? — вдруг спросил он без всякого перехода.

Я ответил отрицательно.

— Ну и напрасно, — сказал он и снова задумчиво уставился на меня с глубоким удивлением в серых глазах, но уже не насмешливо, как мне показалось, а без юмора, сурово, после чего подвел меня ко второму бильярду, где играли доктор Бенно и профессор Винтер, этих я знал: профессора — по университету, он был ректором, когда я туда поступал, доктора Бенно — из мира ночной жизни, процветавшей в нашем городе, в те времена, правда, не долее чем до полуночи, но зато весьма интенсивно. Бенно был человеком неопределенного рода занятий. Когда-то он был олимпийским чемпионом в фехтовании, за что и получил прозвище Хайнц Олимпиец, когда-то он стал чемпионом Швейцарии по стрельбе из пистолета, а известным игроком в гольф он оставался до сих пор; еще когда-то он содержал картинную галерею, которая не окупалась, теперь же, если верить слухам, он преимущественно управлял чужими капиталами.

Я поздоровался, они кивнули.

— Винтер на всю жизнь останется в бильярде новичком, — сказал доктор h.c. Колер.

Я засмеялся:

— Зато вы, наверное, мастер.

— Разумеется, — спокойно ответил он. — Бильярд — моя страсть. Дайте-ка сюда кий, профессор, все равно такой удар вам не осилить.

Профессор Адольф Винтер передал ему кий. Винтер был мужчина лет шестидесяти, грузный, но небольшого роста, сверкающая лысина, золотые очки без оправы, ухоженная черная с проседью бородка, которую он любил с достоинством поглаживать, всегда тщательно одет, хоть и консервативно, однако не без изящества, словом, один из тех гуманитарных краснобаев, которыми кишмя кишит наш университет, член ПЕН-клуба и Фонда Устери, автор двухтомного

кирпича под названием «Карл Шпиттелер* и Гесиод*, или Швейцария и Эллада. Сравнение», издательство «Артемис», 1940 (мне, как юристу, философский факультет всегда действовал на нервы).

Кантональный советник старательно натирал мелом кожаную нашлепку. У него были спокойные, уверенные движения, и, как бы резко ни звучали его слова, эта резкость не казалась высокомерной, скорей продуманной и выдержанной, все в нем свидетельствовало о силе и неколебимости. Чуть наклонив голову, он окинул взглядом бильярдное поле и ударил, быстро и решительно.

Я провожал глазами движение белых шаров, их столкновение, откат.

— От борта дуплетом — вот как можно справиться с Бенно, — промолвил кантональный советник, возвращая кий профессору. — Усвоили, молодой человек?

— Я в этом ничего не смыслю, — ответил я и занялся своим грогом, который кельнер тем временем поставил на столик.

— Ничего, когда-нибудь поймете. — Доктор h.c. Исаак Колер захохотал и, сняв со стены скатанную газетную подшивку, удалился.

Убийство. То, что произошло три года спустя, общеизвестно, и об этом можно рассказать в двух словах (для чего мне совсем не обязательно быть трезвым). Доктор h.c. Исаак Колер отказался от мандата, хотя колеровская партия выдвинула его кандидатуру на пост правительственного советника (правительственного, а не федерального, как о том писали некоторые зарубежные газеты), вообще отошел от политики (свою адвокатскую практику он забросил много раньше), возглавил кирпичный трест, который приобретал все больший международный размах, попутно отправлял обязанности президента в ряде правлений, подвизался также в одной из подкомиссий ЮНЕСКО и порой месяцами не показывался в нашем городе вплоть до того не по сезону теплого дня, в марте 1955 года, когда он провез через наш город английского министра Б. Визит министра носил сугубо частный характер — в одной из частных же клиник нашего города его пользовали от язвы желудка; теперь он сидел рядом с бывшим кантональным советником в «роллс-ройсе» последнего и безо всякого интереса знакомился напоследок с нашим городом; весь месяц он категорически отказывался от этого знакомства, чтобы под конец все-таки сдаться, зевая, глядел он на про-

плывающие мимо достопримечательности, технический институт, университет, кафедральный собор, романский стиль (кантональный советник подбрасывал по мере надобности короткие реплики), река трепетала сквозь мягкий воздух (как раз садилось солнце), набережная была полна людей. Министр, еще храня на губах привкус бесчисленных картофельных пюре и овсяных каш с сухофруктами, которыми его пичкали в частной клинике, но мечтая о неразбавленном виски, слышал голос советника как бы издалека, а шум транспорта — как шум еще более отдаленный, и под этот шум он задремал; им овладела свинцовая усталость, а может быть, и предчувствие, что язва — вещь отнюдь не безобидная.

— Just a moment[1], — произнес доктор h.c. Исаак Колер, после чего приказал шоферу Францу остановиться перед «Театральным», вылез, велел подождать минуту, успел еще машинально указать зонтиком на фасад «восемнадцатого века», но министр Б. никак не реагировал, он дремал и видел сны. Кантональный советник направился в ресторан, проник через вращающуюся дверь в большой зал, где был почтительнейше встречен метрдотелем. Время шло к семи, все столики были заняты, гости ужинали, мешанина голосов, чавканье, звяканье вилок и ножей. Бывший советник огляделся по сторонам, затем решительно проследовал к центру зала, где за маленьким столиком сидел профессор Винтер, всецело занятый филе а-ля Россини и бутылкой шамбертена, достал револьвер и пристрелил члена ПЕН-клуба, не преминув для начала приветливо с ним поздороваться (вообще все свершилось самым благопристойным образом), после чего столь же невозмутимо проследовал мимо остолбеневшего метрдотеля, который молча таращился на него, мимо растерянных, до смерти напуганных официанток, через вращающуюся дверь под теплое мартовское небо, снова сел в свой «роллс-ройс», к дремлющему министру, который так ничего и не заметил, который даже не осознал, что машина останавливалась, который просто дремал, просто видел сны, то ли о виски, то ли о политике (кстати, его и в самом деле смыла волна Суэцкого кризиса), то ли о некоем предчувствии по части своей язвы (на прошлой неделе газеты опубликовали сообщение о его смерти, с очень скупым комментарием, причем большинство газет ухитрилось переврать его имя).

---

[1] Одну минутку *(англ.)*.

— В аэропорт, Франц, — приказал доктор h.c. Исаак Колер.

Интермеццо его ареста. Без злорадства об этом рассказывать трудно. Через несколько столиков от убитого сидел за трапезой глава кантональной полиции вместе со своим старым другом, скульптором по имени Мокк. Погруженный в себя, да вдобавок глухой, Мокк вообще не воспринял ничего из происходящего ни раньше, ни потом. Оба ели potaufeu — отварное мясо с приправами и к нему бульон с овощами. Мокк — не без удовольствия; полицейский начальник, отнюдь не поклонник «Театрального», лишь изредка здесь бывавший, — не без отвращения. В этом блюде решительно все было ему не по вкусу: бульон слишком холодный, мясо слишком волокнистое, брусника слишком сладкая. Когда раздался выстрел, начальник не поднял глаз, что вполне возможно, во всяком случае, так рассказывают, поскольку он как раз в эту минуту по всем правилам высасывал мозг из мозговой кости, потом наконец встал, даже опрокинув при этом стул, как человек порядка, снова его поднял и подошел к Винтеру, но тот уже лежал на своем филе а-ля Россини, все еще сжимая рукой бокал с шамбертеном.

— Это не Колер тут был? — справился начальник у по-прежнему невменяемого, бледного метрдотеля, который в ужасе на него воззрился.

— Так точно. Совершенно верно, — пролепетал метрдотель.

Начальник задумчиво разглядывал убитого германиста, затем перевел мрачный взгляд на тарелку с жареным картофелем и бобами, скользнул по миске с нежной зеленью салата, помидорами и редиской.

— Тут больше ничего не поделаешь, — изрек он.

— Так точно. Совершенно верно.

Гости, поначалу окаменевшие, вскочили со своих мест. Из-за стойки глазел повар и прочий кухонный персонал. Только Мокк невозмутимо продолжал есть. Вперед протиснулся худой человек.

— Я врач.

— Ничего не трогайте, — спокойно распорядился начальник. — Нам его сперва надо сфотографировать.

Врач наклонился к профессору, но приказа не нарушил.

— Действительно, — констатировал он. — Убит.

— То-то и оно, — спокойно ответил начальник. — Вернитесь на свое место.

Затем он взял со стула бутылку шамбертена.

— А это мы конфискуем, — сказал он и протянул бутылку метрдотелю.

— Так точно. Совершенно верно, — пролепетал тот.

Затем начальник отправился звонить.

Вернувшись, он застал над трупом прокурора Йеммерлина. Прокурор был одет в парадный темный костюм. Он собирался на симфонический концерт и, когда раздался выстрел, доедал на втором этаже во французском ресторане омлет «Сюрприз» на сладкое. Йеммерлина в городе не любили, и о том времени, когда он уйдет на покой, мечтали все — шлюхи и конкуренты из другого лагеря, воры и взломщики, проштрафившиеся прокуристы, деловые люди, оказавшиеся в затруднении, но также и юридический аппарат — от полиции до адвоката, мало того, собственные коллеги и те его не жаловали. Все изощрялись в дурацких шутках по его адресу, ну и тому подобное. Прокурор занимал безнадежную позицию, авторитет его был давным-давно подорван, присяжные все чаще открыто ему перечили, а с ними заодно и судьи, но больше всего страданий причинял ему начальник полиции, молва утверждала, будто начальник считает так называемую уголовную часть нашего населения его лучшей частью. Впрочем, Йеммерлин был юрист высокой пробы, он отнюдь не всегда терпел поражение, его запросов и реплик боялись, его бескомпромиссность внушала уважение в такой же мере, в какой возбуждала ненависть. Он являл собой образец прокурора старой закваски, для которого каждый оправдательный приговор есть личное оскорбление, который одинаково несправедлив и по отношению к бедным, и по отношению к богатым. Йеммерлин был холост, недоступен искушениям, никогда в жизни не прикоснулся ни к одной женщине. Что и составляло его профессиональный недостаток. Преступники были для него чем-то непонятным, почти демоническим, они повергали его в ярость, которая подобала героям Ветхого завета, он был пережитком несгибаемой, но зато и неподкупной морали, доледниковый валун в «болоте юстиции, которая готова все оправдать», говорил он столь же пламенно, сколь и желчно. Вот и теперь он был чрезвычайно возбужден, тем более что лично знал и убитого, и убийцу.

— Господин начальник! — негодующе вскричал он, все еще держа салфетку в руке. — Говорят, будто убийство совершил доктор Исаак Колер!

— Правильно говорят, — буркнул начальник.

— Но это же просто невозможно.

— Колер, верно, спятил, — ответил начальник, сел на стул возле покойника и раскурил одну из своих неизменных «Байанос». Йеммерлин промокнул салфеткой пот на лбу, подтащил стул от соседнего стола и тоже сел, так что грузный мертвец лежал головой в тарелке как раз между обоими крупными и массивными блюстителями закона. Они сидели и ждали. В ресторане стояла мертвая тишина. Никто больше не ел. Все смотрели на зловещую троицу. Лишь когда в зал ворвалась ватага студентов, возникло некоторое замешательство. Студенты начали с пением разбредаться по залу, не сразу сообразили что к чему, продолжали драть глотку и лишь потом замолкли смущенно. Наконец заявился лейтенант Хэррен с другими членами комиссии по расследованию убийств. Полицейский фотографировал, судебный медик стоял без всякого дела рядом, а пришедший с комиссией окружной прокурор извинился перед Йеммерлином за свой приход. Тихие приказы, распоряжения. Потом мертвеца подняли — на лице подливка, борода в гусиной печенке и зеленых бобах, — уложили на носилки и перенесли в санитарную машину. А золотые очки Элла обнаружила, только когда ей позволили убрать со стола, в жареной картошке. После чего окружной прокурор приступил к допросу первых свидетелей.

Возможный вариант первого разговора. Когда официантки вышли из оцепенения, когда гости медленно и нерешительно заняли прежние места, а некоторые снова начали есть, когда прибыли первые журналисты, прокурор вместе с начальником полиции удалились для обсуждения в кладовую возле кухни, куда их проводили. Прокурор хотел какое-то время побыть наедине с ним без свидетелей. Предстояло организовать и провести открытый процесс. Краткое обсуждение среди полок с хлебом, консервами, мешками муки, бутылками масла прошло неудачно. Согласно докладу, с которым начальник полиции впоследствии выступил перед парламентом, прокурор потребовал широко задействовать силы полиции.

— Это еще зачем? — спросил начальник. — Кто ведет себя, как Колер, тот бежать не собирается. Мы спокойно можем арестовать его дома.

Йеммерлин разгорячился:

— Надеюсь, я могу рассчитывать, что вы будете обращаться с Колером как с любым другим преступником?

Начальник промолчал.

— Этот человек — один из самых богатых и самых известных жителей нашего города, — продолжал Йеммерлин. — Наш священный долг — (одно из его любимых выражений) — действовать с сугубой строгостью. Даже тени подозрения не должно возникнуть, что мы ему попустительствуем.

— Наш священный долг, — спокойно возразил начальник, — обойтись без ненужных расходов.

— Значит, тревогу номер один объявлять не будете?

— И не подумаю.

Прокурор воззрился на хлеборезную машину, возле которой стоял.

— Вы дружны с Колером, — наконец изрек он, даже и не сердито, а холодно, как бы по долгу службы. — Вам не кажется, что это обстоятельство может повлиять на вашу объективность?

Молчание.

— Дело Колера будет вести лейтенант Хэррен, — невозмутимо отвечал начальник.

Так начался скандал.

Хэррен был человеком действия, честолюбивым, а потому с самого начала проявил неуемную поспешность. Ему удалось всего за несколько минут не только поднять по тревоге всю полицию, но и встревожить все население, поскольку он пропихнул на радио, перед программой новостей в семь тридцать, экстренное сообщение кантональной полиции. Буча поднялась страшная. Вилла Колера оказалась пустой (Колер был вдовец, его дочь, стюардесса компании «Свиссэр», находилась в полете, кухарка ушла в кино). Можно было заподозрить попытку скрыться. Патрульные машины прочесывали город, пограничники были предупреждены. Интерпол поставлен в известность. С точки зрения чисто технической это заслуживало высокой похвалы, вот только упускалась возможность, которую предвидел начальник полиции: разыскивали человека, и не думавшего скрываться. Несчастье уже произошло, когда в начале девятого из аэропорта поступило сообщение, что Колер проводил до самолета одного английского министра, потом преспокойно уселся в свой «роллс-ройс» и приказал везти

себя обратно в город. Тяжелей других пострадал на этом деле федеральный прокурор. Успокоенный безупречным функционированием могучего государственного механизма, еще торжествуя свою победу над треклятым начальником, он как раз изготовился слушать увертюру Моцарта к «Похищению из сераля» и в предвкушении удовольствия уже погладил аккуратную седую бородку и откинулся в кресле, а Мондшайн уже поднял дирижерскую палочку, когда по проходу большого концертного зала в сопровождении одной из самых богатых и самых простодушных вдов нашего города, мимо заполненных слушателями рядов проследовал к первым рядам разыскиваемый полицией с применением новейших технических средств доктор h.c., спокойный и уверенный, как обычно, с невинным выражением лица, будто ровным счетом ничего не случилось. Доктор h.c. занял место подле Йеммерлина и даже потряс остолбеневшему прокурору руку. Возбуждение, шепот и — увы! — хихиканье трудно было не заметить, увертюра явно не удалась, поскольку и оркестранты прекрасно видели все происходящее, один гобоист даже привстал от любопытства, Мондшайну пришлось начинать дважды, прокурор же пребывал в таком смятении, что сидел будто окаменевший не только во время увертюры, но и во время последовавшего за ней Второго фортепианного концерта Иоганнеса Брамса. Правда, он сумел оценить ситуацию к тому времени, когда начал свою партию пианист, но прерывать Брамса не рискнул, слишком велик был его пиетет перед культурой, он страдал от сознания, что надо бы вмешаться, но теперь было слишком поздно, приходилось ждать антракта. Зато в антракте он начал действовать, протиснулся сквозь толпу, с любопытством обступившую кантонального советника, стремглав помчался к автоматам, принужден был вернуться и попросить у гардеробщицы мелочь, позвонил в полицейское управление, связался с Хэрреном и организовал сбор всех частей. Меж тем Колер разыгрывал святую невинность, он отправился в бар, где угощал вдову шампанским, этому подлецу вдобавок до того везло, что даже второе отделение концерта началось за несколько секунд до прибытия полиции. Вот и пришлось Йеммерлину вместе с Хэрреном торчать перед закрытыми дверями, покуда в зале бесконечно тянулась Седьмая Брукнера. Прокурор возбужденно метался взад и вперед, так что капельдинерам несколько раз пришлось его призывать к порядку, и вообще

с ним обращались как с дикарем. Он проклинал на чем свет стоит всю романтику, проклинал Брукнера, за дверью до сих пор тянули адажио, и когда наконец после финала раздались аплодисменты (которые, кстати сказать, тоже никак не хотели кончаться), а публика между шпалерами полицейских начала покидать зал, доктор h.c. оттуда вообще не вышел. Он исчез. Начальник полиции провел его через служебный выход к своей машине и отвез в полицейское управление.

Возможный вариант второго разговора: в управлении начальник провел д-ра h.c. в свой кабинет. По дороге они не обменялись ни единым словом, теперь начальник шел первым по пустому, плохо освещенному коридору. В кабинете он молча указал на глубокое кожаное кресло. Закрыл дверь на цепочку и скинул пиджак.

— Располагайтесь со всеми удобствами.

— Спасибо, я уже расположился, — ответствовал Колер, который тем временем успел сесть.

Начальник выставил два бокала на стол, разделявший оба кресла, и достал из шкафа бутылку красного вина.

— Шамбертен Винтера, — пояснил он, разлил вино по бокалам, тоже сел, некоторое время смотрел прямо перед собой, потом вдруг начал усердно вытирать пот со лба и шеи.

— Дорогой Исаак, — наконец заговорил он, — скажи мне ради Бога, зачем ты пристрелил этого старого осла?

— Ты подразумеваешь... — как-то неуверенно начал кантональный советник.

— Ты вообще-то соображаешь, что натворил? — перебил его начальник.

Советник не без удовольствия отхлебнул из своего бокала, но отвечать сразу не стал, а вместо того с некоторым удивлением, хотя и не без легкой насмешки поглядел на собеседника.

— Ясное дело, — ответил он наконец, — ясное дело, соображаю.

— А почему ты пристрелил Винтера?

— Ах, ты вот про что, — протянул кантональный советник и вроде бы задумался, потом со смехом: — Ах, вот ты про что, недурно, недурно.

— Что недурно-то?

— Да все.

Начальник решительно не знал, как на это реагировать, был сбит с толку и рассержен. Убийца же, напротив, явно

развеселился, несколько раз издал тихий смешок, его явно что-то забавляло.

— Ну, хватит. Почему ты убил профессора? — снова упорно и настойчиво подступил к нему начальник, а сам вытер пот со лба и с шеи.

— Без всякой причины, — признался кантональный советник.

Теперь начальник с великим удивлением воззрился на него, подумав даже, что ослышался, потом допил свой бокал, налил еще, но расплескал вино.

— Без всякой?

— Без всякой.

— Но это же бред, уж, верно, какая-нибудь причина у тебя была, — в нетерпении вскричал начальник. — Это бред!

— Прошу тебя, делай то, что велит тебе твой долг, — сказал Колер и допил вино.

— Мой долг велит мне арестовать тебя.

— Вот и действуй.

Начальник пришел в совершенное отчаяние. Как трезвый и рассудительный человек, он любил ясность в делах. Убийство для него было своего рода несчастным случаем, который не подлежит моральному суду. Но, как человеку порядка, ему требовалась видимая причина. Убийство без причины, с точки зрения начальника, попирало не законы нравственности, а законы логики. А так не бывает.

— Всего бы лучше упрятать тебя в сумасшедший дом для обследования, — яростно выпалил он, — не бывает, чтоб человек без всякой причины совершил убийство.

— Я абсолютно нормален, — спокойно парировал Колер.

— Может, позвонить Штюсси-Лойпину? — предложил начальник.

— Зачем?

— Вот голова садовая! Тебе же нужен защитник. Самый лучший из всех. А Штюсси-Лойпин у нас самый лучший.

— С меня хватит и назначенного.

Начальник сдался. Он расстегнул воротник и глубоко вздохнул.

— На тебя, видно, нашло помрачение ума, — прохрипел он. — Дай сюда револьвер.

— Какой такой револьвер?

— Из которого ты застрелил профессора.

— Вот чего нет, того нет, — изрек доктор h.c. и встал с места.

— Исаак! — взмолился начальник. — Надеюсь, ты избавишь нас от необходимости тебя обыскивать.

Он хотел снова подлить себе вина, но в бутылке уже ничего не осталось.

— Это проклятый Винтер слишком много выпил, — буркнул начальник.

— Прикажи наконец увести меня, — предложил убийца.

— Будь по-твоему, — отвечал начальник, — но тогда и мы тебя ни от чего не избавим.

Он тоже встал, снял с дверей цепочку и позвонил.

— Уведите этого человека, — приказал он. — Он арестован.

Запоздалое подозрение. Если я пытаюсь воссоздать эти разговоры — их «возможные» варианты, поскольку лично при них не присутствовал, — то отнюдь не с намерением написать роман, а из необходимости точно, насколько удастся, воспроизвести события, впрочем, и это вовсе не самое трудное. Хотя правосудие действует главным образом за кулисами, но и за кулисами размываются с виду столь резко очерченные сферы компетенции, меняются либо подвергаются новому распределению роли, происходят разговоры между действующими лицами, которые в глазах общественности числятся заклятыми врагами, и вообще господствует совсем иной тон. Не все бывает зафиксировано и приобщено к делу. Информацию можно сделать достоянием гласности, а можно и утаить. Так вот, при мне начальник всегда был очень словоохотлив и откровенен, но по доброй воле все рассказывал, давал ознакомиться с важными документами, нарушая порой ради меня инструкцию, да и вообще до сих пор ко мне расположен. Мало того, сам Штюсси-Лойпин был по отношению ко мне воплощением предупредительности, даже когда я уже давным-давно находился в противоположном лагере, ветер переменился только теперь, да и то по совершенно другой причине. Вот почему мне незачем выдумывать эти разговоры, достаточно их реконструировать. В крайнем случае я могу их вычислить.

Нет, мои «сочинительские» затруднения совсем иного рода. Хотя я отчетливо сознаю, что даже задуманное мною убийство и самоубийство не способны послужить окончательным доказательством моей правоты, меня, пока я описываю события, время от времени осеняет безумная надежда это доказательство предоставить, ну, например, выяс-

нив, куда девался револьвер Колера. Орудие убийства так никогда и не нашли. Обстоятельство, казалось бы, второстепенное. На ход процесса оно никак не повлияло. Убийца был известен, свидетелей хватало с лихвой — персонал и посетители «Театрального». И если начальник в начале следствия бросил все силы на то, чтобы отыскать револьвер, то отнюдь не из желания добыть еще одну улику против Колера — в том не было ни малейшей надобности, — а единственно из любви к порядку, в согласии со своими криминалистическими установками. Однако, как ни странно, усилия начальника ни к чему не привели. Путь, проделанный доктором h.c. Исааком Колером из «Театрального» до концертного зала, был всем известен и хронометрирован с точностью до минуты. После выстрела в поглощающего филе а-ля Россини профессора Колер, как нам известно, сразу же сел в свой «роллс-ройс» подле министра, грезящего о виски. В аэропорту убийца и министр вместе вышли из машины, причем шофер (который еще ни о чем не знал) не заметил никакого револьвера, равно как не заметил его и директор компании «Свиссэр», подскочивший с приветствием. В зале аэропорта поболтали о том о сем, далее были вслух высказаны непременные восторги по поводу здания, вернее, по поводу его внутреннего оформления, после чего Колер с министром нога за ногу проследовали к самолету, причем Колер слегка поддерживал министра под локоток. Церемония торжественного прощания, возвращение вместе с директором в зал, еще один беглый взгляд на убегающую по взлетной полосе машину, приобретение в киоске «Нойе цюрхер цайтунг» и «Националь-цайтунг», проход через весь зал, по-прежнему в сопровождении директора, хотя на сей раз без восторгов по поводу интерьера, далее — в ожидающую машину, из аэропорта на Цолликерштрассе, двойной сигнал перед домом простодушной вдовы, которая тотчас вышла (времени было в обрез), и с Цолликерштрассе — прямиком в Концертный зал. Никаких признаков оружия, вдова тоже ничего не заметила. Револьвер бесследно исчез. Начальник приказал тщательнейшим образом обыскать «роллс-ройс», затем прочесать маршрут, которым следовал Колер, далее — виллу Колера, комнату кухарки, жилище шофера на Фрайештрассе. Ничего. Начальник еще несколько раз подступался к Колеру, даже накричал на него и устроил ему длительный допрос. Тщетно. Доктор h.c. перенес это с легкостью, зато

Хорнуссер, следователь, который продолжил допрос вслед за начальником полиции, под конец рухнул без сил. Тут был внесен протест со стороны федерального прокурора в том смысле, чтобы полиция и следователи не проявляли чрезмерного педантизма, есть ли револьвер, нет ли револьвера, не стоит отводить его наличию слишком важную роль, продолжать поиски — значит выбрасывать на ветер деньги налогоплательщиков, короче, пусть начальник и следователь приостановят поиски; исчезнувшее оружие приобрело значение лишь позднее, стараниями Штюсси-Лойпина. Если в последние дни револьвер пробуждает во мне новую надежду, это уже совсем другая история, которая составляет одну из трудностей моего предприятия. В роли рыцаря справедливости я произвожу весьма жалкое впечатление, я ни на что больше не способен, кроме как писать: едва передо мной забрезжит возможность повлиять на ход событий другим способом, действовать по-другому, я бросаю свою портативную «Гермесбэби», бегу к своей машине (это опять «фольксваген»), даю газ и мчусь, как, например, вчера утром, к заместителю по кадрам компании «Свиссэр». У меня возникла одна идея, одно гениальное решение. Я ехал словно в чаду и только чудом прибыл в аэропорт живой и невредимый, и все встречные тоже остались живыми и невредимыми. Но кадровик не пожелал дать мне необходимую справку, он и принять-то меня отказался. Возвращение происходило в более чем умеренном темпе, на перекрестке один постовой даже предложил мне для скорости толкать машину сзади. Я снова ощутил себя битой картой. Еще раз поручить розыск частному детективу, то есть Линхарду, я не мог, он и брал слишком дорого, и вдобавок при сложившемся положении вещей едва ли был заинтересован в моем поручении. Какой дурак захочет по доброй воле рубить сук, на котором сидит? Поэтому у меня не осталось иного выхода, кроме как самому выйти на Элен. Я позвонил. «Нет дома». «В городе». Тогда я отправился наугад, пешком. Думал прочесать несколько ресторанов или книжных лавок и нашел, прямо-таки наткнулся на нее, но — увы! — она сидела, со Штюсси-Лойпином, перед кафе «Селект», за кофе со взбитыми сливками. Я углядел обоих только в последнюю секунду, когда сам уже стоял перед ними, растерянный, потому что искал только ее, и кипя от злости, потому что с ней сидел Штюсси-Лойпин, впрочем, это ничего не меняло по существу, они, надо думать, и без того давным-давно спят друг

с другом, дочурка убийцы и спаситель ее папеньки, она — в прошлом моя возлюбленная, он — в прошлом мой шеф.

— Прошу прощения, фройляйн Колер, — начал я, — мне хотелось бы поговорить с вами несколько минут. Наедине.

Штюсси-Лойпин предложил ей сигарету, сунул себе в рот другую, дал огня.

— Ты не против, Элен? — спросил он.

Я мог бы убить этого прима-адвоката на месте.

— Против, — отвечала она, не поднимая на меня глаз, хотя и отложив сигарету. — Впрочем, пусть говорит.

— Ладно, — сказал я, придвинув стул и заказав себе черный кофе.

— Итак, чего же вам угодно от нас, почтеннейший гений юриспруденции? — благодушно спросил Штюсси-Лойпин.

— Фройляйн Колер, — начал я, с трудом скрывая волнение, — я должен задать вам один вопрос.

— Слушаю. — Она снова закурила.

— Задавайте, — изрек Штюсси-Лойпин.

— Когда ваш отец провожал английского министра к самолету, вы еще служили стюардессой?

— Разумеется.

— И в том самолете, на котором министр возвращался в Англию, тоже летели?

Она загасила сигарету.

— Вполне возможно.

— Благодарю вас, фройляйн Колер, — сказал я, затем поднялся, откланялся и ушел, оставив недопитый кофе.

Теперь я знал, куда могло исчезнуть орудие убийства. Все проще простого. До смешного просто. Старик сунул револьвер министру в карман пальто, когда сидел рядом с ним в «роллс-ройсе», а его дочь Элен вынула револьвер из кармана во время полета. Для стюардессы это не составляет труда. Но теперь, обладая этим знанием, я вдруг почувствовал усталость и пустоту и долго, бесконечно долго брел по набережной, так что дурацкое озеро со своими лебедями и парусниками все время оставалось справа от меня. Если мои рассуждения верны — а они должны быть верны, — Элен знала о преступлении. И виновна так же, как ее отец. Но тогда она меня предала, тогда ей известно, что я прав, тогда ее отец одержал победу. Он оказался сильней, чем я. А борьба с Элен не имела никакого смысла, потому что Элен уже приняла решение, потому что исход борьбы уже был предрешен. Я не мог заставить ее выдать родного отца. Во имя чего я стал бы

взывать к ней? Во имя идеалов? Каких идеалов? Во имя правды? Она ее скрыла. Во имя любви? Она меня предала. Во имя справедливости? Вот тут она могла бы спросить: справедливости, а ради кого? Ради деятеля культуры местного значения? Пепел не ропщет. Ради бесхарактерного, изолгавшегося бабника? Он тоже кремирован. Ради меня, наконец? Не стоит труда. Справедливость — не чье-то личное дело. И еще она могла бы спросить меня: справедливость, а зачем? Ради нашего общества? Одним скандалом, одной темой для разговоров больше, а послезавтра новая повестка дня все равно выдвинет другие вопросы. Вывод из логического упражнения: польза от справедливости не перевешивает в глазах Элен ее папочку. Для юриста — вывод трагический. Может, ввести в игру самого Бога? Это, вне всякого сомнения, очень доброжелательный, но малоизвестный господин с сомнительными источниками существования. И еще: у него и без меня хватает дел (диаметр Вселенной, согласно Ситтеру — устаревшие данные, по самым скромным подсчетам, — в сантиметрах: единица и двадцать восемь нулей). Но надо было выстоять, собраться с духом, придушить философию, продолжить борьбу против общества, против Колера, против Штюсси-Лойпина и начать борьбу против Элен. Склонность к размышлениям — черта нигилистическая, она ставит под сомнение признанные ценности, вот почему я снова лихо обратился к действительной жизни, приободрясь и имея на сей раз озеро, лебедей и парусники с левой стороны, вернулся в Старый город, мимо пенсионеров и мимо парочек, к своему великому удовольствию озаренный как бы космическими лучами заходящего солнца, потом весь вечер без остановки пил «клевнер» (который вообще не переношу), и, когда около часа ночи в сопровождении одной дамы, хоть и с неважной репутацией, но зато с отменным телосложением, приблизился к ее дому, в подъезде меня поджидал Штубер из полиции нравов, он записал все адреса и любезно поклонился, поклон был задуман как едкая ирония, как жаровня углей, высыпанная на голову спившегося адвоката. В общем, получился прокол. Да, прокол. (Зато дама оказалась выше всех похвал, она даже сказала, что, поскольку для нее это большая честь, заплатить я могу и в другой раз, в чем я усомнился, откровенно признавшись, что до следующего раза навряд ли стану богаче, затем я назвал ей свою профессию, после чего она меня пригласила к себе в поверенные.)

Страна и люди. Без кое-каких сведений нам не обойтись. Для убийства потребно как непосредственное, так и отдаленное окружение, средняя годовая температура, средний процент землетрясений и человеческий климат. Здесь все сопряжено одно с другим. Предприятие, которое порой выступает под названием «наше государство», а порой — «наше отечество», было в грубом исчислении учреждено более двадцати поколений тому назад. Место: сперва все происходило главным образом среди мела, гранита и молассы, позднее к этому присоединились третичные отложения. Климат: так себе. Эпоха: сперва не очень, утверждалась доморощенная власть Габсбургов, избыток кулачного права, раз надо брать силой, будем брать силой, взламывали рыцарей, монастыри и замки, как несгораемые шкафы, грандиозные грабежи, добыча, пленных не брали, перед битвой — молебен, после драки — повальное пьянство, война себя вполне окупала, потом, к сожалению, изобрели порох, великодержавная политика натолкнулась на растущее сопротивление, любителей размахивать алебардой либо кистенем утихомирили, адептов ближнего боя прихлопнули на расстоянии, и восьми поколений не минуло, как уже свершилось приснопамятное отступление, далее еще семь поколений относительной дикости, в течение которых отчасти убивали друг дружку, угнетали крестьян (свободу здесь никогда не воспринимали слишком уж буквально) и вели битвы из-за религии, отчасти же на широкую ногу культивировали ландскнехтство, продавали свою кровь тому, кто больше заплатит, защищали князей от горожан, всю Европу — от свободы. Потом наконец грянули громовые раскаты Французской революции, в Париже перестреляли ненавистную гвардию, которая стойко защищала обреченную позицию на службе у прогнившей системы, что правила милостью Божьей, а тем временем один из гвардейских офицеров, аристократического рода, между прочим, сидя в мансарде и тем самым в безопасности, сочинял свою «Осеннюю песню». «Рощи запестрели, нивы пожелтели, осень началась». Немного спустя Наполеон окончательно сокрушил свору рабов и господ. Поражения, однако, пошли нашей стране на пользу. Проклюнулись первые ростки демократии и новые идеи: Песталоцци, бедный, оборванный и пламенный, бродил по стране от одного несчастья к другому. Намечался крутой поворот к бизнесу и ремеслу, задрапированный в соответствующие идеалы. Начала расти промыш-

ленность, прокладывались железные дороги. Правда, земля была скудна полезными ископаемыми, уголь и руды приходилось ввозить и перерабатывать, но повсюду ревностное прилежание, растущее богатство — без расточительства, хотя, к сожалению, и без блеска. Бережливость утверждалась как высшая добродетель, основывались банки, поначалу робко, долги считались чем-то постыдным, и если некогда важную статью вывоза составляли ландскнехты, ныне это стали банкроты: кто разорялся у нас, мог попытать счастья по ту сторону океана. Все должно было окупаться, и все окупалось, даже необозримые груды камней, даже галька, языки глетчеров и обрывистые склоны, ибо с тех пор, как была открыта природа и любой лоботряс получил возможность испытать прилив возвышенных чувств в горном уединении, стало возможным и создание индустрии туризма: идеалы страны всегда имели практическую основу. В остальном же жили так, что для каждого предполагаемого врага было выгодней не соваться, аморальная по сути, но здоровая жизненная установка, свидетельствовавшая если не о величии, то по крайней мере о политическом благоразумии. Так вот и приспосабливались, благополучно пройдя через две мировые войны, маневрировали между хищниками, но всякий раз выходили целыми и невредимыми. На сцену явилось наше поколение.

Наше время (1957 год после Рождества Христова). Значительная часть населения живет почти беззаботно, беспечно и обеспеченно, церковь, учебные заведения и клиники всегда готовы к услугам по доступной цене, кремация же в случае надобности производится бесплатно. Жизнь движется по накатанной колее, но прошлое раскачивает постройку и сотрясает фундамент. Кто многим владеет, тому страшно многое потерять. Тот замертво падает с лошади, когда опасность осталась позади, как упал всадник, проскакав по льду Боденского озера*; не хватает духу, чтобы признать необходимость собственного благоразумия, человек не готов и дальше мириться с тем, что никогда не был героем, а был просто наделен здравым рассудком, он протискивается в ряды героев, оживает предание об отцах-воителях, героические мифы грозят коротким замыканием, память живет доисторическими битвами, и вот уже иной сам возводит себя в борцы Сопротивления, а дальше приступают к делу генштабисты,

они заклинаниями вызывают из небытия мир Нибелунгов, грезят о ядерном оружии, о героической борьбе не на жизнь, а на смерть в случае агрессии, ибо гибель армии должна тупо и неотвратимо сопровождаться гибелью нации, тогда как народы, давным-давно угнетенные и порабощенные, умеют избегать этой участи то храбростью, а то и хитростью. Но предполагаемая гибель может нагрянуть в другом, более изощренном виде. Землю, которую нация собиралась защищать до последней капли крови, скупают иностранцы, чужие руки содействуют процветанию хозяйства, свои же в лучшем случае осуществляют общее руководство, хотя едва ли правят, граждане государства образуют верхний слой, а под ним, скучившись в жилищах, сдаваемых за бешеные деньги, ютятся бедные и работящие итальянцы, греки, испанцы, португальцы и турки, нередко презираемые, зачастую неграмотные, илоты, на взгляд многих хозяев — существа низшего сорта, которые, пополнив ряды сознательного пролетариата и обладая превосходством как результатом привычки к умеренности, могут однажды заявить о своих правах, вдруг осознав, что фирма, именующая себя нашим государством и уже наполовину перекупленная иностранным капиталом, зависит от них целиком и полностью. На самом-то деле, как мы смутно о том догадываемся, протирая глаза в немом изумлении, наше маленькое государство ушло с исторической арены, едва оно присоединилось к большому бизнесу.

Реакция общественности. Вот на каком фоне резко выделяется убийство, совершенное доктором h.c. Колером. Результат можно было предвидеть заранее: коль скоро мы деполитизировали политику — вот где мы устремлены в будущее, вот где мы вполне современны, вот где проявляется наш новаторский дух и миру суждено либо погибнуть, либо полностью «ошвейцариться», — итак, коль скоро от политики нечего больше ожидать ни чудес, ни новой жизни, разве что — да и то лишь изредка — дорог с еще лучшим покрытием, коль скоро сама страна с точки зрения биологической ведет себя вполне прилично и не слишком усердствует в деторождении (то, что мы малочисленны, составляет наше великое преимущество, а то, что благодаря иностранным рабочим наша раса мало-помалу улучшается, — наше величайшее преимущество), любое нарушение повседневной су-

еты вызывает взрыв благодарности, любое разнообразие желанно, благо ежегодное торжественное шествие гильдий с его закостенелым церемониалом никак не способно возместить отсутствие карнавала. Поэтому действия доктора h.c. Исаака Колера внесли некоторое разнообразие, люди получили возможность неофициально посмеяться над тем, чем официально возмущались, и уже вечером того дня, когда скончался Винтер, из уст в уста переходили слова, приписываемые не то одному высокому должностному лицу, не то и вовсе городскому голове, что, мол, Колер вторично заслужил звание доктора honoris causa, поскольку воспрепятствовал профессору Винтеру произнести первого августа свою очередную речь. Да и неумелые действия полиции едва ли способствовали росту гражданского негодования, уж слишком велико было всеобщее злорадство: отношения жителей с полицией у нас весьма напряженные, и вообще наш город давно уже не соответствует своей репутации. Сделавшись неожиданно для себя мегаполисом, он тем не менее тщится сохранить патриархальные черты — задушевность, добродетельность, мещанское прилежание, которые всегда себе приписывал и продолжает приписывать до сих пор, тщится сохранить собственное лицо в нагрянувшей безликости, связанный традицией, которая давным-давно перестала быть таковой. Время оказалось сильней, чем наш город со всем его прилежанием; время делает с городом все, что вздумает. Вот почему мы не такие, какими были некогда, но и не такие, какими должны быть, мы не в ладах с настоящим, мы не желаем того, к чему принуждены обстоятельствами, из духа противоречия не делаем до конца то, что необходимо, а делаем лишь наполовину, да и то против воли. Ярким выражением этого убожества служит непомерное разрастание прерогатив полиции, ибо всякий, кто не ладит с настоящим, должен вводить ограничения. Наша общность, по сути своей, обернулась полицейским государством, которое сует свой нос решительно во все, в нравственность и в транспорт (причем и то и другое находится в хаотическом состоянии). Полицейский не является более символом защиты, скорей уж символом преследований. Кончаю. Пьян в дым. Вдобавок та самая дама из меблированных комнат заявилась в мою контору (это по-прежнему мансарда на Шпигельгассе), ей понадобилась юридическая защита. Я посоветую ей завести собаку. Тогда она сможет на законном основании выводить ее, а вместе с ней и себя два раза за ночь. (Рекомендация Общества защиты животных,

со скрежетом зубовным принятая к сведению прокурором Йеммерлином.)

Итак, прокурор Йеммерлин. Он ненавидел кантонального советника. Бесшабашность последнего действовала ему на нервы. Он не мог простить, что Колер ухитрился в концертном зале пожать ему руку. Он до такой степени ненавидел Колера, что раздваивался от собственной ненависти. Вопиющее противоречие между его ненавистью и его чувством справедливости достигло пределов, для него невыносимых. Он то взвешивал возможность выступить с самоотводом, сославшись на свою пристрастность, то бездействовал, надеясь, что кантональный советник сам даст ему отвод. Вконец запутавшись, он поделился своими тревогами с кантональным судьей Егерленером. Егерленер прозондировал почву у следователя, тот в свою очередь — у начальника полиции, а начальник с тяжелым вздохом велел препроводить кантонального советника из окружной тюрьмы к себе в кабинет, чтобы создать непринужденную обстановку. Доктор h.c. был в отменном расположении духа. Виски «Белая лошадь» — выше всех похвал. Начальник снова завел речь о Штюсси-Лойпине, поскольку назначенный защитник никуда не годится. Колер ответил, что это не имеет значения. Тогда наконец начальник поведал о терзаниях Йеммерлина. В ответ кантональный советник заверил, что просто представить себе не может более нелицеприятного обвинителя. Эти слова, доведенные до сведения Йеммерлина, исторгли у последнего яростный выкрик, что теперь-то он проучит кантонального советника и упечет его пожизненно, после чего судья совсем было собрался своей властью отстранить Йеммерлина, но передумал, боясь, как бы прокурора от злости не хватил удар, со здоровьем у того дело обстояло не лучшим образом.

Процесс. Кантональный суд в составе судейской коллегии из пяти судей состоялся довольно скоро по нашим понятиям, со скоростью звука, можно сказать, — спустя всего лишь год после убийства, то есть снова в марте. Преступление произошло у всех на глазах, не было также надобности выяснять, кто убийца. Вот только установить мотивы преступления суд так и не сумел. Получалось, будто их вообще

нет. Из кантонального советника ничего выудить не удалось. Суд оказался перед неразрешимой загадкой. Тщательный допрос обвиняемого судьями не дал ни малейшей зацепки. Отношения между убитым и убийцей были настолько корректными, насколько это можно себе представить. Деловых связей между ними не существовало, ревность исключалась полностью, даже догадок в данном направлении никто не строил. Перед лицом этого более чем загадочного факта возникали два толкования: либо доктор h.c. Исаак Колер — душевнобольной, либо — безнравственное чудовище, убийца из любви к убийству. Первую точку зрения представлял официальный защитник Люти, вторую — прокурор Йеммерлин. Против первой свидетельствовал сам вид Колера, Колер производил вполне нормальное впечатление, против второй — славное прошлое Колера, ибо быть политическим деятелем и предпринимателем уже само по себе подразумевает высочайшую нравственность. Вдобавок общественное мнение с незапамятных времен прославляло социальные (не социалистические!) амбиции Колера. Но ни один процесс не задевал в такой степени честолюбивые струны Йеммерлина. Ненависть, поношение, остроты, в которых люди изощрялись по его адресу, поистине окрыляли старого законника, до его победительного вдохновения остальные попросту не доросли, бесцветный Люти не возымел действия. Тезис Йеммерлина о том, что мы имеем дело с нелюдью по имени Колер, ко всеобщему изумлению, восторжествовал. Пять судей сочли своим долгом заклеймить Колера в назидание остальным, и даже Егерленер прислушался к их мнению. Снова — и в который раз! — было предпринято все возможное, чтобы спасти хотя бы фасад морали. Народ, как гласило обоснование приговора, вправе не только требовать, чтобы круги, благополучные с финансовой точки зрения и вышестоящие — с общественной, вели нравственно безупречный образ жизни, но и вправе своими глазами наблюдать его. Кантонального советника приговорили к двадцати годам исправительной тюрьмы, то есть хотя и не пожизненно, но практически все равно выходило пожизненно.

Поведение Колера. Любой мог заметить достоинство, с каким держался изобличенный преступник. Появляясь в зале заседаний, он поражал всех свежим видом, недаром же

он отсиживал срок предварительного заключения главным образом в психиатрической клинике на берегу Боденского озера, хотя и обязанный соблюдать, весьма, впрочем, милостивые, предписания полиции, но зато под надзором профессора Хаберзака, близкого своего друга. В пределах клиники он мог позволять себе все виды движения, его партнером по гольфу был деревенский полицейский. Наконец, представ перед судом, Колер наотрез отказался от каких бы то ни было поблажек и потребовал, чтобы к нему отнеслись как «к человеку из народа». Примечательным было уже само начало процесса. Доктор h.c. прихворнул, грипп, столбик термометра добрался до тридцати девяти, но он все-таки настоял, чтобы слушание не откладывали, и даже отказался на время разбирательства воспользоваться больничным креслом. Пяти судьям он заявил (выдержка из протокола): «Я нахожусь здесь затем, чтобы вы, сообразуясь со своей совестью и с законом, по праву судили меня. Вам известно, в чем меня обвиняют. Отлично. Теперь ваше дело — судить, а мое — подчиниться вашему приговору. Каким бы он ни был, я сочту его справедливым». Когда приговор был вынесен, Колер от всей души поблагодарил высокий суд, особенно упирая на человечность, с какой к нему отнеслись, не забыл он поблагодарить и Йеммерлина. Публика слушала этот поток слов, скорее забавляясь, чем растроганно, у всех сложилось впечатление, что в лице доктора Исаака Колера правосудию удалось заполучить уникальный экземпляр, и, когда его увели, всем показалось, будто наконец-то опущен занавес над делом, хоть и не до конца ясным, но, уж во всяком случае, однозначным.

Теперь обо мне, тогдашнем и теперешнем. Такова в общих чертах предыстория, она может разочаровать, я понимаю, это событие, порожденное злобой дня, событие, странное лишь для непосредственных участников и для более посвященных, повод для сплетен, для острот более или менее плоских и для некоторых моральных сентенций о кризисе Запада и демократии, уголовное дело, добросовестно освещенное судебными репортерами и прокомментированное главным редактором нашей всемирно известной городской газеты (между прочим, тоже другом Колера) с обычным для нашей страны достоинством, на несколько дней тема для разговоров, едва ли далеко перешагнувших границы нашего

города, скандал провинциального масштаба, который по праву был бы забыт в самом недалеком будущем, не скрывайся за ним один вполне определенный замысел. Если же мне предстояло сыграть в этом замысле решающую роль, это уж моя личная беда, хотя, должен признаться, я с самого начала чуял недоброе. Впрочем, здесь необходимо немного осветить мои обстоятельства после колеровского процесса. Они уже тогда оставляли желать лучшего. Я попытался както встать на ноги; на Шпигельгассе, над молитвенным залом благочестивой секты «Святые из Ютли», я открыл собственную практику, помещение со скошенной внешней стеной, о трех окнах, с несколькими креслами, сгруппированными вокруг письменного стола от Пфистера, с цветными наклейками из «Беобахтера» на стенах, причем о качестве покрывавших стены обоев я предпочел бы умолчать, и с покамест бездействующим телефоном, — закуток, возникший благодаря тому, что хозяин дома приказал снять стенку между двумя мансардами и соответственно заколотить вторую дверь. В третьей мансарде обитал проповедник, он же основатель секты Симон Бергер, внешне смахивающий на св. Николая Флюенского*, с ним у нас была общая уборная. Правда, расположение у моей конторы было чрезвычайно романтическое, правда, неподалеку жили в свое время Бюхнер и Ленин, вид на трубы и телеантенны Старого города пробуждал восхищение, доверительность, уютное чувство родного угла и желание разводить кактусы, но для адвоката оно решительно не годилось, и не только из-за неудобств с транспортом, до меня и вообще было нелегко добраться: лифта нет, крутые скрипучие лестницы, хаотическое сплетение коридоров. (Добавлю: это раньше моя контора была неудачно расположена, когда у меня еще сохранялись какие-то амбиции, когда я еще хотел твердо встать на ноги, чего-то достичь, заделаться исправным бюргером, а для спившегося ходатая по делам девиц легкого поведения, каким я в результате стал, мой закуток подходит как нельзя лучше, хотя теснота из-за размещения в нем дивана приняла размеры поистине угрожающие; здесь я сплю один или с кем придется, здесь живу и даже иногда стряпаю, а ночью «Святые из Ютли» у меня под ногами горланят псалмы, типа «Мы ждем тебя, наш друг и брат, тебе здесь каждый будет рад», во всяком случае, Лакки, покровитель и защитник той самой дамы с примечательным телосложени-

ем и неопределенной профессией, который частью из любопытства, частью из делового интереса имел со мной беседу и вообще зондировал почву, казался всем этим вполне удовлетворен и даже по-приятельски заметил, что только здесь и можно отдохнуть душой.) Словом, клиенты и раньше меня не жаловали, я был почти безработный адвокат, кроме нескольких мелких лавочных краж, взысканий по исполнительному листу да уставов спортивного общества арестантов (по поручению департамента юстиции), мне было, в общем-то, нечем заниматься, я проводил время либо на зеленых скамьях вдоль набережной, либо перед кафе «Селект», играя в шахматы (с Лессером, причем мы оба упорно разыгрывали испанский дебют, так что в общем и целом это все время была одна и та же партия, и кончалась она одинаково, патом), в столовых женского ферейна я поглощал блюда хотя и лишенные фантазии, зато весьма полезные. При таких обстоятельствах я навряд ли мог отвергнуть письменное приглашение Колера навестить его в тюрьме в Р.; мысль, что в приглашении старика есть какая-то странность, поскольку решительно нельзя понять, зачем ему понадобился неизвестный, еще ничем себя не прославивший адвокат, и вдобавок страх перед его превосходством — словом, все свои смутные предчувствия я отогнал, просто не мог не отогнать. Во имя нравственности, которая есть продукт нашей трудовой морали. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. На Бога уповай, а без дела не бывай. Короче, я поехал в Р. (Тогда еще в «фольксвагене».)

Наше исправительное заведение. На машине можно доехать минут за двадцать. Плоское дно долины, пригородная деревня, унылая, много бетона, несколько фабрик, на горизонте — леса. Впрочем, было бы преувеличением утверждать, что наша тюрьма известна каждому жителю нашего города, ибо четыреста арестантов составляют от силы ноль целых одну десятую процента его населения. Впрочем, это заведение должно быть известно любителям воскресных прогулок, даже в том случае, если многие принимают его за пивоварню либо за сумасшедший дом. Тому же, кто прошел через охраняемые ворота и стоит перед главным зданием, вполне может показаться, будто перед ним неудачная по архитектурному замыслу церковь либо часовня из красного кирпича. Это смутное ощущение религиозной причастности

никоим образом не нарушает фигура охранника: приветливые, набожные физиономии, ни дать ни взять Армия спасения, повсюду тишина, благодатная для нервов, в прохладном полумраке на человека невольно нападает зевота, к которой, однако, примешивается душевная скорбь. Здесь юстиция являет миру заспанный лик, что и неудивительно, учитывая вечно завязанные глаза этой дамы. Есть и другие примеры доброхотства и забот о спасении души, тебе навстречу выходит бородатый капеллан, ревностный, неутомимый, потом тюремный пастор, далее дама-психолог в очках, во всем угадывается желание спасать, укреплять, наставлять души, лишь в самом конце довольно, впрочем, безотрадного коридора просвечивает мир, таящий угрозу, хотя через зарешеченные стеклянные двери невозможно разглядеть подробности, да и два человека в штатском, что сидят на скамье перед кабинетом директора и ждут, преданно и мрачно, пробуждают какое-то легкое недоверие, какое-то неприятное чувство. Но тот, перед кем открывают стеклянную дверь, кто перешагивает таинственный порог и проникает внутрь, не важно, в каком качестве — то ли слегка растерянных членов некой комиссии, то ли арестантов, поставку которых осуществляет правосудие, оказывается, к своему удивлению, в царстве по-отечески строгого, но отнюдь не бесчеловечного порядка, короче говоря, перед тремя мощными галереями в пять этажей, которые все просматриваются с одного определенного места, в царстве совсем не мрачном, а, напротив, пронизанном светом сверху донизу, в царстве решеток и клеток, не лишенном, однако, ни собственного лица, ни приветливости, ибо здесь через раскрытую дверь камеры можно углядеть потолок небесно-голубого цвета и нежную зелень комнатной липы, там — приветливые, довольные физиономии заключенных в коричневых тюремных робах; состояние здоровья подопечных выше всех похвал, монашеский, размеренный образ жизни, раннее выключение света, простая пища поистине творят чудеса, библиотека содержит наряду с описаниями путешествий, наряду с душеспасительным чтением для арестантов обоих вероисповеданий пусть даже не новейшую литературу, зато классику, от дирекции раз в неделю — киносеанс, на этой неделе — «Мы, вундеркинды», посещаемость воскресной проповеди заметно превосходит в процентном отношении таковую же по ту сторону тюремной стены, жизнь

разматывается медленно и равномерно, людей увлекают и развлекают, они получают оценки. Здесь примерное поведение имеет смысл, оно облегчает положение, речь идет, разумеется, лишь о тех, кому предстоит отсидеть лет десять или того меньше, тут воспитательные меры уместны. Напротив, там, где надежды нет, от пожизненно приговоренных никто не требует исправления из благодарности за предоставляемые послабления, недаром же они — гордость заведения, к примеру Дроссель и Цертлих, которые на воле своими злодеяниями повергали в трепет мирных граждан; охранники относятся к ним с робким подобострастием, они — звезды местного контингента и ведут себя соответственно. Нельзя замалчивать то обстоятельство, что у обычных уголовников это порой вызывает зависть, и они дают себе слово в следующий раз подойти к делу основательнее; точно так же и медаль, заслуженная нашей тюрьмой, имеет свою оборотную сторону, но, если рассматривать вопрос в совокупности, кто не захотел бы при таких условиях вступить на стезю добродетели; лишенные постов и должностей чиновники обретают новую надежду, убийцы обращаются к антропософии, извращенцы и кровосмесители ищут духовных благ, тут клеят пакеты, плетут корзины, переплетают книги, печатают брошюры, и даже правительственные советники заказывают себе костюмы в местной портновской мастерской, вдобавок здание пронизано запахом теплого хлеба, здешняя пекарня славится, ее булочки для бутербродов внушают изумление (колбасу надо заказывать), волнистых попугайчиков, голубей, приемники можно заслужить прилежанием и вежливостью, для желающих продолжать образование есть вечерние школы, и не без тайной зависти невольно закрадывается мысль, а ей на смену приходит твердая уверенность, что этот мир в полном порядке, именно этот, а не наш.

Беседа с директором исправительного заведения. К великому моему удивлению, я был приглашен к директору Целлеру. Он принял меня в своем кабинете — комнате с внушительным столом для заседаний, телефоном, папками. На стенах — таблицы, черные доски со множеством бумажек, почерк почти всюду каллиграфический, среди преступников, как, к сожалению, почти везде в этой стране, немало учителей. Окно не зарешечено, вид на тюремную стену и

небольшой газон, причем и это скорей напоминало бы школьный двор, не цари здесь абсолютная тишина. Ни автомобильных сигналов, ни шороха, как в доме для престарелых.

Директор приветствовал меня холодно и сдержанно, после чего мы сели.

— Господин Шпет, — начал он нашу беседу, — заключенный Исаак Колер пожелал, чтобы вы его посетили. Я разрешил ваше посещение, вы будете беседовать с Колером в присутствии охранника.

— От Штюсси-Лойпина я слышал, что он может беседовать со своими клиентами без свидетелей.

— Штюсси-Лойпин пользуется нашим доверием, — ответил директор на мой вопрос. — Не хочу сказать, что вы им не пользуетесь, просто мы вас еще не знаем.

— Понятно.

— И еще одно, господин Шпет, — продолжал директор уже более приветливым тоном. — Прежде чем вы начнете говорить с Колером, я хотел бы рассказать вам, какого я мнения об этом заключенном. Возможно, это вам пригодится. Не поймите меня превратно. В мои обязанности не входит выяснять, почему люди, порученные моему надзору, оказались здесь. Это меня не касается. Мое дело — исполнение приговора. И ничего более. Вот почему я не намерен рассуждать и о преступлении Колера. Но, признаюсь вам честно, этот человек вызывает у меня недоумение.

— В каком смысле?

Директор слегка замялся, потом сказал:

— Он кажется абсолютно счастливым.

— Можно только порадоваться, — заметил я.

— Не знаю, не знаю, — ответил директор.

— В конце концов, у вас действительно образцовое заведение.

— Стараюсь как могу, — вздохнул директор. — И все-таки согласитесь, если мультимиллионер счастлив, отбывая срок, в этом есть какое-то неприличие.

По тюремной ограде прогуливался крупный, жирный дрозд, привлеченный пением, щебетом и свистом благоденствующих в своих клетках птичек, чьи голоса порой с необычайной силой доносились из зарешеченных окон, и питающий, должно быть, тайную надежду, что ему тоже позволят здесь остаться. День был жаркий, судя по всему,

снова воротилось лето, над дальними лесами собирались облачка, а из деревни доносился бой башенных часов. Ровно девять.

Я раскурил сигарету. Директор придвинул мне пепельницу.

— Господин Шпет, — продолжал он, — вообразите заключенного, который смеет прямо с порога заявить вам в лицо, что у вас превосходное заведение, усердные охранники, что сам он вполне счастлив и ничего не желает. В голове не укладывается. У меня это вызвало отвращение.

— Почему же? — удивился я. — Разве у вас и в самом деле не усердные охранники?

— Ну, разумеется, усердные, — ответил директор, — но судить об этом надлежит мне, а не арестанту. Коль на то пошло, в аду не ликуют.

— Разумеется, — поддакнул я.

— Я тогда совершенно вышел из себя, потребовал строжайшего соблюдения всех правил внутреннего распорядка, хотя, согласно указанию департамента юстиции, должен был отнестись к нему с предельной мягкостью и хотя нигде на свете правилами тюремного распорядка заключенному не возбраняется чувствовать себя абсолютно счастливым. Но я ощущал полнейшую растерянность, чисто эмоциональную. Господин Шпет, вы должны меня понять. Колер получил обычную одиночку со строгим режимом, без освещения — вообще-то говоря, это запрещено, — однако уже спустя несколько дней я замечаю, что охранники его любят, я бы даже сказал — почитают.

— А теперь?

— А теперь я с ним смирился, — буркнул директор.

— И тоже его почитаете?

Директор задумчиво поглядел на меня.

— Видите ли, господин Шпет, когда я сижу у Колера в камере и слушаю, как он рассказывает, от него, черт побери, исходит какая-то сила, я бы сказал, надежда, впору самому уверовать в человечество и во все доброе и прекрасное, он и нашего пастора увлекает своими речами, это поистине какая-то липучая зараза. Но, благодарение Богу, я трезвый реалист и не верю, что бывают абсолютно счастливые люди. И тем паче — что они бывают в тюрьмах, как мы ни стараемся облегчить жизнь наших поднадзорных. Мы не звери, в конце концов. Но преступники — они и есть

преступники. Вот почему я еще раз говорю вам: этот человек может быть очень опасным, должен быть очень опасным. Вы делаете только первые шаги на своем поприще, поэтому будьте вдвойне осторожны, чтобы не угодить в его ловушку, а всего бы лучше для вас с ним вообще не связываться. Разумеется, я просто советую, не более того; в конце концов, вы сами адвокат, вам и решать. Если б только человека не дергали до такой степени в разные стороны. Этот Колер либо святой, либо дьявол, я счел своим долгом предостеречь вас, что и сделал.

— Большое вам спасибо, господин директор, — сказал я.

— Ладно, я распоряжусь, чтобы к вам привели Колера, — вздохнул директор.

Поручение. Беседа с абсолютно счастливым человеком протекала в соседней комнате. Та же обстановка, тот же вид из окна. Я встал, когда охранник ввел доктора h.c. Исаака Колера. Старик был в коричневой арестантской робе, его охранник — в черной форме и смахивал на почтальона.

— Садитесь, Шпет, — сказал доктор h.c. Исаак Колер. Он вообще держался как хозяин, непринужденно и покровительственно. Я в некотором смятении поблагодарил и сел. После чего я предложил арестанту сигарету, но тот отказался.

— Я бросил курить, — пояснил он, — я решил не упускать возможности сочетать приятное с полезным.

— Это тюрьму вы считаете приятной, господин Колер? — спросил я.

Он удивленно поглядел на меня.

— А вы не считаете?

— Я в ней не сижу.

Он прямо засиял.

— По-моему, здесь прекрасно. Это спокойствие! Эта тишина! Я, надобно вам сказать, вел крайне рассеянный образ жизни, раньше. Из-за своего треста.

— Могу себе представить, — согласился я.

— Телефона тут нет, — продолжал Колер. — Здоровье у меня заметно улучшилось. Вот поглядите. — И он сделал несколько приседаний. — Месяц назад я бы так не сумел, — гордо пояснил он, — кстати, у нас здесь есть спортивный клуб.

— Знаю, — сказал я.

За окном все так же, полный надежд, прогуливался жирный дрозд, но, возможно, это был уже другой. Абсо-

лютно счастливый человек разглядывал меня с довольным видом.

— Мы с вами встречались.

— Знаю.

— В ресторане «Театральный», который занимает известное место в моей жизни. Вы, помнится, наблюдали, как я играю в бильярд.

— Я ничего не смыслю в бильярде.

— До сих пор?

— До сих пор, господин Колер.

Арестант засмеялся и, поворотясь к охраннику, сказал:

— Мёзер, не будете ли вы так добры дать нашему юному другу огня?

Охранник вскочил и вернулся с зажигалкой.

— Конечно, господин кантональный советник, само собой, господин кантональный советник.

Охранник тоже сиял во все лицо.

Потом он снова сел, а я закурил. Доброжелательность обоих порядком меня изматывала. Я бы с удовольствием распахнул большое незарешеченное окно, но в тюрьме это, должно быть, не принято.

— Видите ли, Шпет, — заговорил Колер, — я ничем не примечательный заключенный, только и всего, а Мёзер — один из моих охранников. Превосходный человек. Он посвящает меня в тайны пчеловодства. Я уже сам почти ощущаю себя пасечником, охранник Бруннер — с ним вам тоже не мешало бы познакомиться — обучает меня эсперанто. Мы объясняемся исключительно на этом языке. Можете сами убедиться: бодрость духа, домашняя обстановка, сердечность, мир и покой. Я стал абсолютно счастливым человеком. А раньше? Господи!.. Я читаю Платона в оригинале, я плету корзины, кстати, Шпет, вам не нужна корзина?

— К сожалению, нет.

— Корзины господина кантонального советника — верх совершенства, — гордо подтвердил охранник из своего угла. — Это я научил его плести корзины, и он уже оставил далеко позади всех наших плетельщиков. Ей-Богу, я не преувеличиваю.

Я снова выразил сожаление:

— Увы, мне не нужна корзина.

— Жалко, а то я с удовольствием преподнес бы вам корзину. На память.

— Ничего не поделаешь.

— Жалко. Прямо до слез.

Я начал терять терпение.

— Не могу ли я узнать, зачем меня сюда вызвали? — спросил я.

— Разумеется, можете, — ответил он. — Без сомнения, можете. У меня как-то из головы вылетело, что вы приехали с воли, что вы спешите, что вы заняты. Хорошо, перейдем к делу: тогда, в «Театральном», вы, помнится, рассказывали, что намерены стать самостоятельным.

— Я и стал.

— Да мне докладывали. Ну и как успехи?

— Господин Колер, — сказал я, — здесь об этом едва ли уместно говорить.

— Значит, плохо, — кивнул он, — так я и думал. А расположена ваша контора в мансарде на Шпигельгассе, верно? Тоже плохо. Еще того хуже.

Это переполнило чашу. Я встал.

— Либо вы скажете мне, что вам от меня угодно, господин Колер, либо я уйду, — грубо сказал я.

Абсолютно счастливый человек тоже встал, вдруг прямо у меня на глазах сделался могучим, необоримым и вдавил меня обратно в кресло обеими руками, опустив их, словно гири, на мои плечи.

— Не уходите, — сказал он угрожающе, почти злобно.

У меня не осталось другого выхода, кроме как повиноваться.

— Хорошо, — сказал я и притих. Охранник тоже.

Колер снова сел.

— Вам нужны деньги, — констатировал он.

— Это мы здесь обсуждать не будем, — ответил я.

— Я мог бы вам дать поручение.

— Слушаю.

— Я желаю, чтобы вы заново расследовали мое дело.

Я растерялся.

— Другими словами, господин Колер, вы хотите добиться пересмотра?

Он помотал головой.

— Если бы я хотел добиться пересмотра, это означало бы, что вынесенный мне приговор несправедлив. Но он более чем справедлив. Жизнь моя завершена и подшита к делу. Я знаю, здешний директор считает меня лицемером, и вы, Шпет, сдается мне, тоже. Могу понять. Но я не святой и не дьявол, я просто-напросто человек, пришедший к выводу, что для

жизни достаточно тюремной камеры, а для смерти вообще достаточно койки, позднее — гроба, ибо назначение человека — мыслить, а не действовать. Действовать может любой бугай.

— Хорошо, — сказал я, — чрезвычайно похвальные принципы. Но теперь я должен за вас действовать. Еще раз расследовать ваше дело. Позволительно ли будет бугаю спросить, что вы затеяли?

— Ничего я не затеял, — кротко ответствовал доктор h.c. Исаак Колер. — Я просто размышляю. О мире. О людях. Возможно, и о Боге. Но для размышлений мне нужен материал, не то мои мысли начинают кружиться в пустоте. И от вас мне не требуется ничего, кроме небольшой помощи в моих занятиях, которые вы спокойно можете рассматривать как хобби миллионера. Кстати, вы не единственный, кого я прошу о незначительных услугах. Вы знаете старину Кнульпе?

— Профессора?

— Его самого.

— Я у него учился.

— Вот видите. Теперь он вышел на пенсию, и чтобы он у меня не закис окончательно, я и ему дал поручение. Он теперь занят исследованием: итоги одного убийства. Он выясняет последствия, которые возымело и еще будет иметь несколько насильственное прекращение жизни одного коллеги. В высшей степени интересно. Он вне себя от восторга. Задача состоит в том, чтобы, исследовав действительность, точно измерить воздействие одного поступка. А ваша задача, любезнейший, будет другого рода, и в некоторой степени она противоположна тому, что делает Кнульпе.

— Каким же образом?

— Вы должны заново рассмотреть мой случай, исходя из допущения, что убийцей был не я.

— Не понял.

— Вам надо составить фиктивное предположение, только и всего.

— Но раз вы убийца, все мои предположения не имеют смысла, — возразил я.

— Нет, только так они и приобретают смысл, — отвечал Колер, — кстати, вас никто и не заставляет исследовать действительность, этим занимается наш славный Кнульпе, вам надо рассмотреть одну из возможностей, которые таит в себе действительность. Видите ли, дорогой Шпет, действительность нам и без того известна, за нее-то я и сижу здесь

и плету корзины, а вот о возможном нам известно очень мало. И это естественно. Возможное почти беспредельно, тогда как действительное строго ограничено, потому что лишь одной из возможностей дано воплотиться в действительность. Действительное — это просто особый случай возможного. А потому его нетрудно вообразить и в другом виде. Из чего вытекает, что нам надлежит переосмыслить действительность, дабы проникнуть в сферу возможного.

Я засмеялся:

— Не совсем обычный ход рассуждений, господин Колер.

— Да, в здешних местах принято размышлять, — ответил Колер. — Видите ли, господин Шпет, по ночам, глядя на звезды между прутьями оконной решетки, я часто задаюсь вопросом: как бы выглядела действительность, будь убийцей не я, а кто-нибудь другой? Кто он тогда был бы, этот другой? Вот на какой вопрос я и хотел бы получить от вас ответ. Я назначу вам тридцать тысяч гонорара, из них пятнадцать в качестве аванса.

Я промолчал.

— Итак? — спросил он.

— Похоже на договор с дьяволом, — ответил я.

— Я же не требую от вас душу.

— Почем знать.

— Вы ничем не рискуете.

— Возможно. Но я не вижу смысла в вашей затее.

Он покачал головой, рассмеялся.

— Хватит с вас и того, что я вижу. Остальное вас не должно волновать. От вас требуется всего лишь принять предложение, которое никоим образом не нарушает закон и которое необходимо мне для исследования сферы возможного. Все издержки я, разумеется, беру на себя. Свяжитесь с каким-нибудь частным детективом, всего лучше с Линхардом, заплатите ему, сколько он попросит, денег хватит на все, и вообще действуйте по своему усмотрению.

Я еще раз обдумал это странное предложение. Оно мне не понравилось, я смутно чуял ловушку, хотя и не мог сообразить, в чем она.

— А почему вы обратились именно ко мне? — спросил я.

— Потому что вы ничего не смыслите в бильярде, — спокойно отвечал он.

И тут я принял решение.

— Господин Колер, — сказал я, — ваше поручение представляется мне слишком загадочным.

— Ответ можете сообщить моей дочери, — сказал Колер и встал.

— А мне не нужно время для раздумий, я отказываюсь, — ответил я и тоже встал.

Колер спокойно взглянул на меня, сияющий, счастливый, розовый.

— Вы возьметесь за это поручение, мой юный друг, — сказал он, — я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете: шанс — это и есть шанс, а вам он нужен. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. А теперь, Мёзер, вернемся к нашим корзинам.

И оба удалились, под ручку, не сойти мне с этого места, а я был рад, что смогу наконец покинуть обитель абсолютного счастья, и по возможности скорее. Я смылся в прямом смысле слова. Исполненный твердой решимости не ввязываться в это дело и никогда больше не видеть Колера.

Но я согласился. Хотя даже наутро все еще хотел отказаться. Я чувствовал, что на карту поставлена моя адвокатская репутация, пусть даже репутации как таковой у меня еще не было. Но предложение Колера не имело смысла, какой-то фокус, ниже достоинства моей профессии, откровенная возможность дуриком заработать много денег, против чего восставала моя гордость. В те времена я еще хотел оставаться незапятнанным, мечтал о настоящих процессах, о возможности приносить людям пользу. Я написал кантональному советнику письмо, где вторично сообщал о своем решении. На этом дело для меня было закончено. С письмом в кармане я вышел из своей комнаты на Фрайештрассе, как выходил каждое утро, в девять ноль-ноль, намереваясь по обыкновению для начала посетить «Селект», позднее наведаться в свою контору (мансарда на Шпигельгассе), а еще позднее — прогуляться по набережной. В дверях я раскланялся со своей квартирной хозяйкой, зажмурился от яркого света, глядя на желтый почтовый ящик возле дверей магазина, через дорогу от меня, несколько шагов, говорить не о чем, но, поскольку жизнь порой напоминает действие плохого романа, я в это гнетущее, тяжелое, из-за того, что дул фён, то есть типичное для нашего города заурядное утро между девятью и десятью часами, как уже было сказано, встретил, и вдобавок подряд, одного за другим а) старину Кнульпе, б) архитектора Фридли, в) частного детектива Линхарда.

а) Старина Кнульпе. Он заступил мне дорогу у почтового ящика. Я только было собрался сунуть в щель письмо с отказом, как он обошел меня с целой стопкой писем и начал аккуратно, одно за другим, опускать их. Как и обычно, старину сопровождала жена. Профессор Карл Кнульпе имел рост около двух метров, вид у него был изможденный, кожа да кости, напоминал он сразу и проповедника Симона Бергера и св. Николая Флюенского, только без бороды, был неухоженный и грязный, зимой и летом носил пелерину и берет. Супруга его тоже вымахала метра на два, была такая же изможденная, такая же неухоженная, тоже круглый год не снимала пелерины и берета, так что многие полагали, будто она не жена Кнульпе, а его брат-близнец. Оба были социологи и достигли известных степеней в своей области. Но хотя в жизни супруги были, что называется, водой не разольешь, в науке они враждовали не на жизнь, а на смерть и порой обрушивались в печати со злобными нападками друг на друга, он был великий либерал («Капитализм как духовная авантюра», издательство «Франке», 1938), она — страстная марксистка, снискавшая известность под именем Моисей Штеелин («Марксистский гуманизм реальной жизни», издательство «Ойропа-ферлаг», 1939), у обоих политическое развитие привело к одинаковым последствиям. Карл Кнульпе не получил въездной визы в США, Моисей Штеелин — в СССР; он позволил себе слишком резкие высказывания против «инстинктивных марксистских тенденций» Соединенных Штатов, она высказывалась еще беспощаднее против «мелкобуржуазного предательства» со стороны Советского Союза. Он позволил, она высказалась. К сожалению, здесь можно употреблять только прошедшее время: недели две назад грузовик штюрцелеровской конторы по сносу старых зданий задавил обоих, его предали земле, ее кремировали согласно завещанию, которое не на шутку осложнило похороны.

— День добрый! — дал я знать о себе, все еще держа в руках письмо Колеру.

Профессор Карл Кнульпе не ответил на мое приветствие, только, недоверчиво опустив взгляд, заморгал сквозь запыленные очки без оправы, жена его (в аналогичных очках) тоже промолчала.

— Не знаю, помните ли вы меня, господин профессор, — сказал я, малость обескураженный.

— А как же, — ответил Кнульпе. — Помню. Вы изучали юриспруденцию и болтались у меня в социологическом семинаре. У вас и сейчас вид как у вечного студента. Экзамены сдали?

— Давно, господин профессор.

— Адвокатом стали?

— Так точно, господин профессор.

— Молодцом. Социалист небось?

— Отчасти, господин профессор.

— Исправный раб капитала? — осведомилась супруга Карла Кнульпе.

— Отчасти, госпожа профессор.

— У вас, должно быть, что-то есть на сердце, — установил Карл Кнульпе.

— Отчасти, господин профессор.

— Проводите нас, — сказала она.

Я их проводил. Мы прошли мимо «Павлина», письмо я так и не бросил, из-за внезапной забывчивости, впрочем, почтовых ящиков у нас хватает.

— Выкладывайте, — приказал он.

— Я был в тюрьме, господин профессор, у доктора h.c. Исаака Колера.

— Так-так, значит, вы были у него, у нашего добродетельного убийцы. Ай-ай! Значит, вас он тоже вызвал?

— Так точно.

Вопросы сыпались вперемежку, то он спрашивал, то она.

— Он все еще счастлив?

— Ясное дело!

— И все еще сияет?

— Само собой!

Мы прошли мимо очередного почтового ящика. Собственно говоря, я хотел здесь остановиться, опустить свое письмо с отказом, но супруги Кнульпе безмятежно двигались дальше, размашистыми, торопливыми шагами. Чтобы не отстать, мне пришлось перейти на бег.

— Колер говорил мне, что вы взялись выполнить одно не совсем обычное поручение, господин профессор.

— Не совсем обычное? Это чем же?

— Господин профессор! Положа руку на сердце: если Колер поручает расследовать им же совершенное убийство с точки зрения его последствий, это ведь не лезет ни в какие ворота. Человек средь бела дня, без всякого повода, ни с того ни с сего совершает убийство, а потом заказывает социоло-

гические изыскания на данную тему под предлогом, что лишь так можно исчерпывающим образом рассмотреть действительность.

— Она и будет рассмотрена самым исчерпывающим образом, молодой человек. До бездонных глубин.

— Но ведь за этим что-то должно скрываться, какая-то чертовщина! — вскричал я.

Чета Кнульпе остановилась. Я пыхтел от гонки. Кнульпе протер свои очки без оправы и вплотную подступил ко мне, так что теперь я мог смотреть на него только снизу вверх, а он на меня — только сверху вниз. Он снова насадил очки, глаза его вонзились в меня.

Жена Кнульпе тоже на меня уставилась в неподдельном возмущении и подошла поближе к своему супругу, а тем самым и ко мне.

— За этим скрывается наука, молодой человек, одна только наука, и ничего больше. Впервые открывается возможность с методической доскональностью исследовать и самым исчерпывающим образом представить последствия убийства в гражданской среде! Благодаря нашему высокопоставленному убийце! Уникальный шанс! Открываются такие взаимосвязи! Родственные, профессиональные, политические, финансовые, культурные! Чему не следует удивляться. В этом мире все взаимосвязано, равно как и в нашем дорогом городе, один опирается на другого, один протежирует другому, и когда один падает, слетают многие, вот и сейчас многие слетели. Лично я с головой ушел в изображение последствий на примере нашей почтенной альма-матер. А ведь это только начало!

— Простите, машина...

Я оттащил обоих на безопасное место. От возбуждения супруги сошли с тротуара на мостовую, такси резко затормозило. Оно было битком набито, пожилая дама в шляпе, утыканной искусственными цветами, стукнулась лбом о ветровое стекло, шофер выкрикнул в окно что-то ужасно грубое. А супруги, те даже не побледнели.

— Несущественно, — сказал он, — с точки зрения статистики несущественно, переедут нас или не переедут. Важна только задача, только наука.

Но госпожа Кнульпе с ним не согласилась.

— Почему несущественно? Обо мне можно бы и пожалеть, — заявила она.

Такси уехало, а Кнульпе снова повел речь о своем социологическом изыскании.

— Не спорю, убийство есть убийство, но для человека науки убийство — это феномен, который подлежит исследованию, как все феномены. До сих пор ограничивались изучением причин, мотивов, истоков, окружающей среды. Мне же предстоит изучать последствия. И тут я возьму на себя смелость сказать: это убийство — благо для нашей альма-матер, великое благо для всего университета, прямо так и чешутся руки самому кого-нибудь убить. Конечно, не спорю, убийство — явление прискорбное, такое преступление, сами понимаете, но через брешь, неожиданно возникшую со смертью Винтера, стал возможен приток кислорода, приток нового духа. Выясняются самые потрясающие обстоятельства, наш дорогой покойник был досадной песчинкой в механизме, отсталым элементом, уже и Шекспир сказал по этому поводу: «Зима тревоги нашей миновала»*, но я не хочу ни грешить, ни изощряться в бездарных остротах, я просто отображаю, сопоставляю факты, молодой человек, факты, и ничего больше.

Мы дошли до «Павлина».

— Ну, в добрый час, господин адвокат, — сказали мне супруги на прощанье.

— У меня важное свидание с человеком из Высшего технического училища, — добавил Кнульпе. — Хочу копнуть и на этой территории. Влияние Винтера на педагогический совет — это уже само по себе целая глава, я предвижу сенсацию. Прелюбопытно может получиться.

У входа в ресторан оба снова обернулись ко мне, каждый воздев указующий перст.

— Мыслить научно, молодой человек, научно мыслить. Вам необходимо этому выучиться. В частности, как адвокату, — завершила госпожа профессор Кнульпе, она же Моисей Штеелин.

Они исчезли, а письмо свое я все еще не опустил.

б) Архитектор Фридли. Малость погодя я уже сидел рядом с ним в «Селекте», и письмо все так же лежало у меня в кармане. «Селекта» — кафе, где сидят и не уходят целую вечность; с незапамятных времен, или скажем по-другому: миллионы лет назад, когда вниз по реке еще трюхали бронтозавры, перед «Селектой» уже сидели люди. Фридли я знаю со своей штюсси-лойпиновской поры, ибо у него время от времени случались неприятности из-за земельных спеку-

ляций, но сдержать Фридли ничто не могло, он был и остается той лавиной жира, которая сметает с лица земли отдельные части нашего города, после чего там, где прошла лавина, возникают административные здания, меблированные квартиры и доходные дома, только все — более дорогое, чем раньше, по соответственно более жирным ценам. Рассмотрим это грозное явление природы пристальнее: явлению пятьдесят лет, во все стороны прут огромные, влажные от пота, сальные подушки, глаза у лавины маленькие, сверкающие, кое-как воткнутые в лицо, носик крохотный, уши тоже, а все остальное — огромное, селфмейдмен[1], дитя Ланг-штрассе (моя мамаша, дорогой Шпет, ходила по людям стирать, мой папаша спился до смерти, я сам вылил на его похоронах бутылку пива в могилу), не только меценат велосипедного спорта, без особых призов которого немыслима ни одна шестидневная гонка, когда сам он восседает посреди крытого стадиона, поглощая немыслимые количества санкт-галленской колбасы и сосисок, вдобавок он еще и покровитель музыкального искусства, это благодаря Фридли наш симфонический оркестр и оперный театр не скатываются окончательно до уровня посредственности, это Фридли ухитряется заманить на наши подмостки дирижеров Клемперера*, Бруно Вальтера* и даже Караяна*, а теперь покровительствует Мондшайну; тем самым он хотя бы в сфере искусства возвышает наш город, его же радениями безнадежно изуродованный.

Меня он узнал сразу. Утро, о чем я уже говорил, было теплое, дул фён, люди чувствовали себя как дома, сидели словно парализованные и заколдованные из-за этого обессиливающего климата, жались друг к другу, лично я прилип к Фридли, тот был в отменном расположении духа, макал в свой кофе с молоком одну плюшку за другой, сверх всякой меры чавкал, причмокивал, кофе бежал коричневыми струйками по его шелковому галстуку и белой сорочке.

Бурное ликование Фридли объяснялось помещенным в нашей всемирно известной городской газете объявлением о смерти. Господу Богу вздумалось с помощью трагического случая «призвать к себе нашего незабвенного супруга, отца, сына, брата, дядю, зятя и шурина Отто Эриха Куглера. Вся его жизнь была — любовь».

— Ваш враг? — спросил я.

---

[1] Selfmademan (*англ.*) — дословно: человек, сам себя сделавший.

— Мой друг.

Я выразил соболезнование.

— Угораздило же его под Шамом врезаться в дерево, нашего дорогого, славного и доброго старину Куглера, — прокомментировал Фридли, сияя, звучно прихлебывая, макая и заглатывая плюшки, — прямиком угодил в царствие небесное.

— Сочувствую, — пробормотал я.

— Чем сочувствовать, поглядели бы на его «фиат», просто жестяная лепешка.

— Какой ужас!

— Судьба такая. Все там будем.

— Пожалуй.

— Приятель, — сказал он, — вы, верно, и не подозреваете, что означает этот удар судьбы для моей ничтожной особы?

Я не подозревал. Раздутая ничтожная особа приветливо на меня уставилась.

— Куглер оставил вдову, — объяснил он. — Женщина на все сто.

Тут только я начал кое-что смекать.

— И на этой женщине вы теперь намерены жениться?

Архитектор Фридли колыхнул той частью своего жира, в которой, по моим расчетам, помещалась голова.

— Нет, молодой человек, я хочу жениться не на вдове, а на жене ее любовника. Тоже женщина на все сто. Усекли? Господи, это же проще простого: если любовник женится на вдове, ему придется перед этим развестись со своей женой, и тогда на ней женюсь я.

— Высшая светская математика, — сказал я.

— Стало быть, усекли.

— Но тогда вам тоже надо развестись, — напомнил ему я, смутно надеясь, что мне поручат вести бракоразводный процесс.

— А я и развелся. Неделю назад. Мой пятый развод.

Опять мимо.

Кельнер принес новую партию плюшек. Класс женской гимназии перебежал через площадь: девочки, некоторые с косичками, другие уже выглядели как молодые женщины; стайка остановилась, разглядывая рекламные снимки перед кинотеатром. Фридли покосился в их сторону.

— Не вы ли тот занятный адвокат, у которого хватает

наглости держать контору на Шпигельгассе, да еще в мансарде? — спросил он, не сводя глаз с девочек.

Пришлось ответить утвердительно.

— Сейчас половина десятого, — констатировал он и, осклабясь, снова обратился ко мне: — Не хочу быть бестактным, Шпет, потому что, вообще-то говоря, я человек вежливый, но я сильно подозреваю, что сегодня вы еще не заглядывали к себе в контору.

— В точку, — сказал я, — ваше сильное подозрение вполне оправданно. Но я предполагаю не более как через час или самое позднее после обеда туда наведаться.

— Так-так, предполагаете наведаться. — Он зорко глянул на меня. — Дорогой Шпет, вы сами во всем виноваты. Сегодня я с семи утра до без десяти девять проторчал на строительной площадке, — скромно сказал он. — Я заколачиваю миллионы. Чистая правда. На строительстве, на земельных спекуляциях. Тоже правда. Но за этим скрывается работа. И дисциплина, черт побери. Я пью как бочка, не спорю, но зато я каждое утро сам себя поднимаю за шиворот.

Сальная туша по-отечески обняла меня за плечи.

— Дорогой мой Шпет, — нежным голосом продолжал он, огромная сальная нежность, сияющая от кофейного пара, от сдобных крошек на лице и на руках, — дорогой мой Шпет, я хочу без обиняков поговорить с вами. У вас явные стартовые затруднения, можете не втирать мне очки. Из чего следует: для серьезных людей вас все равно что нет. Адвокат, который к половине десятого еще не сидит за своим столом, для порядочного бизнесмена не существует. Я не хочу глубже залезать вам в душу, на лежебоку вы как-то не очень похожи, но, с другой стороны, вы до сих пор не могли собраться с духом, чтобы совершить настоящее сальто-мортале прямо в гущу жизни. А знаете почему? Да потому, что вы ни черта не смыслите в репрезентативности, потому что у вас нет ни осанки, ни живота. Закончить университет — это, разумеется, весьма изысканно, но хорошие отметки производят впечатление только на ваших учителей. Одного письменного стола мало. Можете восседать за ним сколько угодно, клиенты косяком не пойдут. И правильно сделают, на кой ляд вы им сдались. Нет, мой дружочек, ваше разочарование неуместно, «фольксваген» и мансарда — это не только социальный, это отчасти и духовный признак бедности, уж вы на меня не сердитесь. Ничего не

скажу против честности и скромности, но адвокат должен вышагивать так, чтоб под ним земля дрожала. И прежде всего вам нужно приличное помещение для конторы, с вашей голубятней вы толку не добьетесь, туда ни один человек не полезет, люди, в конце концов, намерены вести процесс, а не улучшать свою спортивную форму. Короче говоря, дальше так дело не пойдет. И я хочу дать вам шанс. Приходите завтра к семи утра, принесите мне четыре штуки, и мы подкинем вам несколько приличных комнатенок на Цельтвеге.

(Что за этим последовало? Длительные рассуждения о гигантской земельной спекуляции и параллельно поглощение очередной партии плюшек под кофе с молоком, рассуждения иронически-сардонического характера, подкрепленные твердым убеждением, что в этой стране самые крупные махинации можно и должно провертывать только в открытую; с махинаций Фридли перепрыгнул на фестиваль Стравинского и Онеггеровский цикл, а когда я встал, он еще успел заметить, что хаос на дорогах происходит оттого, что наш городской голова предпочитает ходить пешком.)

в) Частный детектив Фреди Линхард одного со мной года рождения. Тощий и черноволосый человек, на редкость молчаливый и скупой на слова. Единственный сын разведенных родителей. Когда он был еще гимназистом, его заподозрили в убийстве родной матери и ее любовника, обоих обнаружили нагишом в мамочкиной спальне, оба лежали аккуратно вытянувшись — она — на кровати, он, психиатр из Кюснахта, — на полу перед кроватью, все равно как коврик. Линхарда взяли прямо с экзамена на аттестат зрелости, он был как раз занят переводом Тацита, когда полиция схватила его, положение Линхарда казалось безнадежным, подозревать больше было некого, только он в ночь убийства находился дома, хотя, если верить его словам, мирно сидел в своей гимназической келье, в мансарде, набитой классиками и книгами по зоологии. Прибавьте к этому и еще одну незадачу: ему как раз минуло восемнадцать, тем самым он попадал не под ферулу прокурора по делам несовершеннолетних, а в гораздо более беспощадные руки Йеммерлина. Допросы во время предварительного заключения и позднее, перед судом присяжных, протекали более чем свирепо, Йеммерлин атаковал гимназиста по всем правилам искусства, но Линхард держался блестяще, даже обнаруживая известное превосход-

ство, и тогда вдруг неопровержимые улики запестрели серьезными противоречиями, а под конец у правосудия не осталось иного выхода, кроме как вынести оправдательный приговор. Улик не хватило даже для того, чтобы назначить опеку. Йеммерлин рвал и метал, именно в ходе этого разбирательства у него впервые случился нервный криз, он неоднократно еще пытался, без всякого, впрочем, успеха, внести протест в федеральный суд с требованием пересмотра дела, тем более что Линхард приступил к отмщению. На этого подозреваемого неожиданно свалились деньги, бешеные суммы, умопомрачительное богатство, разведенный папенька оставил сыну все свое состояние. К этому прибавились капиталы отнюдь не бедной маменьки, и вообще презренный металл катился, стекался, слетался со всех сторон, накапливался, множился, приносил проценты, одно наследство следовало за другим, и все это в самые сжатые сроки, деды и бабки, тетки и дядья пачками, так сказать, спешили переселиться в лучший мир, а за ними следовали потенциальные наследники, казалось, будто земля и небо задействовали все имеющиеся в их распоряжении виды смертей, дабы благословить Линхарда земными дарами. И Линхард был щедро благословлен. Едва выскользнув из объятий разъяренного Йеммерлина и едва достигнув двадцати лет, он предстал перед изумленной публикой мультимиллионером. Это было поистине сказочное везение, и счастье играло здесь большую роль, нежели расчет, хотя, впрочем, и расчет наличествовал изрядный. Ибо действия Линхарда против прокурора были столь же просты, сколь и последовательны: он неизменно держался поблизости. Йеммерлин мог направить свои стопы куда угодно, по дороге ему непременно встречался Линхард. Где бы он ни держал обвинительную речь, ему из зала во весь рот улыбался Линхард. Если ему случалось обедать в ресторане, за соседним столиком всякий раз обедал Линхард. Линхард всегда был рядом. Где бы Йеммерлин ни проживал, в соседнем доме обязательно проживал Линхард, если Йеммерлин, клокоча от ярости, переезжал на новую квартиру, этажом выше снимал квартиру Линхард. Йеммерлин решительно не знал, что ему делать. Вид Линхарда был для него невыносим. Он уже несколько раз был готов наброситься на Линхарда и перейти к действию и однажды даже приобрел револьвер. Он кочевал с одной улицы на другую, переезжал из одного района в другой, с Хинтербергштрассе на К.Ф.Майерштрассе, из Воллисхофена в Швамендинген,

и когда наконец, оставив цивилизацию далеко позади, он начал строить виллу на Катценшванцштрассе у Витикона, рядом тоже возникла какая-то стройка. Йеммерлин заподозрил неладное, и то обстоятельство, что в качестве будущего соседа ему назвали прокуриста одного из цюрихских банков, успокоило его лишь отчасти. Он оказался прав. Когда весной, закатав рукава, он первый раз вышел поливать молодой газон, Линхард бойко сделал ему ручкой из-за свежеокрашенного забора и тотчас заговорил, будто со старым знакомым (впрочем, так оно, в сущности, и было), и представился как новый сосед. Мифический банковский прокурист был всего лишь подставным лицом. Йеммерлин, шатаясь, побрел к дому, но дойти сумел лишь до веранды. Второй нервный криз, а вдобавок — инфаркт. Врачи не знали, куда его поместить, то ли в психиатрию, то ли в кардиологию. Йеммерлин остался дома, лежал пластом, желтый как воск, и считалось, что его песенка спета. Однако он устоял. Он снова поднялся на ноги, хотя и опустошенный внутренне. По отношению к Линхарду — безмолвное смирение. Они так и остались жить друг подле друга. На лесной опушке. С видом на Витикон. Йеммерлин больше не рисковал поднимать голову. Тем более что он был совсем уже бессилен против нового рода занятий Линхарда. Линхард заделался частным детективом и вел свои дела с большим размахом. В одном из средневековых зданий в Талаккере он снял несколько помещений, целый этаж сразу, чтобы можно было без помех переходить из комнаты в комнату. За вполне современными письменными столами сидели и курили сигары коротко подстриженные плечистые господа, сплошь бывшие спортсмены, хоть и отрастившие пивной животик, но вполне довольные жизнью; далее там сидели бывшие полицейские, которых он просто-напросто перекупил, ибо то, что в смысле вознаграждения мог предложить Линхард, значительно превышало возможности нашего города. Но отнюдь не перекупка блюстителей порядка выводила Йеммерлина из себя, бизнес он и есть бизнес, с этим, к сожалению, спорить трудно. Терзали его душу совсем другие приобретения Линхарда. Он не мог не видеть, что старинные залы в Талаккере заполняют сомнительные субъекты, которых он, Йеммерлин, в свое время беспощадно преследовал, бывшие арестанты и бандиты, которых здесь после их возвращения на стезю добродетели употребляли как специалистов. Кстати, «уголовное отделение» Линхарда пользовалось в нашем городе сногсшиба-

тельным успехом, несмотря на умопомрачительные гонорары, которые он назначал, и непомерные накладные расходы, которые он обычно ставил в счет, ибо «Частная информационная контора Линхарда» — так официально именовал он свое заведение — поставляла доказательства измен, равно как и верности, заподозренных супругов, находила отцов, коль скоро последние не желали по доброй воле удовлетворять требования матерей, добывала информацию по личным, равно как и производственным, проблемам, вела надзор, преследование, розыск, выполняла щекотливые поручения, и к ее помощи нередко прибегали официальные защитники, чтобы воспрепятствовать намерениям Йеммерлина добыть контраргументы либо вообще заполучить что-нибудь новенькое. Немало процессов благодаря конторе Линхарда кончалось вопреки всем ожиданиям благоприятно для обвиняемого, в Талаккере неофициально встречались адвокаты. Линхард как гостеприимный хозяин был выше всех похвал, да и политические противники нередко сходились у него за столом и обменивались сведениями.

Таково краткое вступление. Наша с ним встреча состоялась непосредственно перед «Селектом», в самом начале одиннадцатого. Фридли наконец убрался восвояси, и я тоже встал с места, чтобы отправить все-таки письмо Колеру, но я уже не был исполнен такой же твердой решимости, как вначале, и тут явился, вернее, подъехал Линхард. На «порше». Притормозил. Меня он помнил со времен моего студенчества, он тоже изучал право, хотя и не дольше одного семестра, в свое время он и мне предлагал у него работать, но я отказался.

— Эй, адвокат, — сказал он, сидя за рулем своей открытой машины и не глядя на меня. — Есть ко мне дело?

— Возможно, — отвечал я.

— В машину, — скомандовал он.

Я повиновался.

— Быстро бегает, — отметил я.

— Пять тысяч, — ответил Линхард, желая этим сказать, что готов за такую сумму уступить свой «порше». У него было много машин, иногда казалось, что он меняет их каждый день.

Затем я рассказал ему о своей встрече со старым Колером. Линхард вел машину по берегу озера, это у него вошло в привычку, самые важные дела обделывались в машине. «Чтоб без свидетелей», — однажды пояснил он. Он вел машину все время на одной скорости, очень аккуратно и при

этом внимательно меня слушал. Когда я кончил свой рассказ, он притормозил. В Ютиконе. Перед телефоном-автоматом.

— Выгодно, — заявил он. — Сыск нужен?

Я кивнул.

— Если я соглашусь.

Он зашел в телефонную будку, а вернувшись, заявил:

— Его дочь сейчас дома.

После чего мы поехали на Вайнбергштрассе и остановились перед виллой Колера.

— Прямиком туда, — скомандовал Линхард.

Я замялся.

— Мне следует принять предложение?

— Само собой.

— Слишком туманно, — выразил я свои опасения.

Он раскурил сигарету.

— Не примете вы, примет другой, — ответил он, что для него равнялось целой речи.

Я вылез из машины. Рядом с величественным порталом к литой чугунной решетке был прикреплен почтовый ящик. Ящик сверкал желтизной. Напоминал. Письмо с отказом все еще лежало у меня в кармане. Я сознавал свой долг. Хотя, вообще-то говоря, чего ради отказываться от поручения и разыгрывать из себя человека с характером? Нужны мне деньги? Нужны. И точка. А деньги, они на улице не валяются, тут надо не упустить свой шанс, и вот он вам, пожалуйста, этот шанс. Мне не обойтись без представительности, если, конечно, я хочу добиться успеха как адвокат. Архитектор Фридли вполне прав, я действительно хочу добиться успеха. И потом, если вникнуть: поручение Колера, оно ведь и впрямь безобидное, скорее научное исследование, благо Колер может себе позволить подобную экстравагантность.

— Вы, кажется, хотели за свой «порше» пять тысяч?

— Четыре, — отвечал Линхард.

— Какое великодушие!

— Зависит от задания.

— На кой оно вам?

— Занятно.

— Тогда мне надо сперва переговорить с дочерью Колера, — сказал я.

— Я жду, — отвечал Линхард.

Обращение к прокурору. Дольше тянуть нельзя. Я просто

обязан рассказать про свою первую встречу с Элен. Мучительное мероприятие, пойти на него можно с большой осмотрительностью, избежать вообще невозможно. Даже если в моем изложении всплывут сугубо личные мотивы. Наконец-то личные, ибо вы с особым интересом прочитаете и подчеркнете эту часть. «Вы» — я не оговорился, я подразумеваю именно вас, господин прокурор Иоахим Фойзер. Вздрагивайте, вздрагивайте. Почему бы мне и не перейти на личности, коль скоро вы, как преемник Йеммерлина, вторым, после начальника полиции, будете читать эти строчки, точнее сказать, уже читаете, и в данную минуту я испытываю адскую радость — адскую, быть может, в двойном смысле этого слова — поприветствовать вас с того света. Начистоту: вы весьма педантичный представитель своей породы, пусть даже в отличие от покойного Йеммерлина изображаете из себя человека прогрессивных взглядов и не пропускаете ни одного психологического симпозиума. Вы обожаете вещественные доказательства. Только что порядка ради вы осмотрели мой труп в анатомическом театре, на вас был светлый плащ, шляпу вы из уважения к обители мертвых держали в руке и скорчили профессионально скорбную мину; самоубийство проведено так, что не подкопаешься, уж признайтесь, но ведь и с Колером я обошелся по всем правилам искусства, у него очень торжественный вид, когда мы так покоимся рядышком, один подле другого. Однако вернемся из вашего настоящего, которое для меня лежит в будущем, в мое настоящее, для вас уже миновавшее. Времена смещаются. Усекли? Не думаю. Разве что разгневались. Я очень тщательно подготовился.

Во-первых, исторически, архитектонически и философски. То, что важно для внутренней жизни, требует четких рамок. Так же и в историческом смысле. Поэтому я собрал самые точные сведения о колеровской вилле. Я даже порылся в материалах городской библиотеки. Выяснилось, что это бывшая резиденция Никодемуса Мольха. Никодемус Мольх, мыслитель занимающегося двадцатого столетия, европеец с бородой как у Моисея, неизвестного происхождения и неизвестной национальности (по одной версии — законный сын австралийской певицы от Александра Третьего, по другой — ранее судимый за растление малолетних учитель второй ступени Якоб Хегер из Бургдорфа), возглавлял субсидируемую богатыми вдовами и тяготеющими к прекрасному полковниками независимую академию, состоял в переписке со старым

Толстым, средних лет Рабиндранатом Тагором и молодым Клагесом*, затевал космическое движение обновителей, провозгласил всемирное вегетарианское правительство, чего, к сожалению, никто не принял всерьез (не то, возможно, удалось бы избежать Первой мировой войны, избежать Гитлера — хоть и вегетарианца, — Второй мировой, а также всех последующих напастей), издавал журналы, частью оккультного, частью изысканно порнографического содержания, писал драмы-мистерии, позднее обратился к буддизму, чтобы еще позднее, когда повсюду уже были разосланы письма с описанием его примет, запутавшись в бесчисленном множестве банкротств и исков о признании отцовства, кончить в качестве секретаря далай-ламы — по непроверенным слухам, ибо некоторые из наших сограждан, члены киноэкспедиции, вроде бы опознали его в тапере одного из шанхайских баров в тридцатых годах.

Расположение виллы. Для выросшего в бедных или, точнее, в никаких условиях адвоката, который только что принял решение совершить сальто-мортале (цитирую Фридли) в гущу более сладкой жизни, дорога от машины Линхарда к дверям доктора h.c. Исаака Колера оказалась весьма приятной, она вела через парк, где даже сама природа дышала богатством. И флора здесь не поскупилась на свои дары. Деревья как на подбор величественные и до сих пор в летнем наряде. Даже фён — и тот здесь не ощущался, даже по этому вопросу явно был подписан договор с какими-то неведомыми инстанциями, богатым людям многое по плечу. (Для непосвященных: под фёном в нашем городе подразумевают такую метеорологическую ситуацию, которая вызывает головную боль, самоубийства, супружеские измены, дорожные происшествия и акты насилия.) Я шел по заботливо усыпанным гравием дорожкам, выполотым и расчищенным. Вообще это был парк не из современных. Скорей на старинный лад «культивированный». Искусно подрезанные кусты и живые изгороди. Замшелые статуи. Нагие бородатые боги с юношескими ягодицами и такими же икрами. Тихие пруды. Величественная чета павлинов. И это при том, что парк лежал в центре города, где любой квадратный метр земли стоил астрономических сумм. Вокруг него грохотали трамваи и лился поток автомашин, транспорт, словно океанский прибой, разбивался о чугунную решетку с позолоченными остриями, бушевал, трезвонил и сигналил, но в парке у Колера цари-

ла тишина. Возможно, звуковым волнам просто запретили сюда вторгаться. Слышны были лишь птичьи голоса.

Само здание. Вообще оно некогда выглядело просто чудовищно с архитектурной точки зрения, наш западный мыслитель сам набросал его проект. И как удалось кантональному советнику превратить этот ужас в нечто вполне жилое и человечное, составляет одну из его тайн. Наверняка пришлось отбить множество куполов, башенок, эркеров, ангелочков и зодиакальных фигур (Никодемус Мольх в числе прочего баловался и астрологией), прежде чем из архитектурного монстра вылупилась вилла, хотя и по-прежнему с фронтоном, но оттого еще более приглядная, обвитая диким виноградом, плющом, жимолостью и розами, большая и просторная; такой же оказалась она и внутри, после того как я, бросив последний взгляд на «порше», видневшийся отсюда лишь красным пятном, переступил ее порог. Архитекторы потрудились на славу, они повыламывали стены, обтянули полы ковровым покрытием и так далее, все здесь было удобным и легким. Антикварная мебель, каждый предмет — произведение искусства, на стенах — знаменитые импрессионисты, далее — поздние фламандцы (меня вела по дому горничная). В кабинете господина советника меня оставили дожидаться, кабинет был просторный, вызолоченный солнцем. Распахнутая дверь вела в парк, два окна по обеим сторонам двери доходили почти до пола. Драгоценный паркет, необъятный письменный стол, глубокие кожаные кресла, на стенах ни одной картины, сплошь книги до самого потолка, естественные науки и математика, солидная библиотека, с которой как-то не вязался бильярд. Стоял он в объемистой нише, на зеленом поле еще лежали три шара, у стены выстроилась целая коллекция бильярдных киев. Много старинных, с надписями. Кий Оноре де Бальзака, кий Готфрида Келлера, генерала Дюфура, Бисмарка, а одним предположительно пользовался некогда Наполеон. Я оглянулся по сторонам в некотором смущении. Присутствие старого доктора h.c. ощущалось решительно во всем, будто он в любую минуту мог войти из парка, будто я слышал его смех, будто на мне остановился его внимательный взгляд.

Виде́ние. Тут произошло нечто удивительное, я бы даже сказал — из мира привидений. Внезапно я постиг кантонального советника. Неожиданно для себя. Это постижение как бы снизошло на меня. Я угадал причину его поступка. Я угадывал ее в драгоценных предметах обстановки, в кни-

гах, в бильярдном столе. Я углядел ее во взаимосвязи между строжайшей логикой и игрой, которая наложила свой отпечаток на эту комнату. Я проник в его тайну и ясно увидел: Колер убил не потому, что был игрок. Нет. Колер не был азартным человеком. Ставки его не привлекали. А привлекала его сама игра как таковая, разбег шаров по зеленому полю, расчеты, их осуществление, возможности, заложенные в каждой партии. Удача ничего для него не значила (потому он и мог полагать себя абсолютно счастливым человеком, не кривя при этом душой). Он просто гордился тем, что в его власти определять условия игры, любил наблюдать за становлением некоей необходимости, им же самим созданной. В чем и заключался его юмор. Конечно же, для этого тоже были свои причины. Возможно, утонченная жажда власти, желание поиграть не только шарами, но и людьми, соблазн поставить себя вровень с Богом. Очень возможно. Но несущественно. Мне, как юристу, надлежит оставаться на поверхности, а не забираться в дебри психологии и уж тем паче не лезть в философию или теологию. Совершив убийство, Колер просто начал новую партию, и только. Теперь все шло по его плану. Я же был не более как одним из шаров, приведенных в движение его ударом. Он действовал вполне логично. Суду он не назвал причину потому, что и не мог бы ее назвать.

Убийцы обычно действуют по вполне конкретным мотивам. От голода. Или от любви. Духовные мотивы встречаются реже, да и то в искажении, которое им сообщила политика. Мотивы религиозные почти не встречаются и ведут убийцу прямиком в психиатрическую лечебницу. Кантональный же советник действовал из сугубо научных соображений. Это звучит абсурдно, но он был мыслитель. И мотивы у него были не конкретные, а абстрактные. Вот на этом его и можно было подловить. Он любил бильярд не как игру, а потому, что бильярд служил для него моделью действительности. Одним из возможных ее упрощений (модель действительности — здесь я употребляю излюбленное выражение Мокка, ваятеля, который много занимается физикой, мало лепит и вообще неисправимый фантазер, в его ателье я последнее время часто засиживаюсь — где еще прикажете после двенадцати искать выпивку в такой стране, как наша? — разговор с ним из-за его глухоты крайне затруднителен, хотя идей он мне подбросил немало). По той же причине Колер занимался естественными науками и математикой. Они точно

так же поставляли ему «модели действительности». Но под конец эти модели перестали его удовлетворять, и ему пришлось совершить убийство, чтобы создать себе очередную модель. Он экспериментировал над преступлением, и смерть для него была не более чем метод. Отсюда поручение Кнульпе установить последствия убийства, отсюда и абсурдное задание подыскать другого «возможного» убийцу. Лишь теперь, в его кабинете, наедине с предметами, которыми занимался старик, я понял смысл нашего с ним разговора в тюрьме. «Исследовав действительность, точно измерить воздействие одного поступка», и «нам надлежит переосмыслить действительность, дабы проникнуть в сферу возможного». Доктор h.c. открыл свои карты, но тогда я не понял его игру. Лишь приняв эту игру всерьез, можно было отыскать мотив убийства: он убил, чтобы наблюдать, он лишил кого-то жизни, чтобы исследовать законы, на которых основано человеческое общество. Впрочем, приведи он этот мотив на суде, его сочли бы пустой отговоркой. С юридической точки зрения он был слишком абстрактный. А научное мышление устроено именно так. Его абстрактность служит ему защитой. Однако, единожды вырвавшись из своего укрытия, оно может натворить бед. И мы окажемся бессильны перед ним. Не подлежит сомнению, что именно это и произошло с экспериментом Колера: духу науки потребовалось убийство. Тем самым ни советник не оправдан, ни наука не осуждена. Чем духовнее мотив какого-нибудь акта насилия, тем злее само насилие, чем осознаннее, тем меньше ему оправданий. Оно принимает черты бесчеловечности. Святотатства. В этом смысле я рассуждал правильно, и мое ви́дение подтвердилось. Оно предохранило меня от восторгов по адресу Колера, помешало мне хоть на минуту уверовать в его невиновность. Оно помогло мне сохранить к нему отвращение. Убеждение, что убил именно он, с этой минуты уже никогда меня не покидало. Беда в том, что тогда я не распознал всю опасность партии, которую Колер вознамерился с моей помощью разыгрывать дальше. Я полагал, будто мое участие — это всего лишь безобидная техническая деталь, не могущая иметь последствий. Я вообразил, будто партия будет далее протекать в безвоздушном пространстве, так сказать, исключительно в мыслях этого богохульника. Игра его началась с убийства. Как же я мог не догадаться, что ход ее неизбежно приведет ко второму убийству, к убийству, которое на сей раз придется

совершить уже не доктору h.c., а нам, представителям юстиции, с которой старик затеял свою игру?

Во-вторых, духовно. Великая встреча требует не только четких рамок, она претендует также и на то, чтобы о ней было поведано в подобающих ей выражениях. Из чего следует: пьянка без просыпу и девки. Выпил я сперва литр-другой яблочного вина, моветон, сам понимаю (вопрос цены), но пил я только для того, чтобы привести себя в должное расположение духа; когда ко мне присоединилась барышня, я перешел на коньяк. Не волнуйтесь, желудок у меня всегда был луженый. Кстати, о барышнях — на сей раз это была не Гизела (ну та, с выдающейся фигурой), а Моника (или Мария, или Марианна, какое-то «М» там, во всяком случае, было), дело у нас шло на высоком уровне, позднее она исполнила мне уйму народных песен из немецких фильмов, под ее пение я уснул, а еще позднее она смылась со всей моей наличностью. Я, перейдя тем временем на грушовку, обнаружил ее неподалеку от Бельвю в одном из кафе, где не подавали крепких напитков. Застал я ее не одну, а с Гизелой и с покровителем Гизелы (упоминавшимся ранее Лакки), который, как выяснилось, был и ее покровителем. Я призвал ее к ответу, а он наигуманнейшим образом урегулировал финансовый вопрос, и Марлен (или Монике, или Магдалене) пришлось выкладывать денежки. Вообще все происходило очень человечно. Я бы даже сказал — благородно: так, официантка, к примеру, закрыла глаза на то, что я принес с собой бутылку «вильямина», и мы выпили вчетвером. Потом пришла Элен, более чем неожиданно, более чем внезапно, прямо явление из другого мира. Из худшего. Увидев ее с Штюсси-Лойпином — когда это, между прочим, было, два месяца назад, три месяца назад, полгода? — я больше не думал о ней, хотя нет, еще раз, в какую-то ночь, под утро, когда надо мной, словно Будда, раскачивалась Гизела, но уж после этого не думал, наверняка не думал, разве что бегло вспомнил, переходя через мокрую после дождя улицу возле Бельвю, но это не в счет, просто резкие перемены погоды действуют на психику, — и вот она возникла передо мной, ей, видите ли, понадобилось разыскать меня в кафе. Я невольно засмеялся, все засмеялись. Элен сохранила спокойствие, приветливость, превосходство, ясность взгляда, ну, словом, все, что требуется по части безупречной выдержки. В том и был ужас, что она всегда собой владела,

всегда сохраняла спокойствие, приветливость, превосходство, ясность взгляда. Я был способен убить, зарезать, придушить, изнасиловать ее, сделать шлюхой, последнее бы охотней всего.

— Мне надо поговорить с вами, господин Шпет, — сказала Элен, просительно взглянув на меня.

— Это что за барышня такая? — полюбопытствовала Гизела.

— Это очень благородная барышня, — ответил я, — барышня из хорошего дома, дочурка одного убийцы.

— А с кем она спит? — захотела узнать Марианна (или Магдалина, или Мадлен).

— Она связалась с одним суперадвокатом, — объяснил я, — с главным светилом из всех юридических светил, с хорошо обученным висельником, с великим адвокатом на все руки по имени Штюсси-Лойпин. Поэтому акт у них бывает не половой, а юридический.

— Господин Шпет, — проговорила Элен.

— Присядьте же, прошу вас, — отвечал я. — Угодно ли вам будет сидеть на коленях у покровителя этих двух барышень, достойного господина по имени Лакки, чьим поверенным я имею честь являться, или, быть может, вы предпочтете кресло?

— Кресло, — тихо сказала Элен.

Лакки придвинул ей кресло, любезно, изысканно, с головы до ног наш светский Лакки, усики черные, лицо прямо с косметической рекламы, кареглазый апостольский взгляд, он даже поклонился, придвигая кресло и на сто миль окрест благоухая туалетной водой и сигаретами «Кэмел». Элен нерешительно села.

— Я, собственно, хотела поговорить с вами наедине, — сказала Элен.

— Вот уж ни к чему, — засмеялся я, — у нас у четверых нет секретов друг от друга. С фройляйн Гизелой я уже несколько недель как сплю, с добродетельной Моникой, или Марианной, черт ее знает, как на самом деле, спал прошлую ночь. Как видите, у нас все вполне публично. Словом, выкладывайте.

У Элен на глазах появились слезы.

— Вы меня однажды о чем-то спрашивали.

— Спрашивал.

— Когда мы с господином Штюсси-Лойпином пили кофе...

— Мне совершенно ясно, о чем вы говорите, — перебил я, — не надо только перед именем этого подонка употреблять слово «господин».

— Я в тот раз не совсем поняла смысл вашего вопроса, — тихо сказала она.

И вокруг нас тоже стало тихо. Гизела соскользнула с моих коленей и начала освежать макияж. Я осатанел от злости, разлил «вильямин» по рюмкам и вдруг заметил, что волосы у меня слиплись, лицо залито потом, что глаза жжет, что я не брит, что от меня скверно пахнет, внезапное смущение девушек страшно меня разозлило, казалось, будто они застыдились перед Элен, будто среди нас повеяло духом Армии спасения, я готов был разнести все вдребезги, мир был устроен шиворот-навыворот. Это Элен надо бы ползать на брюхе перед этими девушками, ничего, она у меня еще поползает. Я все больше подливал себе, не говоря ни слова, я просто молча смотрел в тихое лицо с большими темными глазами.

— Фройляйн Элен Колер, — пробормотал я заплетающимся языком и поднялся, с трудом, шатаясь, но поднялся, — фройляйн Колер, я хочу сделать вам только одно заявление, одно, но основополагающее. Да-да, сделать заявление, это точная формулировка. Я застал вас тогда с вашим бугаем Штюсси-Лойпином — без паники, любезные дамы, — я застал вас, Элен Колер, с вашим бугаем Штюсси-Лойпином. Верно. Я спросил вас, летали вы в день убийства или нет, причем именно тем рейсом, который должен был доставить английского министра на его паршивый остров. Верно, верно и еще раз верно. Вы ответили на мой вопрос утвердительно. А теперь я хочу швырнуть вам в лицо самое главное, да-да, Элен Колер, швырнуть изо всех сил. Револьвер лежал в пальто у министра, вы его достали оттуда, что для стюардессы не составляет труда, и это был именно тот револьвер, который послужил орудием для вашего дражайшего папеньки, так никогда и не найденным впоследствии орудием убийства, о чем вы и без меня прекрасно знаете. Вы соучастница, Элен Колер, вы не просто дочь убийцы, вы и сами убийца. Вы ненавистны мне, Элен Колер, я вас теперь на дух не переношу, от вас, как и от вашего поганого папеньки, разит убийством, а не водкой и распутством, как от меня. Желаю вам сгнить заживо, Элен Колер, желаю вам заполучить рак в вашу драгоценную матку, потому что, если вам удастся произвести на свет маленького Штюсси-Лойпина, нашей

земле придет конец, уж слишком она хрупкая, чтобы носить на себе такое чудище. Мне же будет от души жаль нашу бедную землю, несмотря на все ее грехи, жаль из-за этих чудесных потаскух, которым вы, любезнейшая, в подметки не годитесь, которые занимаются честным ремеслом, а не убийствами, моя нежно любимая, а теперь сгиньте с глаз моих, топайте отсюда. И можете с ходу лечь под своего суперадвоката...

Она ушла. Что было дальше, я помню смутно. Я вроде бы упал, во всяком случае, я лежал ничком на полу, не исключено, что вместе со мной упал и столик, а из бутылки вытекли остатки содержимого (это я помню точно), какой-то гость в очках и со лбом мыслителя пожаловался, на жалобу приплыла хозяйка, типичная бандерша. Лакки, благородный Лакки, отвел меня в туалет, я вдруг понял, что меня раздражают его усики, начал с ним драться. Лакки в прошлом был боксером-любителем, не обошлось без крови, я рухнул головой в писсуар, было очень неприятно, прежде всего потому, что на всем лежал толстый, как штукатурка, слой символики, будто в плохом фильме. Потом вдруг заявилась полиция, вахмистр Штубер и с ним еще двое. Несколько часов они продержали меня в участке, допрос, протокол и т. п.

Послесловие. Приходится с чисто технической точки зрения констатировать, что попытка рассказать про мою первую встречу с Элен провалилась. А рассказал я про последнюю встречу, из чего следует, что на будущее надо принять известные меры предосторожности. Записи, сделанные в подпитии, требуют сугубой осторожности. Короткие предложения, только короткие. Придаточные чреваты опасностью. Синтаксис порождает сумятицу. А теперь нужно дописать эпилог (только что получил от Колера очередную открытку, на сей раз из Рио-де-Жанейро, с пламенным приветом, оттуда он вылетает в Сан-Франциско, а из Сан-Франциско на Гавайские острова, потом на Самоа, короче, время у меня есть). Дело в том, что мне нанес визит начальник кантональной полиции. Визит был очень важный. Это я вполне сознаю. Кстати, этим, вероятно, и можно объяснить, что сейчас я трезв как стеклышко. Доказать покамест ничего нельзя, но, как я подозреваю, начальник догадывается, что́ я затеял. Ужасно, если это так. С другой стороны, тогда он забрал бы у меня револьвер. Пришел он ко мне без всякого предупреждения, часов около десяти вечера, спустя два дня после той

злополучной сцены в кафе. На улице была снежная мокрядь. И тут он вдруг возник у меня в мансарде. Внизу ликующе завывала секта:

Готовься, брат мой во Христе,
Настанет Страшный суд,
И кто погрязнет в суете,
Те душу не спасут.

Начальник был несколько обескуражен. Он смущенно покосился на мой письменный стол, заваленный густо исписанными листками.

— Вы, никак, писателем решили заделаться, — буркнул он.

— А почему бы и нет, господин начальник. Когда человеку есть о чем рассказать, — ответил я.

— Смахивает на угрозу.

— Понимайте как хотите.

Зажав под мышкой бутылку, он огляделся по сторонам. К сожалению, на кушетке у меня лежала девица, которую я совершенно не знал, она просто увязалась за мной, возможно, это был подарок от Лакки, она явно уже разделась и легла, вдохновляемая ложным представлением о своих служебных обязанностях. (Добросовестное отношение к труду чувствуется у нас решительно во всем. Но мне до нее не было дела, я работал, я разбирал свои записи.)

— Одевайся, — приказал начальник, — не то простудишься. А потом мне надо побеседовать с адвокатом.

Он поставил бутылку на стол.

— Коньяк, — сказал он, — «Адэ», редкая марка. От друга из Западной Швейцарии. Давайте-ка попробуем. А вы, Шпет, принесите две рюмки. Она сегодня больше пить не будет.

— Слушаюсь, господин начальник, — отвечала девица.

— Ты пойдешь домой. На сегодня хватит.

— Слушаюсь, господин начальник.

Она почти успела одеться за это время. Он спокойно оглядел ее.

— Доброй ночи.

— Доброй ночи, господин начальник.

И она ушла. Мы слышали, как она сбежала вниз по лестнице.

— Вы ее знаете? — спросил я.

— Я ее знаю, — ответил начальник.

Этажом ниже секта все еще горланила свой хорал:

Исчезнет солнце, шар земной
Утратит твердь свою,
Но коль душа твоя с тобой,
То будешь ты в раю.

Начальник разлил коньяк по рюмкам.

— Ваше здоровье.

— Ваше.

— У вас револьвер есть? — спросил он.

Отрицать не имело смысла. Я достал револьвер из ящика письменного стола. Он внимательно осмотрел его, затем вернул мне.

— Вы все еще считаете, что виноват Колер?

— А вы разве нет?

— Возможно, — ответил он и пересел на диван.

— Тогда почему же вы выходите из игры? — спросил я.

Он взглянул на меня.

— А вы еще надеетесь ее выиграть?

— На свой лад.

Он поглядел на револьвер. Я поставил его на предохранитель.

— Дело ваше, — сказал он и снова разлил коньяк по рюмкам. — Как вам мой «Адэ»?

— Великолепен.

— Я оставлю вам бутылку.

— Очень любезно с вашей стороны.

Снизу теперь доносилась не то проповедь, не то молитва.

— Видите ли, Шпет, — заговорил начальник, — вы угодили в скверную ситуацию. Не хочу сказать ничего дурного о достопочтенном господине Лакки и тем более о бедном создании, которое я у вас застал. В том, что подобные типы существуют, их вины, в общем-то, нет, но вот чего достигнете вы, будучи правозаступником шлюх, — это уже другой вопрос, и о том, что коллегия адвокатов в самом непродолжительном времени должна будет принять меры, вы, я думаю, и сами догадываетесь. Коллегия отнюдь не против ходатая по делам шлюх, если тот хорошо зарабатывает, но решительно против, если тот ничего не зарабатывает. Тут уж задета ее сословная честь.

— Ну и что?

— Послушайте, Шпет, вот вы меня спросили, почему я вышел из игры, — продолжал начальник, раскуривая одну

из своих толстых «Байанос», причем руки у него нисколько не дрожали. — Вам я честно скажу, что тоже считаю старика Колера виноватым, а все случившееся — комедией, которую я охотно предотвратил бы. Но у меня нет доказательств. А вы продвинулись в своем расследовании?

— Нет, — сказал я.

— В самом деле нет? — повторил он свой вопрос.

И я второй раз ответил отрицательно.

— Вы не доверяете мне? — спросил он.

— Я никому не доверяю.

— Ладно, — сказал он, — будь по-вашему. Для меня история с Колером закончена, и закончилась она моим поражением. Это уже не первое дело, которое закончилось моим поражением. Очень печально, но человеку моей профессии приходится сносить и такое. Да и человеку вашей профессии, я думаю, тоже. Вам надо взять себя в руки, Шпет. И начать все сначала.

— Уже нельзя, — ответил я.

Внизу под нами снова радостно завыла секта:

Когда ж сомкнется ада пасть,
Оставив смрад и дым,
Тогда, о червь, тебе пропасть
С неверием твоим.

У меня вдруг мелькнуло подозрение.

— Вы что-то от меня скрываете?

Он затянулся, глянул на меня, еще раз затянулся, встал.

— Жаль, — сказал он, протягивая мне руку, — всего вам доброго. Мне, возможно, придется вызвать вас к себе.

— И вам всего доброго, господин начальник, — ответил я.

Зачин любви. Тут я снова начинаю спотыкаться. Я знаю, что увиливать больше нельзя. Я должен наконец рассказать про свою первую встречу с Элен. Я должен признаться, что любил ее. И должен также добавить — с самого начала. Другими словами: с нашей первой встречи. Признание — вообще штука нелегкая, я только теперь оказался к нему способен. Но эта любовь не состоялась, и потому мне придется рассказывать о любви, которую я сам от себя скрывал в ту пору, когда она еще могла как-то состояться, и которая теперь состояться не может. Задача не из легких. Теперь мне, разумеется, известно, что Элен не была такой, какой она мне казалась. Лишь теперь я вижу ее такой, как она есть. Она

соучастница Колера. Вообще-то я ее понимаю. По-человечески можно понять, что она покрывает своего бесчеловечного отца. Нелепо требовать от нее, чтобы она его выдала. Только ее признание могло бы сокрушить кантонального советника. Но этого признания она никогда не сделает. Я в достаточной мере профессионал, чтобы не предъявлять к ней таких требований. Мне предстоит идти своим путем, а она пусть идет своим. И все же я не могу отречься от того представления о ней, которое однажды у меня сложилось. В том, что Элен не соответствует моему представлению и никогда не соответствовала, ее вины нет. Я сожалею о своих грубых словах. Я понимаю, что вел себя как мальчишка. А мои пьянки, мои девки! Она имеет право быть такой, как она есть, а я присвоил себе право рано или поздно убить ее отца

Успей я тогда нагнать ее отца в аэропорту, он был бы уже на том свете, и я вместе с ним. Все было бы в полном порядке, и мир давно занялся бы другими делами. Вся моя теперешняя жизнь имеет только один смысл: рассчитаться с Колером. Расчет будет простой. Хватит одного выстрела. Но пока надо ждать. Этого я не предусмотрел. Как не предусмотрел и расхода нервов на ожидание. Одно дело — восстановить справедливость, другое — жить, дожидаясь, когда ее можно будет восстановить. Я словно в каком-то исступлении. И пью я так много из-за абсурдности своего положения, я словно бы упиваюсь справедливостью. Сознание, что я прав, уничтожает меня. Нет ничего ужаснее, чем это сознание. Я казню себя, потому что не могу казнить старого Колера. Вот в этом исступлении я вижу себя и Элен, оглядываюсь на первую нашу встречу. Я знаю, что потерял все. Счастье ничем не заменишь. Даже если это счастье на поверку обернется безумием, а мое нынешнее безумие в действительности есть трезвость. Беспощадное осознание действительности. Вот почему я с грустью оглядываюсь назад. Я хотел бы забыть, но не способен к этому. Все так отчетливо запечатлелось в моем мозгу, будто только вчера произошло. Я еще слышу звук ее голоса, вижу ее взгляд, ее движения, ее платье. И себя тоже. Мы были молоды, оба. Не растрачены. С тех пор прошло от силы полтора года, но я уже старый, очень старый. Мы с доверием отнеслись друг к другу, хотя было бы вполне естественно, если б она мне не доверяла. Она неизбежно видела во мне просто адвоката, который хочет заработать. И все-таки доверилась мне с самого начала. Я это сразу почувствовал и тоже доверился ей. Я был готов ей помочь. Все было

чудесно. Даже если мы просто сидели друг против друга, даже если мы разговаривали только по делу. Ну, конечно же, я понимаю, что, по правде говоря, все было совсем не так, что все было мираж, иллюзия, заблуждение или — того хуже — подлая интрига, которую Элен затеяла против меня, но, пока я этого не знал, не подозревал даже, я был счастлив.

— Садитесь, господин Шпет, — сказала она.

Я поблагодарил. Она села в глубокое кожаное кресло. Я сел напротив, тоже в глубокое кожаное кресло. Все было как-то странно, эта девушка лет примерно двадцати двух, смуглая, улыбающаяся, раскованная и в то же время робкая, множество книг, массивный письменный стол, на заднем плане — бильярд с шарами, лучи падающего солнца, парк за приоткрытой стеклянной дверью, через которую вошла Элен в сопровождении пожилого господина по фамилии Фёрдер. Фёрдер был безукоризненно одет, мне представили его как личного секретаря Колера, он молча и с видом почти угрожающим начал меня разглядывать. После чего удалился снова, не попрощавшись и вообще не проронив ни звука. Мы остались вдвоем. Элен была смущена. Я тоже. Мысли о ее отце сковывали меня, лишали дара речи. Мне было жаль ее. Я понял, что она никогда не сможет понять своего отца и страдает от непостижимости его поступков.

— Господин Шпет, — начала она, — отец мне всегда много про вас рассказывал.

Это было для меня неожиданностью. Я удивленно поглядел на нее:

— Всегда?

— С тех пор как встретил вас в «Театральном».

— И что же он вам рассказывал?

— Он беспокоился насчет вашей адвокатской практики.

— Не было у меня тогда никакой практики.

— Зато сейчас есть, — констатировала она.

— Не сказать чтоб процветающая, — сознался я.

— Он информировал меня о деле, которое намерен вам поручить, — продолжала Элен.

— Знаю.

— Вы возьметесь за него?

— Решил взяться.

— Мне известны условия, — сказала она. — Вот вам чек. Это аванс. Пятнадцать тысяч. Плюс еще десять. На издержки по делу.

Элен протянула мне чек. Я взял его и сложил пополам.

— Ваш отец не поскупился, — сказал я.

— Он очень заинтересован в том, чтобы вы взялись за его поручение, — объяснила она.

— Приложу все усилия.

Я сунул чек в бумажник. Мы оба помолчали. Она больше не улыбалась. Я почувствовал, как она подыскивает слова.

— Господин Шпет, — наконец проговорила она с запинкой, — я отдаю себе отчет в том, что поручение отца не совсем обычное.

— Очень даже.

— Господин Фёрдер того же мнения.

— Охотно верю.

— Но тем не менее его надо выполнить, — сказала она решительно, почти с жаром.

— Чего ради?

Она умоляюще взглянула на меня.

— Господин Шпет, я могу видеться с папà раз в месяц. Он дает мне указания. Дела у папà крайне запутанные, но его осведомленность потрясает. Он приказывает, я выполняю. Он отец, я дочь. Вам ведь понятно, что я его слушаюсь.

— Разумеется.

Элен разгорячилась. Ее гнев был неподдельным.

— Личный секретарь и адвокаты хотят назначить над ним опеку, — вымолвила она. — В мою пользу, как они утверждают. Но я точно знаю, что мой отец не сошел с ума. А тут еще поручение, за которое вы взялись. Для личного секретаря это очередное доказательство. Поручение лишено всякого смысла, говорит он. Но я твердо убеждена, что не лишено.

Мы снова помолчали.

— Даже если я не могу его понять, — тихо добавила она.

— Фройляйн Колер, — ответил я, — для юриста поручение расследовать убийство профессора Винтера, исходя из допущения, что убийцей был не ваш отец, имеет юридический смысл лишь в том случае, если убийца не ваш отец. Но такое допущение невозможно. И тем самым поручение лишено всякого смысла. С юридической точки зрения. Из чего, однако, не следует, что оно бессмысленно и с научной точки зрения.

Она удивленно взглянула на меня:

— Как мне вас понимать, господин Шпет?

— Я внимательно осмотрел эту комнату, фройляйн Колер.

Ваш отец любил свой бильярд и свои книги по естествознанию...

— Да, и больше ничего, — сказала она уверенно.

— В том-то и дело.

Она не дала мне договорить:

— Именно по этой причине он и не способен совершить убийство. Его каким-то чудовищным способом принудили...

Я промолчал. Я сознавал, что было бы неприлично как из пушки выстрелить в нее правдой. Я не мог вдолбить в нее нелепую, дикую истину, что ее отец убил именно потому, что не любил ничего на свете, кроме своего бильярда и своих книг. И нелепо было рассказывать ей о своем прозрении, это была только интуиция, а не доказуемый факт.

— Видите ли, фройляйн Колер, мне ничего не известно о мотивах поступка, из-за которого ваш отец был осужден, — осторожно начал я, — и речь у нас шла о другом. О том, что могло бы объяснить не его поступок, а поручение, которое он мне намерен дать. На основе этого поручения ваш отец хочет исследовать границы возможного. Он утверждает, будто такова его научная цель. Мое дело — строго придерживаться этого утверждения.

— Но в это же нельзя поверить! — взволнованно воскликнула Элен.

Я не согласился.

— Лично я обязан верить, — объяснил я Элен, — обязан, потому что принял его поручение. Для меня это игра, которую ваш отец может себе позволить. Другие держат скаковых лошадей. Я как юрист считаю игру вашего отца куда более занимательной.

Она задумалась.

— Не сомневаюсь, — наконец как-то нерешительно сказала она, — что вы найдете истинного убийцу, найдете кого-то, кто вынудил папà к убийству. Я верю в своего отца...

Ее отчаяние огорчило меня. Я бы с радостью ей помог, но это было не в моих силах.

— Фройляйн Колер, — ответил я ей, — буду с вами предельно откровенен. Я не думаю, что мне удастся обнаружить этого «кого-то». По той простой причине, что его нет на свете. Ваш отец никому не позволит себя принуждать.

— Вы очень со мной откровенны, — тихо сказала она.

— Хотелось бы, чтобы вы мне доверяли.

Она вперила в меня внимательный и мрачный взгляд. Я не отвел глаза.

— Я вам доверяю, — сказала она.

— Готов помочь вам лишь в том случае, если вы оставите всякую надежду, — сказал я. — Ваш отец — убийца. Вы сможете понять его лишь в том случае, если не направите свой поиск по ложному следу. Мотивы преступления вашего отца надо искать в нем самом, а не в ком-то другом. И не думайте больше о его поручении. Теперь это мое дело.

Я встал. Она тоже поднялась.

— А почему тогда вы согласились?

— Потому что мне нужны деньги, фройляйн Колер. Не стройте никаких иллюзий на мой счет. Пусть даже ваш отец видит в своем поручении научную ценность, для меня это не более чем возможность сдвинуть с мертвой точки свою адвокатскую практику. Так что не питайте ложных надежд.

— Понимаю, — сказала она.

— Я не могу себе позволить действовать иначе, чем я действую, я должен выполнить желание вашего отца. Но хочу, чтобы вы знали, кому доверяете.

— Именно вы и поможете мне, — сказала Элен и протянула мне руку, — я была счастлива с вами познакомиться.

За оградой меня все еще дожидался Линхард в своем «порше», только теперь он сидел не на месте водителя, а рядом и курил сигареты, с отсутствующим видом, погруженный в себя.

— Все в порядке, — сказал я. — Поручение принято.

— А чек? — спросил он.

— Тоже.

— Чудненько, — сказал Линхард.

Я сел за руль. Линхард предложил мне сигарету, дал огня. Я курил, положив обе руки на баранку, вспоминал Элен и был счастлив. Я радовался своему будущему.

— Ну и как? — спросил Линхард.

Я раздумывал, я еще не включил зажигание.

— Существует только одна возможность, — ответил я. — Для нас Колер больше не убийца. Теперь мы должны подыгрывать.

— Согласен.

— Допросите свидетелей еще раз, — продолжал я. — Изучите прошлое Винтера, врагов, знакомых.

— Займемся доктором Бенно, — ответил он.

— Олимпийцем? — удивился я.

— Другом Винтера, — пояснил Линхард. — И Моникой Штайерман.

Моника Штайерман была единственной наследницей Вспомогательных мастерских «Трёг» А/О.

— Почему? — спросил я.

— Приятельница Бенно.

— Нет, ее мы лучше припутывать не будем, — задумчиво сказал я.

— О'кей, — сказал Линхард.

Что-то здесь было не так.

— Странно все-таки, — сказал я.

— Что именно? — полюбопытствовал Линхард.

— Вас порекомендовал мне Колер.

— Чистая случайность.

Я включил зажигание и осторожно взял с места. Еще ни разу мне не доводилось сидеть за рулем «порше». На виадуке Линхард меня спросил:

— Шпет, а вы знакомы с Моникой Штайерман?

— Я ее всего один раз видел.

— Странно, — сказал Линхард.

В Талаккере я его высадил и поехал прочь из города. Куда глаза глядят. Бездумно поехал в осень. И как я ни сопротивлялся, лицо Моники Штайерман все время выдвигалось на передний план, заслоняя лицо Элен Колер.

## II

Начало расследования. Лучшая часть моей жизни началась с размахом. Уже на другой день я окончательно вступил во владение новой адвокатской конторой и «порше», правда, при ближайшем рассмотрении «порше» оказался много старше, чем я предполагал, и находился в таком состоянии, что цена, назначенная за него Линхардом, представлялась уже далеко не столь божеской. А контора раньше принадлежала олимпийскому чемпиону по фехтованию и чемпиону Швейцарии по стрельбе из пистолета, иными словами, доктору Бенно, который давно уже катился вниз по наклонной плоскости. Красавчик Олимпиец от участия в переговорах уклонился. По словам архитектора Фридли, который ни свет ни заря отвез меня туда, Бенно изъявил готовность уступить свою контору мне за две тысячи в месяц, из них четыре — вперед, сумма, про которую трудно было сказать, в чей карман она пойдет, но зато я мог немедленно въехать и получил

в пользование не только обстановку Бенно, но и его секретаршу, несколько заспанного вида особу из Центральной Швейцарии с заграничным именем Ильза Фройде, секретарша смахивала на французскую барменшу, то и дело красила волосы в другой цвет, но при всем том была на редкость исполнительна; сделка более чем подозрительная, но разгадать ее я не мог. Зато приемная и кабинет на Цельтвеге с видом на неизбежные дорожные пробки вполне соответствовали своему назначению, и письменный стол внушал доверие, и кресла были вполне пристойны, на задний двор выходила кухня и комнаты, где я поместил свой диван с Фрайештрассе; мне не захотелось расставаться с прежней мебелью. Мои дела как-то вдруг пошли в гору. На горизонте замаячил прибыльный бракоразводный процесс, улыбалась поездка в Каракас по делам одного крупного промышленника (ему порекомендовал меня Колер), предстояло улаживать наследственные споры, защищать одного торговца мебелью, составлять выгодные налоговые декларации. Я пребывал в счастливом и потому слишком беспечном настроении, чтобы вспоминать о частном сыскном бюро, которое сам же привел в движение и без отчетов которого не мог дальше заниматься делом Колера. А ведь, казалось бы, Линхард должен усугубить мою недоверчивость: и человек-то он с двойным дном, и намерения у него загадочные, и порекомендовал мне его Колер, и сам он слишком жадно ухватился за это дело. Причем действовать начал с размахом. В «Театральном» он посадил Шёнбехлера, одного из лучших своих агентов, которому принадлежал хоть и старый, но весьма комфортабельный домик на Ноймаркте. На чердаке тот оборудовал жилое помещение, где размещалась его огромная дискотека. Повсюду были расставлены динамики, Шёнбехлер любил симфонии. Согласно его теории (а Шёнбехлер был нафарширован теориями), симфонии меньше всего заставляют себя слушать, под симфонии можно зевать, обедать, читать, спать, разговаривать и тому подобное, в симфониях музыка замыкается сама на себе, становится неслышной, как музыка сфер. Концертные залы он отвергал как варварское измышление. Там делают из музыки культ. Симфония же приемлема лишь как сопровождение, утверждал Шёнбехлер, она человечна лишь как фон, в противном случае она насилие. Так, например, Девятую симфонию Бетховена он постиг, когда ел мясо с овощами. Брамса он всячески рекомендовал под кроссворды или под венский шницель, Брукнера — под

карты. Всего же лучше запустить две симфонии разом, что он якобы и делал весьма часто. Сознавая, какой при этом возникает адский шум, он точно рассчитал квартирную плату для остальных трех этажей своего дома. Квартира непосредственно под его дискотекой отдавалась задешево, вернее, со съемщика вообще ничего не брали, ему приходилось только терпеть музыку, много часов подряд Брукнера, потом столько же Малера, потом столько же Шостаковича. За среднюю квартиру он брал, как все, а к нижней было почти не подступиться. Шёнбехлер был чувствительный человек. Во внешности — никаких особых примет, даже напротив, непосвященным он казался классическим образцом бюргера. Он был всегда тщательно одет, от него хорошо пахло, он никогда не напивался и вообще жил в ладу с окружающим миром. Что до национальности, то он называл себя гражданином Лихтенштейна. Это не Бог весть что, добавлял он всякий раз, он и не спорит, но зато по меньшей мере ему и стыдиться нечего: Лихтенштейн практически не несет никакой вины за теперешнее международное положение, если, конечно, отвлечься от того обстоятельства, что он выпускает слишком много почтовых марок, и если закрыть глаза на его финансовые шалости; Лихтенштейн — это самое маленькое из государств, живущих на широкую ногу. Вдобавок у лихтенштейнца не так легко развивается мания величия, побуждающая его приписывать себе совершенно небывалые достоинства по той лишь причине, что он лихтенштейнец, как это случается с американцами, русскими, немцами или французами, которые априори убеждены, что немец или француз уже сам по себе есть существо высшего порядка. Принадлежность к великой державе — а лихтенштейнец поневоле считает таковыми почти все остальные государства и даже Швейцарию — для человека, ею отмеченного, весьма неблагоприятна с психологической точки зрения, она чревата для него опасностью впасть в некое соотносительное слабоумие. И чем больше нация, тем сильней эта опасность. Свою мысль Шёнбехлер разъяснял на примере с мышами: одна мышь наедине с собой считает себя не кем иным, как мышью, среди миллионов других мышей она уже считает себя кошкой, а среди ста миллионов — слоном. Всего опасней мышиный народец в пятьдесят миллионов голов (пятьдесят миллионов как порядок величины). Подобные популяции состоят из мышей, которые хоть и считают себя кошками, но не прочь бы стать слонами. Эта непомерно раз-

росшаяся мания величия опасна не только для отдельных мышей, но и для всего мышиного рода. А вот соотношение между «численностью мышей» и порожденной ею манией величия он называл «законом Шёнбехлера». Что до профессии, он выдавал себя за писателя. Это было удивительно в том смысле, что он до сих пор не опубликовал и не написал ни единой строчки. Впрочем, Шёнбехлер и не спорил. Он скромно величал себя «потенциальным писателем». Необходимость оправдывать свое «неписание» никогда не ставила его в тупик. Так, например, он при случае утверждал, что писательство начинается с «чувства языка», что это его первое, поэтическое, условие, второе же, не менее важное, основано на любви к истине. И если хорошенько взвесить два этих основных условия, станет ясно, что, к примеру, заголовок типа «Стихи Рауля Шёнбехлера» немыслим хотя бы из-за представления, что подобная лирика должна журчать и струиться подобно красивому ручейку. Можно, разумеется, возразить, что, раз такое дело, надо просто сменить имя автору, но тогда пришлось бы вступить в конфликт с принципом любви к истине. Куда бы ни заходил Шёнбехлер, там сразу раздавался смех. Он был неплохой мужик, и в пивных немало народа кормилось около него. Он приказывал все записывать, счет ему присылали раз в месяц, и от сложения набегала изрядная сумма. Насчет источников его существования никто толком ничего не знал. Намеки на щедрую стипендию от государства Лихтенштейн, разумеется, не соответствовали действительности. Кое-кто утверждал, будто Шёнбехлер представляет некую фирму известных резиновых изделий. Трудно было также не заметить, что он много знал и по любому поводу имел четкое, обоснованное суждение. (Возможно, за его нежеланием писать скрывалась не просто обычная леность, возможно, за ним скрывалось убеждение, что в отличие от многих, которые творят, лучше все-таки не творить.) Более всего Шёнбехлер прославился своим искусством заводить разговор, особенно если учесть, что наши соотечественники никогда этим качеством не блистали. Зато он им владел виртуозно. О нем рассказывали анекдоты, вокруг него создавались легенды. Так, например, однажды он на спор (как упорно и неизменно утверждает начальник полиции) до такой степени увлек разговором о взаимоотношениях между нашей страной и Лихтенштейном некоего федерального советника, который вкушал за соседним столиком свой четырехчасовой чай в обществе членов кантональ-

ного управления, что советник даже прозевал экспресс на Берн. Вполне допускаю. Хотя, в общем-то, для федеральных советников это не очень типично. В остальном Шёнбехлер считался человеком безобидным. Никому и в голову не могло прийти, что он служит у Линхарда. Когда это вскрылось, все были потрясены, Шёнбехлер покинул наш город и проживает ныне вместе со своей дискотекой на юге Франции, к великому сожалению наших сограждан, вот и на днях мне один из них погрозил кулаком, но я, по счастью, был не один, а с Лакки. Итак, этот оригинал по имени Шёнбехлер в один прекрасный день возник за столиком «Театрального», ко всеобщему удивлению, надо сказать, поскольку обычно он туда не заглядывал. Заняв столик, он провел там весь день. Заявился он и на другое утро. Так продолжалось целую неделю, он со всеми разговаривал, он подружился с метрдотелем, с официантками, а потом вдруг исчез, и снова Шёнбехлера можно было встретить в прежних, обычных его пивнушках, а неделя в «Театральном» выглядела как некое интермеццо. На деле же Шёнбехлер еще по разу допросил всех главных свидетелей. Что до дальнейшего расследования, то здесь Линхард прибег к помощи Фойхтинга, принадлежащего к числу тех сомнительных типов, которых Линхард держит в своем талаккерском сыскном бюро и которого я тогда еще не знал лично — знаю только теперь (по бару «Монако»). Фойхтинг — парень ненадежный и вообще поганый, этого никто не отрицает, даже Линхард — и тот нет, как, впрочем, и полиция, которая уже несколько раз его задерживала (наркотики), а потом снова употребляла по своим делам. Фойхтинг — шпик, который знает свое дело и знает свое место. Возможно, он знал когда-то лучшие дни, возможно, он даже учился в университете, но остальная часть Фойхтинга, та, что теперь с трудом пробирается по жизни, мошенничая и шантажируя, производит жалкое впечатление. Беда его в том, сказал он как-то по этому поводу в «Монако», мрачно уставясь в свою рюмку перно, что он не русский, а немец. Немец для этой страны — не профессия, разве что для Саудовской Аравии или Египта, а вот русский здесь профессия. В этом, последнем случае его образ жизни не вызывал бы никаких нареканий, даже напротив, будучи русским, он был бы просто обязан быть таким, какой он есть: опустившимся и вечно пьяным, но даже разыгрывать из себя русского здесь невозможно, потому что он, Фойхтинг, выглядит точно так, как выглядят немцы в фильмах о французском Сопротивле-

нии. Тут, между прочим, Фойхтинг говорит чистую правду. В порядке исключения. Он действительно так выглядит. Он изучил верхи и низы общества, как никто другой, он прекрасно овладел географией баров и пивнушек. Он способен выяснить что угодно про любого завсегдатая. Но, прежде чем Линхард переправил мне все, что разузнали Шёнбехлер и Фойхтинг, состоялась моя вторая встреча с Моникой Штайерман, произошло то, чего я боялся или чего ждал — сам не знаю, как правильнее. Было бы лучше, если бы эта встреча не состоялась (ни первая, ни вторая).

Работа в Центральной библиотеке. Почему бы и не изложить на этих страницах историю штайермановского рода? До меня только что дошла очередная открытка Колера — предыдущую я получил месяц назад, игра в кошки-мышки продолжается, он решил посетить Самоа чуть попозже, с Гавайев он сейчас отправляется в Японию на роскошном лайнере, а я здесь предстал перед наблюдательной комиссией, перед ее президентом, профессором Ойгеном Лойпингером. Известный правовед, на лице — дуэльные рубцы и шрамы, не чужд поэзии, сплошная лысина, принял меня в своем кабинете, при сем присутствовал также вице-президент Штосс, спортивного вида и вообще, как говорится, «бодро-весело-истово». Господа держались на удивление демократично. Правда, акция «под зад коленкой» представлялась им — увы! — неизбежной, ибо в противном случае этого потребовал бы правительственный советник, так не лучше ли опередить события, но оба от души сожалели, скорбели, держались по-отечески, проявили — как это называется — полнейшее понимание, выражали сочувствие, отнюдь, ну никоим образом не упрекали, хотя, если по правде, между нами, мужчинами, положа руку на сердце, я должен бы и сам признать, что юристу, как никому другому, официально подобает определенный образ жизни в определенной среде; если свести эту мысль к четкой формуле, получится так: чем сомнительней она (среда), тем безупречнее должен быть он (образ жизни); к сожалению, мир — это ужасное скопище филистеров, а уж про наш разлюбезный город и говорить нечего, впору сбежать, и если бы он, Лойпингер, мог бы закрыть здесь свою лавочку, он бы тотчас подался на юг, но главное не в этом, проститутки, разумеется, тоже люди, очень даже достойные люди, бедные создания, которым лично он, в чем и признается без оби-

няков передо мной и перед коллегой Штоссом, многим, да-да, многим обязан — их теплота, участие, понимание, — в конце концов, закон существует и для панели, если употребить это одиозное слово, но существует отнюдь не в том смысле, чтобы оказывать всяческое благоприятствование, я, как юрист, должен бы и сам понимать, что известные рекомендации, данные мною в свое время преступному миру и полусвету, именно по причине своей юридической неуязвимости произвели сокрушительное действие, знание юридических хитростей в руках известных кругов оборачивается катастрофическими последствиями, полиция в полном отчаянии, коллегия адвокатов, разумеется, ничего не предписывает, не прибегает к нравственному террору, она вообще чрезвычайно либеральна, да-да, я, разумеется, и сам знаю, правила — они и есть правила, даже неписаные, а когда Штоссу понадобилось выйти, Лойпингер, свой в доску и вообще старый рубака, еще спросил меня, не могу ли я сообщить ему один известный телефончик, чтобы поближе познакомиться с одной известной особой, у которой такая примечательная фигура (с Гизелой), а когда выйти пришлось ему, Штосс, с головы до пят бывший чемпион, спросил меня о том же. А еще две недели спустя у меня отобрали патент. И вот я сижу, как потерпевший кораблекрушение, то в безалкогольном кафе, то в баре «Монако», живу в большей или меньшей степени милостями Лакки и Гизелы и располагаю временем, огромным количеством времени, что для меня самое невыносимое, а следовательно: почему бы и не изложить на этих страницах семейную хронику Штайерманов, в конце концов, я затем и сижу в Центральной библиотеке, правда, все проявили немыслимую активность, когда я заявился туда с бутылкой джина, — почему бы и не проявить основательность, дотошность, скрупулезность, почему бы и не вскрыть закулисную сторону, да и вообще, что осталось бы от Штайерманов без закулисной стороны, без их семейной истории, без их историй. Само по себе имя Штайерман, то есть человек из Штирии, ничего не значит, правда, Штайерман-пращур, как и многие промышленники, однажды перекочевал в нашу страну с севера, но сделал он это уже в 1191 году, когда одного южнонемецкого герцога осенила злополучная идея — основать теперешнюю столицу нашей федерации. Идея, как известно, увенчалась успехом, поэтому Штайерманы — коренные швейцарцы. Что до самого родоначальника, до Якоба

Штайермана, то он был из стаи тех висельников всех родов и сословий, которые обосновались на скале над зеленой рекой в разбойничьем вертепе (отделенном от нас в те времена четырьмя дневными переходами); был он беглый уголовник из Эльзаса, и таким манером ему удалось спасти голову от рук страсбургского палача, на новой родине он поначалу подвизался в роли ландскнехта, позднее стал оружейником, необузданный и злобный дикарь. С кровавой историей этого города на протяжении столетий неразрывно связан род Штайерманов, в качестве оружейников они ковали отечественные алебарды, которыми дубасили врага в Лаупене и Санкт-Якобе, причем ковали по стандартному образцу Адриана Штайермана (1212 — 1255). Семейству принадлежала также письменно засвидетельствованная монополия на изготовление топоров и орудий пытки для всех южнонемецких епископств. Путь семейства круто вел наверх, кузница на Кеслергассе стяжала громкое имя и славу. Уже сын Адриана, безволосый Бертольд Штайерман Первый (уж не Бертольд ли это Шварц из легенды?), перешел к изготовлению огнестрельного оружия. Того более прославился правнук Бертольда — Якоб Третий (1470 — 1517). Он создал такие знаменитые пушки, как «Четыре Евангелия», «Большой псалтырь» и «Желтый Уриан». Он продолжил традицию литья пушек, с которой, правда, его сын Бертольд Четвертый круто порвал и, будучи анабаптистом, отливал лишь плуги, но уже сын последнего, Якоб Четвертый, возобновил литье пушек, изобрел даже первый снаряд, который при испытаниях разнес в клочки и пушку, и самого изобретателя. Такова, собственно, предыстория. Выпуклая, в общем и целом достойная, да и политически небезуспешная — один председатель кантонального совета, два казначея, один ландфогт. В последующие столетия из оружейной мастерской мало-помалу возникло вполне современное промышленное предприятие. Семейная история становится более запутанной, мотивы — не столь явными, нити теперь прядутся невидимые, к национальным интересам примешиваются международные интересы и связи. Конечно, при этом приходилось иногда поступаться цветами флага, но это усиливало организацию, особенно когда в первой половине девятнадцатого века дальний потомок пра-Штайермана перекочевал на восток нашей страны. Вот этого потомка по имени Генрих Штайерман (1799—1877) и надлежит считать основателем фабрики машин и оружия,

которая достигла расцвета при его первом внуке Джеймсе (1869—1909) и особенно при втором — Габриэле (1871—1949). Правда, уже не как трёгская фабрика машин и оружия, а как Вспомогательные мастерские «Трёг» А/О. Недаром в 1891 году двадцатидвухлетний Джеймс Штайерман познакомился с английской сестрой милосердия Флоренс Найтингейл, которой шел тогда семьдесят второй год. Под ее влиянием он преобразовал фабрику в мастерскую по изготовлению протезов, после безвременной кончины Джеймса брат его Габриэль заметно расширил дело, начал изготавливать все мыслимые виды протезов — кисти рук, целые руки, ступни ног, целые ноги, в настоящее время мастерская снабжает мировой рынок также эндопротезами (искусственные бедра, суставы и тому подобное) и экстракорпоральными протезами (искусственная почка, легкое). Когда я говорю — мировой рынок, в этом нет преувеличения. Он завоеван упорным трудом, качеством, но прежде всего целеустремленной готовностью использовать ситуацию, без зазрения совести, скупая на корню все иностранные предприятия по изготовлению протезов (по большей части мелкие заводики). Это новое поколение вмиг смекнуло, какие выгоды предоставляет фабриканту протезов нейтральный статус нашего государства, а именно: возможность снабжать своей продукцией обе стороны — как победителей, так и побежденных в Первой и Второй мировых войнах, а сегодня — правительственные войска, партизан и мятежников. Девиз фирмы: «Штайерман — жертвам», хотя в правление Людевица продукция Вспомогательных мастерских весьма приблизилась по характеру к первоначальной: протез — это понятие растяжимое. Человек невольно старается закрыться от удара рукой; следовательно, щит — это как бы протез руки, а камень, который он бросает, — это протез сжатой кисти, кулак, иначе говоря. Единожды постигнув эту диалектику, можно и оружие, производством которого снова занялись Вспомогательные мастерские, без колебаний причислить к протезам — танки, автоматы и минометы можно считать усовершенствованной моделью протеза руки. Как видите, род преуспевающий. Причем если мужчины рода Штайерманов были по преимуществу простой, неотесанный, примитивный народ, сплошь верные мужья, неутомимые работяги, зачастую прижимистые, относившиеся к явлениям духовной жизни с великолепным, поистине трогательным презрением, в собирании картин не заходившие

далее «Острова мертвых», а в спорте признававшие исключительно футбол (да и то без особого пыла, доказательством чему — незавидное положение футбольного клуба «Трёг» среди команд первой лиги), то женщины рода Штайерманов были совсем другого уровня. Либо великие потаскухи, либо великие богомолки, никогда и то и другое сразу, причем потаскухи были все сплошь уродины, имели торчащие скулы, длинные носы, широкие рты и вечно поджатые губы, зато богомолки — одна другой краше. Что до Моники Штайерман, которой вопреки всем ожиданиям суждено сыграть в деле доктора h.c. Колера главную, я бы даже сказал, двойную роль, то по внешнему виду ее следовало причислить к богомолкам, а по образу жизни — к великим потаскухам. После смерти родителей (Габриэль Штайерман женился в 1920 году на Стефании Людевиц), которые погибли во время перелета в Лондон (точнее сказать, пропали без вести, ибо ни родителей, ни их личный самолет впоследствии так и не удалось отыскать), и после трагической гибели брата Фрица, который, купаясь на Лазурном берегу, нырнул, но не вынырнул, она, родившаяся в 1930 году, унаследовала самое значительное состояние нашей страны, а ее дядя с материнской стороны взял на себя управление протезным концерном. Однако взять на себя управление ее образом жизни оказалось потрудней. Об этой девушке ходили самые потрясающие, а порой и самые нелепые слухи, то сгущаясь до почти уверенности, то снова рассеиваясь, их опровергали — всякий раз это делал дядя Людевиц, — причем именно опровержение заставляло тем охотнее принимать их на веру, до тех пор, пока новый, еще более громкий скандал не превосходил все, что случилось раньше, после чего игра начиналась по новой. На безнравственную наследницу супермиллионов взирали хотя и неодобрительно, но с тайной гордостью: вот, мол, человек может все себе позволить, взирали хотя и завистливо, но с благодарностью, в конце концов, людей это развлекало. Штайерман стала «роковой женщиной международного класса» в нашем городе, репутация которого, с одной стороны, поддерживается судорожными усилиями властей, церкви и благотворительных учреждений, с другой — снова и снова ставится под сомнение из-за педиков. Благодаря последним, равно как и благодаря своим банкам, но отнюдь не благодаря своим шлюхам, приобрел наш город свою международную репутацию. И тут публика как бы облегченно вздохнула.

Двойственная репутация города, который одновременно славится как своим благочестием, так и своими педерастами, с помощью Моники Штайерман самую малость сместилась в сторону традиционного порока. Девушка приобретала все большую популярность, особенно с тех пор, как наш обербургомистр начал вплетать ее имя в свои пресловутые речи-экспромты и в свои гекзаметры, которыми он любил ублажать публику на официальных торжествах, ближе к концу, будь то вручение какой-нибудь литературной премии, будь то юбилей какого-нибудь частного банка. И если я тем не менее побаивался второй встречи с Моникой Штайерман, у меня были на то вполне определенные причины. Познакомился я с ней у Мокка. Еще в свои штюсси-лойпинские времена. Его мастерская неподалеку от Шафхаузерплац зимой бывала всегда чересчур жарко натоплена, железная печка раскалялась докрасна, дым от трубок, сигар и сигарет превращал воздух в боевое отравляющее вещество, прибавьте к этому невообразимую грязь, вечные мокрые тряпки на вечно незавершенных торсах, между торсами — штабеля книг, газеты, нераспечатанные письма, вино, виски, эскизы, фотографии, корейка. Я пришел к Мокку поглядеть на статую, моделью для которой послужила Моника Штайерман, мне было любопытно, поскольку Мокк рассказывал, что намерен раскрасить статую. Фигура стояла посреди космического беспорядка мастерской, до ужаса натуралистическая, но вполне реальная и в натуральную величину. Она была выполнена в гипсе и раскрашена в телесный цвет, как пояснил мне Мокк. Нагая и в однозначно двусмысленной позе. Я долго разглядывал статую, восхищенный тем, что Мокк умеет и так и эдак. Вообще-то он был мастер намеков; работая под открытым небом, он несколькими ударами высекал из своих порой многотонных глыб именно то, что ему нужно. Возникал глаз, рот, иногда грудь, иногда лоно, а остальное он мог и не доделывать, фантазия зрителя сама создавала то голову циклопа, то зверя, то женщину. Даже лепя свои модели, он довольствовался лишь самым необходимым. Лепить нужно так, как делают наброски, говорил он. Тем удивительней показалась мне его манера теперь. Гипс словно дышал, прежде всего потому, что был мастерски раскрашен. Я отступил, потом снова подошел поближе. Для волос на голове и на лобке он, должно быть, использовал человеческие волосы, чтобы сделать тем полнее иллюзию, но статуя отнюдь не походила на куклу. Она

излучала удивительную пластичность. И вдруг она шевельнулась, сошла с пьедестала, проследовала, не удостоив меня ни единым взглядом, в заднюю часть мастерской, отыскала там полбутылки виски и отхлебнула. Она была не из гипса. Мокк меня обманул. Это была живая Моника Штайерман.

— Вы уже четвертый, кто попался на эту удочку, — сказал Мокк, — но лицо у вас было самое глупое из всех четверых. И в искусстве вы тоже ничего не смыслите.

Я ушел. Настоящую статую из раскрашенного гипса, которая, как оказывается, стояла в другом конце ателье, на другой день забрали. За ней приехал уполномоченный барона фон Людевица, то есть дяди Моники, который осуществлял управление Вспомогательными мастерскими «Трёг» А/О.

Моника Штайерман Первая. Чем дальше заходит мой отчет, тем тяжелее дается мне повествование. Не только сам отчет делается все затруднительнее, но и моя роль в нем — все двусмысленней, я не могу больше сказать, действовал я самостоятельно, или кто-то приводил меня в действие, или кто-то действовал мною как инструментом. А главное, я все больше сомневаюсь в том, что Линхард по чистой случайности ввел в игру Монику Штайерман. С торговцем мебелью мне крупно не повезло: он выдал за антиквариат шкафы, изготовленные в Гагернекке и снабженные сертификатом о подлинности за подписью некоего, им же выдуманного римского эксперта, что ускользнуло от моих глаз, но отнюдь не ускользнуло от глаз Йеммерлина. Покамест мне по-прежнему предстояла поездка в Каракас, но во время моих к ней приготовлений Ильза Фройде доложила о приходе Фантера — тоже один из людей Линхарда. К моему великому удивлению, толстый Фантер, куря сигару, заявился в форме городской полиции, в которой прослужил двадцать лет.

— Вы спятили, Фантер, в каком виде вы ходите!

— Ничего, господин Шпет, это нам пригодится, — вздохнул он. — Это пригодится. Нам позвонила Моника Штайерман, ей нужен адвокат.

— Зачем? — спросил я.

— Ее избивают.

— Кто?

— Доктор Бенно, — ответил Фантер.

— За что?

— Она застукала его в постели с другой.

— Значит, она и должна бы его избить. Смешно. Вы не находите? А почему именно я ей понадобился?

— Потому что Линхард не адвокат, — ответил Фантер.

— А где она сейчас?

— Само собой, при докторе Бенно.

— Фантер, старина, давайте без подробностей. Где сейчас Бенно?

— Это вы сами требуете подробностей, — возразил Фантер. — Бенно избивает Монику в «Брайтингерхофе». Принц фон Куксхафен тоже там.

— Гонщик, что ли?

— Он самый.

Я позвонил в «Брайтингерхоф» и попросил к телефону доктора Бенно. Трубку взял директор Педроли:

— Кто просит доктора Бенно?

— Шпет, адвокат.

— Он все еще бьет Монику Штайерман, — засмеялся Педроли. — Подойдите к окну, сами услышите.

— Я нахожусь на Цельтвеге.

— Не имеет значения. Слышно на весь город, — пояснил Педроли. — Гости в панике бегут из моего отеля с пятью звездочками.

Мой «порше» стоял на Шпрехерштрассе. Фантер сел рядом, и мы поехали.

— По Хегибахштрассе, — сказал Фантер.

— Это же крюк, — усомнился я.

— Плевать. Штайерманша потерпит.

Неподалеку от Клусштрассе перед знаком «стоп» Фантер вылез.

— На обратном пути проезжайте здесь, — сказал он.

Конец октября. Красные и желтые деревья. На дорогах листва. Перед «Брайтингерхофом» меня поджидала Моника Штайерман. На ней не было ничего, кроме черной мужской пижамы без одного рукава, без левого. Высокая. Рыжеволосая. Наглая. Красивая. Замерзшая. Левый глаз у нее затек огромным синяком. Губы разбиты до крови. Обнаженная рука исцарапана. Она помахала мне, далеко выплевывая кровь. В подъезде отеля бушевал Бенно, тоже весь в кровоподтеках и царапинах, а два носильщика удерживали его, и во всех окнах отеля виднелись лица. Вокруг Моники стояла толпа зевак, любопытствующих, ухмыляющихся, по-

лицейский управлял движением. В белом спортивном автомобильчике мрачно сидел молодой белокурый человек, очевидно Куксхафен, юный Зигфрид, явно готовый к старту. Из отеля выкатился директор Педроли, маленький такой живчик, и накинул на плечи Штайерман меховую шубку, наверняка очень дорогую, я ничего не смыслю в мехах.

— Вы замерзнете, Моника, вы замерзнете.

— Терпеть не могу меха, ты, паразит, — выкрикнула Моника и набросила шубку ему на голову.

Я притормозил возле нее.

— Меня прислал Линхард, — сказал я, — я Шпет, адвокат Шпет.

Она не без труда влезла в мой «порше».

— Бенно потрудился на славу, — констатировал я.

Она кивнула. После чего глянула на меня. Я, собственно, хотел включить зажигание, но под ее взглядом растерялся.

— Мы с вами никогда не встречались? — спросила она, с трудом разлепляя губы.

— Нет, — соврал я и включил зажигание.

— За нами едет Куксхафен, — сказала она.

— Ну и пусть.

— Он гонщик.

— «Формула-один».

— От него не оторвешься.

— Да еще как оторвешься. Куда?

— К Линхарду.

— А Куксхафен знает, где живет Линхард?

— Он даже не знает, что на свете есть Линхард.

Перед знаком «стоп» на Хегибахштрассе я, как и положено, притормозил. На тротуаре стоял Фантер в своей форме, он подошел ко мне, потребовал предъявить документы, я повиновался, он проверил их, любезно кивнул, потом обратился к Куксхафену, который тоже был вынужден остановиться, чтобы тщательнейшим образом проверить и его документы. Затем он обошел машину Куксхафена, медленно, обстоятельно, снова и снова заглядывая в документы. Куксхафен чертыхался, как я заметил в зеркало заднего вида. Еще я успел заметить, как ему велено было выйти, как Фантер извлек свою записную книжечку, а потом я поехал по Клусштрассе в сторону озера, через Хёэнвег свернул в Би-

берлинштрассе и оттуда к Адлисбергу. Осторожности ради я сделал еще несколько ненужных поворотов, после чего мы поехали по Катценшванцштрассе к бунгало Линхарда.

Я остановил машину перед садовой калиткой. Соседнее шале, по всей вероятности, принадлежало Йеммерлину. Я читал, что сегодня ему исполнилось шестьдесят, отсюда такое обилие машин на обычно пустынной улице. Йеммерлин давал банкет в саду. Только что подъехал Штюсси-Лойпин. Моника в своей черной пижаме, чертыхаясь, ковыляла за мной вверх по крутой лестнице. Штюсси-Лойпин вылез из машины и с любопытством глядел нам вслед, явно забавляясь. Лицо Йеммерлина с миной полнейшего неодобрения выглянуло поверх живой изгороди.

— Вот, — сказала Моника Штайерман и дала мне ключ.

Я отпер дверь дома, пропустил ее вперед. Переступив порог, человек сразу попадал в гостиную. Вполне современное помещение со старинной мебелью. Через открытую дверь виднелась спальня с комфортабельной кроватью. Моника села на диван и взглянула на подлинного Пикассо над старинным сундуком.

— Он меня рисовал.

— В курсе, — ответил я.

Она насмешливо взглянула на меня.

— Я вспомнила, откуда вас знаю, — сказала она. — От Мокка. Я изображала перед вами статую.

— Вполне возможно.

— Вы еще тогда до смерти напугались, — продолжала она, после чего спросила: — Неужели я настолько вам не понравилась, что вы меня даже забыли?

— Понравились, понравились, — признал я, — еще бы не понравиться.

— Значит, вы все-таки меня не забыли.

— Не совсем, — признал я.

Она засмеялась.

— Ну, раз уж вы все равно вспомнили...

Она встала, сбросила пижаму и стояла передо мной в чем мать родила, наглая и соблазнительная, нимало не заботясь о том, как хорошо видно, до чего ее разукрасил Бенно. Далее она подошла к большому окну, из которого можно было заглянуть на участок к Йеммерлину. Там собрались гости, и все таращились на нее, Йеммерлин с биноклем, рядом

Штюсси-Лойпин, он помахал рукой. Моника приняла позу той статуи, которую сделал Мокк, Штюсси-Лойпин зааплодировал. Йеммерлин погрозил кулаком.

— Спасибо, что вызволили меня, — сказала Штайерман, все еще сохраняя ту позу, в которой ее созерцали ее созерцатели, и тем самым — спиной ко мне.

— Чистая случайность, — ответил я. — По заданию Линхарда.

— Меня бьют все кому не лень, — задумчиво сказала она. — Сперва Бенно, потом Куксхафен. И другие меня тоже всегда били. — Она снова повернулась ко мне.

— Это как-то примиряет с вами, — сказал я. — А теперь у вас заплыл и правый глаз.

— Ну и что?

— Добыть вам мокрую тряпку?

— Ерунда какая. Но в шкафу вы можете найти коньяк и рюмки.

Я открыл старый энгадинский шкаф, нашел требуемое, разлил по рюмкам.

— Вы, должно быть, часто здесь бывали? — спросил я.

— Бывала иногда. Наверно, я настоящая проститутка, — констатировала она с горечью и чуть растерянно, хотя и великодушно.

Я засмеялся.

— С настоящими лучше обращаются.

Она выпила свою рюмку, потом сказала:

— Пойду-ка я приму горячую ванну.

И заковыляла в спальню. Исчезла. Я слышал, как льется вода, слышал проклятия. Потом она вернулась, потребовала еще рюмочку.

Я налил.

— А это вам не повредит, Моника?

— Пустяки. Я пью как лошадь.

И она заковыляла обратно.

Когда я вошел к ней, она лежала в ванне и намыливалась.

— Ну и щиплет, — пожаловалась она.

Я сел на край ванны. Она нахмурилась.

— Вы знаете, что я хочу сейчас сделать? — спросила она и, поскольку я не ответил, продолжала: — Конец. Пора завязывать.

Я никак не реагировал.

— Я не Моника Штайерман, — равнодушно сказала она.

Я с удивлением на нее воззрился.

— Я не Моника Штайерман, — повторила она и продолжала уже вполне спокойно: — Я только веду жизнь Моники Штайерман, а на самом деле моим отцом был профессор Винтер.

Молчание. Я не знал, что и думать.

— А ваша мать? — спросил я и, еще не договорив, знал, что задаю дурацкий вопрос. Ну какое мне дело до ее матери?

Впрочем, она приняла мой вопрос вполне спокойно.

— Учительница, — отвечала она, — в Эмментале. Винтер ее бросил. Он всегда бросал всех учительниц.

Она констатировала это вполне беззлобно.

— Меня зовут Дафна. Дафна Мюллер. — Она вдруг засмеялась. — Нормальный человек не должен так называться.

— Но если вы не Моника Штайерман, кто же тогда Моника Штайерман? — растерялся я. — Она вообще-то существует?

— Спросите у Людевица.

Потом она вдруг начала огрызаться.

— Это что, допрос? — спросила она.

— Вы требовали адвоката. Я и есть адвокат.

— Когда вы мне понадобитесь, я вас извещу, — задумчиво ответила она с неожиданной для меня враждебностью в голосе.

Появился Линхард. Я не слышал, как он вошел. Просто он вдруг возник перед нами и набил одну из своих «данхиллок».

— Вы довольны, Шпет? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я.

— А ты, Дафна?

— Так себе.

— Я принес тебе кой-какую одежду.

— У меня ведь есть пижама Бенно.

За окном взвыла сирена «скорой помощи».

— Наверно, опять сердечный приступ у нашего Йеммерлина, — холодно пояснил Линхард. — Я вручил ему шестьдесят роз.

— Да еще он меня видел в голом виде, — засмеялась она.

— Ну, с тобой это часто бывает.

— Послушайте, Линхард, а откуда вы, собственно, знали, кто такая Дафна? — спросил я.

— Да так, узнал. Случайно, — отвечал он и закурил. — Эй, фройляйн Мюллер, куда прикажешь тебя доставить?

— В «Аскону».

— Я тебя отвезу.

— Какой старательный, — похвалила она.

— Все будет поставлено в счет, — сказал Линхард. — А платит вот он. — Линхард указал на меня. — Он разжился здесь бесценной информацией.

— У меня тоже есть для него поручение, — сказала Дафна.

— Какое?

Не до конца заплывший глаз Дафны ярко блеснул, левой рукой она пригладила свои красные, как киноварь, волосы.

— Пусть он передаст настоящей Монике Штайерман, этой паскудной лесбиянке, что я больше не желаю ее видеть. Если это скажет адвокат, получится более официально.

Линхард рассмеялся.

— Девочка, ты даже представить себе не можешь, какой выйдет скандал.

— Ну и плевать, — сказала она.

Сигарета Линхарда никак не раскуривалась в парах ванной. Он еще раз зажег ее.

— Шпет, — сказал он, — мой вам совет: не впутывайтесь вы в это дело.

— Вы меня сами впутали, — отвечал я.

— Тоже верно, — засмеялся Линхард и потом, обратясь к Дафне, сказал: — Ладно, вылезай.

— Экий вы стали говорун, — сказал я и вышел.

Потом с Цельтвега я позвонил Людевицу. Тот рвал и метал. Но я уже слишком много знал. И он сник. Таким образом, я и смог нанести визит настоящей Монике Штайерман.

Вторая речь, адресованная прокурору. Чем больше я пишу, тем менее правдоподобным выглядит мой отчет. Я предпринимаю творческие усилия, я даже пробую себя в лирике, я рассказываю о погоде, стараюсь быть предельно точным в смысле географии, сверяюсь с планом города, и все это лишь по той причине, господин прокурор Иоахим Фойзер (вы уж простите, что покойник, лежащий в мертвецкой, снова обра-

щается лично к вам), что вы весьма цените литературу, в частности поэзию, и вообще считаете себя человеком с художественными задатками, о чем любите упоминать кстати и некстати, даже перед судом присяжных, и, следовательно, можете просто забросить в угол мою рукопись, если она будет лишена литературных завитушек. К сожалению, мой опус — не более как набор литературных штампов. Несмотря на поэзию. Очень жаль. Я сам себе вижусь сочинителем бульварного романа, где я — фанатичный поборник справедливости, Линхард — цюрихский Шерлок Холмс, а Дафна Мюллер — Мессалина Золотого берега, как принято именовать правый берег нашего озера. Даже статуя с упругой грудью и в непристойной позе — которую я так и не заметил у Мокка, поскольку залюбовался живой Дафной, приняв ее за статую, — даже это чувственное изображение женщины из раскрашенного гипса (о живой статуе я уж и не говорю) куда ярче сохранилось у меня в памяти, чем девушка, которая сейчас возникнет на страницах моего отчета. Разумеется, само по себе не имеет значения, спала она с Линхардом или нет, и если да, то часто ли это случалось, — с кем она, в конце концов, не спала? — но для моего отчета важны внутренние мотивы и явления, важно, как в нашем запутанном мире происходит то либо иное событие и почему оно происходит. И вот, если внешне все совпадает, внутренние причины можно пусть и не вычислить с полной уверенностью, но по меньшей мере угадать, если же внешние обстоятельства не соответствуют действительности, например, кто-то с кем-то переспал, а в отчете это не указано, или, наоборот, в отчете указано, а на самом деле ничего не было, рассказчик повисает в пустоте, в сфере неопределенного. Так же и здесь. Каким путем Линхард проник в тайну лже-Моники? Может, потому, что спал с ней? Но тогда в эту тайну проникли бы многие. Может, потому, что она его любила? Но тогда бы она ему ничего не сказала. Может, она боялась? Не исключено. Теперь взять Бенно. Хотел ли Линхард с самого начала направить подозрения на него? Была ли Дафна тому причиной? Я задаю эти вопросы, потому что на меня возлагают вину за смерть Дафны. Не надо было мне ходить к настоящей Монике. Но ведь сама Дафна меня об этом просила. Мне полагалось исследовать одну из возможностей. Коль скоро я принял поручение и получил аванс в пятнадцать тысяч франков, пусть даже я был тогда твердо убежден в невозможности этой возможности и сохраняю свое убеждение до сих пор. Ибо в том, что именно доктор h.c. Исаак Колер убил

Винтера, нет ни малейших сомнений. Что Винтера мог убить и кто-нибудь другой — это всего лишь допущение, которое ничего не значит, а если в поисках данной возможности открываются не замеченные ранее факты, это объясняется самим характером допущения, будто убийца — не Колер, допущение, на которое мне пришлось пойти ради моих дальнейших изысканий. Впрочем, мое дело — писать правду и придерживаться правды, хотя чего стоит правда, скрытая другой правдой? Передо мной — куча предположений, я шарю вслепую. Что соответствует действительности? Что преувеличено? Что фальсифицировано? Что замалчивают? Что я должен подвергнуть сомнению? Что принять на веру? Да есть ли вообще хоть что-нибудь правдивое, надежное, верное за всеми этими событиями, за всеми этими колерами, штайерманами, штюсси-лойпинами, линхардами, элен, бенно и т.д., которые пересекли мой путь, что-нибудь правдивое, надежное, верное за нашим городом, за нашей страной? Не правильнее ли будет предположить, что все невозвратимо заключено в футляр, безнадежно отторгнуто от законов и причин, дарующих жизнь и придающих размах остальному миру? А все, что здесь живет, любится, жрет, ловчит, мелочится, обделывает делишки, плодится, организуется, не является ли оно захолустным, усредненно-среднеевропейским, провинциальным и нереальным? Что мы еще собой представляем? Что воплощаем? Осталась ли хоть крупица смысла, хоть гран значения в описанном мною наборе? Впрочем, может быть, ответ на вопросы, которыми я задаюсь, притаился везде, позади всех и вся, может, он нежданно-негаданно проявит себя, вырвется из любой мыслимой ситуации, будто из засады? И ответ этот будет приговором нам всем, а правда — приведением его в исполнение. Верую. Истово и страстно. Мне хочется сберечь последние остатки человечности не на благо тому изысканному обществу, в котором я прозябаю, не на пользу тем отвратительным реликтам, которые обступили меня со всех сторон, а во имя справедливости, ради которой я действую и обязан действовать. Патетически, торжественно, возвышенно, святая серьезность в сопровождении органа — вот что у меня получается, но я не стану вычеркивать и не буду исправлять, к чему исправления, на черта мне стиль, не литературные амбиции водят моей рукой, а намерение совершить убийство, между прочим, господин прокурор, я не пьян, вы ошибаетесь, ни капельки не пьян, а трезв, я полон ледяной трезвости, смертельной. Вот почему у меня нет иного выхода

(ваше здоровье, господин прокурор!), кроме как пьянствовать, распутничать, писать отчет, сообщать о своих сомнениях, расставлять свои вопросительные знаки и ждать, ждать, покуда откроется правда, покуда жестокая богиня сбросит покрывало (Господи, до чего ж литературно, прямо наизнанку выворачивает). Но на этих страницах правда не откроется, она не есть формула, которую можно записать, она лежит за пределами любого языкового усилия, вне любого сочинительства, лишь в преддверии суда, в этом вечном самоосуществлении справедливости правда становится реальной, и ее можно ощутить. Правда явится тогда, когда однажды я буду стоять перед доктором h.c. Исааком Колером, лицом к лицу, когда я осуществлю акт справедливости и приведу в исполнение приговор. Тогда на один миг, на одно биение сердца, на одну молниеносную вечность, на хлесткую секунду выстрела правда вспыхнет ярким светом, та самая правда, которая теперь в ходе моих раздумий ускользает от меня, которая представляется теперь всего лишь причудливой, злой сказкой. Так примерно видится мне и мой визит к настоящей Монике Штайерман: скорей наваждение, чем действительность, скорей легенда, чем реальный факт.

Моника Штайерман Вторая. Вилла, «Мон-репо», расположена на краю города, в таком громадном, таком запущенном парке, что само здание вот уже много лет почти скрыто от глаз и только зимою можно иногда, с трудом угадать сквозь одичалое сплетение старых деревьев на фоне Вагнербюля какие-то стены и фронтон. О приемах в «Мон-репо» помнят лишь немногие. Уже отец и дедушка «настоящей» Моники справляли праздники и юбилеи в своих загородных поместьях на Цугском и Женевском озерах, а в город наезжали, только чтобы работать (их еще можно было назвать чернорабочими промышленности), приемы же устраивались на природе, тогда как дамы, наезжая в город, селились когда в «Долдере», когда в «Бор-о-лак», когда в этом самом «Брайтингерхофе». «Мон-репо» мало-помалу становился легендой, особенно после того, как однажды утром трое грабителей, приехавших из Западной Германии, были обнаружены перед воротами парка избитыми до полусмерти; полиция случившееся никак не прокомментировала. К делу явно подключился Людевиц. Казалось, кроме Дафны, которую все принимали за Монику Штайерман, в доме никто не живет, всевозможным поставщикам надлежало сгружать

свой товар в пустой гараж возле тех же ворот, впрочем, количество сгружаемых продуктов было весьма значительно. Сама Дафна никого на виллу не приглашала, у нее была еще квартира на Ауроштрассе. Я принял две таблетки тройпеля, прежде чем отправиться на Вагнерштуцвег. Резкая перемена погоды через некоторое время завершилась очередной резкой переменой, озеро походило на ручей, до того близко оказался вдруг противоположный берег. Четыре часа пополудни. Перед воротами я притормозил и поставил машину двумя колесами на тротуар. Ворота были не заперты, я вошел в парк неуверенной походкой. Все еще под воздействием таблеток. Усыпанная гравием дорожка вела наверх, там и сям на ней встречались деревянные ступеньки, но подъем был не крутой, как я предполагал, судя по названию улицы, ведь недаром «штуц» — это «крутизна». Парк был неухоженный, дорожки, фонтаны заросли мохом, между фонтанами — непроходимые дебри, и повсюду — немыслимое количество садовых гномов. Стояли они не поодиночке, а группами, семействами, белобородые, розовые, улыбающиеся идиоты, некоторые даже сидели на деревьях, словно птицы, прикрепленные к веткам, дальше гномы пошли крупнее, мрачные, я бы даже сказал — злобные, попадались и гномы женского пола, они были побольше гномов-мужчин, жутковатые гномши, карлицы с огромными головами. Мне чудилось, будто они преследуют меня, берут в кольцо, я шагал все быстрей, покуда, круто повернув за могучий старый ясень, я вдруг не угодил в чьи-то железные объятия, ощущение было такое, словно меня швырнули на стену, причем я не мог толком понять, кто принял меня на свою грудь, кто развернул в другую сторону, скорей всего, это был телохранитель, и уже после этого остаток пути меня не столько вели, сколько несли. В дверях стоял второй телохранитель, до того крупногабаритный, что, казалось, заполнял собой весь дверной проем, он принял меня из рук в руки и затолкнул внутрь виллы, протащил через вестибюль, потом через залу с потрескивающим камином, там, по-моему, горело целое дерево, и, наконец, в салон, или, если угодно, не в салон, а в кабинет. Здесь меня бросили в кожаное кресло, и я растерянно огляделся по сторонам. Плечи болели, спина тоже. Оба телохранителя сидели против меня в массивных креслах. Они были наголо обриты. Лица словно из обожженной глины. Глаза раскосые, скулы как кулаки. Очень продуманно одеты: темно-синие костюмы из нату-

рального шелка, словно на дворе стоит середина лета, белые, шелковые же галстуки, но ботинки как у штангистов. Они выглядели колоссами, хотя на деле были не так уж и велики ростом. Я кивнул им. Никакого выражения на лицах. Я оглянулся. На обшитых деревом стенах были развешаны и приклеены фотографии в таких количествах, что казалось, будто вся стена покрыта фотообоями, и с тем странным испугом, который сопровождает каждое озарение, я вдруг понял, что все снимки сделаны с одной и той же особы, а именно с доктора Бенно, потом лишь я углядел у стены, что напротив зарешеченных окон, в нише, малопристойный шедевр Мокка, нагую лже-Монику, Дафну, только на сей раз отлитую в бронзе, она поднимала руками свои груди, словно гири, и как раз в ту минуту, когда я заметил ее, отворилась двустворчатая дверь в противоположной стене, и третий бритоголовый телохранитель, более мощный и более шелковый, чем те двое в кожаных креслах, внес на руках сморщенное, скрюченное существо ростом с четырехлетнего ребенка. На тщедушном уродливом тельце было нелепое черное платье с глубоким вырезом, украшенное сверкающим сапфиром.

— Я Моника Штайерман, — заявило существо.

Я встал:

— Шпет, адвокат.

— Так-так, адвокат, значит, — заявило крохотное существо с огромной головой. Всего ужасней был голос. Словно из уродливого тельца говорил другой человек. Говорила женщина. — Ну, и что же вам от меня надо?

Телохранитель, державший карлицу на руках, не шелохнулся.

— Моника...

— Госпожа Штайерман, — поправила меня карлица и одернула свое платье. — От Диора. Элегантно, не правда ли? — В ее голосе звучало спокойное, насмешливое превосходство.

— Госпожа Штайерман! Дафна больше не хочет к вам возвращаться.

— И вы должны мне это передать? — спросила карлица.

— Да, я должен вам это передать, — подтвердил я.

Трудно было угадать, как она восприняла мои слова.

— Виски? — спросила она.

— С удовольствием.

Хотя она не подала никакого знака, двустворчатая дверь

за моей спиной отворилась, и четвертый бритоголовый телохранитель внес шотландское виски и лед.

— Чистое? — спросила она.

— Со льдом.

Четвертый налил, но не ушел. Два первых тоже поднялись с мест.

— Скажите, адвокат, как вам нравятся мои слуги? — спросила карлица, и тот, который держал ее на руках, поднес стакан к ее губам.

— Очень представительные! Я думал, что это ваши телохранители.

— Представительные, но тупые, — отвечала она. — Узбеки. Русские подобрали их где-то в Центральной Азии и направили в Красную Армию, а оттуда они попали в плен к немцам, и, поскольку нацистские антропологи не сумели прийти к единому мнению насчет их расовой принадлежности, им сохранили жизнь. Мой отец купил их в Институте расовых проблем. Тогда они шли задешево. Как ни к чему не пригодные отбросы человечества. Я называю их узбеками, потому что мне нравится это слово. А гномов в саду вы видели, адвокат?

Струйки пота бежали у меня по лицу. Здесь было слишком натоплено.

— Целое войско, госпожа Штайерман.

— Я иногда становлюсь посреди гномш, и ни один человек меня не замечает, даже если я двигаюсь. Ваше здоровье!

«Узбек», который держал Монику, снова поднес стакан к ее губам. Она выпила.

— Ваше здоровье, госпожа Штайерман, — сказал я и тоже выпил.

— Сядьте-ка, адвокат Шпет, — скомандовала она.

Я сел в кожаное кресло. «Узбек» остановился передо мной, не спуская карлицу с рук.

— Значит, Дафна не хочет ко мне возвращаться, — сказала она, — так я и знала, что настанет день, когда она больше не вернется ко мне. — Поникла огромная, почти безволосая голова, в больших глазах на маленьком морщинистом личике заблестели слезы.

Прежде чем я успел промолвить хоть слово, «узбек» пересадил карлицу ко мне на руки, сунул мне ее виски, с тремя остальными бросился на колени перед окном, и все они дружно ударились лбами об пол, вскинув кверху могучие зады.

Карлица судорожно вцепилась в меня. Со стаканами в обеих руках я чувствовал себя очень беспомощно.

— Это они опять молятся. По пять раз на дню. А меня чаще всего сажают на шкаф, — сказала она, после чего скомандовала: — Виски!

Я поднес стакан к ее губам.

— Правда, Хайнц Олимпиец у нас раскрасавчик? — спросила она без всякого перехода и лишь тогда выпила залпом свое виски.

— Ну еще бы, — ответил я и поставил пустой бокал возле кресла на ковер. При этом госпожа Штайерман чуть не свалилась у меня с колен.

— Вздор, — сказала она глубоким голосом, полным презрения к себе самой. — Бенно — опустившийся, вульгарный кобель, в которого я втрескалась. Я всегда влюбляюсь в таких вульгарных субъектов, потому что в них влюбляется Дафна.

Я ощущал сидевшую у меня на руках женщину как крохотный скелетик.

— Я дала Дафне свое имя, чтобы она вела ту жизнь, которую я хотела бы вести сама, и она вела ее, — продолжала карлица. — На ее месте я бы тоже спала со всеми подряд. А вы с ней спали? — вдруг спросила она ледяным тоном.

— Нет, госпожа Штайерман.

— Хватит молиться, — скомандовала она.

«Узбеки» поднялись с колен. Тот, что принес карлицу, снова взял ее на руки. Я тоже невольно привстал, по-прежнему держа стакан виски со льдом. Поручение, данное мне, я выполнил и теперь хотел откланяться.

— Сядьте, адвокат, — скомандовала она.

Я повиновался. Сидя на руках у «узбека», она смотрела на меня сверху вниз. Теперь в ее глазах появилось что-то угрожающее. Приговоренная к маленькому, уродливому тельцу, она могла выражать себя только глазами и голосом.

— Нож, — сказала она.

Один из «узбеков» открыл нож и протянул ей.

— К фотографиям, — сказала она.

«Узбек» поднес ее к стене, и она начала спокойно, будто делала операцию, резать доктора Бенно, когда он смеется, резать доктора Бенно, когда он ест, резать доктора Бенно, когда он сидит, резать доктора Бенно, когда он размышляет, когда он спит, когда он сияет, когда он пьет, она разрезала доктора Бенно во фраке и доктора Бенно в смокинге, в костюме от портного, в костюме для верховой езды, разрезала,

разрезала, разрезала доктора Бенно, одетого маскарадным пиратом, в плавках, без плавок, разрезала доктора Бенно в фехтовальной позиции на олимпийском турнире, разрезала доктора Бенно в теннисном костюме, доктора Бенно в пижаме, доктора Бенно, доктора Бенно, мы отступали, давая дорогу, «узбеки» взяли меня в кольцо, а тот, что держал ее на руках, описывал круги в адской жаре кабинета, пол которого мало-помалу весь покрылся обрезками фотографий. Когда они были изрезаны, все до одной, мы заняли прежние места, словно ничего не произошло. Карлицу опять сунули мне на руки, и я сидел, будто отец ребенка-уродца.

— Это мне пошло на пользу, — спокойно сказала она. — А теперь пусть Дафна падает. Уж я позабочусь, чтоб она стала тем, чем была когда-то.

Карлица, сидевшая у меня на коленях, повернула голову и снизу вверх глянула на меня, и все же мне казалось, будто карлик я, а не она.

— Кланяйтесь от меня старику Колеру, — сказала она, — он часто здесь бывал, и когда я на него злилась за то, что он все хотел сделать по-своему, я карабкалась на книжные полки и швыряла в него книгами. Но он всегда умел настоять на своем. Он и сейчас ведет мои дела. Из тюрьмы. В том, что я вместо оптики и электроники перешла к производству противотанкового оружия и зенитных пушек, мортир и гаубиц, его заслуга. Думаете, Людевиц к этому способен, не говоря уже обо мне? Вы только взгляните на меня.

Карлица помолчала.

— У меня в голове одни мужики, — сказала она потом; и та насмешка, то презрение, которое испытывало это уродливое существо к себе самому, отчетливо зазвучали в ее голосе. — Унесите, — приказала она.

«Узбек» снова взял ее на руки.

— Адьё, адвокат Шпет, — сказала она, и снова в ее голосе послышалось спокойное, насмешливое превосходство.

Распахнулась двустворчатая дверь, и «узбек» вынес Монику Штайерман. Дверь снова затворилась. Я остался наедине с теми двумя, что меня сюда доставили. Они вплотную подступили к моему кожаному креслу. Один взял стакан у меня из рук, я хотел встать, но другой придавил меня к сиденью, потом мне плеснули из стакана в лицо, лед уже растаял. Оба рванули меня кверху, вынесли из кабинета, пронесли через вестибюль, через двери вниз, через парк,

мимо гномов, распахнули ворота и швырнули меня к моему «порше». Пожилая супружеская чета, прогуливавшаяся по тротуару, с удивлением воззрилась сперва на меня, потом на обоих «узбеков», которые тотчас исчезли в парке.

— Иностранные рабочие, — сказал я и взял штрафной талон, засунутый полицейским под «дворник». Нельзя было ставить машину перед воротами.

Отчет по поводу одного отчета по поводу отчетов. Три дня спустя после моего визита к Монике Штайерман в нашей всемирно известной городской газете было опубликовано принадлежащее перу национального советника Эшисбургера, поверенного в делах Вспомогательных мастерских «Трёг» А/О, коммюнике следующего содержания: «Особа, которую десять лет назад некий пансион с Лазурного берега натравил на наше бедное общество и которая непрерывно будоражила город своими скандалами, вовсе не Моника Штайерман, за которую она себя выдавала, пользуясь благосклонным разрешением физически немощной наследницы Вспомогательных мастерских «Трёг» А/О, а родившаяся 9.9.1930 Дафна Мюллер, внебрачная дочь Эрнестины Мюллер, учительницы в Шангнау (кантон Берн), скончавшейся 2.12.1942, и убитого 25.3.1955 года Адольфа Винтера, экстраординарного профессора местного университета». Эта бесцеремонная информация, вполне соответствовавшая характеру национального советника, вызвала именно тот скандал, на который и рассчитывал Эшисбургер. Печать, прежде более чем снисходительная, стала более чем беспощадной, даже драка в «Брайтингерхофе» была изображена наиподробнейшим образом. Педроли, к слову, сообщил, что Бенно уже три месяца не платит за стол и проживание, он, Педроли, питал надежду, что за все заплатит Моника Штайерман, а теперь выходит, что Моника вовсе не Моника, однако и Дафна и Бенно бесследно исчезли, и толпа ринулась на меня, благо Эшисбургер дал понять, что я побывал у настоящей Моники Штайерман. Ильза Фройде отбивалась как тигрица, однако некоторым репортерам удалось ко мне прорваться, я прятался за неопределенными, расплывчатыми отговорками, переадресовывал их к Линхарду, по неосторожности помянул Куксхафена, о котором умолчал Педроли, банда ринулась в Реймс, но малость опоздала: при испытательной поездке на новом «мазерати» произошел взрыв, и принц вместе с машиной разлетелся на составные части, тогда репортеры, снова вернув-

шиеся в наш город, подвергли осаде «Мон-репо», целые колонны машин столпились на Вагнерштуцвег, в парк никто допущен не был, не говоря уже о вилле, один сорвиголова, который под покровом ночи, оснащенный всевозможной техникой, перелез через ограду, пришел в себя поутру в луже перед воротами, без одежды и без оптики, причем он даже не мог бы толком сказать, что с ним произошло: за одну ночь рухнули шансы и на коммюнике, и на продолжение осени, ветер сорвал с деревьев ржаво-красные и желтые листья, шагать теперь приходилось по веткам и листве, а там нагрянул дождь, а за дождем — снег, а за снегом — снова дождь, улицы города покрыло грязное месиво, и в этом месиве, дрожа от холода, стоял репортер. Но скандал не только взбудоражил прессу, он разжег фантазию. По городу циркулировали самые нелепые слухи, на которые я слишком долго не обращал внимания. Меня больше занимало мое собственное положение. Клиенты начали один за другим покидать меня, поездка в Каракас рухнула, выгодный бракоразводный процесс мне не достался, налоговому управлению я не внушил доверия. Перспективное начало на поверку оказалось бесперспективным, аванс Колера весь разошелся, я напоминал себе марафонского бегуна, который взял с места как спринтер; теперь передо мной расстилалась бесконечная дистанция, отделявшая меня от доходной адвокатской практики. Ильза Фройде начала подыскивать себе новое место. Я решил потребовать ее к ответу.

Она сидела в приемной за машинкой, поставив на клавиатуру зеркальце, и красила губы в карминно-красный цвет. Ее волосы, еще вчера соломенно-желтые, сегодня стали иссиня-черными, так что даже отливали зеленью. Было пять минут седьмого.

— Вы за мной шпионите, господин адвокат! — возмутилась Ильза, продолжая наводить марафет.

— Кто ж виноват, что вы так громко беседуете по телефону по поводу нового места, — оборонялся я.

— Каждый человек имеет право зондировать почву, — сказала она, покончив с раскраской. — Но не тревожьтесь, сейчас, когда вас ждет такая огромная работа, я вас не покину.

— Какая еще огромная работа? — искренне удивился я.

Сперва Ильза вообще не отвечала, она водрузила на стол битком набитую сумку и небрежно забросила туда зеркальце и губную помаду.

— Господин доктор, — начала она, — пусть даже вы и выглядите очень безобидно, пусть у вас слишком добродушный вид для адвоката, адвокаты должны выглядеть по-другому. Я их знаю, они либо всем своим видом внушают доверие, либо похожи на людей искусства, как пианисты, только без фрака, но вы, господин доктор...

— Вы к чему клоните? — нетерпеливо перебил я.

— Я клоню к тому, господин доктор, что вы при всем при том пройдоха, каких свет не видал. Вы не похожи на адвоката, но вы адвокат. И еще вы хотите вызволить из тюрьмы ни в чем не повинного кантонального советника.

— Ильза! Что это за бред?

— А зачем вы тогда приняли от кантонального советника Колера чек на пятнадцать тысяч франков?

Я онемел.

— Вам-то это откуда известно? — рявкнул я.

— Ну, мне же приходится время от времени наводить порядок на вашем письменном столе, — зашипела она в ответ, — там же такой хаос. А вы еще на меня кричите.

Она промокнула глаза платочком.

— Но вы этого добьетесь. Вы вызволите нашего доброго советника Колера. И я вас не покину. Я обовьюсь вокруг вас как лиана. Мы вместе этого добьемся.

— Вы думаете, старик Колер ни в чем не виноват? — удивился я.

Ильза Фройде изящно поднялась, несмотря на свою респектабельную полноту, и повесила сумку на плечо.

— Это знает весь город, — ответствовала она. — И весь город знает, кто настоящий убийца.

— Вот это уже любопытно, — сказал я, и по спине у меня вдруг пробежал озноб.

— Доктор Бенно, — сказала Ильза. — Он был чемпионом Швейцарии по стрельбе из пистолета. Об этом пишут все газеты.

Несколько позже я обедал в «Театральном». С Мокком. Мокк сам меня пригласил — поступок неслыханный для старого скупердяя. Я принял приглашение, хотя и знал, что Мокк приглашает лишь тогда, когда твердо рассчитывает на отказ. Но мне было любопытно узнать, справедливы ли слухи, что после убийства Винтера Мокк обычно сидит за его столом. Слухи оказались справедливы. К моему великому удивлению, Мокк радостно меня приветствовал, но не успел я занять место, как за наш стол подсел начальник полиции,

первый раз за все время нашего знакомства подсел к нам, выяснилось также, что нашу встречу устроил именно он, что он взял на себя расходы, и действительно, в конце он оплатил нашу трапезу. А Мокк сыграл всего лишь роль наживки. Начальник заказал суп с фрикадельками из печенки, филе а-ля Россини с пом-фри и бобами и, наконец, бутылку шамбертена, в память о Винтере, как он выразился, тот, правда, был невыносимый болтун, но едок хоть куда. На него было приятно смотреть, когда он ест. Я приналег. Мокк накладывал себе жаркое и пюре с сервировочного столика. В самой нашей трапезе было что-то зловещее. Мы ели в таком глубоком молчании, что Мокк напрасно положил слуховой аппарат рядом с тарелкой, дабы ничто не отвлекало его от еды. Потом начальник заказал шоколадный мусс, а я передал ему свой разговор с Ильзой Фройде.

— Вы даже представить себе не можете, Шпет, до чего прав этот уникум в юбке, который исполняет у вас обязанности секретарши. Слух родился в тюрьме. Директор и охранники в один голос клянутся, что Колер не может быть убийцей. Как старый жулик этого добился — понятия не имею. Но если одни уверуют в какую-нибудь бессмыслицу, через положенное время в нее уверуют и другие. Это все равно как снежная лавина. С горы летят все бóльшие массы бессмысленной веры, а кончится тем, что люди из комиссии по расследованию убийств тоже в нее поверят. Вообще-то говоря, лично вас это никоим образом не касается, но лейтенанта Хэррена подчиненные недолюбливают, и его команда просто ликовала бы, окажись арест Колера ошибкой, а что до прочих чинов полиции, то они завидуют комиссии, а если взять всю полицию в целом, то ее в свою очередь недолюбливают страдающие от комплекса неполноценности пожарные и служащие общественного транспорта. И вот уже лавину не удержать, она достигает широких слоев населения, а население и без того радуется каждой нашей промашке, моей — в особенности. Тем временем убийца, глядишь, и превратился в невинного агнца. Прибавьте к этому, что само убийство снискало широкую популярность, пришлось весьма на руку очень и очень многим, что правление гильдии и вообще близкое окружение Колера, все эти парламентарии, национальные советники, правительственные советники, кантональные и городские и кто там еще повязан на этом деле, все эти генеральные директора и простые директора, боссы и шефы досадуют на активность Йеммерлина и на неуступ-

чивость судей. Они не против осуждения как такового, но они рассчитывали на условный приговор либо на оправдание по причине психической недееспособности, из-за которой никто не считает политического деятеля и впрямь недееспособным. Словом, невиновность Колера пролила бы бальзам на великое множество ран.

Мокк отодвинул тарелку и засунул себе в ухо слуховой аппарат.

— Вы получили от Колера более чем странное задание, а теперь вот эти дурацкие пересуды, что Колер ни в чем не виноват и что настоящий убийца — шалопай Бенно. Только потому, что он был когда-то чемпионом по стрельбе, и это у нас в стране, где каждый мнит себя таковым. Но какого черта этот дурень где-то скрывается, — сказал начальник и занялся своим муссом. — Вот что мне не нравится. Поручение Колера, слухи, будто он невиновен, и исчезновение Бенно как-то связаны между собой.

— Шпет угодил в ловушку, — сказал Мокк и начал рисовать грифелем на скатерти крысу, уже прихлопнутую мышеловкой, но не выпускающую из зубов сало.

На Цельтвеге в моем бюро сидел Линхард.

— Вы как сюда попали? — не удержался я.

— Это к делу не относится, — ответил Линхард и указал на письменный стол. — Отчеты.

— Вы что, тоже думаете, что Колер невиновен? — с досадой спросил я.

— Не думаю.

— Мокк считает, что я угодил в ловушку, — мрачно сказал я.

— Зависит от вас, — сказал Линхард.

Сто пятьдесят страниц. Густо исписанных. Телеграфный стиль. Я ожидал гипотетического изложения смутных комбинаций, а очутился лицом к лицу с фактами. Вместо загадочного незнакомца было вслух названо имя. Сами по себе отчеты имели различную ценность, и относиться к ним следовало с осторожностью. Опрос свидетелей, проведенный Шёнбехлером. Свидетельские показания обычно противоречивы, но здесь масштабы противоречий были просто устрашающие. Примеры: одна из официанток утверждает, будто Колер выкрикнул: «Гад ползучий», в то время как прокурист фирмы дамского белья, сидевший тогда за соседним столиком («На меня как раз брызнуло соусом!»), показал, что Колер обратился к Винтеру со словами:

«Добрый день, старина!» Третий свидетель якобы своими глазами видел, как Колер пожимал руку профессору. Один показал, что, застрелив Винтера, Колер нос к носу столкнулся с Линхардом. Здесь стоял знак вопроса и примечание Линхарда: «Вообще там не был». И подобные противоречивые показания на более чем пятидесяти страницах. Объективных свидетелей не существует. Каждый свидетель подсознательно склонен примешивать к истинно пережитому выдуманное. Происшествие, свидетелем которого он был, разыгрывается не только вне свидетеля, но и в нем самом. Он воспринимает происшествие на свой лад, запечатлевает в памяти, память преобразует запечатленное, после чего память каждого воспроизводит свое происшествие. Особенно велика была несогласованность еще и потому, что Шёнбехлер в отличие от полиции допросил *всех* свидетелей, а чем больше свидетелей, тем, разумеется, противоречивее показания. Свыше пятидесяти страниц было заполнено взаимоисключающими утверждениями. И наконец, разница во времени. Само происшествие имело место год и девять месяцев тому назад. Человеческой фантазии было предоставлено достаточно времени, чтобы осуществить в памяти необходимые изменения, к этому прибавилась распространенная слабость выдавать желаемое за действительное, умничанье и тому подобное, следующие пятьдесят страниц вполне можно было бы заполнить показаниями тех, кто вообразил, будто является очевидцем убийства, хотя на самом деле там не присутствовал. Но Шёнбехлер произвел тщательнейший отбор. А теперь донесение Фойхтинга. У него метод самый простой. Задает прямые вопросы, и может себе это позволить, так как во все времена задавал прямые вопросы. И если он о чем-то спрашивал, на это никто не обращал внимания, потому что он спрашивал решительно обо всем, даже когда его вопросы были лишены смысла или выглядели таковыми. Наконец отдельные камушки складывались у Фойхтинга воедино, хоть и не без труда, пропущенные через бесчисленное множество рюмок мартини, но все же складывались, открывая взору мозаичное панно, которое странным образом подтверждало показания различных свидетелей, приведенных в отчете Шёнбехлера. Так, к примеру, некоторые утверждали, что доктор Бенно тоже был в «Театральном», другие — что он еще до Колера подходил к Винтеру, третьи — что он сидел с Винтером за одним столом, а один и вовсе показал, что Бенно покинул заведение вслед за Колером, и, наконец, дама из бара сооб-

щила, что непосредственно после убийства Бенно ворвался в бар, приплясывая от радости, бил рюмки и приговаривал: «Сдох таракан, сдох таракан!» — со всеми задирался и объявлял, что уж теперь-то он на ней женится. Слушатели отнесли его слова к Монике Штайерман, желали ему счастья и принимали от него приглашения. Все это происходило в баре «Утоли моя печали», так называется из-за своих крепких напитков разбойничий вертеп неподалеку от Мюнстера, где Бенно в последнее время стал завсегдатаем. Это «последнее время» уже длилось для Бенно свыше двух лет. Из хорошей семьи, с хорошим воспитанием, после успешного окончания университета, после спортивной карьеры, после блестящих деловых успехов, после обручения с Моникой Штайерман, самой богатой невестой в городе, Бенно вдруг словно споткнулся, стал другим. Люди начали избегать его. Повсюду считалось, будто Штайерман расторгла их помолвку. Далее — четыре поездки за границу, слухи, что он игрок. На первых порах он еще мог, хоть и не без труда, сохранять контакты с хорошими, богатыми домами, потом его почти перестали приглашать, а под конец и вовсе начали бойкотировать. По инерции он еще продолжал жить на широкую ногу, потом начал распродавать остатки прежней роскоши: гравюры, мебель, несколько ящиков старого бордо. Ряд предметов из тех, что он продавал, принадлежал не ему, к примеру некоторые украшения, по поводу чего было начато сразу два процесса. (Воздержусь от точного перечисления общей суммы долгов Хайнца Олимпийца, это была катастрофическая, можно сказать нереальная, цифра, свыше двадцати миллионов.) Странным образом факты, установленные Фойхтингом касательно Бенно, во многом совпадали с тем, что удалось выяснить об убитом Винтере (конечно, не считая долгов): частые выезды за границу на конгрессы ПЕН-клуба, которые, как оказывается, вовсе не происходили, но о которых он впоследствии долго и подробно рассказывал, слухи о частых посещениях казино. Оказывается, и Винтер, со своими вечными цитатами из Гёте, тоже околачивался в баре «Утоли моя печали», едва покинув стол для литературных завсегдатаев на третьем этаже «Театрального». Там он сидел в кругу издателей, редакторов, театральных критиков и литературно-биографических корифеев нашего города, чтобы вместе с ними не выпустить из рук господство над нашей культурой. Избранные хоть и терпели его, но подсмеивались и, едва он покидал их ради нидердорфских

баядерок, за глаза называли «магараджей». Не подлежит сомнению, подытожил Линхард, что, если исключить Колера как убийцу, потенциальным преступником можно считать только Бенно. Бенно принимал Дафну за Монику Штайерман, потом между ним и Винтером что-то произошло. Разрыв Дафны с Бенно явился результатом именно этого инцидента, равно как и последовавшее за разрывом падение Бенно. Будучи женихом Штайерман, он мог рассчитывать на любой кредит, сам по себе — ни на малейший. Тут я насторожился. Версия Линхарда вступала в противоречие с фактами. Ведь Дафна порвала с Бенно лишь после того, как он ее избил. А Моника Штайерман отреклась от Бенно лишь после того, как с ним порвала Дафна. Далее, Винтер и Людевиц знали, что Дафна — не Моника Штайерман, и не только они знали. Не так это просто, чтобы один человек выдавал себя за другого, сведя к нулю собственную личность, здесь требуются и другие посвященные. Среди представителей городской власти об этом наверняка кое-кто был осведомлен. А уж про Колера и говорить нечего. Об этом мне, кстати, рассказывала настоящая Моника Штайерман. Короче, об этом могли знать очень и очень многие. Ловушка же, в которую я угодил, по словам Мокка, могла состоять лишь в том, что я вольно или невольно усвоил эту всеобщую веру в невинность Колера, хотя сам и не разделял ее. Я просто как бы согласился поддержать ее, потому что принял его поручение. Поддавшись ложному допущению, что убийца не Колер, я неизбежно должен был выйти на другую кандидатуру: если Цезаря убил не Брут, значит, его убил Кассий, если не Кассий, то Каска. Вполне возможно. Возможно даже, что слух о невиновности Колера пошел не от тюремной администрации и не от охранников, а от меня. Откуда начальник узнал о данном мне поручении? Мёзер, охранник, присутствовал, когда Колер мне его давал, чета Кнульпе, Элен, Фёрдер, личный секретарь Колера, без сомнения, еще некоторые юристы, ну, потом Линхард, а из людей Линхарда кто? Еще об этом знала Ильза Фройде. Будет ли эта молчать? Возможно, поручение Колера давно уже стало темой общегородских пересудов, и хотя лично я был убежден, что Колер совершил убийство из чисто научного интереса, но благодаря поручению мои поиски уводили от Колера, вместо того чтобы вести к нему. Не в этом ли заключался смысл его поручения? И, поставляя ему отчеты о своих изысканиях, не сам ли я давал ход недоступному для моего ума маневру? Но положение у меня было

безвыходное. Не сегодня-завтра Линхард предъявит счет. Мне нужны деньги, а их единственным источником может быть только Колер. Значит, надо пахать дальше. Несмотря на все сомнения. Или есть какой-нибудь другой выход? Мне пришла в голову мысль наведаться к моему прежнему шефу Штюсси-Лойпину и обсудить ситуацию с ним. Сперва я колебался, потом решил к Штюсси-Лойпину не ходить, отчеты не представлять, и будь что будет. А потом окончательно перестал колебаться. Доктор Бенно возник у меня в ночь с 30 ноября на 1 декабря 1956-го, с пятницы на субботу. Около полуночи. Я точно запомнил. Ибо в эту ночь решилась его судьба — и моя тоже. Я в третий раз перечитывал отчет, когда он рванул дверь бюро, ранее ему принадлежавшего, где за его письменным столом теперь сидел я. Бенно был рослый, крупный мужчина с длинными прядями черных волос, которые он зачесал так, чтобы прикрыть лысину. Шатаясь, приблизился он к моему столу. Он производил впечатление человека чрезмерно тяжелого для собственного скелета. Руками, которые казались почти детскими в сравнении с массивным телом, он оперся о столешницу и, наполовину освещенный светом настольной лампы, в упор поглядел на меня. Он был явно нетрезв, удручен и трогателен в своей беспомощности. Я откинулся на спинку кресла. Его черный костюм залоснился от долгой носки.

— Доктор Бенно, — спросил я, — где вы пропадали? Вас повсюду ищет пресса.

— А вам не все равно, где я пропадал? — пропыхтел он. — Шпет, не начинайте процесс, умоляю вас.

— Какой процесс, доктор Бенно? — спросил я.

— Который вы затеваете против меня, — ответил он хриплым голосом.

Я покачал головой:

— Доктор Бенно, никто не собирается затевать против вас процесс.

— Врете вы всё, — закричал он, — врете! Вы пустили по моему следу Линхарда, Фантера, Шёнбехлера, Фойхтинга. Вы натравили на меня прессу. Вам известно, что у меня были причины убить Винтера.

— Но убил его Колер, — ответил я.

— Вы и сами уже в это не верите. — Он трясся всем телом.

— Напротив, в этом никто не сомневается, — пытался я его успокоить.

Бенно в упор поглядел на меня, промокнул лоб грязным носовым платком.

— Вы начнете процесс, — тихо добавил он, — а я погиб, я знаю, что погиб...

— Помилуйте, доктор Бенно, — ответил я.

Он, шатаясь, побрел к двери, медленно открыл ее и ушел, не удостоив меня больше ни единым взглядом.

Алиби. Меня опять прервали. Вмешалась судьба. На сей раз в лице Лакки. И еще одного субъекта, которого он представил как Маркиза. (Поскольку, начав писать, я отстранился от роковой игры, куда ввязался как активный участник, мне надлежит теперь назвать вещи своими именами. Итак, среди преступного мира я и сам заделался преступником. Не сомневаюсь, господин прокурор, что подобное признание встретит полное ваше одобрение, но я должен сделать одну оговорку: к этому преступному миру я причисляю и вас, и то общество, которое вы представляете по долгу службы, а не только Лакки, Маркиза и самого себя.) Что до этого человекоподобного субъекта, то его занесло к нам из Невшателя. Вместе с открытым «ягуаром». Во всю вывеску улыбочка, словно этот тип заявился прямиком из Ко, а манеры такие, будто он торгует высокосортным мылом. Дело было в десятом часу вечера. В воскресенье (эту часть отчета я пишу в конце июля 1958 года — слабая попытка хоть как-то упорядочить свои записи). На улице бушевала гроза, гулкие, страшные раскаты грома, дождь еще лил, но это не приносило облегчения, было по-прежнему душно и муторно. Этажом ниже гремели псалмы: «Рухни, мир, в объятья Христовы, к гибели страшной все мы готовы!» — и еще: «Дух Святой, под бури гром грешников сожги живьем!» Лакки как-то смущенно пощипывал свои усики и вообще вроде бы нервничал, да и его апостольские глаза светились задумчивым блеском, какого я никогда прежде в них не наблюдал: Лакки явно о чем-то размышлял. Оба были в плащах, но почему-то почти сухих.

— Нам нужно алиби, — наконец робко выдавил из себя Лакки. — Маркизу и мне, на последние два часа.

Маркиз заулыбался умильно.

— А до этого?

— До этого у нас такое алиби, что не подкопаешься, — сказал Лакки и пытливо на меня глянул. — До этого мы сидели с Гизелой и Мадленой в «Монако».

Маркиз утвердительно кивнул.

Я поинтересовался, не видел ли кто, как они ко мне входили. Лакки, по обыкновению, был настроен оптимистично.

— Узнать нас никто не мог, — заверил он меня. — На этот случай зонтик — незаменимая вещь.

Я задумался.

— А куда вы дели зонтики? — спросил я, потом встал из-за стола и запер в ящик свои записки.

— Внизу. Мы их поставили за дверью в подвал.

— Это ваши зонтики?

— Нет, мы их нашли.

— Где?

— Тоже в «Монако».

— Значит, два часа назад вы их взяли с собой на прогулку?

— Так ведь дождь шел.

Лакки с огорчением заметил, что его ответы меня не вдохновляют. Он с надеждой извлек из своего плаща бутылку коньяку «Наполеон», и Маркиз в свою очередь тоже наколдовал бутылочку.

— Недурно, — кивнул я, — это уже по-человечески.

После чего каждый из них выложил на стол по тысячефранковой бумажке.

— Мы народ щедрый, — сказал Лакки.

Я отрицательно замотал головой и выразил сожаление.

— Дорогой Лакки, я принципиально не намерен садиться за дачу ложных показаний.

— Усек, — сказал Лакки.

Оба подкинули еще по тысяче.

Я оставался неумолим.

— И с зонтиками у вас какая-то мура получилась, — констатировал я.

— Полиция ищет нас не из-за зонтиков, — отмахнулся Лакки, хотя ему явно было не по себе.

— Но из-за зонтиков она могла напасть на ваш след, — выразил я свои сомнения.

— Вас понял, — сказал Лакки.

Оба пожертвовали еще по тысяче.

Я даже удивился:

— Вы никак миллионерами стали?

— Ну, бывают же у людей доходы, — уклончиво ответил Лакки. — Когда нам выплатят остаток, мы сразу испаримся. Куда-нибудь за границу.

— Какой такой остаток?

— Остаток гонорара, — пояснил Маркиз.

— Какого гонорара? — спросил я еще более недоверчиво.

— За поручение, которое мы выполнили, — уточнил Лакки. — Как только мы будем в Ницце, я передам тебе Гизелу и Мадлену.

— Я тоже передам вам своих девочек, — заверил меня Маркиз. — Невшательки очень практичные.

Я тщательно осмотрел тысячефранковые бумажки, сложил и сунул в задний карман брюк. Лакки хотел посвятить меня в подробности, но я не дал ему договорить:

— Уговор дороже денег: я не знаю, зачем вам понадобилось алиби, и знать не желаю.

— Пардон, пардон, — извинился Лакки.

— А ну выкладывайте ваши сигареты, — скомандовал я тогда.

Лакки был весь прямо нашпигован сигаретами: «Кэмел», «Данхилл», «Блэк энд уайт», «Сьюпер кинг», «Пикадилли». На столе росла гора пачек.

— Одна подружка держит киоск, — объяснил он извиняющимся тоном.

— А что курит господин Маркиз?

— Вообще почти не курю, — смущенно прошептал тот.

— У тебя что, и сигарет при себе нет?

Маркиз отрицательно замотал головой.

Я снова сел за письменный стол. Пора было действовать.

— Теперь будем с вами курить полчаса подряд. Как можно больше. И скорей. Я — «Кэмел», Лакки — длинные «Сьюпер кинг», а Маркиз, Господи помилуй, — «Данхилл». Курить так, чтобы можно было прочесть марку, потом гасить и все складывать в одну пепельницу. Под конец каждый прихватит с собой початую пачку.

И мы начали дымить как одержимые. Вскоре мы освоили новый метод: раскуривать по четыре сигареты сразу, а уж потом они сами догорят. За окном по новой разбушевалась гроза, этажом ниже заныли псалмопевцы: «Убей, Господь, наш мерзкий род, убей, Христос, и наш приплод. Ведь мы тебя распяли. И Дух Святой попрали».

— По-честному, я вообще не курю, — стонал Маркиз. Ему было до того плохо, что он даже начал походить на человека.

Спустя полчаса в пепельнице высилась гора окурков.

Воздух в комнате стал прямо опасным для жизни, потому что мы закрыли окна. Покинув комнату, мы побежали по лестнице и этажом ниже угодили прямо в руки полиции; впрочем, сегодня полиция явилась не ради нас, а ради «Свя-

тых из Ютли». Нажаловались соседи, которые предпочитали сойти в ад без псалмов. Толстый Штубер из полиции нравов тряс дверь, два его спутника, обычные патрульные полицейские, злобно глядели на нас. Мы все трое были им хорошо известны.

— Но как же так, Штубер, — полюбопытствовал я, — вы ведь из полиции нравов. Какое вам дело до святых?

— Приглядывайте лучше за своими святыми, — буркнул Штубер, давая нам дорогу.

— Потаскуший адвокат, — еще крикнул мне вслед один из полицейских.

— Может быть, нам уж лучше тогда сразу топать в полицию?! — стонал Лакки.

Встреча с полицией совершенно его деморализовала. Маркиз, по-моему, вообще начал со страху читать молитвы. Я уже чувствовал, что ввязался в очень сомнительное дело.

— Ерунда, — пытался я их приободрить. — Ничего удачнее, чем встреча с полицией, просто быть не могло.

— А зонты?..

— Я их перепрячу.

Свежий воздух привел нас в чувство. Дождь прекратился. На улицах царило оживление, а на Нидердорфштрассе мы прямиком проследовали в «Монако». Гизела еще была там. Мадлена ушла (теперь я по крайней мере знаю, как ее зовут), но зато там были еще Коринна и Полетта, две новенькие на службе у Лакки, только-только импортированные из Женевы, все три в роскошном виде, сообразно с ценой, и при каждой — уже несколько кавалеров.

— До чего ж Маркиз зеленый! — замахала нам Гизела. — Что вы с ним сделали?

— Два часа резались в карты, — объяснил я, — и Маркизу пришлось курить с нами на равных. В наказание за то, что он хочет увести тебя у Лакки.

— Je m'en suis pas rendue compte[1], — сказала Полетта.

— Дела надо обделывать без шума.

— Et le résultat?[2]

— Теперь я твой адвокат, — сказал я.

Полетта очень удивилась. А я повернулся к Альфонсу. У бармена была заячья губа. Он перемывал рюмки за стой-

---

[1] А я и не сообразила (*франц.*).

[2] А результат? (*франц.*)

кой. Я потребовал виски. Альфонс выставил нам три смеси «сикс-ти-найн». Я залпом выпил свою, сказал бармену: «Господа заплатят» — и покинул заведение. Не успев отойти от «Монако» шагов на десять, я услышал, как позади остановилась машина. И мог издали наблюдать, как начальник вместе с тремя детективами из комиссии по расследованию убийств вошел в бар. Я юркнул за угол и свернул в первую попавшуюся забегаловку. Мне и дальше повезло (должно же хоть когда-нибудь): когда час спустя я вернулся к себе, Штубер и двое патрульных успели покинуть дом на Шпигельгассе. Все было тихо, «Святые из Ютли», должно быть, тоже удалились. Оба зонтика я нашел за дверью в подвале и хотел уже спуститься, чтобы хорошенько их запрятать, но тут меня осенила другая идея. Я поднялся наверх. Перед обителью секты все было тихо, и дверь не закрыта, в противном случае я открыл бы ее собственным ключом, благо он, как это часто бывает в старых домах, подходил ко всем дверям.

Я вошел в переднюю. Сюда еле-еле пробивался свет с лестничной площадки. Возле дверей стояла подставка, и в ней уже было несколько зонтов. Я сунул два своих мокрых зонтика к остальным, плотно прикрыл дверь и поднялся к себе. Войдя, зажег свет. Окно было распахнуто. В кресле сидел начальник полиции.

— Здесь много курили, — сказал он, бросая взгляд на полную окурков пепельницу. — Пришлось открыть окно.

— Ко мне заходили Лакки и Маркиз.

— Маркиз?

— Да, один тип из Невшателя.

— Настоящее имя?..

— А мне ни к чему.

— Генри Цуппей, — сказал начальник. — Ну, и когда же это они у вас были?

— С семи до девяти.

— А дождь уже шел, когда они заявились? — спросил начальник.

— Они забежали как раз перед дождем, — отвечал я, — чтоб не промокнуть. А почему вы спрашиваете?

Начальник еще раз бросил взгляд на пепельницу.

— Штубер из полиции нравов видел вас, Лакки и Маркиза, когда вы в девять часов покидали свою лавочку. Куда вы потом направились?

— Я?

— Вы.

— В Хёк. Я там выпил два виски, а Лакки и Маркиз потом перешли в «Монако».

— Это я знаю, — сказал начальник. — Я их там арестовал. Но теперь мне придется их отпустить. У них есть алиби. Они у вас курили. Два часа подряд.

Он снова перевел взгляд на пепельницу:

— Я вынужден поверить вам на слово, Шпет. Человек, озабоченный судьбами справедливости, не станет устраивать алиби двум убийцам. Это было бы слишком абсурдно.

— А кого они убили? — спросил я.

— Дафну, — ответил начальник. — Девушку, которая выдавала себя за Монику Штайерман.

Я сел за стол.

— Я знаю, вы в курсе, — продолжал начальник, — вы побывали у настоящей Моники Штайерман, которая отреклась от ложной, ну, Дафне и пришлось идти на панель. Не согласовав предварительно этот вопрос ни с Лакки, ни с Цуппеем. А теперь ее нашли мертвой в «мерседесе», на стоянке у Хиршенплац. Примерно в половине девятого. Она подъехала в семь, но из машины выходить не стала. Гроза была жуткая. Ну, у Лакки и Цуппея теперь есть алиби, а плащи не промокли. Придется мне их выпустить. — Он промолчал. — На редкость красивая девушка, — сказал он потом. — Вы с ней спали?

Я не ответил.

— Впрочем, это и не важно, — сказал начальник и, раскурив неизменную свою «Байанос», закашлялся.

— Вы слишком много курите.

— Я знаю, Шпет. Мы все слишком много курим. — Он снова покосился на пепельницу. — Впрочем, я вижу, вы проявляете известное участие. Ладно, я тоже проявлю к вам известное участие: такого темного человека, как вы, мне еще в жизни встречать не доводилось. Неужели у вас нет ни одного друга?

— Не люблю заводить врагов, — отвечал я. — Вы меня допросить хотите, что ли?

— Нет-нет, всего лишь проявляю любопытство, — уклончиво отвечал начальник. — Ведь вам еще нет и тридцати?

— Я просто не отлынивал от занятий, я не мог себе это позволить.

— Вы были самым молодым из наших адвокатов, — продолжал начальник. — А теперь вы вообще не адвокат.

— Да, комиссия выполнила свой долг, — подтвердил я.

— Ах, если бы я мог разгадать, что вы за человек такой, мне было бы тогда легче вас понять. Но разгадать вас я не могу. Когда я первый раз пришел к вам, на меня произвела впечатление ваша борьба за справедливость, и я сам себе показался жалким, но теперь ничто в вас не производит на меня впечатления. В алиби я, так и быть, вам еще поверю, но в то, что вас тревожат судьбы справедливости, больше не поверю. — Он встал.— Мне вас жалко, Шпет. Я вижу, что вас впутали в нелепую историю, и, если вы сами при этом становитесь нелепым, помочь тут ничем нельзя. Думаю, именно поэтому вы уже не дорожите собой. От Колера есть какие-нибудь вести?

— Да, с Ямайки, — отвечал я.

— Давно он в отъезде?

— Больше года. Почти полтора.

— Человек так и колесит по нашему шарику. Впрочем, может, он скоро вернется.

С этим начальник и ушел.

Дополнение. Спустя еще три дня. Я скрыл от начальника, что мне довелось переспать с Дафной. Впрочем, он и не требовал ответа, для него это было не так уж важно. Я долго раздумывал, писать мне об этом или не писать. Но начальник прав: все настолько лишено смысла, что бессмысленно что-либо скрывать. В реальность неотъемлемой частью входит и самое постыдное, а к самому постыдному относится роль, которую я сыграл в падении Дафны, пусть даже истинной причиной была месть со стороны настоящей Моники Штайерман. После разразившегося скандала Дафну почти целый год нигде нельзя было сыскать. Ни одна собака не знала, где она скрывается, даже Линхард и тот не знал, если верить его словам. Квартира ее на Ауораштрассе стояла пустая, но плату вносили регулярно. Кто — установить не удалось. Потом Дафна снова вынырнула. В прежнем великолепии. Как будто ничего не произошло. Хотя и с новой свитой. И с одной разницей: теперь она профессионально занималась тем, что раньше делала с расточительным великодушием. Оставленная в беде друзьями, она теперь выезжала на промысел в своем белом «мерседесе», заламывала несусветные цены и в смысле доходов снова встала на ноги. Даже за вычетом всех налогов, коммунального, государственного, оборонного, а также эмеритального* страхования и страхования в пользу родст-

венников. Переспать с Дафной считалось высшим шиком. Вдаваться в эпические подробности здесь не имеет смысла. Расскажу только, что однажды она появилась и у меня, постучав в два часа ночи у дверей моей квартиры на Шпигельгассе. Я слез с дивана, на котором спал, решив, что это Лакки, зажег свет, открыл дверь, и вошла она. Войдя, оглянулась. Окно полуоткрыто. Комната выстужена (была середина февраля), на безвкусных обоях — очередные вырезки из «Беобахтера». На рабочем кресле — моя одежда, на качалке — мое пальто. Она вошла в шиншиллах — то ли люди говорили правду насчет цен, которые она заламывала, то ли настоящая Штайерман продолжала платить, — сняла с себя все как есть, бросила на кресло и легла на диван. А я лег к ней. Она была очень хороша, и вдобавок было холодно. Оставалась она недолго. Накинула свою шиншиллу и положила на мой стол тысячефранковую бумажку. Когда я начал возражать, она изо всех сил ударила меня правой рукой по лицу. О таких историях люди предпочитают умалчивать, вот и я никому об этом не рассказывал, а если пишу теперь, то потому лишь, что не питаю больше никаких надежд. Сегодня утром без малого в шесть ко мне заявился Штубер из полиции нравов и сообщил, что Маркиза и Лакки извлекли под Цолликоном из озера (штайермановская вилла расположена неподалеку от того места, где их нашли). Когда сияющий Штубер ушел, я почувствовал себя несколько оскорбленным: он даже вопросов мне не задавал, а уж послать ко мне человека из комиссии по расследованию убийств начальник вполне мог. Лакки и Маркиз несколько затянули свой отъезд за границу. Так начался день нашего национального праздника, первое августа 1958 года, — мрачно начался. Вдобавок была пятница, в этот день хоронили Дафну, судебно-медицинская экспертиза разрешила предать тело земле. В десять часов. Первого августа у нас работают, но только до обеда, в том числе и могильщики, — такое маленькое государство не может размахнуться на целый нерабочий день, оно себя не переоценивает. Едва я вышел из комнаты, как громыхнул гром, да и вообще этим летом грозы стали для нас вполне обычным делом. Мой «фольксваген» был в починке. (Я где-то обедал в каком-то ресторанчике над каким-то озером, потом на ночь глядя отправился на своем «порше» — чтоб уж заодно сделать и это признание, господин федеральный прокурор, — и на нем вместе с Мадленой, если только это была Мадлена, свернул с дороги в какой-то бурелом. Лакки сумел уладить это дело, малышка месяца два

провалялась в больнице, а я снова оказался при своем «фольксвагене». Снова оказался. Вообще-то я уже давно мог бы забрать его из ремонта, но не пользуюсь больше ни малейшим кредитом у хозяина гаража. А выставленный им счет внушает мне страх.) Вот как получилось, что на похороны Дафны я поехал трамваем. Почему я, однако, нажал ручку двери в помещение секты и почему, когда дверь открылась, взял один из двух зонтиков, которые сам туда поставил шесть дней назад, установить теперь не представляется возможным.

Произошло это по недомыслию или из склонности к черному юмору, сказать не могу. Пока я бежал по улицам Старого города к Бельвю, используя зонтик как тросточку, небо успело совсем почернеть, хотя было всего лишь половина десятого. Кругом царило нервное возбуждение, и я бежал со всех ног, как всегда перед грозой, тем более что гроза обещала быть совершенно ужасной, в такую-то рань. Типично для Дафны, подумал я. У Бельвю я сел в трамвай. Вообще-то говоря, надо сойти с ума, чтобы при такой погоде ездить на похороны, но тем не менее я чисто механически влез в битком набитый вагон. Время от времени солнце разрывало черную стену облаков, напоминая луч прожектора, который на миг вспыхивает и снова гаснет. У Кройцплац в трамвай вошел грузный, весь в черном господин, роста, можно сказать, маленького, со сверкающей лысиной, ухоженной окладистой черной бородкой, в которой виднелись белые нити, и в золотых очках без оправы. Сперва я невольно подумал, что это Винтер, который явился как призрак, чтобы присутствовать на похоронах собственной дочери, настолько он походил на убитого, и венок при нем был, только я не смог прочесть, что написано на ленте. На кладбище собралось немало народу. Вся знать нашего города, ибо от грустных воспоминаний ни один человек не застрахован, из новых же клиентов не явился никто. Но похороны Дафны Мюллер были не единственной причиной посетить именно в это утро наше ухоженное городское кладбище. Ибо одновременно с Дафной предавали вечности прокурора Йеммерлина. Его уход из жизни тоже сопровождался всеобщим сожалением, ведь если кто-то никогда больше не сможет злиться, его очень жалеешь. По счастью, к общей печали примешивалось известное злорадство. Ибо смерть Йеммерлина была не лишена комических черт. Йеммерлин, оказывается, был в сауне, куда ходил каждую неделю, и там, уже голый, увидел рядом голого Линхарда и не сумел пережить свое потрясение. Поэтому люди хоть и печалились, но как-то с ехидством. В совпадающих по времени

похоронах есть и своя хорошая сторона. Можно одновременно участвовать в обоих. Я прикидывал, кто на какие явился: наш городской голова, прокурор Фойзер и несколько оправданных преступников, которые хотели досадить даже покойнику, — на похороны Йеммерлина; Линхард, Лойпингер, Штюсси-Лойпин — на те и другие, а вот Фридли, Людевиц, Мондшайн, скорей всего, только на похороны Дафны. И у каждого был при себе зонт. Пастор Зенн стоял у гроба Дафны, пастор Ваттенвиль — у гроба Йеммерлина. Оба — в стартовой стойке. Я ждал, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Громыхнул гром. Но ни один из пасторов почему-то не начинал молитвы. Пожилой человек, которого я видел в трамвае (у гроба Дафны, кроме него, не было ни души), положил на гроб венок: «Сводной сестре Дафне от Хуго Винтера». Надо полагать, мы имели дело с учителем первой ступени Винтером. Снова рыкнул гром, на сей раз ударило очень сильно. Порыв ветра. Все превратилось в ожидание, даже народ у соседней могилы поглядывал на нас. Все чего-то ждали, а чего — я не знал, пока не понял: тощая сестра милосердия строевым шагом двигалась от кладбищенских ворот, толкая к могиле кресло-каталку, в котором сидела настоящая Моника Штайерман. Карлица ярко накрасилась, на голову она водрузила огненно-красный парик, напоминающий волосы Дафны, и от этого парика голова крохотного существа казалась еще больше, вдобавок на ней была юбка мини, похожая на детское платьице, и нитка жемчуга, которая проходила между скрюченными ножками и свисала с кресла, а на коленях у нее лежал какой-то предмет, завернутый в черный платок. Рядом с ней шагал коренастый мужчина в темном костюме, слишком коротком и слишком тесном. Это был богатый как Крёз грубиян, он же национальный советник Эшисбургер. За собой Эшисбургер тащил венок. Даже городской голова, даже Фойзер, даже сами могильщики покинули могилу Йеммерлина и передислоцировались к могиле Дафны. Пастор Ваттенвиль остался один. Судя по всему, он был не прочь последовать за остальными. Новые раскаты грома, новые порывы ветра.

— Черт возьми, — сказал кто-то рядом со мной. Это оказался начальник полиции.

Сестра подвезла Монику Штайерман к открытой могиле. Эшисбургер бросил венок на гроб. «Навеки любимой Монике от ее Моники», — было написано на ленте.

Пастор Зенн выступил вперед, вздрогнул от нового громового удара, и все присутствующие подступили поближе. Я против воли оказался позади Штайерман, между сестрой

милосердия и начальником полиции; перед начальником стоял Эшисбургер, а перед сестрой — Штюсси-Лойпин. Гроб начали опускать в могилу. Возле соседней не осталось никого, чтобы опустить в могилу гроб Йеммерлина. Пастор Ваттенвиль все еще на нас поглядывал, тогда как пастор Зенн боязливо открыл Библию, объявил ко всеобщему сведению: от Иоанна, глава 8, стих с 5-го по 11-й, но зачитать обещанный текст ему не удалось: Моника Штайерман высоко подняла предмет, который перед тем лежал у нее на коленях, и с силой, которой никто от нее не ожидал, швырнула его в могилу Дафны, так что он грохнулся о крышку гроба и пробил ее. Это была бронзовая голова изваянной Мокком лже-Моники. Подбежал пастор Ваттенвиль, а пастор Зенн был до того смущен и растерян, что чисто автоматически сказал: «Помолимся, братие».

Но тут упали первые тяжелые капли, отдельные порывы ветра сложились в целую бурю, открылись зонтики. Поскольку я стоял позади Штайерман, я решил защитить ее от дождя и тоже раскрыл свой. То есть я нажал на какую-то кнопку возле рукоятки, но, к моему изумлению, купол взмыл кверху, поднялся высоко-высоко, покружил над печальным сборищем и, поскольку буря прекратилась так же внезапно, как и началась, большой черной птицей рухнул на гроб Дафны. Многие с трудом удерживались от смеха. Я тупо уставился на рукоятку, которая осталась у меня в руке: это был стилет. Мне почудилось, будто я стою в почетном карауле над гробом убитой с орудием убийства в руках, а пастор тем временем читал «Отче наш». Тут могильщики замахали лопатами, теперь можно было предать земле и гроб Йеммерлина. Сестра милосердия повезла Монику Штайерман к выходу, мне пришлось отойти в сторону, чтобы дать дорогу, я все еще сжимал в руках стилет, а люди тем временем закрывали свои зонты: гроза, из почтения обойдя наше кладбище стороной, обрушилась на центр города; там до вечера продолжалось откачивание воды из подвалов, зато кое-где уже хлопали петарды. Люди праздновали. На редкость могучий поток ослепительного солнечного света залил толпу, устремившуюся к воротам, и могильщиков, работающих заступами. Пастор Зенн тоже старался уйти поскорей, а пастор Ваттенвиль растерянно озирался, потому что и городской голова, и Фойзер уже ушли. Только Линхард еще стоял у могилы Йеммерлина и глядел, как гроб засыпают землей. Когда он проходил мимо меня, я увидел, что он плачет.

Он потерял врага. Я снова уставился на стилет. Острие у него было темно-бурого цвета, и желобок на узком лезвии тоже.

— Ваш зонтик никуда больше не годится, — сказал начальник полиции, стоявший рядом, после чего он взял у меня из рук стилет с рукояткой от зонта и направился к выходу.

Продажа. Открытка от Колера из Хиросимы совершенно меня успокоила. Колер намерен оттуда поехать в Сингапур. Наконец-то у меня есть время рассказать самое главное, пусть даже это глупость, которую нельзя оправдать никакими финансовыми затруднениями. Я переслал все отчеты Штюсси-Лойпину, и два дня спустя он принял меня в гостиной своего дома, далеко за пределами города. Говоря «гостиная», я очень преуменьшаю, правильней было бы сказать: негостеприимная зала. Она квадратной формы, метров, по-моему, двадцать на двадцать. Три стены — из стекла, дверей нигде не видно, через одну стену открывается вид на старинный городок, который хотя и пощадила автострада, но заливает бесконечный поток машин; в сумерках они придают местности вид какой-то призрачной жизни, цепи огней бегут по сосудам старых стен, через две другие стены видны подсвеченные валуны и многотонные эрратические глыбы, скупо обработанные резцом Мокка гранитные боги, которые правили на земле до того, как ею завладели люди, которые извлекли из глубин горные цепи, разорвали на куски континенты, каменные монолиты, которые, подобно гигантским фаллосам, отбрасывали тени на пустую в те времена залу, потому что кроме концертного рояля по диагонали от него там стояли только два кресла. Рояль — почти у входа, самое неподходящее место, какое только можно себе представить, возле деревянной лестницы, ведущей на антресоли, где, по всей видимости, расположено множество не очень больших комнат, недаром же с улицы, когда я подъехал на своем «порше», дом Штюсси-Лойпина показался мне одноэтажным и, если смотреть со стороны городка, напоминал бунгало. В одном из двух кресел сидел мой бывший шеф, укрытый шлафроком, — сидел неподвижно, освещенный одним лишь торшером, что стоял между креслами. Я покашлял, он не шелохнулся, я прошел по разноцветным, искусно подобранным мраморным плитам, которыми был выложен пол, а Штюсси-Лойпин так и не шелохнулся. Я сел во второе кресло и утонул в кожаном океане. На полу возле своего кресла я

обнаружил в плетеной корзинке открытую бутылку красного вина, хрустальную рюмку колокольчиком и вазочку с орехами, такой же набор имелся и возле кресла, метрах в четырех от меня, где сидел Штюсси-Лойпин, с той лишь разницей, что перед тем креслом на полу стоял еще и телефон. Я внимательно поглядел на Штюсси-Лойпина. Он спал — я вспомнил портрет Варлена, который раньше казался мне утрированным, лишь теперь я понял, насколько гениально художник постиг адвоката: под спутанной копной грязно-белых волос угловатый, грубо высеченный череп крестьянина, нос как узловатый овощ, глубокие складки, которые спускались к словно долотом высеченному подбородку, вызывающе непокорный и в то же время мягкий рот; я разглядывал это лицо, как разглядывают привычный и в то же время загадочный пейзаж, поскольку я мало что знал про Штюсси-Лойпина: пробыв несколько лет моим шефом, он за все это время не обменялся со мной ни единым словом, не относящимся к делу; может, именно по этой причине я и ушел от него.

Я ждал. Вдруг сквозь очки без оправы на меня воззрились его удивленные детские глаза.

— Шпет, почему же вы не пьете? — спросил он вполне бодрым голосом, словно и не спал минуту назад. (А может он и в самом деле не спал?) — Наливайте, я тоже себе налью.

Мы выпили. Он наблюдал за мной, молчал и наблюдал.

Прежде чем вести речь о затруднениях, так начал Штюсси-Лойпин, глядя прямо перед собой, а он вполне может себе представить, какого они рода, мои затруднения, впрочем, это сугубо личное замечание, имеющее касательство к сомнениям, которые мной сейчас овладели и из-за которых я к нему притопал, ах ты, пардон, не притопал, а подъехал, на «порше», фу-ты ну-ты, до чего благородно.

Он хохотнул про себя, судя по всему, его что-то немыслимо забавляло, еще выпил и спросил, рассказывал ли он мне когда-нибудь историю своей жизни. Нет? Оно и понятно. Ну хорошо. Итак, он сын шахтера, и его семейство взяло фамилию Штюсси-Лойпин только затем, чтобы их не путали со Штюсси-Бирлинами, с которыми его семейство испокон веку враждовало из-за картофельного поля, а поле это лежало на такой крутизне, что его каждый год насыпали заново, для чего приходилось таскать землю на собственном горбу, причем иногда по нескольку раз, а урожай с этого поля в лучшем случае позволял нажарить три-четыре сковороды картошки, но тем не менее из-за этого поля судились,

дрались и убивали. И продолжают по сей день. Короче говоря, кончив университет, он вернулся адвокатом в родную деревню, в деревню Штюсси, ведь там не только Штюсси-Лойпины враждуют со Штюсси-Бирлинами, но и Штюсси-Моози со Штюсси-Зюттерлинами и вообще все Штюсси вдоль и поперек, но так обстояло дело только в самом начале, когда деревня была, так сказать, основана, если, конечно, допустить, что она вообще была когда-нибудь основана, сегодня же каждое семейство Штюсси просто-напросто враждует со всеми остальными. И в этом горном гнезде, слушайте, Шпет, в этом сплетении из семейных раздоров, убийств, кровосмешения, клятвопреступничества, воровства, утайки и клеветы он, Штюсси-Лойпин, провел свои годы учения как адвокат по крестьянским делам, как ходатай, по выражению деревенских, но не затем, однако, чтобы ввести в этой долине правосудие, а затем, чтобы не подпускать его и на пушечный выстрел; ведь и крестьянин, который сделал вид, будто его старуха погибла от несчастного случая, и который сразу же женился на своей батрачке, или крестьянка, которая вышла замуж за батрака после того, как с помощью мышьяка спровадила на кладбище своего благоверного, у себя в усадьбе принесут все-таки больше пользы, чем за решеткой. Пустые тюрьмы обходятся государству дешевле, чем полные, зато пустые дворы и поля зарастают сорняками и почва сползает в долину.

Он снова хохотнул.

— Господи, ну и были же времена, — удивленно произнес он. — Какая меня тогда муха укусила, не знаю, но я женился на урожденной «фон», на фон Мельхиор, переехал в наш город и сделался преуспевающим адвокатом. А как на дворе?

— Фён. Для декабря слишком тепло. Как весной, — ответил я.

— Может, выйдем?

— С удовольствием.

— «Выйдем» — это не совсем точное слово, — сказал он и нажал какую-то кнопку в подлокотнике своего кресла, после чего необозримые стеклянные стены ушли в землю, а прожектора за валунами погасли. Теперь мы сидели под свободно парящим бетонным потолком, словно на улице, освещенные лишь светом торшера. — Расточительная конструкция, — заметил Штюсси-Лойпин, все так же глядя перед собой. Порой он видится себе фюрером в рейхсканцелярии. —

Но чего вы хотите, Шпет, суперадвокату должен быть по карману Ван дер Хойсен, хотя по доброй воле я предпочел бы Фридли. Судьба тех, кто вошел в моду.

А теперь вот он сидит здесь один-одинешенек. Когда-то он задавал в этом зале пиры, один за другим, но люди из городка подали жалобу, Фюдлибюргер тоже, пока... впрочем, это уже к делу не относится. Мебель после этого он всю сплавил, сплошь модерновые штучки.

Потом, наливая себе вина, он сказал:

— А теперь, Шпет, перейдем к делу.

Я рассказал о поручении, данном мне доктором h.c. Исааком Колером.

Штюсси-Лойпин не дал мне договорить, сказал, что он в курсе, выпил, добавил, что и супруги Кнульпе тоже у него побывали. А насчет задания, полученного мною, его проинформировала Элен, дочь Колера, кроме того, он проштудировал материалы Линхарда и иже с ним.

Я рассказал о своих соображениях относительно мотивов Колера, о подозрении Элен, что Колера принудили совершить убийство, поведал также о своей встрече с Дафной, о своем визите к настоящей Монике Штайерман и, наконец, о внезапном появлении Бенно в моем бюро.

— У вас в руках редкостный шанс, молодой человек! — воскликнул Штюсси-Лойпин, еще раз подливая себе вина.

— Не понимаю, что вы этим хотите сказать, — неуверенно пробормотал я.

— Еще как понимаете, — парировал он. — Иначе вы не пришли бы ко мне. Давайте на пробу примем участие в игре Колера. Если допустить, что убийца не он, нет ничего проще, чем найти другого убийцу. Им может быть только Бенно. Вот на него и напал колотун. Он промотал более двадцати миллионов с благословения лже-Моники, Винтер поставил в известность настоящую Монику, помолвка рухнула, Бенно, следовательно, разорен и пускает пулю в сидящего за столиком Винтера. Voilà! Такова версия, необходимая вашему работодателю и тем самым необходимая вам.

Штюсси-Лойпин посмотрел свою рюмку на свет. Со стороны городка к нам донесся рев клаксонов, он продолжался несколько минут: если судить по неподвижным огням фар, две встречные автоколонны въехали одна в другую.

Штюсси-Лойпин засмеялся:

— Это надо же, чтобы именно такому желторотику прямо в руки приплыл интереснейший пересмотр дела из всех, какие знавало наше столетие.

— Мне никто не поручал пересмотр, — сказал я.

— Но поручение, которое вы приняли, неизбежно ведет к пересмотру дела.

— Это Колер убил Винтера, — твердо сказал я.

Штюсси-Лойпин откровенно удивился.

— Ну и что? — спросил он. — Вы это своими глазами видели?

В глубине помещения спустилась по деревянной лестнице какая-то черная фигура. Появившийся захромал в нашу сторону. И когда он подошел ближе, я увидел, что это священник с маленькой черной сумочкой. Он остановился, не дойдя до Штюсси-Лойпина примерно три метра, покашлял; стеклянные стены тотчас заняли прежнее место, прожектора вспыхнули, и гранитные боги бросили свои тени в снова закрытое со всех сторон помещение. Священник был очень старый, чуть кривобокий, морщинистый, и одна нога у него была короче другой.

— Ваша жена получила последнее помазание, — сказал он.

— Порядок, — сказал Штюсси-Лойпин.

— А я буду молиться, — заверил его священник.

— За кого? — спросил Штюсси-Лойпин.

— За вашу жену, — уточнил священник.

— Такая у вас профессия, — равнодушно подытожил Штюсси-Лойпин и даже не повернул голову, когда священник, что-то пробормотав, захромал к выходу, где домоправительница, та самая, что впустила меня, распахнула перед ним дверь.

— У меня жена умирает, — вскользь заметил Штюсси-Лойпин и осушил свою рюмку.

— Но если так... — пролепетал я, вставая с кресла.

— Господи, Шпет, до чего же вы церемонная личность, — сказал Штюсси-Лойпин. — Сядьте как сидели.

Я сел, он снова наполнил свою рюмку. Стены ушли в землю, прожектора погасли, мы снова оказались в саду.

Штюсси-Лойпин неподвижно смотрел перед собой.

— У моей жены хватает душевного величия, чтобы избавить меня от мучительной обязанности сидеть у ее смертного одра, — сказал он равнодушно, — вдобавок у нее побывал священник, а сейчас там врач и сестра. Моя жена,

да будет вам известно, Шпет, не просто до чертиков жизнелюбива, до чертиков богата и до чертиков набожна, она к тому же еще была до чертиков красива. Смешно звучит, верно? Всю жизнь она меня обманывала. Врач, который сейчас у нее сидит, был ее последним любовником. Впрочем, я ее понимаю. Такой мужчина, как я, для женщины все равно что отрава.

Он снова хохотнул и без перехода сменил тему.

И сообщил мне, что я дурак, раз считаю доктора Исаака Колера виновным. Вообще-то говоря, он, Штюсси-Лойпин, тоже так считает. Правда, показания свидетелей противоречивы, правда, орудие убийства так и не было найдено, правда, и мотива тоже нет, но все равно мы признали его виновным. А почему мы признали его виновным? Да потому, что убийство было совершено в переполненном ресторане. И присутствующие это как-то заметили, даже если их показания противоречат одно другому. Итак, мы хоть и знаем не наверняка, но мы наверняка в этом убеждены. Что поразило его уже в ходе судебного разбирательства. Ни револьвером никто не интересовался, ни свидетелей не допрашивали, и судья вполне удовольствовался показаниями начальника полиции, который хотя и сидел поблизости в момент убийства, но ни словом не обмолвился, своими глазами он видел убийство или полагается на свидетелей, вдобавок защитник был пустое место. Йеммерлин же, напротив, в отличной форме. Нам стоило немалых трудов уравнять наше знание вины Колера с нашей убежденностью. Наше знание ковыляет вслед за ней — да искусный защитник уже из этого противоречия соорудил бы оправдательный приговор. Но мы должны были предоставить нашему доброму Йеммерлину возможность докопаться до причин. Колер дал выгодное поручение мне, так как я ничего не смыслю в бильярде. Отсюда я сделал вывод — Штюсси-Лойпин явно внимательно меня выслушал, — что Колер стрелял, чтобы наблюдать, убил, чтобы исследовать законы общества, а мотив не привел лишь постольку, поскольку суд все равно бы в такой мотив не поверил. Дорогой друг, он, Штюсси-Лойпин, может сказать по этому поводу лишь одно: мотив получился чересчур литературный, их выдумывают только писатели, хотя и он тоже убежден: у человека, подобного Колеру, и мотив должен быть какой-нибудь необычный. Необычный-то необычный, но какой именно?

Штюсси-Лойпин задумался.

— Вы сделали ошибочный вывод, — сказал он, — потому что ничего не смыслите в бильярде. Колер играл от борта дуплетом.

— Да-да, от борта, — вдруг осенило меня. — Колер однажды именно это сказал. За бильярдом в «Театральном». «От борта дуплетом. Вот как можно расправиться с Бенно».

— А как он после этого сыграл? — поинтересовался Штюсси-Лойпин.

— Толком не знаю. — Я пытался вспомнить: — Он, кажется, направил шар в борт, от борта шар отскочил назад и толкнул шар Бенно.

Штюсси-Лойпин налил себе вина.

— Колер убил Винтера, чтобы таким путем разделаться с Бенно.

— Но зачем? — растерянно спросил я.

— Ну, Шпет, вы еще наивней, чем я предполагал, — не скрыл своего удивления Штюсси-Лойпин. — А ведь, казалось бы, госпожа Штайерман подбросила вам ключ к решению. Колер ведет ее дела. Даже из тюрьмы. Он там не только плетет корзины. Штайерман нужен Колер, а Колеру нужна Штайерман. Людевиц — подставная фигура. Но кто здесь хозяин и кто — слуга? В каком-то смысле дочь Колера права. Это было убийство из любезности. Почему бы и нет? Тоже своего рода шантаж. У Штайерман лежат несчетные миллионы, и те двадцать миллионов тоже ей принадлежали, тут уж, надо полагать, Колер навел справки, а потому и расправился с Бенно через Винтера. По желанию Штайерман; возможно, ей даже не пришлось высказывать свое желание вслух, возможно, он угадал его.

— Допущение еще более безумное, чем правда, — сказал я. — Штайерман любила Бенно, потому что его любила Дафна, и отреклась от него лишь тогда, когда Дафна отреклась от нее.

— Нет, допущение более реальное, чем правда. Сама же правда по большей части неправдоподобна, — возразил Штюсси-Лойпин.

— Ни один человек не поверит в ваше допущение, — сказал я.

— Нет, ни один человек не поверит в правду, ни один судья, ни один присяжный, даже Йеммерлин и тот нет. Ибо правда разыгрывается на уровнях, недоступных правосудию. Если назначат пересмотр дела, то единственная мысль, которая возникнет у суда, будет следующая: Винтера убил доктор Бенно. Поскольку лишь у него есть конкретный мотив. Даже если на деле он невиновен.

— Даже если на деле он невиновен?

— А вас это смущает? Ведь его невиновность — это тоже допущение. И он единственный, кто мог сделать так, чтоб револьвер исчез. Друг мой, возьмите этот процесс на себя, и через несколько лет вы станете вровень со мной.

Зазвонил телефон. Он снял трубку, потом снова положил.

— Моя жена скончалась, — сказал он.

— Примите мои соболезнования, — пролепетал я.

— А, не о чем говорить.

Он хотел снова налить себе, но бутылка оказалась пуста. Я встал, налил ему и поставил свою бутылку рядом с пустой.

— Мне еще ехать, — сказал я.

— Понимаю, — отвечал он. — К тому же «порше» влетел вам в копеечку.

Садиться я больше не стал.

— Господин Штюсси-Лойпин, я не собираюсь вести этот процесс, и с поручением Колера я тоже не желаю больше иметь ничего общего. А собранные материалы я просто уничтожу.

Он посмотрел свою рюмку на свет.

— Вы сколько получили задатку?

— Пятнадцать тысяч плюс десять на издержки.

По лестнице спустился человек с чемоданчиком, явно врач, он помешкал, соображая, подходить ему к нам или нет, но тут явилась домоправительница и проводила его.

— Вам нелегко будет выплатить этот долг даже в рассрочку, — предположил Штюсси-Лойпин. — А всего сколько?

— Тридцать тысяч плюс накладные расходы.

— Предлагаю сорок, и вы отдаете мне все материалы.

Я замялся.

— Вы что, хотите взяться за пересмотр?

Он по-прежнему рассматривал на свет свою рюмку с красным «тальбо».

— Мое дело. Ну как, продаете?

— Наверно, должен продать, — ответил я.

Он допил свою рюмку.

— Ничего вы не должны, вы хотите.

Затем он снова наполнил рюмку и снова посмотрел ее на свет.

— Штюсси-Лойпин, — сказал я, чувствуя, что уже становлюсь вровень с ним. — Штюсси-Лойпин, если процесс состоится, я буду защитником Бенно.

И я ушел. Когда я вступил в тень одного из валунов, Штюсси-Лойпин крикнул мне вслед:

— Вас при этом не было, Шпет, зарубите это себе на носу, вас не было, и меня тоже.

Затем он допил свою рюмку и снова погрузился в сон.

...Доктор h.c. Исаак Колер телеграммой известил меня о своем прибытии: он должен совершить посадку послезавтра в 22 часа 15 минут рейсом из Сингапура, тогда я застрелю его, а потом застрелюсь сам. Поэтому у меня остается всего две ночи, чтобы довести свой отчет до конца. Телеграмма Колера застала меня врасплох, потому, должно быть, что я уже не верил в его возвращение. Признаюсь честно, я пьян. Я был в «Хёке», последнее время я регулярно бываю в «Хёке», за одним из длинных деревянных столов, рядом с такими же пьяными. Живу на средства Гизелы и других барышень, которые после смерти Маркиза перебрались к нам, не из Невшателя, а из Женевы и Берна, тогда как многие из наших в свою очередь перебрались в Женеву и Берн, происходит множество служебных перемещений, которые лично меня никак не касаются, потому что официально я не имею права ничем заниматься, а неофициально мне и нечем заниматься, кроме как ждать, когда наступит послезавтра. 22 часа 15 минут. Место Лакки занял Нольди Орхидейный, он вроде бы уроженец Золотурна, карьеру сделал во Франкфурте и весь из себя такой изысканный, его барышни все теперь ходят с орхидеями, а полиция рвет и мечет, ведь нельзя же запретить ношение орхидей, некая дама-юрист из Базеля, которая около часу ночи в районе Бельвю шла по улице с орхидеей на блузке — она возвращалась с теледискуссии об избирательном праве для женщин, — была задержана, документов у нее при себе не оказалось, скандал разразился страшный, полиция и начальник полиции — последний из-за неуклюжего официального опровержения — выставили себя на всеобщее посмешище. Нольди Орхидейный получил неограниченную власть, завел себе адвоката Вихертена, одного из весьма почтенных наших адвокатов, который из чисто социальных соображений намерен выступить в защиту этих дам, ибо они, коль на то пошло, исправно платят налоги; он даже поднял вопрос о создании салонов массажа. Лично мне Нольди Орхидейный дал понять, что я «со своим образом жизни» неприемлем более в их деле, однако он не допустит моего окончательного падения, это его долг перед покойным Лакки, что он уже побеседовал со своим персоналом — собственные слова Нольди — и что мне дозволено дальнейшее пребывание в «Хёке»; начальник полиции с тех пор тоже

ни разу не докучал мне своим вниманием, судя по всему, никого уже не интересует, как погибли Лакки и Маркиз, да и нераскрытое убийство Дафны предано забвению. Таким образом, меня хоть и не содержат, но все-таки поддерживают. Если в «Хёке» гости просят у меня адресочки, которые я даю, не требуя оплаты, и тогда гости — по большей части господа в летах — платят за мое виски, это выглядит вполне благородно, ну и естественно. Вот чем я могу обосновать свое подпитие, скверный почерк и торопливость, ибо, признаюсь честно, получив телеграмму Колера, я для начала ударился в запой, потом кое-как добрался до Шпигельгассе, а вот теперь, двадцать часов спустя, сижу за своим письменным столом. По счастью, у меня при себе оказалась бутылка «Джонни Уокера», к моему, я бы сказал, великому удивлению, хотя нет, теперь я припоминаю зубного врача из Туна, который отыскал меня в «Хёке» и которого я в «Монако» познакомил с Гизелой, да, получается, я пришел не из «Хёка», как, возможно, утверждал ранее, а из «Монако» — поспешность, которая необходима при моих записях, не дает мне ни перечитать написанное, ни замалчивать те либо иные обстоятельства. Итак, свой пузырек я честно заработал, на Гизелу зубной врач не произвел впечатления, напротив, он внушил ей ужас, за «Вдовой Клико» — это была вторая бутылка — он вынул изо рта свои челюсти, сперва верхнюю, потом нижнюю, обе собственного изготовления, возле зуба мудрости, что слева, наверху, он продемонстрировал нам свои инициалы Ц.В., потом взял челюсти в руку, постучал ими и попробовал укусить Гизелу в грудь. У Хиндельмана за соседним столиком слезы от смеха закапали на живот, особенно когда дантист уронил челюсти, которые упали под стол, и не только под наш, но и под стол Хиндельмана, а тот сидел с Мерилин, новенькой из Ольтена, откуда, кстати, и сам Нольди Орхидейный, хотя нет, он из Золотурна — или все-таки из Ольтена? — после чего дантист полез на четвереньках за своими челюстями, которые мало того, что никто не желал поднимать, но даже наоборот, все заталкивали башмаками под соседний стол. Наконец Гизела все-таки сменила гнев на милость, а мы так долго смеялись, что уже стемнело, и я получил свою бутылку «Джонни». А дурацкое ржание Хиндельмана разозлило меня потому, что в процессе Колера он оказался никудышным представителем обвинения. Это был процесс, я не оговорился, не пересмотр, а рассмотрение. Все предполагали, что Штюсси-Лойпин ведет дело к пересмотру, но он поразил всех, подав апелляцию в департамент юстиции. Доктор h.c.

Исаак Колер ни разу не делал признания, что застрелил германиста, профессора Адольфа Винтера, в ресторане «Театральный». Одних свидетельских показаний недостаточно, если сам преступник оспаривает факт преступления, в конце концов, свидетели могут и заблуждаться. По этой причине дело Колера подлежит не юрисдикции кантонального суда, а суду присяжных. И следовательно, надо предпринять все допустимое с точки зрения правосудия и закона, дабы аннулировать старый приговор и передать дело Колера суду присяжных, как и положено. Эта апелляция Штюсси-Лойпина, вызвавшая судорожное перетряхивание актов и протоколов, каковое (перетряхивание), к великому ужасу главы нашей юстиции Моисея Шпрюнглина, подтвердило отсутствие признания со стороны обвиняемого, ибо за признание были ошибочно приняты философские выверты Колера, имела результатом, что глава нашей юстиции досрочно спровадил на пенсию председательствовавшего тогда судью кантонального суда Егерленера, а четырем членам судейской коллегии, равно как и прокурору Йеммерлину, вынес порицание, дело же Колера передал суду присяжных — с точки зрения юридической акция несколько поспешная. Яростная атака Йеммерлина ни к чему не привела, протест, внесенный в федеральный суд, был с такой же, можно сказать сенсационной, быстротой отвергнут — явление поистине уникальное для властей, из-за вечной перегрузки работающих обычно со скоростью улитки; словом, новый процесс состоялся уже в апреле 1957 года.

Йеммерлин не сдавался, он хотел и здесь выступить в качестве обвинителя, но Штюсси-Лойпин отвел его кандидатуру как лица пристрастного. Йеммерлин сражался как лев и уступил, лишь когда прослышал, что Штюсси-Лойпин намерен привлечь Линхарда в качестве свидетеля. А со Штюсси-Лойпином не совладал бы и Фойзер, причем я только сейчас спохватился, что до сих пор ничего не рассказал о самом процессе, не рассказал, к примеру, о неприглядной роли, которую сыграл на нем начальник полиции, показав, что не видел своими глазами, как стрелял Колер, а просто предположил это. Словом, Штюсси-Лойпин ухитрился нажать на все клавиши сразу. Спору нет, он был великолепен. Приглашенные Штюсси-Лойпином свидетели до такой степени противоречили один другому, что присяжные временами с трудом подавляли смех, а публика просто визжала от восторга; то обстоятельство, что револьвер так и не был найден, Штюсси-Лойпин разыграл словно по нотам, и, если прож-

ними судьями оно было оставлено без внимания, иными словами, оставлено без внимания отсутствие corpus delicti[1], это уже само по себе является вполне уважительной причиной, чтобы оправдать Колера за недостатком улик. Постепенно Штюсси-Лойпин стал направлять подозрение на Бенно: и к моменту убийства Бенно находился в «Театральном», и как-никак он чемпион Швейцарии по стрельбе из пистолета, и вдобавок владелец коллекции оружия, которую (если верить Линхарду) намерен продать из-за финансовых затруднений — тут по залу прошел шепоток, — далее Штюсси-Лойпин позволил себе кой-какие намеки относительно размолвки между доктором Бенно и профессором Винтером, из-за чего возникла необходимость допросить Бенно; все с нетерпением ожидали допроса, но Бенно не явился в суд. Я и сам разыскивал его уже много дней. Я принял твердое решение взять на себя защиту Бенно, о чем уже ранее уведомил Штюсси-Лойпина, для защиты мне надо было сперва получить от Бенно кой-какую информацию, чтобы далее расследовать преступление Колера, но даже в баре «Утоли моя печали» про Бенно никто ничего не знал. Фойхтинг предполагал, что Бенно скрывается у Дафны. Дафна — добрая душа и не оставляет в беде бывших любовников, некий Эмиль Э., коммивояжер фирмы дезодорантов, который недавно оставил у нее на Ауроштрассе свой месячный доход, сказал, что у него создалось впечатление, будто в квартире у Дафны есть кто-то еще. Найти Бенно не удавалось. Все думали, он сбежал. Подняли на ноги всю полицию, подключили Интерпол, происходило примерно то же самое, что и при аресте Исаака Колера. Затруднения возникли с Дафной, она потребовала, чтобы ей предъявили ордер прокурора на проведение обыска в ее квартире; когда же Ильза Фройде на следующее утро переступила порог моего бюро на Цельтвеге, она увидела, что лихой рапирист и меткий стрелок свисает с люстры и при этом покачивается на сквозняке, возникшем оттого, что окна и так уже были открыты, а Ильза, входя, естественно, открыла дверь. У Бенно сохранился ключ от его бывшего бюро, он влез на мой письменный стол, который когда-то был его столом, а тем временем я с Дафной... чтобы хоть таким способом отыскать Бенно... от меня еще много дней спустя разило всевозможными эссенциями вышеупомянутого Эмиля Э. ...Должно быть, именно поэтому я с такой неохотой пишу о процессе: на суде непременно

[1] Состав преступления (*лат.*).

зашла бы речь о моих новых отношениях с Дафной, причем зашла бы в присутствии Элен, надумай Штюсси-Лойпин допросить Дафну, а он непременно бы надумал, не опереди его Бенно своим самоубийством, которое тотчас было истолковано как признание вины. Доктор h.c. Исаак Колер был с триумфом оправдан. Покидая зал, он задержался возле меня, поглядел холодными, бесстрастными глазами и сказал, что разыгравшееся здесь действо есть самое постыдное из всех возможных вариантов решения проблемы, что мои финансовые затруднения — Господи ты Боже мой — совершенно понятны, и почему вместо того, чтобы прийти к нему, я передал результаты своих изысканий Штюсси-Лойпину, который и устроил этот постыдный балаган правосудия, оправдательный приговор, тьфу и еще раз тьфу, какой позор для человека — выглядеть невинной овечкой, да и где они есть, эти невинные овечки; а потом он добавил фразу, которая окончательно довела меня до белого каления и подтвердила, что убить Колера — это мой долг, поскольку должен же кто-то восстановить попранную справедливость, чтобы она окончательно не выродилась в фарс. А сказал Колер следующее: если бы я передал материалы расследования ему, вместо того чтобы продавать их Штюсси-Лойпину, Бенно и безо всякого суда болтался бы на люстре; с этими словами Колер толкнул меня, словно какого-то бродяжку, я отлетел на Мокка, который стоял позади меня, укладывая в карман свой слуховой аппарат, а когда я толкнул его, сказал: «Да-да, как же, как же». Итак, Колер покинул здание суда. Банкет победителей в Доме гильдий, «У стрекозы». Тост президента, выдержанный в гекзаметрах, оттуда Колер — прямиком в Австралию, а я со своим револьвером опаздываю к отлету. Эта история уже известна. С тех пор миновало полтора года, снова настала осень. Всегда осень. Господи, а я опять пьян, боюсь, что мой почерк станет совсем уж неразборчивым, а время одиннадцать часов — осталось еще 35 часов и 15 минут, — если пить дальше, произойдет катастрофа. Ужасно, если Элен до сих пор меня любит, для меня это было бы равносильно смертному приговору. Могу только заверить, что я ее любил, а может, люблю до сих пор, хотя она спит с этим старым огрызком Штюсси-Лойпином, а на днях я встретил ее с Фридли, он обхватил правой рукой плечи Элен, словно давно уже считает ее своей собственностью; впрочем, все это не играет роли. Писать про нашу любовь не имеет смысла, как не имеет смысла передавать мой предшествующий разговор с

проповедником секты Бергером на лестнице — предшествующий, я ведь еще раз наведался в «Хёк», но неудачно, с виски вышла осечка, завсегдатаи смотрели футбол и были в плохом настроении, потому что швейцарцы играли из рук вон, а у типов, которые обычно спрашивают адреса, настроение было и того хуже. «Монако» был закрыт. Я вышел вообще без денег, я оставил дома кошелек, мне позарез нужно было виски, я побрел в «Театральный», тоже никого, Альфредо, если, конечно, это был Альфредо, как-то странно на меня посмотрел, Элла и Клара решительно вышли откуда-то из глубины зала, кто-то произнес мое имя, Штюсси-Лойпин сидел за столом, где во времена оны сиживал Джеймс Джойс, и мановением руки пригласил меня сесть к нему. Элла и Клара надулись, но Штюсси-Лойпин — он и есть Штюсси-Лойпин. Он сказал, чтоб я не бегал с расстегнутой ширинкой, а когда я принял приглашение, сказал еще, что я пошел вразнос, и подлил вишневки в свой кофе. А мне нужна бутылка виски, невпопад отвечал я, состояние у меня было безнадежное, я понял, что без виски не могу жить, меня охватил панический страх, а вдруг я не разживусь виски, все во мне противилось мысли выпить вместо виски что-нибудь другое, вино, или, скажем, пиво, или водку, а то и вовсе прокисший сидр, который лакают клошары (отчего у них хоть и развивается цирроз печени, но зато не бывает ревматизма), остатки человеческого достоинства во мне требовали виски, только виски, во имя справедливости, которая меня доконает, но тут Элла уже поставила передо мной стакан. Долине Штюсси снова нужен адвокат, холодно начал Штюсси-Лойпин, его преемника, ходатая Штюсси-Зюттерлина, подстрелили на охоте, кто-то принял его за серну, то ли Штюсси-Бирлин, то ли Штюсси-Фойзи, не исключено, впрочем, что это был Штюсси-Моози, следователь в Флётигене положил дело в архив, отчаявшись его раскрыть, вот подходящее для меня место, деревня впервые получила бы в ходатаи одного не Штюсси, ну а там можно как-нибудь устроить, чтобы я снова вернул себе свой патент. И это он предлагает именно мне, сказал я, залпом выпив свой стакан; именно вам, отвечал он, знаете, Шпет, продолжал он, настало время, чтобы вы из всего делали выводы.

И если он, Штюсси-Лойпин, питает неуемную страсть вызволять даже виновных из пасти нашей юстиции, коль скоро у них есть хоть малейший шанс избежать этой пасти — чтоб уж оставаться в рамках заданного образа, — то отнюдь не с

целью поглумиться над правосудием. Адвокат — это адвокат, а не судья, верует он в справедливость и в закон, основанный на идее справедливости, или не верует — его личное дело, в конце концов, это вообще чистая метафизика, как, например, вопрос о сути числа, но, будучи адвокатом, он обязан разобраться, как должно правосудие воспринимать попавшего в ее лапы субъекта — как виновного или как невиновного, независимо от того, виновен он или невиновен на самом деле. Элен рассказала ему о моем подозрении, но мое расследование не было доведено до конца. Элен хоть и была тогда стюардессой — Господи, в те времена люди еще воображали, будто это Бог весть какая соблазнительная профессия, — но не в том самолете, которым английский министр возвращался к себе на остров. А возвращался он на английском военном самолете, которые навряд ли обслуживаются стюардессами компании «Свиссэр». Почему Элен так туманно ответила тогда на мой вопрос, понять немудрено, она не сразу уловила смысл моего вопроса, а что до слов, которые сказал мне Колер и которые передал ему, Штюсси-Лойпину, Мокк, то лично он их разгадать не может. Колер ведь сам хотел нового разбирательства; если же он не желает выглядеть невинной овечкой, ему бы надо признать, что он прихлопнул старого члена ПЕН-клуба, и объяснить, черт подери, куда он после этого задевал револьвер. У него, у Штюсси-Лойпина, пренеприятное чувство; вызволить старика из когтей правосудия было его юридическим долгом, теперь, однако, ему сдается, что он выпустил на свободу хищного зверя, одиночку, шатуна, которые всего опаснее, за поведением Колера скрывается мотив, но обнародовать его Колер не желает, поначалу он, Штюсси-Лойпин, полагал, будто Штайерман использует Колера для своих целей, теперь же ему кажется, что это Колер ее использует. Винтер, Бенно, Дафна, два сутенера — не слишком ли много покойников, — а в один прекрасный день, если я не уймусь, меня тоже выудят из Зиля. Да, после этой речи я получил бутылку, а уж как я добрался до Шпигельгассе, сказать не могу; покуда Штюсси-Лойпин потчевал меня своими соображениями, Элла принесла мне еще один стаканчик виски — чудо, что я вообще оказался в состоянии изложить свой разговор с ним, а сейчас половина второго ночи; должно быть, я ненадолго вздремнул, остается немногим более двадцати часов — нет, девятнадцати, я ошибся, сейчас половина третьего, — и тогда Колер, доктор h.c. Исаак Колер... А разговор с Симоном Бергером,

вероятно, произошел на лестнице, когда я с бутылкой виски вернулся на Шпигельгассе. Прошло, по-моему, несколько недель с тех пор, как замолкли псалмы «Святых из Ютли», они просто вдруг перестали драть глотки — Штубер из полиции нравов как раз сидел у меня и весьма недвусмысленно намекал, что начальство по-прежнему подозревает наличие связи между мной и организованной проституцией, как вдруг резко, на полуслове оборвался псалом: «О Христос, твои терзанья...» — за этим последовали крики, вопли, протесты, рыдания, шум, какого там отродясь не бывало, и топот множества ног вниз по лестнице, далее — мертвая тишина, и Штубер продолжал выкладывать свои подозрения. Вот почему мне следовало бы удивиться, когда я обнаружил этажом ниже, перед дверями молитвенного помещения, их проповедника. Он стоял неподвижно, прислонясь к дверям. Я хотел пройти мимо, но он рухнул на меня и упал бы, не подхвати я его. Отталкивая Бергера, я увидел, что у него обожжено лицо и нет глаз. Я в ужасе хотел продолжать свой путь вверх по лестнице, к себе, но Бергер не отпускал, он вцепился в меня и кричал, что глядел на солнце, дабы увидеть там Бога, а увидев Бога, прозрел. Прежде он был слеп, теперь он зрячий, зрячий, и под этот крик он дернул меня так, что оба мы упали на ступеньки, ведущие ко мне. Уж и не помню, что он мне тогда наговорил, я был слишком пьян, чтобы понимать, может, это был полный бред, что он талдычил о внутренности солнца, о полной темноте, которая там царит и неразрывно слита с сокрытостью Бога, но постичь это можно, лишь позволив солнцу выжечь твои глаза, да, лишь тогда можно воспринять, как Бог, словно лишенная размеров точка абсолютной тьмы, уходит в глубь солнца, с неутолимой жаждой впитывает солнце в себя, заглатывает, не становясь от этого больше, словно он бездонная дыра, бездна бездн, и по мере того, как солнце пустеет внутрь, к центру, оно расширяется наружу, покамест еще ничего не заметно, но завтра, примерно в половине одиннадцатого вечера, настанет великий срок, солнце, сохранившись лишь в виде света, вспыхнет, разрастется со скоростью света и все сожжет, земля от этого непомерного сияния изойдет паром — примерно так он говорил, как пьяный пьяному, я и был тогда пьян и таким остался, только еще пьяней, почему и не могу понять, чего ради я пишу здесь об этом проповеднике, который предстал в покрывале перед своей общиной, возвестил им скорый конец света и потребовал, чтобы его при-

верженцы позволили солнцу выжечь себе глаза, как позволил он, затем он сорвал с головы покрывало, крики, протесты, рыдания, небывалый шум, который мне тогда довелось услышать, и топочущая вниз по лестнице община — вот каков был ответ на его слова. Я перечитал написанное. Осталось часа три до того, как мне ехать в аэропорт. Начальник уже побывал у меня с утра пораньше, примерно в половине восьмого, а может, еще и половины не было, он сидел перед своим диваном, я очень удивился, когда, проснувшись, увидел его перед собой, правильнее сказать, я заметил его, лишь когда меня вырвало и я вернулся из уборной и хотел снова лечь. Начальник спросил, не сварить ли кофе, и, не дождавшись моего ответа, прошел в кухонную нишу, а я снова уснул. Когда же я проснулся, кофе был уже готов, и мы в молчании выпили его. После чего начальник спросил, известно ли мне, что я — каждый десятый; на мой же вопрос, как понимать этот странный вопрос, ответил, что оставляет на свободе каждого десятого и я — в их числе. Не то он был бы просто обязан арестовать меня прямо у гроба Дафны; подобно мне, он был адвокатом, подобно мне — невезучим, лишь изредка его назначали официальным защитником, вот он и приземлился в полиции — друзья по партии, которые бы в жизни не подумали к нему обратиться, возникни у них личная потребность в адвокате, сосватали его как социалиста юрисконсультом в уголовный отдел городской полиции, если же он потом продвинулся вверх, а под конец даже стал начальником, это отнюдь не результат каких-то там выдающихся заслуг, а политических интриг, они вознесли его на своей волне, причем точно так же обстоит дело и на других уровнях юридического аппарата, он отнюдь не намекает на коррупцию, но притязания юстиции представлять собой нечто вполне объективное, некий стерильный инструмент, свободный от каких бы то ни было общественных соображений и предрассудков, настолько не соответствуют истинному положению дел, что он и случай с Колером воспринимает далеко не так трагически, как воспринимаю его я; спору нет, я совершил ошибку, сперва приняв поручение Колера, а затем передав Штюсси-Лойпину материалы, с помощью которых Штюсси-Лойпин сумел загнать Бенно на люстру и выиграть процесс, но независимо от того, виноват Колер или не виноват — а ведь всем и каждому известно, что именно господин кантональный советник пристрелил господина университетского профессора, он,

начальник полиции, тоже в этом уверен, — но вот как он поглядит на меня, как подумает, куда меня завело мое бурное возмущение оправдательным приговором, хоть и уникальным с юридической точки зрения, однако безупречным и потому вполне понятным — пусть даже справедливости был здесь объявлен шах и мат, — то и увидит, что, если я и впредь намерен упражняться в справедливости, у меня не остается иного выхода, кроме как приговорить Колера, а заодно и себя самого к смертной казни и привести приговор в исполнение, достать револьвер, который я припрятал под диваном, да и переправить сперва Колера, а потом и себя на тот свет, хотя лично он, начальник полиции, считает это пусть и логичным, но лишенным всякого смысла, ибо перед лицом справедливости, взятой в ее абсолютном значении, как идея, каковой, собственно, она и является, я выгляжу ничуть не лучше Колера, достаточно хотя бы вспомнить роль, которую я сыграл в судьбе Дафны. Перед лицом справедливости оба мы — одинаковые убийцы, что Колер, что я. А вот судья, тот отправляет вполне нормальные обязанности. Его дело — следить за тем, чтобы худо-бедно функционировал столь несовершенный институт, как юстиция, призванная заботиться о том, чтобы на этом свете соблюдались известные правила человеческой игры. Судья так же не обязан быть справедливым, как папа — верующим. Но когда отдельный человек вздумает осуществлять справедливость на свой лад, получится до чертиков бесчеловечно. Он непременно упустит из виду, что жульничество порой оказывается гуманнее, чем непогрешимость, поскольку вселенский механизм время от времени надо смазывать — занятие, которое больше других пристало нашей стране. Фанатический поборник справедливости должен быть и сам справедлив, а действительно ли я справедлив, судить мне, а не ему. Как видите, начальник, я оказался в состоянии передать с большей или меньшей точностью смысл нашего разговора, вернее, не нашего разговора, а вашей лекции, потому что лично я не проронил ни слова, лежал себе, проблевавшись, и слушал вас; не удивило меня также, что вы угадали, какое решение я принял с первого дня, может, я именно потому и не противился собственному падению, может, я именно потому и помог Лакки и Маркизу из Невшателя состряпать алиби, может, я именно потому и стал таким, каков я есть, — даже на взгляд Нольди Орхидейного слишком опустившимся, ниже достоинства тех дам, чьи интересы он представляет, —

чтобы на свой лад стать не менее виновным, чем доктор h.c. Исаак Колер, но уж тогда мой приговор и приведение его в исполнение становятся для меня справедливейшей акцией на свете, ибо справедливость может вершиться лишь между равновиновными; так, существует лишь одно распятие Изенхаймского алтаря, где на кресте висит распятый великан, безобразный труп, под чьей непомерной тяжестью прогибаются балки, к которым он пригвожден, Христос, еще более страшный, нежели те, для кого нарисовано это распятие, нежели прокаженные; когда они видят на кресте такого Бога, между ними и этим Богом, по их разумению наславшим на них проказу, устанавливается справедливость: такой Бог по справедливости был распят ради них. Я пишу на трезвую голову, господин прокурор Фойзер, я вполне трезв, именно поэтому я и прошу вас не обвинять начальника полиции в том, что он не отобрал у меня револьвер, весь наш разговор, вернее, весь его добропорядочный монолог был произнесен отнюдь не отеческим тоном, а эта история насчет каждого десятого, которому он дает улизнуть, — пусть в нее верит тот, кто способен верить, может, он был бы рад, если бы мог хоть поймать каждого десятого, все вместе взятое было провокацией; задним числом он будет злиться, что не задержал меня тогда, на кладбище, когда зонтик улетел, а он взял у меня из рук стилет; но я его хорошо знаю, он рассуждает быстро, он понял, что тогда пришлось бы не просто заново поднять вопрос о том, кто убил бедную Дафну Мюллер, но и о том, кто убил убийц Дафны, что таким путем он угодил бы в орбиту Моники Штайерман. А кто по доброй воле захочет связываться с протезной империей, которая вознамерилась снова заняться производством оружия? Но зато, когда через два часа, точнее, через два часа тринадцать минут я выстрелю в доктора h.c. Исаака Колера, начальник полиции тотчас начнет активно действовать, даже если мои выстрелы ни к чему не приведут, — однако, господин прокурор, давайте условимся: с одной стороны, начальник пытался своим душеспасительным монологом сделать так, чтобы выстрелы, если даже я буду стрелять, не причинили вреда, но вот чего вы никак не могли заподозрить, господин начальник (я снова обращаюсь к вам): я давно заменил холостые патроны на боевые. Поэтому я ни разу не вдавался в подробности насчет старьевщика в нижнем этаже нашего дома. Подсознательно. Чтобы и вы не занялись им подробнее. Этот одноглазый тип — большой оригинал, у него можно купить решительно

все. Можно было. Это тоже стало теперь прошлым, торговец уже три недели как выехал, помещение лавки на первом этаже и квартира на втором опустели, у «Святых из Ютли» тоже царит тишина и запустение, а вчера (или позавчера, или позапозавчера) я обнаружил у себя заказное письмо, которое получил несколько месяцев назад, но не выбрался прочесть, письмо такого содержания, что, мол, дом на Шпигельгассе как памятник архитектуры, находящийся под охраной государства, по причине аварийного состояния нуждается в безотлагательной реставрации усилиями Фридли, который перестроит его изнутри и соорудит в старых стенах роскошные квартиры — это новое направление его деятельности, — в связи с чем я до 1.10 должен освободить занимаемую мною площадь, а поскольку 1.10 давно миновало, мне пришлось блуждать по всему городу, чтобы организовать для себя последнюю бутылку виски, как вчера у Штюсси-Лойпина в «Театральном», не то я сумел бы добыть ее в квартире у одноглазого, пусть не виски, но на худой конец бутылку граппы, точно так же, как я отыскал в его лавочке, в раструбе альпийского рожка, патроны, а холостые, господин начальник, которыми вы зарядили мой револьвер, ссыпал в рожок. О, мы оба, доктор h.c. Исаак Колер и я, умрем весьма благозвучно, под родные напевы. Но прежде чем я — пусть даже моя трезвость принимает все более угрожающий характер, до того угрожающий, будто передо мной восходит солнце, на которое я, как тот безумный проповедник, должен глядеть не отрываясь, — прежде чем я через час без малого выеду в аэропорт (на своем «фольксвагене», он не очень хорошо перенес ремонт, вернее, я не дал его завершить по недостатку средств), последнее обращение к вам, начальник полиции. Я снимаю свое подозрение. Вы вели себя как порядочный человек. Вы хотели предоставить мне свободу решения, не хотели попирать мое достоинство. Мне очень жаль, что я принял другое решение, не то, на которое рассчитывали вы. А теперь еще одно, самое последнее признание. В этой игре за справедливость я проиграл не только самого себя, но и Элен, дочь убитого мною, который станет моим убийцей. Ведь мне придется застрелиться, потому что он будет застрелен мною. Futurum passivum. Снова припоминаю уроки латыни, которые давал мне в приюте старый священник, чтобы подготовить меня к поступлению в городскую гімназию. Я всегда с удовольствием вспоминаю о приюте, даже у Мокка вспоминал,

хотя говорить с Мокком очень трудно. Когда один писатель рассказывал о смерти своей матери, к которой, судя по всему, был очень привязан, я начал рисовать преимущества приюта, а семью изображать как рассадник преступлений. Это ваше хваленое семейное счастье, от него же с души воротит — чем явно раздосадовал писателя. Мокк же вдруг захохотал. Мокк, про которого никогда толком не знаешь, с чем он согласен, а с чем нет; я подозреваю, что он умеет считывать с губ, поскольку снова отложил в сторону свой слуховой аппарат, хотя лично он это отрицает (очередная хитрость). Вот когда я хвалюсь тем, что вырос без отца и без матери, сказал Мокк, ему это кажется ужасным, к счастью, продолжал он в своей многословной манере — писатель тем временем давно ушел, — к счастью, я стал юристом и не собираюсь заделаться политиком, хотя и это до конца не исключено, но человек, который восхваляет сиротский приют, куда хуже, чем тот, который в молодости воевал либо со своим отцом, либо со своей матерью, либо с обоими сразу, как, например, он, Мокк, который ненавидел своих стариков пуще чумы, по его собственному выражению, хоть они и были добросердечные христиане, он их все равно ненавидел за то, что они произвели на свет восемь детей, и его в придачу, не спросив ни у кого из этой нетипичной по своим размерам оравы, желает ли он (или она) быть произведенным на свет; делать детей — это преступление, не знающее себе равных; когда теперь он яростно бьет резцом по chemp (Мокк так называет камень), он представляет себе, что таким образом по заслугам воздает своему отцу и своей матери, но в моем случае он спрашивает, что я за тип такой, пускающий слюни по поводу сиротского приюта. Пусть у него, Мокка, в печенках сидит ненависть к тем, кто его зачал, родил, а потом не утопил в помойном ведре, он высекает свою ненависть из камня, превращая ее в фигуру, придавая ей форму, которая мила его сердцу, потому что он сам ее создал, и которая, умей она чувствовать, могла бы в свою очередь ненавидеть его, как он ненавидел своих родителей, которые тоже его любили, которым он тоже причинял огорчения; все это очень человечно, круговорот ненависти и любви между творцом и творением, но когда он представит себе такого, как я, который вместо ненависти к тем, из-за кого он существует и за то, что он существует, любит учреждение, произведшее и сформировавшее его, и который с

самого начала был наделен склонностью не к человеческому, а к идеологии или всего лишь к какому-нибудь принципу — к справедливости, например, когда же он вдобавок пытается представить себе, как подобная личность будет впоследствии обходиться с людьми, не соответствующими его принципу, принципу справедливости, чтоб уж не приводить другого примера, — а кто, скажите на милость, ему соответствует? — у него от страха выступает холодный пот. Его, Мокка, ненависть созидательна, моя же разрушительна, это ненависть убийцы.

— Шпет, дружище, — завершил он малопонятный ход своих рассуждений, — мне вас от души жаль. Уж больно у вас все нескладно получилось.

После этого разговора я больше ни разу не переступал порога его мастерской. А почему я рассказываю вам об этом разговоре, господин начальник? Да потому, что этот скульптор, которого недавно чествовали в Венеции, просто до чертиков прав. Я человек из реторты, я выращен в образцовой лаборатории, наставлен в соответствии с принципами воспитателей и психиатров, продуцируемых нашей страной наряду со сверхточными часами, психотропными средствами, тайной банковских вкладов и вечным нейтралитетом. Я и стал бы образцовым продуктом этого опытного хозяйства, но в нем недоставало бильярдного стола. Вот меня и выпустили в мир, не наделив умением разгадать его, поскольку до сих пор у меня не было с ним точек соприкосновения, поскольку я воображал, будто и здесь царят нравы детского дома, в котором я вырос. Без всякой подготовки меня столкнули с законами хищных зверей, царящими среди людей, без всякой подготовки я увидел себя лицом к лицу с теми страстями, которые формируют эти звериные законы, — с жадностью, ненавистью, страхом, хитростью, властолюбием, — но столь же беспомощным оказался я и при встрече с теми чувствами, которые придают человеческие черты звериным законам, — с достоинством, чувством меры, разумом, любовью, наконец. Человеческая действительность потащила меня за собой, как бурная река тащит не умеющего плавать, сопротивляясь грозящей гибели, я на пороге ее сам стал хищным зверем, и к этому зверю после ночного разговора со Штюсси-Лойпином, когда я продал свои материалы, призванные оправдать убийцу, явилась дочь убийцы: да, Элен поджидала меня в моей адвокатской конторе на Цельтвеге, в моей шикарной трехкомнатной квартире, доставшейся мне от Бенно. Лишь те-

перь я сообразил, что она ждала меня не перед дверью, а внутри. В кресле перед моим письменным столом. И что она свободно ориентировалась в квартире. Впрочем, Бенно, Бенно, — кто б устоял перед ним! И вот она пришла, потому что доверяла мне, и вот она отдалась мне, потому что я хотел ее, но не хватило у меня в ту ночь ни смелости довериться также и ей, ни убежденности, что и она хочет меня, потому что любит. Так мы и прошли мимо нашей любви. Я скрыл от нее, что никто не заставлял ее отца совершать убийство (даже если чертова лилипутка высказала такое желание), что ему просто нравилось изображать на нашей жалкой планете Господа Бога, что сам я дважды продался, один раз — ему, другой раз — прима-адвокату, которого тешила возможность довести до конца игру правосудия, подобно гроссмейстеру, великодушно доигрывающему партию, начатую новичком. И мы спали друг с другом в ту ночь, не разговаривая и не подозревая, что счастье без слов немыслимо. Поэтому, быть может, и существует лишь мимолетное счастье, его я испытывал в ту ночь, когда начал догадываться, кем мог бы стать, несказанные возможности, которые были во мне заложены и которые я не осуществил, а поскольку я тогда чувствовал себя счастливым целую ночь напролет, я был убежден, что стану тем, чем так и не стал. Но утром, когда мы взглянули друг на друга, нам стало ясно, что все кончено. А теперь мне пора в аэропорт.

## III

Послесловие автора. Странным образом я свел случайное, если вдуматься, знакомство с некоторыми людьми, о которых лишь впоследствии узнал, что они были не просто замешаны в это многоплановое действо, но и являлись в нем главными персонажами.

Произошло это году примерно в 1984-м. В Мюнхене. Дневника я не веду, поэтому слишком полагаться на приведенные мной даты нельзя. По-моему, это было в конце мая, а всю историю я воспринял тогда как вымышленную. Удобный парк, удобная вилла, затерянная среди высоких деревьев. В парке, вдоль одной из стен виллы, — накрытые столы. Милая хозяйка. Издатели, журналисты, люди театра, кино — словом, разумно дозированная культурная жизнь. Я по обыкновению кого-то с кем-то путаю. Мне смутно кажется, что другая и есть та, про которую я думаю, что это она. Потом выясняется, что это все-таки другая. Потом и еще кто-то оказывается совершенно

не тот. Потом я с перепугу сам пугаю одного главного режиссера, в театре которого я знал когда-то решительно всех, а теперь не знаю решительно никого. Я думаю, что он думает, будто я хочу навязать ему свою пьесу, а он думает, будто я хочу навязать ему свою пьесу. Какой-то актер мечется, словно король Лир, забывший свой текст, он безутешен: «Театр гибнет. Нет новых пьес». Другого актера я столько раз видел по телевизору, что теперь принимаю его за старого знакомца, а он смущен, потому что видит меня впервые. Какая-то женщина ввозит какого-то старика в кресле на колесиках. Женщина элегантна, высокомерна, красива. Лет около пятидесяти. Я знаю эту женщину, но не знаю, как ее зовут. Она сдержанно меня приветствует, но обращается ко мне на «ты» и называет меня Макс. Она меня с кем-то спутала. Смех. Она приносит извинения. Я чувствую себя польщенным. Она переходит со мной на «вы». А кто этот старичок? Ее отец. Должно быть, ему очень много лет? Да, сто без малого. Хрупкий, бесплотный. На редкость бойкий. Кожа розовая. Редкие седые волосы, подстриженные усики, холеная бородка. Нечто среднее между окладистой и клинышком. Он имел беседу с баварским премьер-министром. О политике? Нет, об учреждении фонда эффективных наук. Не понимаю. Сегодня развелось слишком много бесполезных наук. Понимаю. Она все еще думает, что я ее знаю, а я ее не знаю. Хозяйка беседует со старичком. Болтает с ним, часто смеется. Должно быть, старик не лишен остроумия. Сижу между незнакомой знакомкой и вдовой-немкой издателя-итальянца, с которой я однажды в Милане поддерживал знакомство целый день. Знакомка, имени которой я не могу вспомнить, догадалась, что я не могу вспомнить, как ее зовут. Она умолкает. Вдова рассказывает мне про одну актрису, в которую я некогда был влюблен. Актриса сбежала с пожарным. После ужина — в салон. Люди кино и театра толпятся вокруг главного режиссера. Это те, кто интересуется искусством. Другие — вокруг старика в каталке. Это те, кто интересуется действительностью. Некий искусствовед произносит краткую благодарственную речь хозяйке дома, на несколько минут соединив своей речью обе сферы. Он слишком хорошо разбирается в искусстве, чтобы не недооценивать жизнь, и слишком хорошо — в жизни, чтобы не переоценивать искусство. Потом сферы вновь распадутся. Одни спорят о Бото Штраусе*, другие — о Франце Йозефе Штраусе. А какого мнения придерживается старичок? Он историк, а не метеоролог. Что он хочет этим

сказать? Историк делает долгосрочные прогнозы. Он метафизик. Он мнит, будто овладел мировым духом. Метеоролог же позволяет себе лишь краткосрочные прогнозы. Он человек науки. И не считает, что овладел атмосферой. На деле мир непостижим. Что доступно политике? Быстрое хирургическое вмешательство, а затем — наблюдение за непредсказуемым результатом. Что он хочет этим сказать? Концерн, которому он по доброй воле помогал советами и которым не по доброй воле руководил, попал в тяжелое положение. Нет нужды подробней его описывать. Экономические взаимосвязи еще сложней, чем атмосферная оболочка, прогнозы здесь еще ненадежнее. Старец говорил легко, негромко и быстро. Лишь время от времени слышалось легкое постукивание вставных челюстей. И тогда возникла необходимость то ли убить одного человека, то ли перепоручить убийство кому-нибудь еще. Общая растерянность. Смущение. Потом умиление. Словно старец надумал поведать любовную историю. Разумеется, выносить на обсуждение убийство — это же faux pas[1]. Культурная сфера тоже навострила уши. В этом уже было нечто, как если бы старичок, допустим, ел рыбу ножом. Хотя король, да вдобавок король на пороге столетия, имеет право и на это.

— Он бесподобен, — прошелестела одна актриса, которую я тоже когда-то видел, не то по телевизору, не то в кино, или думал, что видел. Экран кино и телевизора запекает все лица в одно. Добрый десяток актеров выглядит одинаково. Старец попросил бокал шампанского. Отхлебнул. Появился один режиссер и артист, мой давний приятель. По происхождению — швейцарец. По виду — российский великий князь, привыкший иметь дело с крепостными, рослый, осанистый, но уже после утраты родовых поместий. Ухоженная бородка, продуманная небрежность в одежде. Поцеловал ручку хозяйке, заметил некоторую растерянность общества, не без удовольствия обвел всех взглядом и с присущей только ему, греющей сердце барственностью изрек: «Приветствую вас, господин советник! Приветствую тебя, Элен!», после чего, благосклонно сделав мне ручкой, продолжал: «Я вижу, господин советник начал рассказывать свою историю. Фантастическая история». Затем налил себе шампанского и сел. А старец продолжал. От него исходила какая-то властная

[1] Промах (*франц.*).

сила, которая всех себе подчиняла. И дело было не в том, что́ он говорил, а в том ка́к. Вот почему не представляется возможным воспроизвести эту историю так, как ее рассказывал он. Пусть хозяйка не посетует на него за то, что он без всяких там экивоков говорит об убийстве. Ему задали вопрос, примерно так продолжал он, что́ считается возможным с политической точки зрения. Политика и экономика подчиняются одним и тем же законам, а именно политике власти. Что применимо и к войне. Это прежде всего экономика есть продолжение войны другими средствами. И как бывают войны между государствами, так бывают войны и между концернами. А гражданской войне соответствует скрытая борьба за власть в пределах одного концерна. Повсюду снова и снова возникает необходимость либо отлучить кого-то от власти, либо быть отлученным самому. И в такой ситуации быстрое хирургическое вмешательство весьма уместно, после чего следует выждать, чтобы убедиться, принесло оно пользу или нет. В исключительных, спору нет, лишь в исключительных случаях здесь не обойтись без убийства. Само по себе убийство — метод весьма неэффективный. Терроризм оставляет лишь царапины на поверхности мировой структуры. А вот убийство, совершенное им, было необходимостью. Впрочем, не убийство как таковое составляло проблему, а убеждение, что только убийство может помочь. Разумеется, он мог передоверить убийство. На любое дело можно кого-нибудь отрядить вместо себя. Но ему без малого сто, а он до сих пор сам завязывает себе шнурки. Далее понадобилось еще несколько убийств, но уж эти не потребовали никаких усилий. При сотворении мира вмешательство Бога понадобилось всего один раз. Хватило первого толчка. Вот и на него решение проблемы снизошло с быстротой молнии. Старик осклабился. Более тридцати лет назад ему пришлось сопровождать из частной клиники в аэропорт одного столь же известного в те времена, сколь и непопулярного политического деятеля. В клинике он увидел, что упомянутый деятель, уже в зимнем пальто, с растерянным видом стоит перед кроватью. Его преследуют. Введенный им налог на наследство разорил слишком многих. Он вынужден обороняться. И он достает из пальто револьвер. Вот чем он пристрелит каждого наследника, оставшегося без наследства. Сестра с воплем «На помощь!» выскочила из палаты. Тогда он снова засунул револьвер в пальто. Примчался врач с двумя санитарами. Полковник в период

военной службы, грубый мясник в медицине, он поставил такой диагноз: болезнь теперь добралась до мозга, ну, с медицинской точки зрения проблем нет, он еще раз накачает пациента транквилизаторами, и пусть себе катится на родину, не то отдаст концы прямо тут. Беднягу после короткой схватки, в ходе которой был нокаутирован один санитар, вытряхнули из пальто с револьвером, закатили ему в зад — ах, пардон, пардон, при дамах — полный шприц, снова упаковали в зимнее пальто и затолкнули в «роллс-ройс». И вот он поехал с вооруженным и очумевшим государственным деятелем обратно в город. Дивный весенний вечер. Смеркается. Часов около семи. Поскольку у нас рано встают, ужинают тоже рано. Когда он вместе с дремлющим финансовым гением проехал по Рэмиштрассе и увидел людей, устремляющихся к ресторанам, у него в голове мелькнула идея, как на элегантнейший манер решить свою проблему. «Боже, — сказала немецкая вдова итальянского издателя, — как увлекательно!» Особа, от чьего влияния он должен был избавить концерн, имела обыкновение об эту пору ужинать в известном всему свету ресторане. Старец осушил второй бокал шампанского. Он велел шоферу остановиться, вынул револьвер из кармана тихо похрапывающего министра, прошел в ресторан, увидел, что его расчеты верны и упомянутая особа присутствует, застрелил ее, оттуда — снова в «роллс-ройс», засунул револьвер в пальто спящему, доставил его, почтеннейшего министра ее величества, в аэропорт, посадил в самолет, который спецрейсом переправил больного лидера партии на родимый остров, где тот, не успев толком прибыть, привел к окончательному финансовому краху некогда мировую империю. Тихое хихиканье из кружка деятелей культуры. Дочь сохраняет величественную, почти зловещую невозмутимость. Расскажи ее отец, что был комендантом концлагеря, она и тогда не моргнула бы глазом. Мы все слушали, завороженные. Как страшную сказку. И однако, не без удовольствия, даже забавлялись, очарованные легкостью и сарказмом, с которыми повествовал старец и которые смещали все в область абстрактного, нереального. Только один издатель растерянно спросил: «Ну, а вы?» «Друг мой, — отвечал старец, извлекая из футляра массивную сигару (исходя из опыта, приобретенного мною за период курения, предполагаю, что это была «Топперс»), — друг мой, вы упускаете из виду два обстоятельства. Первое — в каких кругах мы с вами вращаемся, и второе —

юстицию, ибо та пусть даже скорей бессознательно, нежели сознательно, ориентируется на общественные круги, подлежащие ее суду, хотя порой — особенно по отношению к людям привилегированным — она любит действовать с чрезмерной суровостью, дабы избежать упрека в наличии предубеждений именно потому, что она их питает». Впрочем, чтобы не наскучить: его арестовали, кантональный суд признал его виновным, а суд присяжных впоследствии оправдал, хотя убийство было совершено у всех на глазах. По необходимости. Недоставало прямых доказательств. Показания свидетелей были противоречивы. Орудие убийства так и не было найдено. Кто станет перетряхивать пальто министра?! И мотива преступления тоже не удалось выяснить. Концерн есть нечто непроницаемое для прокурора. Вдобавок, тоже случайно, в ресторане присутствовал бывший чемпион Швейцарии по стрельбе из пистолета, но, когда его захотели допросить, он взял да и повесился. Просто надо, чтоб все так удачно сложилось, впрочем, нельзя исключить, что и чемпион мог выстрелить как раз в ту минуту, когда он, а ему было тогда семьдесят лет, собрался стрелять; единственно реальное во всей истории — это сам покойник, уронивший голову прямо в филе а-ля Россини с зелеными бобами, насколько он припоминает, но вот каким путем эта реальность осуществилась, по сути дела, не играет роли. Он раскурил сигару, которой до того размахивал примерно как дирижер — своей палочкой. И вдруг все общество разразилось смехом, кое-кто даже зааплодировал, один толстый журналист распахнул окно и, став перед ним, хохотал в ночь. «Неслыханное остроумие». Все были убеждены в невиновности старца. Я тоже. А почему? Из-за его обаяния? Из-за возраста? Прелестно — рассиялась немецкая вдова итальянского издателя, хозяйка высказалась в таком духе, что жизнь пишет невероятнейшие истории, дочь поглядела на меня холодно и пристально, словно хотела узнать, поверил я или нет. Старец же курил сигару, осуществляя попутно трюк, который никогда не удавался мне: выталкивал дым колечками. Он понимает, продолжал старец, что несправедливо осужденный не столь уязвим, как убийца, отсюда сердечные аплодисменты, уж такая у него судьба, что никто не желает считать его убийцей. Вот и я, вероятно, не верю — это старец уже обратился ко мне, — я, который в своих комедиях пачками

препровождает своих героев на тот свет. Новый взрыв смеха, общее оживление, подали черный кофе, коньяк. Остается единственно вопрос морали, снова начал старик, сосредоточив все внимание на пепле своей сигары, который он не сбрасывал, а тщательно наращивал. И внезапно он стал другим. Уже не столетним старцем, а человеком без возраста. Совершил он убийство на самом деле или только собирался, сказал старец, с точки зрения морали важно лишь намерение, а не осуществление. Но вопрос морали есть вопрос оправдания действий, не соответствующих основным законам общества, которыми это общество якобы руководствуется. Для оправдания же мы должны прибегнуть к помощи диалектики. С позиций диалектики можно найти оправдание решительно для всего, тем самым — и с позиций морали. Поэтому он считает всякое оправдывание излишним или, если довести эту мысль до абсурда, всякую мораль аморальной, он мог бы заявить, что действовал в интересах концерна, который, кстати сказать, впоследствии все равно обанкротился, так что его изысканное убийство оказалось бесполезным, независимо от того, кто его совершил, он сам или кто-нибудь другой, а потому он мог бы следующим образом ответить на вопрос, чего можно достичь средствами политики: если чего-то можно достичь лишь благодаря случаю и если что-то достигнуто лишь случайно, оно представляет полную противоположность тому, чего намеревались достичь на самом деле. Далее старик попросил извинения. Он покорнейше просит высокочтимую хозяйку извинить его уход, а дочь Элен — доставить его в гостиницу «Четыре времени года». Дочь выкатила старика, не удостоив меня ни единым взглядом. Я счел всю эту историю вымышленной. Ну кто, скажите на милость, так убивает? Однако нельзя было не заметить, что старик некогда обладал изрядной властью, да и теперь еще имеет немалое влияние, не то с какой стати его принимал бы Штраус. Мне он показался промышленным воротилой, у которого на совести есть немало всего, но рассказать про биржевые спекуляции куда сложней, чем про убийства, вот он и расписывает несовершённое убийство, поскольку может не сомневаться, что в совершенное им убийство все равно никто не поверит, как поверили бы в биржевые спекуляции. В такси я успел забыть его историю, размышлял только о диалектике, которую он подчинил морали, и вдруг вспомнил его имя: Колер, Исаак Колер. Однажды на бан-

кете у своих друзей из местного театра я сидел как раз напротив него. Рядом с его дочерью. Когда-то. Много лет назад. По поводу чего устраивался банкет, уже не помню. Нескончаемо длинные речи. Колер тогда был очень бодрый и загорелый. Дочь рассказала, что он только что вернулся из кругосветного путешествия.

На другое лето или, возможно, в начале сентября умер отец одной знакомой, некой Штюсси-Моози. Лет пятнадцать назад она служила у нас в доме. Она известила меня, что продается двор ее отца. Я знал этот двор. Он был старый, наполовину разрушенный. Я решил его купить. Вид оттуда очень впечатляющий. Внизу — долина Штюсси, на дне ее Штюссикофен, потом Флётиген, Верхние Альпы. За домом круто обрывается скала. Сама деревня — гнездышко, это еще не собственно Альпы. Старые дома. Часовня. Куда изредка наезжает с проповедью флётигенский пастор. Гостиница. Просто удивительно, что еще сохранились деревни, куда не заглядывают туристы. Вести переговоры мне надлежало с «ходатаем по делам», как там именуют адвокатов. Ходатай занимал комнату в гостинице «У Лойэнбергера», а дела проворачивал внизу, в трактире, имея слушателями местных крестьян. Он был, скорее, нечто вроде сельского судьи, к моменту моего прибытия он как раз улаживал одну драку. Крестьянин с перевязанной головой, чертыхаясь, покинул залу. По прошествии стольких лет я затрудняюсь описать, как выглядел тот ходатай. Лет примерно пятидесяти. Хотя, возможно, и гораздо моложе. Хронический алкоголик. Он пил «беци» — сорт водки, которую в других местах называют плодово-ягодная. Он казался сутулым, не будучи таковым. Злобно-желчным. Лицо отечное, не лишенное одухотворенности. Водянисто-голубые глаза, налитые кровью. Чаще плутоватые, изредка мечтательные. Для начала он пытался меня надуть. Заломил цену вдвое больше той, на которую намекала наша бывшая домоправительница. Рассказывал замысловатые истории насчет трудностей, которые непременно возникнут со стороны общинного совета в Штюссикофене. Разглагольствовал о неписаных законах. Назвал двор проклятым, хозяин его, Штюсси-Моози, повесился. Каждый Штюсси-Моози здесь вешался. Крестьяне с наглой откровенностью слушали наш разговор, мимически изображали удушение, когда он говорил о повесившихся, задирали правую руку над головой, словно затягивая веревку, закатывали глаза, высовывали язык. Я смекнул, что ходатай вовсе не собирается меня надуть,

а просто хочет воспрепятствовать сделке, — зато впоследствии он лихо надул семью нашей бывшей домоправительницы. Он продал двор за бросовую цену одному из Штюсси-Зюттерлинов. Почувствовав, что мой интерес к покупке заметно остыл, скорей из-за враждебного отношения крестьян, чем из-за его уловок, он стал много приветливее. Кстати сказать, он был уже пьян, хотя и не стал от этого менее симпатичным. Даже наоборот. У него появился юмор. Правда, ядовитый Он начал рассказывать. Крестьяне сдвинулись потесней и подзуживали рассказчика. Его истории, судя по всему, они уже знали. И слушали, как слушают сказочника. Итак, он утверждал, будто был знаменитым адвокатом в самом большом городе нашей страны. Обалденно знаменитым, как он выразился. И деньги загребал лопатой. Зарабатывая в основном на банках, на богатейших семействах города. Но всего милей из клиентуры были ему проститутки. «Мои шлюхи», как он выразился. Он выдал бесчисленное множество побасенок, особенно про некоего Нольди Орхидейного. Большинство из них показалось мне выдумкой, но я слушал с неослабевающим вниманием.

Не столько из-за самих рассказов, сколько из-за упрятанной в них социальной критики. Эта критика носила какой-то анархический характер. Она не соответствовала действительности. Она соответствовала его уму. Он углубился в дебри истории о суде над неким убийцей. Он изображал обвиняемого и пятерых членов судейской коллегии. Крестьяне гоготали от восторга. Он, как защитник, выиграл процесс. После чего он добавил, что оправданный все-таки был убийца. Оправданный, правительственный советник, лихо одурачил и его, и пятерых членов суда. Крестьяне гоготали, теперь они тоже приналегли на «беци». Историю эту они явно слушали не в первый раз и все не могли наслушаться. Они снова и снова требовали продолжения, а он капризничал, ему поднесли стаканчик, он указал на меня, человеку, может, вовсе и не интересно, мне тоже поднесли стаканчик, нет-нет, очень даже интересно. Ходатай начал рассказывать, как он пытался добиться пересмотра дела, но этому воспротивилось правительство, а под конец и федеральный суд. Правительственный советник — он и есть правительственный советник. Каждое юридическое препятствие, каждая интрига вызывали взрыв издевательского смеха. «Вот она, ваша свободная Швейцария!» — вскричал один из крестьян и заказал еще по стаканчику. И тогда, продолжал ходатай, он начал действовать на

свой страх и риск. Он дождался, покуда советник вернется из кругосветного путешествия. Из прессы он узнал время прибытия. Затем он сообщил о своих планах начальнику полиции. Тот приказал оцепить аэропорт. Но ходатай, переодевшись уборщицей, проник в уборочную бригаду. А в накладном искусственном бюсте упрятал свой револьвер. Один из полицейских пытался его схватить за накладной бюст, но он поднял крик, будто его хотят изнасиловать. Начальник принес свои извинения, а полицейского велел отправить в арестантскую при аэропорте. Крестьяне с криками восторга хлопали себя по ляжкам. Далее ходатай поведал, как он застрелил убийцу, оправданного благодаря его же усилиям. По дороге к залу для пассажиров первого класса. После чего советник рухнул головой вперед прямо в мусорный бак. Подобно Теллю, прикончившему в том ущелье Геслера, он прикончил злодея, возликовал один крестьянин, а остальные разразились одобрительными возгласами. Дикий поднялся гвалт. Вот она, настоящая справедливость. Ходатай начал изображать в лицах историю своего задержания. Показал, как начальник сорвал с него накладной бюст. Вскарабкался на стол. Произнес защитительную речь перед пятью членами судейской коллегии, которые в свое время оправдали убитого, а теперь, соответственно, не могли не оправдать его убийцу. После чего бросил прямо в лицо судьям: «А пропади вы пропадом с вашим правосудием» — и стал ходатаем по делам в долине Штюсси. Тут рассказчик снова рухнул на свой стул. Один из крестьян встал с наполовину распитой бутылкой «беци» в левой руке, похлопал рассказчика по плечу, заявил, что сам он Штюсси-Штюсси, а ходатай — единственный не Штюсси в Штюссикофене, но, несмотря на это, он истинный швейцарец, после чего он до дна осушил свою бутылку, повалился на стол и захрапел. Остальные затянули упраздненный гимн: «Славься в веках, Гельвеция! Есть у тебя еще сыновья, как их увидел Якоб Святой, всегда готовые в бой». История показалась мне странно знакомой. Я хотел выяснить кое-какие детали, но ходатай был слишком пьян, чтобы отвечать на вопросы. Некоторые крестьяне с угрожающим видом поднялись со своих мест, покуда другие уже допевали конец второй строфы: «Там, где вершины гор врагу не дадут отпор, Бог наша твердь, сами встанем горой, каждый из нас герой. Мы презираем смерть». А ходатая мне было жаль. Блестящий прима-адвокат стал опустившимся провинциальным стряпчим. Он совершил убийство, он выиграл собствен-

ный процесс, но убийство, им совершенное, доконало его. Я полностью отказался от мысли купить двор. Мне следовало убираться восвояси, в долине Штюсси не жалуют пришельцев из города, а так как по номеру моей машины они уже поняли, что я из Невшателя, я был для них вдвойне чужой, хоть и говорил на одном с ними языке, пусть даже не так распевно. Я покинул трактир. Вслед мне неслось громовое: «Явись поутру, Господь осиянный, мы дружно Тебе воспоем осанну, едва заалеют вершины гор, возносит молитвы швейцарцев хор. Своей душой благочестивой всегда отечеству верны мы».

Это крестьяне перешли к новому гимну.

Потом снова пробел в памяти. Старец в кресле-каталке, его дочь, пьяный убийца в штюссикофенском трактире среди пьяных крестьян — все ушло в подсознание, а сверху наложилась досада, что я не могу купить крестьянский двор. Между прочим, купить его я собирался не ради пустой прихоти, мне были нужны перемены. По возвращении домой я приступил к реорганизации. Был выметен весь мусор, накопившийся за сорок лет писательства. Груды необработанной корреспонденции, счета, так и не попавшие мне на глаза и, однако же, оплаченные, сметы, так и не принятые во внимание, горы корректур, бесконечное число раз переписанные рукописи, наброски, фотографии, рисунки, карикатуры, фантастический беспорядок, которому предстояло частью превратиться в порядок, частью исчезнуть. Горы нечитаных рукописей, уже много десятилетий как погребенных в потоке необработанной почты. Я наудачу заглянул в одну из них. Правосудие. Долой макулатуру. При этом я невольно бросил взгляд на первую страницу и прочел имя: доктор h.c. Исаак Колер. Я снова достал рукопись из пластикового мешка. Некий доктор Х. прислал мне ее из Цюриха, но я никогда не читаю присланные мне рукописи. Литература меня не интересует. Я сам ее произвожу. Доктор Х. Я припомнил. Кур. 1957 год. После доклада. В отеле. Я пошел в бар, чтобы выпить стаканчик виски. Кроме барменши, дамы не первой молодости, я застал там еще одного посетителя, который тотчас, едва я успел сесть, назвал себя. Это был доктор Х., бывший начальник кантональной полиции Цюриха, крупный, массивный человек, старомодно одетый, с золотой цепочкой от часов поперек жилета, как их нынче мало кто носит. Несмотря на возраст, ежик на голове у начальника был еще безупречно черным, а усы пушистыми. Он сидел у

стойки на высоком табурете, пил красное вино, курил «Байанос» и обращался к барменше по имени. Голос у него был громкий, жесты выразительные, словом, человек без тени притворства, который в такой же мере привлекал меня, как и отталкивал. На другое утро он довез меня на своей машине до Цюриха. Я начал листать рукопись. Она была напечатана на машинке, под заголовком приписано от руки: «Можете делать с этим все, что захотите». Я начал читать рукопись и прочел ее всю. Автор, некий адвокат, не совладал с материалом. Ему слишком мешали текущие события. О самом важном он начал рассказывать лишь в конце, но именно тут ему вдруг не хватило времени. Он пал жертвой собственной торопливости. В общем и целом попытка дилетантская. Да и отдельные места повергали меня в недоумение. Взять хотя бы названия некоторых глав: «Попытка внести порядок в беспорядок». Потом имена. Кто такой Никодемус Мольх, кто Дафна Мюллер и кто Ильза Фройде? И кто расставляет у себя в парке целую армию садовых гномов? Начальник вроде бы говорил мне, что любит Жан Поля? Но спросить начальника уже нельзя, он умер. В 1970-м. Потом я прочел письмо, приложенное начальником к рукописи: «Я возвращаюсь с похорон. Ездил хоронить Штюсси-Лойпина. На похороны пришел только Мокк. После чего мы с ним пообедали в «Театральном». Ели суп с ливерными фрикадельками, филе а-ля Россини с зелеными бобами. После обеда мы долго искали слуховой аппарат Мокка. Официантка, как оказалось, унесла его с посудой. А что до нашего дорогого фанатика справедливости, то ему и в самом деле удалось пробраться в аэропорт. С командой уборщиков. И выстрелить он выстрелил, но тотчас со страху упал головой в мусорный бак. По счастью, Колер ничего не заметил, ибо как раз в это время взлетал четырехмоторный самолет. Впрочем, наш террорист и не мог причинить большого вреда. В одном он просчитался. Я все-таки занялся подробнее этим старьевщиком. В альпийском рожке были должным образом препарированные холостые патроны. Но потом я решительно не знал, как мне поступить с фанатиком справедливости. Он был человек конченый. Передавать его в руки правосудия я не захотел. Штюсси-Лойпин (смотри выше) принял в нем участие и подыскал ему место. С тех пор прошло несколько лет. Ваш доктор Х., экс-начальник». Я позвонил в Штюссикофен. К телефону подошел хозяин «Лойэнбергера». Я попросил ходатая. Умер. На прошлой неделе. Перебрал «беци». Как его звали?

Звали как? Ходатаем. Где его похоронили? В Флётигене, надо думать. Я поехал туда. Кладбище лежало за пределами деревни. В каменной ограде. Чугунные литые ворота. Было холодно. Первый раз за этот год я уловил дыхание зимы. В кладбищах есть что-то близкое моему сердцу. Ребенком я любил играть на кладбище. Это кладбище имело свое лицо, у каждого покойника была своя могила, могильные плиты, чугунные кресты, постаменты, колонны, стоял там даже один ангел. На могиле некой Кристли Мозер. Но Флётигенское кладбище было вполне современным кладбищем, учрежденным десять лет назад по решению общинного совета Флётигена. От тех, кто умер более десяти лет назад, не осталось и следа. Поскольку территория была строго ограничена и не подлежала расширению — слишком высоки нынче цены на землю, — усопшему дозволялось не более чем десятилетнее пребывание в родной земле. И затем — прямиком в вечность. Но уж дозволенные десять лет полагалось лежать по стойке «смирно». У всех одинаковые могилы. На могилах — одинаковые цветы. Одинаковые могильные плиты. Надписанные одним и тем же шрифтом. И вот мертвецы покоились стройными рядами, а среди них — и тот, кого я искал. Беспорядочный в жизни, упорядоченный после смерти. Он лежал последним в ряду, возле еще пустой могилы. Плита уже положена, цветы (астры, хризантемы) уже посажены. На плите: ФЕЛИКС ШПЕТ, ХОДАТАЙ, 1930—1984.

Вернувшись домой, я еще раз перечитал рукопись. Вероятно, ее перепечатали с оригинала. И несмотря на лирические отступления, внесенные рукой начальника, она максимально соответствовала исходному варианту. Что до рассказа Шпета, то он в Штюссикофене похвалялся убийством, которого не совершал, а Колер в Мюнхене свалил убийство на человека, которого хотел убрать вместе с убитым. Я снял с рукописи фотокопию. Адрес доктора h.c. Исаака Колера я нашел в телефонной книге. Я отправил копию ему. Несколько дней спустя я получил письмо от Элен Колер. Она просила меня навестить ее. Состояние отца не позволяет ей отлучаться из дому. Я ответил телефонным звонком. И уже на другой день вступил в колеровские владения.

Когда я направлялся к чугунной решетке, у меня было такое чувство, будто я вступаю в рукопись и эта рукопись меня комментирует. Сама природа дышала богатством. Октябрьская флора здесь не поскупилась на свои дары. Деревья

как на подбор величественные и почти все в летнем наряде. Не дует фён. Искусно подрезанные кусты и живые изгороди. Замшелые статуи. Нагие бородатые боги с юношескими ягодицами и такими же икрами. Тихие пруды. Величественная чета павлинов. Кругом мертвая, дремотная тишина. Лишь изредка слышатся птичьи голоса. Стены дома увиты диким виноградом, плющом и розами, сам он большой, просторный, с фронтоном. Внутри — легкий и удобный. Антикварная мебель, каждый предмет — произведение искусства. На стенах — знаменитые импрессионисты. Далее — поздние фламандцы (меня вела по дому старушка горничная). Мне было предложено подождать в кабинете доктора h.c. Исаака Колера. Помещение было просторное. Вызолоченное солнцем. Через открытую двустворчатую дверь можно было выйти прямо в парк. Окна по обе стороны двери доходили чуть не до самого пола. Паркет из ценных пород дерева. Гигантский письменный стол. Глубокие кожаные кресла. На стенах никаких картин, только книги — до самого потолка. Исключительно книги по математике и естественным наукам, солидная библиотека. В просторной нише — бильярд, на поле которого лежали четыре шара. Через открытую дверь вкатил себя доктор h.c. Исаак Колер, еще более хрупкий и эфемерный, еще более прозрачный, почти фантом. Судя по всему, он меня не заметил. Он подъехал к бильярду, выбрался, к моему великому удивлению, из кресла и принялся увлеченно играть. Из двери в задней стене вошла Элен. Спортивный вид — джинсы, шелковая рубашка, жакет ручной вязки с тремя большими квадратами, красным, синим и желтым. Она приложила палец к губам. Я понял и последовал за ней. Просторная гостиная. Снова открытая двустворчатая дверь. Мы сели на террасе. Под тентом. Последний раз в этом году я сидел на свежем воздухе. Старые плетеные кресла. Чугунный стол с шиферной столешницей. На газоне — косилка. Первые кучи осенних листьев. Между ними павлины. Она сказала, что я застал ее за работой в саду. В глубине парка какой-то паренек копал землю. И насвистывал. А от павлинов им надо избавиться. Соседи протестуют. Они протестуют вот уже пятьдесят лет. Но отец любит павлинов. Как ей кажется, исключительно назло соседям. Он давал своим павлинам кричать сколько влезет. Невзирая на неоднократное вмешательство полиции. На свете нет звука более мерзкого, чем крик павлина. Дома вокруг их участка из-за крика павлинов заметно подешевели. Соответственно упали цены на землю. Тогда

отец скупил все на корню, и соседи больше не смели жаловаться. Потом она налила мне чаю. Я сказал, что ее отец — чудовище. Она не стала спорить. А рукопись она прочла? Проглядела — был ответ. Я сказал, что Шпет ее любил, но об этом ему было нелегко писать, и она ведь тоже когда-то его любила. Ах, этот славный Шпет, отвечала она. Единственной женщиной, которую он любил, была Дафна, о ней он и пишет с особой живостью. А любовь к ней, Элен, он просто выдумывает. Выдумывал, уточнил я, наш славный Шпет две недели назад скончался в долине Штюсси. «Чай совсем остыл», — сказала она и выплеснула содержимое своей чашки через ограду террасы на усыпанный желтыми листьями газон, прямо под ноги паренька, который с нахальным свистом пробегал мимо.

А потом закричали павлины. Обычно они в это время не кричат, пояснила Элен, сейчас они перестанут. Но павлины не переставали. «Пойдемте лучше в комнаты», — предложила она, и мы вошли в дом, закрыли за собой двустворчатую дверь, сели в два кресла, между которыми стоял игральный столик. Коньяку? Да, пожалуйста. Она налила. Павлины за дверью продолжали кричать, тупо, зловеще. По счастью, отец их не слышит, сказала она, а потом спросила, читал ли я, что́ написано про настоящую Монику Штайерман. Все это представляется мне в достаточной мере неправдоподобным, ответил я. Она тоже была однажды приглашена к Монике Штайерман, летним вечером, начала Элен, ей тогда не было и восемнадцати, и она, как все в этом городе, принимала Дафну за Монику Штайерман, восторгалась ею, но и завидовала тоже, в частности из-за Бенно, потому что Бенно ее избегал, хотя в те времена обольщал всех подряд, этот красавчик Бенно, тогда считалось высшим шиком переспать с Бенно, так же как считалось шиком переспать с Моникой Штайерман; хотя все были убеждены, что они оба в будущем поженятся, но это и привлекало. Она, Элен, была как-никак дочерью Колера и потому неприкосновенна. Бенно сознательно ее избегал, а она приняла приглашение Моники Штайерман без малейших колебаний, может быть втайне надеясь застать там Бенно, настолько она была в него влюблена. После ужина, за черным кофе, она сообщила отцу о своем намерении. Отец спросил, куда именно ее пригласили, на Ауроратрассе или нет, и налил себе «Марк». Он дома всегда пьет «Марк». В «Мон-репо», отвечала она. Туда еще до сих пор никого

не приглашали. Никого, сказал отец, до сих пор туда приглашали только Людевица и его самого. Так вот, может ли он дать ей совет? Она все равно не послушает никаких советов, строптиво отвечала она. Не надо ей принимать это приглашение, сказал отец и выпил свой «Марк». Это и есть его совет. Но она все равно пошла. Она доехала на велосипеде до Вагнерштуца, прислонила велосипед к ограде и позвонила у ворот, продолжала Элен свой рассказ. И удивилась, что за этим ничего не последовало. Потом она заметила, что массивная решетчатая калитка вообще не заперта, она отворила ее и вступила в парк, но, едва вступив, сразу же испытала приступ необъяснимого страха. Она хотела вернуться, однако теперь калитка не поддавалась. Если до сих пор Элен вела свой рассказ неуверенно, запинаясь, то тут она принялась говорить так, будто все, что произошло потом, произошло не с ней, а с кем-то другим. С этого мгновения, рассказывала Элен дальше, она уже не сомневалась, что ее заманили в ловушку. Запущенный парк был залит закатным багрянцем, этот поток света показался ей недобрым предзнаменованием. Но она автоматически продолжала свой путь к невидимой вилле. Гравий поскрипывал у нее под ногами. Она заметила садового гнома, одного, потом еще троих, потом сразу несколько вдоль дорожки, они стояли между стеблями неподстриженного газона, среди люпинов и льнянки, выглядывали из сплетения космей: несмотря на щекастые личики, в этом зловещем вечернем багрянце они казались коварными и гнусными, особенно когда она заметила, что вниз с деревьев тоже щерятся гномы, курящие трубку, от омерзения она все быстрей бежала между гномами, пока не очутилась перед целой стаей гномш с огромными головами, крупней, чем те, которых она увидела сперва, — примерно с четырехлетнего ребенка. Цепенея от ужаса, она заметила, как одна из этих фигур скалила ей зубы. В паническом страхе она понеслась по парку, мимо все более многочисленных и непристойных гномов, пока не выскочила на лужайку, где никаких гномов не было, сама лужайка полого поднималась, а наверху ее взгляду открылась вилла. Задыхаясь, она остановилась и поглядела назад. В надежде, что ей все померещилось, что ей просто привиделся кошмар. Но увидела она скалящуюся гномиху, которая мелкими, неверными шажками спешила к ней. Она ринулась к вилле, влетела в открытую дверь, она слышала у себя за спиной семенящие шажки, она пробежала через вестибюль, потом через залу,

где в камине потрескивал огонь, хотя на дворе стояло лето, нигде ни души — и только семенящие шажки за спиной. Она вбежала в некое подобие кабинета. Стены, заклеенные фотографиями Бенно, безмерно ее испугали. Первым ее побуждением было повернуть назад, но в зале, в отблесках камина, она снова увидела карлицу с огромной, безволосой головой, маленьким сморщенным личиком и большими глазами. Элен захлопнула двери кабинета и заперлась изнутри. Она была одна. Она бросилась в кожаное кресло, почувствовала непривычный сладковатый запах и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, что ее со всех сторон зажали четыре нагих колосса, о которых впоследствии могла бы только сказать, что они были безволосые и что от них разило оливковым маслом, которым они натерлись, отчего и стали скользкими, как рыбы. Ее раздели, как она ни сопротивлялась. Она услышала неудержимый смех и увидела женщину, которой восторгалась и завидовала и которую принимала за Монику Штайерман. Голая Дафна Мюллер сидела в кожаном кресле. Это она смеялась. Вдруг откуда-то возник профессор Винтер, голый, пузатый. За спиной у похотливого фавна она увидела карлицу. Та сидела на шкафу и с торжествующим видом взирала на Элен. Когда чернобородый сатир взял Элен, у нее в голове сверкнула мысль — именно сверкнула, это не просто устойчивое словосочетание, — мысль проникла в ее мозг, как проникает молния, и не осталось других мыслей, кроме одной — что все происходящее с ней происходит лишь по воле этой карлицы, которая загнала ее в этот кабинет, чтобы с ней, Элен, сделали то, чего страстно желала сама карлица, но чего с карлицей нельзя сделать, а потом, когда на нее бросился Бенно, а за ним четверо скользких бритоголовых, и все это — под неумолчный смех Дафны, Элен овладела, как единственная возможность сопротивления, как единственное оружие, непомерная похоть, она вскрикнула, она кричала, кричала, и похоть становилась тем ненасытнее, чем завистливее становился взгляд карлицы. Карлица дрожала всем телом, в глазах у нее выражалось нечто большее, чем безграничная зависть, казалось, будто она дрожит от горя, что не дано ей, карлице, изведать наслаждение, испытываемое той, которую насилуют по ее же приказу ее же холопы. Наконец карлица в полном ужасе закричала: «Прекратить!» — и разразилась безудержными всхлипываниями. Элен отпустили, карлицу унесли, Элен осталась

в кабинете одна. Она собрала свою одежду, в зале еще не прогорел камин, пробралась через вестибюль в темный парк, дошла до ворот. Ворота были не заперты, докончила Элен повествование, и она поехала домой на велосипеде.

Она помолчала. Потом спросила меня, не шокирован ли я ее рассказом. «Нет, — ответил я, — но рюмочка коньяку мне сейчас не повредила бы». Она налила мне и налила себе. Когда она вернулась, продолжала она свой рассказ, отец все еще был в кабинете. Сидел за письменным столом. На нее почти не глянул. Она все ему рассказала. Тогда он подошел к бильярду и начал играть. А ее спросил, чего ей еще надо. Отомстить, сказала она. «Забудь про это», — сказал отец. Но она желала мести. Тогда он перестал играть и внимательно взглянул на нее. Он советовал ей не ходить туда, а она пошла. Это ее дело. Никто не обязан следовать советам, иначе совет будет не совет, а приказ. То, что случилось, не имеет значения, потому что оно уже случилось. Случившееся надо отбрасывать, кто не умеет забывать, тот бросается под колеса времени и дает себя раздавить. А она настаивает на мести. Детка, сказал отец, это он первый раз в жизни так ее назвал, все, что им до сих пор было сказано, — это тоже не более как совет, но если она требует мести, прекрасно, будет ей месть. И это уж его дело. Потом он положил на бильярдное поле четыре шара и толкнул, только один раз, сперва послал шар в борт, оттуда шар откатился назад и столкнул другой шар в лузу. Винтер, сказал ее отец, когда очередной шар исчез в лузе. Бенно. Потом Дафна. А когда он сказал — Штайерман, на поле вообще ничего не осталось. А она? — спросила Элен. А она была кием, ответил он. И кий понадобился ему всего один раз. Что будет с ними? — спросила она. Они умрут, ответил отец. В той последовательности, которую он установил. А теперь пусть идет спать, ему надо поработать.

Этот разговор, продолжала она, немного помолчав, когда мы успели выпить по третьей, а из соседней комнаты слышался стук бильярдных шаров, этот разговор сохранился в ее памяти более зловещим, чем то, что произошло в «Монрепо», у себя в комнате он погасила свет и долго в эту бесконечную ночь разглядывала немилосердные звезды, которым дела нет до того, есть ли на жалком, ничтожном шарике, каким является наша Земля, жизнь или нет, а про человечес-

кие судьбы и говорить нечего, и тут ее охватила злость, отец, конечно же, хотел, чтобы она туда пошла, и твердо надеялся, что любопытство увлечет ее. Но вот почему карлица избрала именно ее? Кому было предназначено унижение: Элен или отцу Элен? Если отцу, почему он тогда поначалу отговаривал ее мстить? Хотел для себя решить вопрос, стоит ему вступать в борьбу или нет? Но во имя чего велась эта борьба? И кто кому в ней противостоял? Ее беспокоила мысль, что за кирпичным трестом, о котором отец неизменно вспоминал как бы в шутку, скрываются другие, куда более значительные предприятия и что он время от времени заводит речь о силиконе, которому принадлежит будущее, хотя все, кого она только ни спрашивала, утверждали в ответ, будто понятия не имеют, о чем это толкует отец. Может быть, между ним и Людевицем вспыхнула борьба? И случившимся с ней Штайерман давала понять ее отцу, что не желает больше терпеть его вмешательство?

Я задумался над ее рассказом. Одного не понимаю, сказал я, ваш отец рассказывал в Мюнхене про убийство, что мотив он привел ложный, не беда, пусть будет так, но вот что ему только перед рестораном пришла в голову мысль использовать револьвер англичанина — нет и нет, это совершенно неправдоподобно. Элен внимательно на меня поглядела. Неслыханно красивая была женщина. Ваша правда, сказала она, отец солгал. Они вдвоем обсудили это убийство. И бедный Шпет об этом догадался. Отец застрелил Винтера из своего собственного револьвера, потом сунул револьвер в карман министру, а уж потом она достала револьвер из кармана и по прибытии в Лондон выбросила его в Темзу. Министр летел не на самолете компании «Свиссэр», усомнился я. Да, Штюсси-Лойпин был прав, выдвигая это возражение, отвечала она, но и Штюсси-Лойпин не мог знать, что она сопровождала министра по его личной просьбе. Для этого она регулярно навещала его в частной клинике. Она смолкла. Я оглядел ее. У нее за плечами была целая жизнь, и у меня за плечами была целая жизнь. «А Шпет?» — спросил я, но она уклонилась от моего взгляда. Я рассказал ей про свою встречу со Шпетом. Она выслушала. У Шпета создалось о ней ошибочное представление, спокойно сказала она, вот и у меня создается о ней ошибочное представление. Всего через несколько недель после той ночи она вступила в связь с Винтером, потом с Бенно — отсюда и ссора Бенно с Винтером и Дафны с Бенно, и ее разрыв со Штайерман; с кем она еще

спала, по сути, не важно, со всеми подряд — вот, пожалуй, самый точный ответ. Она и сама себя не понимает. Она снова и снова пытается найти рациональное объяснение чему-то иррациональному, но ее поведение не зависит от разума. И может, все объяснения есть всего лишь предлог, чтобы оправдать собственную натуру, которая той ночью, в «Монрепо», заявила о себе могучим прорывом, может, она втайне мечтает о все новых насилиях, ибо человек бывает свободным, лишь когда его насилуют, — свободным даже от собственной воли. Но это, разумеется, всего лишь один из вариантов объяснения. Недоброе чувство, что она была всего лишь орудием в руках своего отца, никогда ее не покидало. Все, кого он поименовал во время той игры на бильярде, умерли в им же названной последовательности. Штайерман — последней. Два года назад. По совету отца она вошла в оружейный концерн, отчего акционерное общество «Трёг» прогорело. А потом Монику Штайерман нашли мертвой на ее греческом острове. И четырех телохранителей, изрешеченных пулями. Причем Штайерман обнаружили лишь полгода спустя — она висела вниз головой, на оливе. Разве я этого не читал? Фамилия Штайерман ни о чем мне не говорила, ответил я. Когда в газетах было опубликовано сообщение об исчезновении Штайерман, сказала Элен, она обнаружила на столе у своего отца телеграмму, в которой не содержалось ничего, кроме строчки цифр 1171953, если воспринять эту строчку как дату, то получится день изнасилования. Но коль скоро убийство было совершено по поручению отца, кто его выполнил, и кто стоял за исполнителями, и кто стоял за теми, кто стоял за исполнителями? Означала ли смерть Моники Штайерман конец некой экономической войны? Была ли эта война за власть чем-то рациональным или иррациональным? Что вообще творится в мире? Она не знает. Я тоже не знаю, сказал я.

«Но вернемся к Шпету», — предложил я, если, конечно, она не возражает. Она сказала, что не возражает; когда Шпет взялся за поручение ее отца, она надеялась, что он докопается. Докопается до чего? До того, кто подбил ее отца на убийство до нее. «Не очень логично», — сказал я. «Почему же?» — отвечала она, это она подбила. У нее же был выбор. Получается замкнутый круг, установил я, сперва она сваливала всю вину на отца, теперь на себя. Мы виноваты оба, сказала она. Ну, это уже какое-то сумасшествие. А она

и есть сумасшедшая. «Дальше», — скомандовал я. Она не давала вывести себя из равновесия. Когда после того, как отца оправдали и он уехал, Шпет грубо накричал на нее и чуть-чуть не добрался до истины, она пошла к начальнику полиции и во всем ему призналась. «Это как понимать?» — спросил я. Она призналась, она призналась во всем, повторила Элен. «Ну и что?» — спросил я. Она помолчала, потом ответила, что начальник полиции спросил ее точно так же: «Ну и что?» После чего раскурил сигару и сказал, будто все это — прошлогодний снег. Бенно сам лишил себя жизни, выяснять задним числом, кто именно стрелял, или — того больше — обшаривать Темзу в поисках револьвера не представляется возможным, бывают случаи, когда справедливость теряет смысл и обращается в фарс. Она пусть идет домой, а он со своей стороны забудет, о чем она ему тут рассказывала. Почему ее отец ни единым словом не помянул Шпета? — спросил я. Он его забыл, ответила она. И Штюсси-Лойпина тоже, сказал я. Вообще-то очень странно, продолжала она, ее отец убежден, что убийство совершил не он, а Бенно. Она единственная, кому еще известно, что убийцей был ее отец. А точно ли ей это известно, спросил я, хоть и мало вероятно, но, может быть, убийцей все-таки был Бенно. Она замотала головой. Нет, ее отец. Она осматривала револьвер, который вынула из кармана министра, а дома сама заряжала.

Я спросил, зачем она мне все это рассказала? Она в удивлении на меня воззрилась. Тогда с какой стати я переслал ей рукопись? Только чтобы докопаться до правды? Я прежде всего писатель, которого интересует не чужая правда, а своя собственная, я думаю только о том, чтобы написать роман, и больше ни о чем, и если когда-нибудь выйдет книга, то она будет подписана моим именем, а не именем Шпета. Кому принадлежит рукопись, мне или Шпету, знаю только я, а я утверждаю, что получил ее от начальника полиции. Она тоже знала старого болтуна, он часто бывал в гостях у нее и ее отца и пускался с ним в откровенности. Он вполне мог так же откровенничать и со мной. Но уж если я хочу ее использовать, то не надо описывать ее как гётевскую женщину, которых надо перепороть всех до единой, до того они занудные, если, конечно, не считать Филины, единственной из его творений, с которой старец и сам был не прочь переспать. И Элен устремила перед собой неподвижный взгляд. Мимо окна, посвистывая, прошел все тот же паренек. Найду ли я

сам дорогу? Я попрощался. Старик по-прежнему гонял шары. От борта дуплетом.

Без четверти два. Я захожу к себе в кабинет. Когда я устраивал его, из окна еще было видно озеро. Теперь вид на озеро загородили деревья. Несколько деревьев даже пришлось срубить, те, которых еще не было, когда я сюда въехал. Рубить деревья очень грустно, их не рубят, их убивают. А дуб стал большой и могучий. По деревьям я ощущаю ход времени, своего времени. Не так, как определяю его при взгляде на небо. Не без печали я нахожу там Плеяды, Альдебаран, Капеллу, зимние звезды, хотя на дворе еще лето, — примета того, что за треть года становишься на год старше. В небе прокручивается объективное, поддающееся измерению время человека почти шестидесяти пяти лет от роду, субъективно же время движется вместе со мной и с деревьями в сторону смерти, и здесь его нельзя измерить, можно лишь ощутить. А как воспринимает время Земля? Я гляжу на ночное озеро, оно совсем не изменилось, если отвлечься от того, что́ натворили с ним люди. И как воспринимает свой возраст сама Земля? Объективно? Кажется себе древней? Четырех с половиной миллиардов лет? Или субъективно считает, будто вступила в лучшую пору своей жизни, так как может миновать еще семь миллиардов лет, прежде чем ее испепелит солнце? Или она воспринимает время на молниеносной скорости, когда ощущает самое себя нетерпеливой, безудержной силой, бурлит и клокочет внутри, отторгает континенты друг от друга, громоздит горы, смещает пласты, насылает моря на сушу, а наше странствие по твердому основанию не есть ли в действительности ходьба по основанию шаткому, которое ежечасно, ежеминутно грозит разверзнуться и поглотить нас? И наконец, как обстоит дело с временем рода человеческого? Мы измерили его со всей доступной нам объективностью, мы подразделили его на древнее время, средние века, новое время и новейшее в чаянии еще более нового; существуют подразделения и более тонкие, когда, например, за наследием Востока следует эпоха греков, в которой смыкаются Цезарь и Христос, за ней по пятам грядет эпоха веры, Ренессанс радостным звоном возвещает век Реформации, а за ним идет век, когда неудержимо возрастает разум, он продолжает возрастать по сей день, все возрастает и возрастает, а на мелочи просто не стоит обращать внимания. Первая мировая война, и Вторая, и Освенцим были всего лишь эпизодами, Чаплин более известен миру, чем Гитлер, в Сталина до сих пор верят

одни албанцы, а в Мао — несколько перуанских террористов, сорок лет мира — это чего-нибудь да стоит, правда, не везде, по сути дела, только для сверхдержав, еще в Европе, ну и на Тихом океане — в общем и целом, и в Японии, добела отмытой от любого греха Хиросимой и Нагасаки, и даже Китай гостеприимно распахивает свои двери перед усилиями всевозможных бюро путешествий. Но как этот мирный период, если у него вообще сыщется время, чтобы так называть себя, — как воспринимает свое время он? Останавливается ли оно в его восприятии, и если да, знает ли он, как с ним поступить? Убегает ли оно от него? А то и вовсе проносится у него над головой, как ураган, как торнадо, швыряя автомобили друг на друга, срывая поезда с рельсов, разбивая гигантские лайнеры о скалы, предавая города огню? Как объективно раскручивается время нашего сорокалетнего, доступного измерению мира, время, когда настоящая война, во имя которой идет непрерывная гонка вооружений, кажется все более немыслимой, хотя замыслы ее вынашиваются непрерывно? А наше мирное время, ради сохранения которого миллионы выходят на демонстрацию, носят транспаранты, подпевают рок-группам и молятся, — не приняло ли оно уже давным-давно форму того, что мы некогда именовали войной, поскольку мы сами для собственного успокоения исправно уснащаем наш мир разными катастрофами? Всеобщая история сулит человечеству бесконечное время, для Земли же, если судить объективно, оно, быть может, представляется лишь скоротечным эпизодом, даже меньше чем эпизодом — некий инцидент в пределах одной земной секунды, с точки зрения космической почти не поддающийся восприятию и оставляющий по себе едва заметный рубец. Едва поднявшись из земли, еще увязая в глине, дорийцы мнили, будто нападают на самих себя. Вот так и мы в действительности, едва уцелев после ледникового периода, нападаем на самих себя, будь то в дни мира, будь то в дни войны, мужчины на женщин, женщины на мужчин, мужчины на мужчин, женщины на женщин, руководимые не разумом, а инстинктом, имеющим за плечами на миллионы лет более длительное развитие, нежели разум, и непостижимым в своих мотивах. Вот так, грозя атомной, водородной, нейтронной бомбами, мы уберегаем себя от самого страшного, подобно гориллам, бьем себя кулачищами в грудь, дабы устрашить стаи других горилл, и в то же время рискуем погибнуть от того самого мира, который мы силим-

ся уберечь, погибнуть, чтобы ветви мертвых лесов скрыли наше издыхание.

Я устало возвращаюсь к своему письменному столу, к своему полю битвы, в сферу притяжения своих творений, но ни к какой иной действительности, кроме той, где их время истекло, их, а не наше. Я не сумел разгадать их, придуманных мною. Мои творения сами создали свою действительность, исторгнув ее из моего воображения и тем самым — из моей действительности, из времени, затраченного мною на то, чтобы их сотворить. Тем самым они тоже сделались частью нашей общей действительности и, соответственно, одной из возможностей, одну из которых мы в свою очередь называем мировой историей, точно так же закутанной в кокон наших фантазий. Но разве история, которая стала действительностью лишь в моем воображении и которая теперь, будучи написанной, покидает меня, содержит меньше смысла, чем мировая история, — разве она менее сейсмоустойчива, чем почва, на которой мы воздвигаем свои города? А Бог? Если вообразить его сущим, разве он действовал по-другому, чем доктор h.c. Исаак Колер? Разве Шпет не был волен отказаться от поручения разыскивать убийцу, которого не было? Разве он не был вынужден найти убийцу, которого не было, подобно тому как человек, вкусив плод с древа познания добра и зла, был вынужден найти Бога, которого не было, найти черта? И не есть ли последний — вымысел, к которому прибегнул Бог, чтобы хоть как-то оправдать свое неудачное творение? Кого считать виновным? Того, кто дает поручение, или того, кто его принимает? Того, кто запрещает, или того, кто пренебрегает запретом? Того, кто издает законы, или того, кто их нарушает? Того, кто предоставляет свободу, или того, кто ею пользуется? Нас погубит свобода, которую мы разрешаем другим и разрешаем себе. Я покидаю свой кабинет: освобожденный от моих творений, он опустел. Половина пятого. На небе я первый раз вижу Орион. Кого он преследует?

*Фридрих Дюрренматт*
*22.9.85*

# ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я начал писать «Правосудие» в 1957 году и рассчитывал закончить роман за несколько месяцев. Но тут вмешалась другая работа — «Франк V», а «Правосудие» осталось лежать. Дальнейшие попытки вернуться к роману завершались неудачей, последний раз — в 1980 году; он должен был стать тридцатым томом собрания моих сочинений. Но я потерпел неудачу: пытаясь продолжить действие, я решительно не мог вспомнить, как оно у меня было задумано. Весной 1985 года Даниэль Киль предложил мне издать «Правосудие» в виде фрагмента. Я согласился не без колебаний, решил дописать еще одну основную главу, но потом начал переписывать и дополнять роман, изменив начальный замысел. В завершение хочу поблагодарить Шарлотту Керр, свою жену. Ей я обязан ценными советами, равно как и неустанным, критическим вниманием к моей работе.

Новелла в 24 предложениях

# Поручение,
## или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями

# Der Auftrag
## oder vom Beobachten des Beobachters der Beobachter
### Novelle in vierundzwanzig Sätzen

*Посвящается Шарлотте*

Что будет? Что принесет грядущее? Я этого не знаю и ни о чем не догадываюсь. Когда паук, потеряв точку опоры, срывается в неизвестность последствий, он неизменно видит перед собой пустое пространство, где не за что зацепиться, сколько ни барахтайся. Вот так и со мною: впереди неизменно пустое пространство, а то, что гонит меня вперед, есть последствие, оставленное позади. Эта жизнь лишена смысла и ужасна, невыносима.

*Кьеркегор*

## 1

Когда полиция сообщила Отто фон Ламберту, что его жена Тина, изнасилованная и убитая, найдена у подножия Аль-Хакимовых Развалин и что раскрыть преступление не удалось, психиатр, снискавший популярность книгой о терроризме, распорядился переправить тело вертолетом через Средиземное море, причем гроб, в котором оно лежало, был подвешен на тросе под брюхом машины и летел следом за нею то над необозримыми солнечными равнинами, то сквозь космы туч, над Альпами он вдобавок угодил в метель, а затем в ливневые дожди, но в конце концов плавно опустился в окруженную скорбящими открытую могилу, которую немедля засыпали, после чего фон Ламберт, заметивший, что Ф. тоже снимала похороны, сложил, невзирая на дождь, свой зонтик, секунду пристально смотрел на нее и пригласил сегодня же вечером навестить его, вместе со съемочной группой: у него есть для Ф. поручение, которое не терпит отлагательства.

## 2

Ф., снискавшая популярность кинопортретами — в свое время она решила идти неизведанными путями и теперь вынашивала туманную пока идею создать обобщенный портрет, а именно портрет всей нашей планеты, надеясь достигнуть этого сведéнием разрозненных, случайных эпизодов в единое целое, почему снимала и эти странные похороны, — озадаченно проводила взглядом грузную фигуру фон Лам-

берта, мокрого от дождя, небритого, в черном пальто нараспашку, заговорившего с нею и тотчас отошедшего без слова прощания, и решилась принять его приглашение далеко не сразу, ибо недоброе предчувствие подсказывало ей, что здесь что-то не так и есть опасность влипнуть в историю, которая расстроит собственные ее планы, а потому она со своей съемочной группой явилась в квартиру психиатра, по сути, без всякой охоты, только из любопытства — дескать, что он от меня хочет? — твердо решив ни на что не соглашаться.

## 3

Фон Ламберт принял их в своем кабинете; первым делом он попросил снять его на пленку, безропотно вытерпел все приготовления, а после этого, сидя за письменным столом, заявил перед камерой, что виновен в смерти своей жены, поскольку относился к ней, нередко страдавшей тяжелыми депрессиями, скорее как к пациентке, чем как к жене, а в результате она, случайно прочитав его записки, ушла из дома, накинула на джинсовый брючный костюм рыжую шубу, схватила сумочку да так, по словам экономки, и ушла; с тех пор он ничего о ней не слышал, мало того, пальцем не шевельнул, чтобы о ней разузнать, — хотел, с одной стороны, дать ей полную свободу, а с другой — развеять у нее впечатление (вдруг бы она узнала о его розысках!), что он по-прежнему за нею наблюдает; однако теперь, когда ее постиг такой ужасный конец, а он уразумел, что вина его не только в том, что он применял к ней предписанные психиатрией методы хладнокровного наблюдения, но и в том, что он вообще отказался от розысков, — теперь он считает своим долгом узнать правду, больше того, сделать ее достоянием науки, выяснить, что же все-таки произошло; конечно, судьба жены обнажила ограниченность его науки, но здоровье у него подорвано, и он не в состоянии поехать туда сам, поэтому и поручает ей, Ф., вместе с ее съемочной группой восстановить картину преступления, виновник которого он сам как врач, а убийца представляет собой чисто случайный фактор, — восстановить прямо на том месте, где оно, очевидно, произошло, зафиксировать все по максимуму, чтобы созданный таким образом фильм можно было показывать на конгрессах специалистов и в прокуратуре, ибо он, виновный, как всякий преступник, лишился права хранить свой проступок в тайне; засим он передал ей чек на солидную сумму, несколько фотографий покойной, а также ее дневник

и свои записки, после чего Ф., к удивлению съемочной группы, согласилась выполнить его поручение.

## 4

Ф. распрощалась, оставив без ответа вопрос оператора о том, что означает весь этот вздор, и ночь напролет, почти до рассвета, читала дневник и записки, а после недолгого сна, не вставая с постели, позвонила в бюро путешествий и заказала авиабилеты до М., потом она поехала в город, купила бульварную газету, где на первой полосе были опубликованы фотографии странных похорон и усопшей, и, прежде чем отправиться по небрежно нацарапанному адресу, найденному в дневнике, зашла позавтракать в итальянский ресторан и подсела там к логику Д.*, чьи лекции в университете посещали двое-трое студентов, чудаковатому, но весьма проницательному человеку, о котором никто не знал, совершенно ли он беспомощен в житейских делах или просто разыгрывает беспомощность, и который всякому, кто подсаживался к нему в этом вечно переполненном ресторане, объяснял свои логические проблемы, да так сумбурно и подробно, что никто не мог их постичь, в том числе и Ф., которая, однако же, находила его забавным, симпатизировала ему и частенько делилась своими планами; вот и теперь она заговорила о странном поручении психиатра и о дневнике его жены, не отдавая себе отчета, что рассказывает об этом, настолько занимала ее эта густо исписанная тетрадка, она так и сказала: никогда, мол, в жизни не читала подобных описаний, Тина фон Ламберт изображала своего мужа чудовищем, изображала постепенно, как бы снимая срез за срезом и после, словно под микроскопом, рассматривая их при все большем увеличении и во все более ярком свете, на многих страницах она описывала, как он ест, на многих — как ковыряет в зубах, на многих — как и где почесывается, на многих — как причмокивает или прочищает горло, кашляет, чихает, и прочие непроизвольные действия, жесты, порывы и странности, которые, откровенно говоря, можно найти у любого человека, но делалось это все в такой манере, что у нее, у Ф., теперь просто кусок в горле застревает, и если она еще не притронулась к завтраку, то потому лишь, что ей представляется, будто она ест столь же омерзительно, да и нельзя есть эстетично; когда читаешь этот дневник, все время чувствуешь, как огромная туча наблюдений сгущается в комок омерзения и ненависти, ей кажется,

словно она прочла документальный сценарий о человеке вообще, словно любой человек, если заснять его таким образом, станет тем фон Ламбертом, каким его описала собственная жена, ведь в силу беспощадного наблюдения он теряет всякую индивидуальность; на самом-то деле психиатр произвел на нее совсем другое впечатление, он фанатик своего дела, начавший в этом деле сомневаться, в нем есть что-то до крайности ребячливое, как и во многих ученых, и беспомощное, он верил, что любит жену, и верит до сих пор, но люди слишком уж легко воображают, что любят кого-то, а, по сути, любят только самих себя; сенсационные похороны заронили в нее недоверие, они лишь маскируют его уязвленную гордость — а что, очень может быть, — и, поручив ей, Ф., выяснить обстоятельства, приведшие к гибели жены, он пытается, хотя и неосознанно, стяжать лавры прежде всего себе самому; и если рассуждения Тины о муже тяготеют к утрированности, к излишней наглядности, то записки фон Ламберта — к излишней абстрактности: в них сквозит не наблюдение за человеком, а абстрагирование от него; к примеру, депрессия определяется как психосоматический феномен, порожденный осознанием бессмысленности, которая присуща бытию как таковому, смысл бытия есть само бытие, и, таким образом, бытие принципиально невыносимо, сознание этого дошло до сознания Тины, а такое осознание как раз и есть депрессия — и так далее, целые страницы подобной белиберды, вот почему она совершенно не может поверить, что Тина сбежала, найдя эти записки, как, по всей видимости, полагает фон Ламберт; пусть даже ее дневник и кончается дважды подчеркнутой фразой «за мной наблюдают», Ф. толкует эти слова по-другому: Тина обнаружила, что фон Ламберт читал ее дневник, это вот чудовищно, а не записки фон Ламберта, для человека же, который в глубине души ненавидит и вдруг узнаёт, что ненавидимый знает об этом, нет иного выхода, кроме бегства; тут Ф. поставила точку в своих рассуждениях, добавив, что во всей этой истории что-то не так, остается загадкой, что́ погнало Тину в пустыню, и она, Ф., кажется себе чем-то вроде тех зондов, которые запускают в космос: вдруг они передадут на Землю информацию совершенно неизвестного характера.

## 5

Д. выслушал сообщение Ф., рассеянно заказал себе бокал вина, хотя было только одиннадцать часов, и, столь же рас-

сеянно осушив его, сразу заказал еще один и заметил, что он вообще-то до сих пор занят никчемной проблемой, справедливо ли тождество А=А, ведь оно предполагает два тождественных А, тогда как существовать может лишь одно тождественное себе самому А, относительно же реальности это все равно бессмысленно, ни один человек себе не тождествен, ибо он подвластен времени и, если быть точным, в каждое мгновение иной, чем прежде; иногда ему кажется, он каждое утро другой, словно иное «я», вытесняя предыдущее, пользуется его мозгом, а значит, и его памятью, поэтому он с радостью занимается логикой, которая бытует по ту сторону любой реальности и отвержена от любой экзистенциальной неудачи, вот почему он способен воспринять историю, которой она его попотчевала, лишь в самых общих чертах; старина фон Ламберт потрясен не как супруг, а как психиатр; от врача сбежала пациентка, и свою человеческую неудачу он сразу же превращает в неудачу психиатрии, этот психиатр точно страж без узника, ему не хватает объекта, и виной он называет всего-навсего эту нехватку, а от Ф. хочет всего-навсего недостающего документа для своего досье; стараясь узнать то, чего никогда не поймет, он хочет, так сказать, вернуть умершую в свою тюрьму — материальчик для комедиографа, от начала и до конца, если б не крылась тут проблема, которая его, Д., тревожит уже давно, ведь у себя дома, в горах, он держит зеркальный телескоп, так вот, этот неуклюжий прибор он наводит иной раз на скалу, откуда за ним наблюдают люди с биноклями, после чего эти наблюдатели с биноклями, едва обнаружив, что он наблюдает за ними в телескоп, спешно ретируются, а это только подтверждает логический тезис, что на любое наблюдаемое есть наблюдающее, каковое, если наблюдается тем наблюдаемым, само становится наблюдаемым, — банальное логическое взаимодействие, однако же, транспонированное в реальность, оно оказывается весьма опасным; оттого, что он наблюдает за ними в телескоп, наблюдающие за ним чувствуют себя пойманными с поличным, а это чувство пробуждает стыд, стыд зачастую рождает агрессию, иные из ретировавшихся возвращались, когда он, Д., убирал свой прибор, и бросали камни в его дом, и вообще все, что происходит между теми, кто наблюдает за ним, и им, наблюдающим за своими соглядатаями, весьма показательно для нашего времени, каждый, чувствуя, что все за ним наблюдают, тоже наблюдает за всеми, нынешний человек постоянно находится под наблюдением, государство наблюдает за ним все более утонченными

способами, человек все отчаяннее пытается уйти от наблюдения, государству становится все более подозрителен человек, и наоборот, человеку — государство, точно так же всякое государство наблюдает за другими государствами и чувствует, что другие наблюдают за ним, а человек, как никогда прежде, наблюдает за природой, изобретая для этого все более изощренные приборы, как-то: фото- и кинокамеры, телескопы, стереоскопы, радиотелескопы, рентгеновские телескопы, микроскопы, электронные микроскопы, синхротроны, спутники, космические зонды, компьютеры; у природы выманивают все новые наблюдения — от квазаров, удаленных на миллиарды световых лет, до мельчайших, размером в миллиардные доли миллиметра, частиц, до открытия, что электромагнитное излучение есть излученная масса, а масса есть застывшее электромагнитное излучение; никогда прежде человек не наблюдал природу так усиленно, она стоит перед ним как бы нагая, лишенная всех тайн, из нее извлекают выгоду, над ее ресурсами измываются, оттого ему, Д., иногда кажется, будто природа в свою очередь наблюдает за наблюдающим ее человеком и становится агрессивной; загрязненный воздух, отравленная почва, зараженные грунтовые воды, умирающие леса — это забастовка, сознательный отказ обезвреживать вредные вещества, тогда как новые вирусы, землетрясения, засухи, наводнения, ураганы, вулканические извержения и так далее суть защитные меры наблюдаемой природы, направленные против того, кто за нею наблюдает, точно так же как его телескоп и камни, брошенные в дом, суть контрмеры против наблюдения; нечто похожее — если вернуться к теме — произошло и между фон Ламбертом и его женой, там наблюдение тоже является объективизацией, и вот каждый объективировал другого до невыносимости, он сделал ее объектом психиатрии, она его — объектом ненависти, после чего, внезапно обнаружив, что за нею, за наблюдающей, наблюдает наблюдаемый, она не долго думая накинула на джинсовый брючный костюм рыжую шубу и убежала из дьявольского круга наблюдения и наблюдаемости, убежала в смерть, добавил Д., неожиданно рассмеявшись и вновь посерьезнев; идеи, которые он тут развивал, — это, конечно же, только одна возможность, вторая представляет собой полную противоположность вышесказанному, ведь логический вывод зависит от исходной посылки; если б за ним в его доме в горах наблюдали реже, так редко, что, направь он свой телескоп на тех, кто якобы наблюдал за ним со скалы, а они наблюдали бы в свои

бинокли вовсе не за ним, а за чем-то другим, скажем за прыжками козочек или карабканьем альпинистов, такое отсутствие наблюдения со временем стало бы для него большей мукой, нежели прежде — наблюдение, он бы просто мечтал, чтобы в его дом полетели камни; оставшись без наблюдения, он счел бы себя незначительным, а раз незначительным, то и неуважаемым, а раз неуважаемым, то и ничтожным, а раз ничтожным, то и бессмысленным, он бы наверняка впал в безнадежную депрессию, даже от своей и так уж бесплодной университетской карьеры отказался бы ввиду ее бессмысленности и поневоле сделал бы тогда вывод, что другие люди, как и он, страдают от отсутствия наблюдения; не чувствуя наблюдения, они тоже кажутся себе бессмысленными, потому-то все друг за другом наблюдают и снимают друг друга на пленку — от страха к бессмысленности своего бытия перед разбегающейся вселенной с ее миллиардами галактик вроде нашей, кишащих миллиардами обитаемых планет вроде нашей, безнадежно разъединенных гигантскими расстояниями, вселенной, где непрерывно взрываются и гаснут солнца, — да кому же тут еще наблюдать за человеком, наделяя его смыслом, кроме самого человека, ведь при этом чудовище-вселенной личный бог долее невозможен, бог-вседержитель, бог-отец, наблюдающий за каждым, подсчитывающий у каждого волосы на голове, этот бог умер, ибо стал немыслим, стал совершенно безосновательной аксиомой веры, мыслим один только безличный бог как абстрактный принцип, как философско-литературная концепция, способная наворожить хоть какой-то смысл чудовищному целому, смысл неясный и возвышенный, чувство — это все, имя — звук пустой, дым, омрачающий небесный огонь, заключенный в кафельной печи человеческого сердца, однако же, и разум не в силах исхитриться и присочинить себе еще какой-то смысл помимо человека, вне его, ибо все, что можно помыслить и сделать: логика, метафизика, математика, законы природы, произведения искусства, музыка, поэзия — обретает смысл лишь благодаря человеку, без человека все снова тонет в недуманном, а значит, в бессмысленном; если продолжить этот логический ход, станет понятным многое из происходящего сегодня: человечество, спотыкаясь, бредет наугад в безумной надежде, что за ним все ж таки хоть кто-то наблюдает, ну, например, когда оно ведет гонку вооружений, это, ясное дело, заставляет участников гонки

наблюдать друг за другом, потому-то в глубине души они надеются, что смогут вечно наращивать эту гонку, а значит, должны будут вечно наблюдать друг за другом, без гонки вооружений участники ее погрязнут в ничтожестве, но если вдруг по недосмотру гонка вооружений разожжет атомный пожар, на что она вполне способна, и уже давно, так пожар этот окажется просто-напросто бессмысленной демонстрацией того, что некогда Земля была обитаема, фейерверком, наблюдать который не будет никто, разве только человечество или вообще какая-нибудь цивилизация, возможно существующая вблизи Сириуса либо еще где-нибудь, однако ей не удастся уведомить жаждущего наблюдения о том, что за ним наблюдали, ведь тогда его уже не будет; религиозный и политический фундаментализм, всюду возникающий или по-прежнему царящий, опять-таки говорит о том, что многие, а скорей даже — большинство, не выдерживают отсутствия наблюдения, они обращаются к понятию личного бога либо столь же метафизической инстанции, наблюдающего или наблюдающей за ними, а отсюда выводят для себя право наблюдать, уважает ли мир заповеди наблюдающего за ним Бога или наблюдающей за ним инстанции; с террористами дело похитрее, у них все наоборот, предел их мечтаний — инфантильная страна, где отсутствует наблюдение, но, воспринимая окружающий мир как тюрьму, в которую их швырнули не только противозаконно, но в подземельях которой они еще и лишены всякого наблюдения и внимания, они отчаянно стремятся принудить стражей наблюдать за ними, а тем самым хотят шагнуть из безвестности ненаблюдения на яркий свет всезамеченности, что, правда, станет возможным, только если они, как это ни парадоксально, будут снова и снова скрываться от наблюдения, переходя из подземелья в подземелье, и никогда им не выйти на волю, — короче говоря, человечество норовит вернуться в пеленки, фундаменталисты, идеалисты, моралисты, политхристиане опять усердно навязывают ненаблюдаемому человечеству наблюдение, а значит, и смысл, ведь человек в конечном итоге педант и не может без смысла, потому-то он терпит все, кроме свободы чихать на смысл; вот и Тина фон Ламберт мечтала бегством привлечь к себе внимание мировой общественности, о чем, вероятно, и говорит дважды подчеркнутая фраза «за мной наблюдают», если считать ее уверенным подтверждением задуманного, однако стоит только принять эту возможность, как именно здесь и начинается собственно трагедия: муж Тины толкует ее бегство

не как попытку попасть под наблюдение, а как бегство от наблюдения и в результате отказывается от всяких поисков; стало быть, своей цели Тина фон Ламберт на первых порах не достигла, ее бегство осталось без наблюдения, а значит, без внимания, вероятно, поэтому она и пускалась во все более дерзкие авантюры, пока смертью своей не добилась желаемого, теперь ее фотография во всех газетах, теперь она стала объектом наблюдения и таким образом обрела искомую значимость и смысл.

## 6

Ф., которая, внимательно слушая логика, велела подать себе кампари, сказала, что Д., наверно, удивляет, почему она согласилась на предложение фон Ламберта; конечно, разница между «наблюдать» и «не быть под наблюдением» — забавная логическая шутка, но ее интересует то, что говорилось о человеке, которому, по его мнению, не дано тождества с самим собой, ибо он, брошенный в поток времени, всечасно другой — если она правильно поняла Д., — а это означает, что «я» не существует, есть только неисчислимая вереница плывущих из будущего, вспыхивающих в настоящем и тонущих в прошлом «я», и, стало быть, то, что человек именует своим «я», есть просто собирательное название для всех накопленных в прошлом «я», количество которых непрерывно растет, сверху наслаиваются новые и новые «я», падая из будущего сквозь настоящее; это скопление обрывков пережитого, обрывков воспоминаний сравнимо с кучей листвы, где самые нижние листья давно перегнили, а сверху ложатся новые, упавшие с деревьев, принесенные ветром, и куча делается все выше; и ведет такой процесс к подтасовке «я», поскольку каждый начинает подделывать свое «я», выдумывать себе роль, стараясь сыграть ее более или менее хорошо, а значит, все дело в актерском мастерстве: сумеет человек предстать характерным персонажем или нет; чем интуитивнее, непреднамереннее играется роль, тем естественней впечатление, теперь-то она понимает, отчего так трудно создавать портреты актеров, они слишком уж явно играют своих персонажей, сознательное актерство выглядит неестественно, и вообще, оглядываясь назад, на свое творчество, на людей, портреты которых создала, она не может отделаться от ощущения, будто в первую очередь снимала скверных комедиантов, особенно это касается политиков, лишь немногие среди них были актерами с масштабным «я»; она решила больше кинопортретов не делать,

но сегодня ночью, читая и перечитывая дневник Тины фон Ламберт, представляя себе, как эта молодая женщина в рыжей шубе шагнула в пустыню, в это море песка и камня, она, Ф., уразумела, что вместе со своей съемочной группой непременно должна отправиться по следам этой женщины, должна — во что бы то ни стало — пойти в пустыню к Аль-Хакимовым Развалинам, ведь чутье подсказывает, что там, в пустыне, существует реальность, с которой она, как и Тина, должна встретиться лицом к лицу, для Тины встреча оказалась гибелью, чем она будет для нее самой — пока неизвестно; а затем, допив кампари, она спросила у Д., не безумно ли с ее стороны согласиться на такое вот предложение, и Д. ответил, что она-де хочет отправиться в пустыню, так как подыскивает новую роль, старая роль была — наблюдать за ролями, теперь же она задумала испытать себя в деле прямо противоположном: не создавать портрет, что предполагает наличие объекта, а реконструировать, воссоздать объект портретирования, то есть собрать разбросанные листья в кучу, причем не имея возможности узнать, с одного ли дерева эти листья, которые она укладывает друг на друга, и не создает ли она в итоге свой собственный портрет, — затея хоть и безумная, но опять-таки безумная ровно настолько, чтобы безумной не быть, а посему он желает ей всех благ.

## 7

С самого утра было по-летнему душно, а когда Ф. подошла к машине, и вовсе загремел гром, она едва успела поднять верх своего кабриолета, как хлынул проливной дождь, под которым она, минуя Старый город, проехала к Старому рынку и, несмотря на запрет, припарковалась у бровки тротуара; да, она не ошиблась: по этому адресу, бегло накарябанному в дневнике, в свое время действительно находилась мастерская одного недавно умершего художника, правда, он много лет назад уехал из города, так что мастерскую наверняка занимал кто-то другой, если она вообще сохранилась, там ведь и раньше все от старости на ладан дышало, а потому Ф. не сомневалась, что никакой мастерской сейчас и в помине нет, однако, поскольку этот адрес был явно каким-то образом связан с Тиной — иначе откуда бы ему взяться в дневнике? — она, не обращая внимания на хлещущие с неба потоки воды, проделала недолгий путь от машины до парадного и, промокшая до нитки, хотя дверь была не заперта и сразу открылась, вошла в коридор,

где с той давней поры ничего не изменилось; двор, по брусчатке которого плясали капли дождя, тоже остался прежним, равно как и сарай, где некогда располагалась мастерская художника; дверь на лестницу, к ее удивлению, оказалась опять-таки открыта, верхние ступеньки тонули в кромешной тьме, включить свет не удалось, и Ф. пошла наверх, как слепая, вытянув вперед руки, там она нащупала дверь и вот уже очутилась в мастерской — просто не верится, но в блеклом серебристом отсвете сбегавшего по окнам дождя все здесь тоже выглядело совершенно как раньше; длинное узкое помещение и теперь еще было заполнено картинами давнего хозяина мастерской, а ведь он покинул город много лет назад; огромные портреты, колоритнейшие обитатели Старого города, окружали Ф.: виртуозы-заемщики, горькие пьяницы, бродяги, уличные проповедники, сутенеры, профессиональные бездельники, спекулянты и прочие любители легкой жизни, большинство из них уже на том свете, как и сам художник, только отправились они туда не столь торжественно, как он, на чьих похоронах она присутствовала, этих провожали в последний путь разве что заплаканные проститутки да собутыльники, лившие в могилу пиво, если их вообще хоронили на кладбище, а не кремировали, — она-то думала, что эти портреты давным-давно в музеях, и даже видела их на выставках; у ног всех этих людей, существовавших теперь только на холсте, громоздились другие картины, форматом поменьше, а изображали они трамваи, уборные, сковородки, разбитые автомобили, велосипеды, зонтики, полицейских-регулировщиков, бутылки чинзано — художник, кажется, изобразил буквально все на свете; беспорядок в мастерской царил чудовищный, возле громадного, в дырах, кожаного кресла, на ящике, стоял поднос с копченой говядиной, на полу — бутылки кьянти и стакан, до половины наполненный вином, газеты, яичная скорлупа, повсюду разбросаны тюбики с краской, словно художник еще жив, кисти, палитры, склянки со скипидаром и керосином, только мольберта не было, дождь хлестал по окнам на длинной стене; чтобы стало посветлее, Ф. отодвинула от третьего окна председателя городского общинного совета и директора банка, вот уж два года ведшего в тюрьме чуть менее разгульную жизнь, и очутилась перед портретом женщины в рыжей меховой шубе, которую сперва приняла за Тину фон Ламберт, но потом засомневалась, нет, это не Тина, с таким же успехом это могла быть другая женщина, похожая на Тину, а в следующую секунду Ф. вздрогнула, ей показалось, что

женщина перед нею, своенравная, с широко раскрытыми глазами, — это она сама; пронзенная этой мыслью, она услышала за спиной шаги, обернулась, но слишком поздно — дверь уже захлопнулась, а когда она под вечер вернулась в мастерскую со своей съемочной группой, портрет исчез, зато какие-то другие киношники вели съемки помещения; их режиссер до странности нервозно и даже грубо объявил, что накануне большой выставки в Доме искусств они восстановили здесь все, как было при жизни художника, а до того мастерская пустовала; они перелистали каталог, но портрета не нашли, и режиссер добавил: мол, совершенно исключено, чтобы мастерская была не заперта.

## 8

Это происшествие, в котором она увидела знак, что ищет совсем не там, где нужно, выбило ее из колеи, и лететь ей совершенно расхотелось, но она медлила, подготовка шла своим чередом, и вот они над Испанией, внизу — Гвадалквивир, потом Атлантика, а когда самолет садился в К., она уже радовалась поездке в глубь страны, там наверняка еще зелено, и ей вспомнилась такая же поездка, состоявшаяся много лет назад, и аллея финиковых пальм, по которой ей навстречу с заснеженных Атласских гор тянулся поток машин с лыжами на крышах; лайнер между тем приземлился в К., прямо на посадочной полосе киногруппу ждал полицейский автомобиль, в обход таможни их вместе с аппаратурой погрузили в военный самолет и переправили в глубь страны, в М.; с тамошнего аэродрома в сопровождении четырех полицейских на мотоциклах их помчали в город, мимо колонн автотуристов, которые с любопытством наблюдали за ними, в городе к их свите присоединились еще две машины — впереди и сзади, — телерепортеры, которые беспрерывно вели съемку и, вместе с эскортом подкатив к министерству полиции, снимали Ф. и ее киношников, когда те в свою очередь снимали начальника полиции, а тем временем он — невероятно толстый, в белом мундире, похожий на Геринга, — прислонясь к письменному столу, твердил, как он счастлив, что вопреки опасениям правительства, правда на собственную свою ответственность, может разрешить Ф. и ее группе осмотреть и заснять место ужасного преступления, но больше всего его радует вот что: пытаясь реконструировать злодеяние, Ф.

наверняка не упустит возможности отразить на пленке безупречную работу его полиции, ведь, вооруженная новейшей техникой, она не только соответствует мировому стандарту, но и превосходит его; это беззастенчиво-наглое требование еще усилило закравшиеся у Ф. после происшествия в мастерской подозрения, что она идет по ложному следу, ведь ее предприятие, едва начавшись, потеряло смысл, так как этот жирнюга, поминутно утиравший шелковым платком потный лоб, видел в ней всего лишь удобное средство сделать рекламу себе и своей полиции, но, угодив в западню, она пока не находила способа выбраться на волю, ибо ее и съемочную группу прямо-таки под конвоем отвели к джипу, водитель которого — в тюрбане, а не в белом шлеме, как остальные полицейские, — жестом велел Ф. сесть с ним рядом, оператор, звукооператор, тонмейстер разместились на заднем сиденье, а ассистент с аппаратурой — во втором джипе, где за рулем был негр; Ф. обнаружила, что едут они в пустыню — телевизионщики тоже следовали за ними, — и была очень раздосадована, так как предпочла бы первым делом навести кой-какие справки, но не сумела ничего добиться, поскольку — то ли умышленно, то ли по недосмотру — переводчика не было, а полицейские, скорее распоряжавшиеся ими, чем сопровождавшие их, по-французски не понимали, хотя в этой стране естественней было бы предположить обратное, а до телевизионщиков не докричишься, не услышат, вон их машина мчится по камням пустыни, поодаль и сбоку от джипа Ф., кстати говоря, автоколонна, как таковая, распалась, порядка уже и в помине не было: остальные машины, включая джип с ассистентом и аппаратурой, расползлись-разъехались в опаленных солнцем просторах, словно по хотению водителей, по их капризу, даже четверо мотоциклистов-охранников «отлипли» от джипа, в котором сидели Ф. и ее коллеги, внезапно, наперегонки друг с другом, они рванули прочь, с грохотом поворачивая, закладывая широкие виражи, а телевизионщики между тем на полной скорости ринулись к горизонту и вдруг пропали из виду, ну а водитель их джипа, что-то нечленораздельно вопя, погнался за шакалом, машина выписывала немыслимые вензеля, шакал мчался что есть духу, петлял, менял направление — джип за ним, несколько раз он едва не перевернулся, потом снова притарахтели мотоциклисты, закричали, замахали руками, делая какие-то знаки, которых они, судорожно вцепившиеся в сиденья, не понимали, пока не очутились вдруг в песчаной пустыне, судя по все-

му — в одиночестве, других автомобилей не видно, даже четверка мотоциклистов отстала; так летели они в своем джипе по асфальтированному шоссе, теряясь в догадках, каким образом их шофер, не сумевший догнать шакала, изловчился отыскать эту дорогу; ведь местами она была занесена песком и по обе стороны громоздились песчаные барханы, отчего Ф. казалось, будто они бороздят бурное песчаное море, на котором солнце рисовало все более длинные тени, и вот прямо впереди возникли Аль-Хакимовы Развалины; джип внезапно устремился в низину, к монументу, который, омрачая солнце, вырастал перед нею из толчеи полицейских и телевизионщиков, уже копошившихся вокруг него — вокруг загадочного свидетеля непостижимой древности, найденного на рубеже веков, — огромный, до зеркального блеска отполированный песком каменный квадрат, оказавшийся верхней гранью куба, который с продолжением раскопок приобретал все более гигантские размеры, но, когда решено было отрыть его полностью, явились святые мужи какой-то шиитской секты, оборванные, изможденные фигуры в черных плащах, уселись на корточки у одной из сторон куба и стали ждать безумного халифа Аль-Хакима (по их поверьям, он прятался внутри куба и каждый месяц, каждый день, каждую минуту, каждую секунду мог выйти оттуда и взять власть над миром), словно исполинские черные птицы, сидели они, и никто не решался их прогнать, археологи расчищали остальные три боковые грани, закапывались все глубже, а черные суфи — так их называли — сидели, неподвижные, высоко над ними, даже когда налетал ветер, забрасывая их песком, они не шевелились; раз в неделю их навещал огромный негр, он приезжал верхом на ишаке, совал каждому ложку каши и брызгал водой, а говорили про него, что он самый настоящий раб; Ф. подошла к ним поближе, так как молодой полицейский офицер, внезапно овладев французским, сообщил ей, что труп Тины был найден среди этих, как он почтительно выразился, «святых», кто-то, видимо, бросил его среди них, правда, что-нибудь узнать у них невозможно, ибо они дали обет молчать до возвращения своего «махди»; Ф. долго смотрела на длинные ряды скорченных неподвижных фигур, как бы вросших в черные блоки куба, этакий полип с одного его боку, ни дать ни взять мумии — длинные, седые, клочковатые, заскорузлые от песка бороды, глаза утонули в провалах глазниц, тела с ног до головы сплошь облеплены копошащимися мухами, руки сцеплены, длинные

ногти впились в ладони, потом она осторожно тронула одного: вдруг все-таки что-нибудь да скажет? И он упал, это был мертвец, и сосед его тоже, за спиной у Ф. жужжали камеры, только третий старик показался ей вроде как живым, но тронуть его она не решилась и дальше не пошла, лишь ее оператор прошагал вдоль всего ряда, прижимая к глазам кинокамеру; когда же Ф. сообщила об этом инциденте полицейскому офицеру, который не отходил от машины, тот сказал, что об остальном позаботятся шакалы, ведь и труп Тины нашли растерзанным в клочья, и в этот миг спустились сумерки, солнце, верно, зашло за край низины, и Ф. почудилось, будто ночь бросится сейчас на нее, как милосердная врагиня, несущая быструю смерть.

## 9

На другой день уехать тоже не удалось: Ф. хотела уже забронировать места в самолете, но оператор спутал ее планы известием о пропаже отснятых материалов, кассеты подменили, хотя телевизионщики упорно твердят, что ничего подобного, материал его; разъяренный оператор потребовал проявить пленки и тем решить спор, ему обещали сделать это вечером, а значит, отъезд становился невозможным, и вот уж полиция снова куда-то их потащила, причем самое разумное в этих условиях было притвориться заинтересованными, так как в подземельях министерства полиции им показали кой-каких людей — Ф. разрешили говорить с ними и вести съемку; у дверей этим людям снимали наручники, но стоило им сесть, и в спину тотчас упирался ствол полицейского автомата; плохо выбритые, почти беззубые, эти люди дрожащими руками хватали предложенную Ф. сигарету и, бегло глянув на фотографию Тины, в ответ на вопрос, видели ли они эту женщину, согласно кивали, а на вопрос, где именно, тихо роняли: в трущобах Старого города; все они, точно в униформе, были в грязных белых штанах и куртках, без рубах, и все как один повторяли: в Старом городе, в Старом городе, в Старом городе, а потом каждый сообщал, что ему показывали фотографию этой женщины и предлагали за деньги убить ее, она-де супруга человека, который, взяв под защиту арабское Сопротивление, отказался называть его террористической организацией или что-то в таком роде, он не очень понял, почему женщина должна из-за этого умереть, и вообще, сам он на сделку не пошел, вознагражде-

ние-то курам на смех, у них расценки давно определены, дело чести как-никак, а нанимал его низенький толстяк, кажись, американец, больше он ничего не знает, женщину видел единственный раз, с тем толстяком, в Старом городе, да он уже говорил; приблизительно то же самое механически повторяли и остальные, жадно затягиваясь сигаретой, только один при виде фотографии ухмыльнулся, выпустив дым в лицо Ф., это был почти карлик, с большим морщинистым лицом, и по-английски говорил примерно так, как говорят скандинавы, он сказал, что никогда этой женщины не видел и никто ее не видел, после чего полицейский рывком поставил его на ноги и двинул автоматом в спину, но тут вмешался офицер, прикрикнул на охранника, подвал вдруг наполнился множеством полицейских, коротышку с морщинистой физиономией увели, в дверь впихнули нового арестанта, он уселся в слепящем свете юпитеров, опять хлопушка, жужжание кинокамеры, он взял дрожащими руками сигарету, посмотрел на фотографию, рассказал ту же историю, что и другие, с незначительными отклонениями, говорил порой неразборчиво, как и другие, ибо, как и другие, был почти беззубый, потом привели следующего, потом последнего, а потом из голого бетонного бункера, где допрашивали всех этих людей и где был только колченогий стол, юпитер да несколько стульев, они, пройдя по тюремным подземельям мимо железных решеток, за которыми в камерах сидели и лежали скрюченные белесые тени, поднялись на лифте к следователю, в уютный, обставленный современной мебелью кабинет, где их встретил обаятельный красавчик юрист в очках без оправы, которые совсем ему не шли, он усадил Ф. и ее группу в мягкие кресла возле круглого стола со стеклянной крышкой и стал потчевать их всевозможными деликатесами, даже икра и водка нашлись; исправно отдавая должное белому эльзасскому вину, присланному коллегой из Франции, и жестом показав оператору, который держал камеру наготове, что снимать не надо, следователь многоречиво уверял, что он правоверный мусульманин, во многом прямо-таки фундаменталист, бесспорно, у Хомейни есть свои положительные и даже сильные стороны, но процесс, ведущий к сплаву правосознания Корана и европейских юридических воззрений в этой стране, уже не остановить, здесь как в средневековье, когда произошла интеграция Аристотеля в исламскую теологию, разглагольствовал он, однако в конце концов после утомительного экскурса в историю испанских Омейядов

как бы невзначай завел речь о деле Тины фон Ламберт, выразил сожаление по поводу случившегося, ему, дескать, вполне понятны эмоции, которые эта история вызвала в Европе, Европа привержена к трагическому, а вот культура ислама — к фатализму, затем он показал фотографии трупа, сказал: н-да, шакалы, — потом заметил, что жертва была уже мертва, когда ее перенесли к черным суфи у Аль-Хакимовых Развалин, а это, простите, говорит о том, что преступление совершил христианин или... гм, н-да... мусульманин никак бы не посмел бросить труп среди святых мужей, все просто возмущены, он предъявил заключение судебных медиков: изнасилование, смерть от удушения, явных следов борьбы нет — и продолжал: люди, которых видела Ф., — это иностранные агенты, ну а кто конкретно был заинтересован в убийстве, уточнять незачем, отказ Ламберта на международном конгрессе против терроризма назвать арабских борцов за свободу террористами — и некая секретная служба не замедлила дать наглядный урок; подозревается в преступлении один из агентов, страна кишит шпионами, в том числе, разумеется, советскими, чешскими и прежде всего восточногерманскими, но главным образом американскими, французскими, английскими, западногерманскими, итальянскими — всех не перечислишь, словом, авантюристами со всего света; та секретная служба — Ф. ведь знает, какую конкретно он имеет в виду, — работает чрезвычайно ловко, перевербовывает чужих агентов — вот в чем гнусность-то! — перевербовывает; убийством Тины фон Ламберт они хотели, с одной стороны, осуществить акт мести, с другой же — испортить добрые торговые отношения его страны с Европейским сообществом, а в особенности затруднить вывоз таких товаров, таких продуктов, экспорт которых в Европу в первую очередь... гм, н-да... затем, ответив на телефонный звонок, следователь молча пристально поглядел на Ф. и ее группу, открыл дверь, жестом пригласил их следовать за собой и зашагал впереди всех по коридорам, потом вниз по лестнице и снова по коридорам, отпер железную дверь, снова коридор, поуже других, и вот они очутились у стены, в которой было проделано несколько потайных окошек, за ними лежал совершенно голый двор, заключенный внутри здания министерства полиции, и сперва они увидели только гладкие, без окон, стены, а потом в этот похожий на колодец двор, мимо строя полицейских с автоматами, в белых шлемах и белых перчатках, ввели

коротышку-скандинава в наручниках, за ним шагал капитан полиции с саблей наголо, скандинав стал у бетонной стены напротив полицейских, офицер — обок шеренги, вертикально поднял саблю к лицу, все это выглядело как фарс, а когда во двор ввалился толстенный начальник полиции, ощущение фарсовости еще усилилось, натужно пыхтя, он подвалил к ухмыляющемуся коротышке, сунул ему в рот сигарету, поднес огонь, снова отвалил из поля зрения наблюдателей, стоявших наверху у потайных окошек, камера жужжала, оператор каким-то образом ухитрялся снимать происходящее на пленку, коротышка внизу курил, полицейские ждали, вскинув автоматы, к дулам которых было что-то приделано, очевидно глушители, и опять ждали, офицер опустил саблю, коротышка курил и курил, казалось, этому конца не будет, полицейские забеспокоились, офицер опять рывком поднял саблю вверх, полицейские снова прицелились, глухой раскат, коротышка скованными руками выдернул изо рта сигарету, бросил под ноги, затоптал — и рухнул наземь, а полицейские опустили автоматы, он лежал не шевелясь, а кровь текла, текла к середине двора, к сливной решетке, а следователь, отойдя от окошка, сказал, что скандинав во всем сознался, увы, начальник полиции слишком торопится, очень жаль, конечно, но возмущение в стране... гм, н-да... и они двинулись в обратный путь, по узкому коридору, через железную дверь, опять по коридорам, но на этот раз по другим, вверх-вниз по лестницам, и вот просмотровый зал, где уже сидел начальник полиции, он расплылся в кресле, благостный, возбужденный казнью, распространяющий густой запах пота и духов, дымящий сигаретами, такими же, как та, какой он угощал коротышку, в чье признание не верили ни сама Ф., ни ее группа, ни даже следователь, который после очередного «гм, н-да» тактично удалился; на экране — Аль-Хакимовы Развалины, машины, телевизионщики, полиция, четверо мотоциклистов, Ф. со съемочной группой, оператор инструктирует идиотски ухмыляющегося ассистента, тонмейстер колдует над своей аппаратурой, вперемешку с этим пустыня, полицейский на верблюде, джип, водитель в тюрбане за рулем, сама Ф., куда-то пристально глядящая, куда именно — не показано, а смотрела она на вереницу скрюченных фигур у подножия Развалин, на эти облепленные мухами, полуутонувшие в песке человекоподобные существа, по черным плащам которых сыпался песок, но о них ни единого кадра, опять лишь полицейские: на учебных занятиях, в классах, на

спортивных тренировках, в казарменных спальнях, с зубными щетками, под коллективным душем, и по поводу всего этого бурные восторги беломундирного Геринга, дескать, фильм превосходный, поздравляю, потом изумленное «да что вы?» на возражение Ф., что фильм не их, и тотчас же ответ, что материал, видно, был испорчен, неудивительно при пустынном-то солнце, но ведь преступление уже раскрыто, убийца казнен, и он желает ей счастливого возвращения домой, после чего он поднялся, благосклонно обронил «прощай, дитя мое» (что особенно разозлило Ф.) и вышел из зала.

## 10

На улице их встретил насмешливый взгляд шофера в тюрбане, он сидел за рулем своего джипа, а за спиной у него на просторной площади между министерством полиции и большой мечетью кишели туристы, местные ребятишки сразу взяли их в осаду, хватая за руки, разжимая ладони в надежде разжиться деньгами; из мечети, усиленные динамиками, неслись тявкающие звуки проповеди, ревели клаксоны такси и туристских автобусов, прокладывающих себе дорогу в этом муравейнике, в толчее снимающих друг друга на фото- и кинопленку отпускников, толчее, которая составляла какой-то нереальный контраст с событиями, разыгравшимися в белом здании министерства полиции, словно две реальности вдвинулись одна в другую — зловеще-жестокая и туристски-банальная, а когда полицейский в тюрбане еще и обратился к Ф. по-французски, хотя до сих пор французским не владел, она, решив, что это уже слишком, отстала от своей группы, ей хотелось побыть одной, она чувствовала себя чем-то виноватой в смерти коротышки-скандинава, ведь казнь устроили только для того, чтобы помешать ее дальнейшим разысканиям, вновь и вновь вставало перед нею морщинистое лицо с сигаретой в тонких губах, потом облепленные мухами головы черных фигур у Аль-Хакимовых Развалин, ей казалось, что, едва ступив на землю этой страны, она угодила в кошмарный сон, которому не было конца, и вообще, впервые в жизни она потерпела поражение; продолжая розыски, она поставит под удар не только собственную жизнь, но и жизнь своих сотрудников, начальник полиции — человек опасный, он ни перед чем не остановится, в смерти Тины фон Ламберт есть какая-то загадка, да и следователь болтать-то болтал, а намеки отпускал чересчур уж прозрачные — неуклюжая попытка что-то утаить, скрыть от общественности, но что это

было — она не знала, а потом опять корила себя за то, что некто сумел удрать из мастерской, пока она разглядывала портрет женщины в рыжей шубе, и в воспоминании эта женщина все больше походила на нее самое; кто ж там прятался, в мастерской, мужчина или женщина, неужели режиссер о чем-то умолчал, кто спал на кровати за занавеской — это она тоже не выяснила, упустила, и вот, пока она негодовала на собственную небрежность, толпа потных туристов принесла ее в Старый город; внезапно дышать стало трудно — от запаха, в который она окунулась, причем это был не какой-то определенный запах, а запах всех пряностей сразу, приправленный запахом крови и экскрементов, кофе, меда и пота; она шла темными, похожими на глубокие щели переулками, то и дело озарявшимися светом ламп-вспышек, поскольку в толпе все время кто-нибудь да фотографировал, шла мимо стопок медных котлов и чаш, горшков, ковров, декоративных вещиц, радиоприемников, телевизоров, чемоданов, мимо мясных и рыбных рядов, мимо гор овощей и фруктов, окутанная пронзительно-едким облаком ароматов и вони, шла, пока не коснулась вдруг чего-то мохнатого; Ф. остановилась, люди протискивались мимо, двигались навстречу, только были это, как она в замешательстве обнаружила, уже не туристы; над нею на проволочных плечиках висели дешевые кричаще-яркие женские юбки всех цветов радуги — гротеск, тем более что никто таких юбок не носил, а коснулась она рыжей шубы и сию же минуту поняла, что эта шуба Тины фон Ламберт, которая, наверно, и притянула ее к себе, как магический талисман, — во всяком случае, ей так показалось, поэтому она чуть ли не против воли вошла в лавку, у дверей которой висела одежда, собственно, помещение больше походило на нору, и лишь долгое время спустя она угадала в темноте древнего старика и заговорила с ним, но он остался безучастен, тогда она схватила его за руку и силком вывела наружу, под развешенные юбки; не обращая внимания на сбежавшихся тем временем детей, глазевших на нее, Ф. сдернула шубу с плечиков и, твердо решив купить ее, за любую цену, только теперь заметила, что перед нею слепой, одетый всего-навсего в какую-то долгополую, грязную, некогда белую хламиду с большим пятном засохшей крови на груди, полуприкрытым жиденькой бороденкой, лицо его с желтоватыми бельмами на месте глаз было неподвижно, вдобавок он вроде и не слышал, она взяла его руку, провела ею по меху, он не отозвался, дети всё стояли рядом, толпа росла, подходили местные жители, любопытствуя, что тут за пробка,

старик по-прежнему молчал, Ф. слазила в сумку, которая, как всегда, висела у нее на плече и в которой она с присущей ей беспечностью держала паспорт, побрякушки, авторучку, блокноты и деньги, сунула старику в ладонь несколько купюр, надела шубу и пошла прочь сквозь толпу, в сопровождении двух-трех ребятишек, которые что-то ей говорили, но она не понимала ни слова; выбравшись из Старого города — неведомо как и неведомо где, — она поймала такси и вернулась в гостиницу, где ее встретили недоуменные взгляды праздно сидевшей в холле съемочной группы, а она, в рыжей шубе, потребовала у тонмейстера сигарету и сказала, что в этой самой рыжей шубе, которую она отыскала в Старом городе, Тина фон Ламберт ушла тогда в пустыню, и пускай это глупо, но домой она поедет, только узнав всю правду о смерти Тины.

## 11

Разумно ли это? — спросил тонмейстер, ассистент сконфуженно усмехнулся, а оператор встал, сказав, что он в этом идиотизме больше не участвует, ведь, как только Ф. ушла от них, опять явились полицейские и конфисковали отснятый в министерстве материал, а когда они приехали сюда, выяснилось, что администратор уже забронировал места в самолете и завтра утром чуть свет за ними придет такси, он, конечно, рад уехать из этой проклятой страны, люди, которых допрашивали, прошли через пытки, потому у них и не было зубов, а расстрел коротышки... в номере его целый час наизнанку выворачивало, нет, дурость это, вот что, — вмешиваться в политику страны, он был прав в своих опасениях, розыски, настоящие, заслуживающие такого наименования, здесь не только невозможны, но и опасны для жизни, впрочем, он бы спокойно наплевал на опасность, если б видел для ее затеи хоть малейший шанс на успех, тут он снова бросился в кресло и добавил: откровенно говоря, весь план настолько неясен, даже сумбурен, что он искренне советует Ф. поставить на нем крест, ну хорошо, она добыла рыжую шубу, но есть ли у нее уверенность, что шуба принадлежала этой самой Ламберт, на что Ф. сердито ответила, что еще никогда и ни на чем крест не ставила, а когда тонмейстер, более всего любивший мир и покой, подлил масла в огонь, заметив, что, наверно, ей все-таки лучше уехать с ними, ведь иным фактам суждено остаться загадкой навеки, она,

не прощаясь, ушла к себе, но, едва открыв дверь номера, замерла на пороге: в кресле под торшером сидел обаятельный красавчик в очках без оправы, следователь, и безмолвно наблюдал за нею, столь же безмолвно наблюдавшей за ним, потом он жестом указал на второе кресло, и Ф. машинально села; ей показалось, будто под вкрадчивой мягкостью этого красавчика проглядывает что-то суровое, решительное, до той поры скрытое, и речь его, прежде туманная и уклончивая, теперь, когда он заговорил, поздравляя ее с покупкой шубы Тины фон Ламберт, была сурова, деловита и порою насмешлива — речь мужчины, который обвел кого-то вокруг пальца и очень этому рад, — вот почему Ф. только молча кивнула, когда он сообщил, что пришел поблагодарить ее за отснятый материал, это великолепно, черные святые и казнь датчанина ему как нельзя более кстати, а когда она спросила, что же он намерен делать, он спокойно ответил, что, между прочим, позволил себе поставить в холодильник рядом с обычными здесь фруктовыми соками, лимонадами и минеральной водой бутылку шабли, а возле холодильника найдется бутылка виски, и, когда она сказала, что предпочитает виски, он удовлетворенно произнес, что так и думал, а еще есть орехи; он встал, отошел к холодильнику и, немного погодя вернувшись с двумя стаканами виски, льдом и орехами, представился, он-де шеф тайной полиции и потому знаком с ее, Ф., привычками, за свою болтовню в министерстве он приносит извинения: ничего не попишешь, у начальника полиции всюду «блошки» понатыканы, да и у него самого, впрочем, тоже, в любую минуту он может подслушать все, что подслушивает начальник полиции; потом он коротко сообщил о намерении начальника полиции захватить власть в стране, изменить внешнеполитический курс, свалить убийство Тины на чужую секретную службу, потому скандинава и расстреляли, но начальнику полиции неизвестно, что расстрел снят на пленку, как неизвестно и то, что он, шеф секретной службы, держит его под наблюдением, и вообще, начальник полиции понятия не имеет, кто стоит во главе секретной службы, ему бы только корчить из себя этакого вождя, который распоряжается полицией как своей личной армией, чтобы заручиться ее поддержкой на случай захвата власти, а вот у него, шефа секретной службы, цель другая — разоблачить начальника полиции, показать, как он коррумпировал свое ведомство и как ненадеж-

на и шатка его готовая того гляди рухнуть власть, но прежде всего очень важно на примере убийства Тины фон Ламберт выявить бездарность начальника полиции, потому-то он, шеф секретной службы, сделал буквально все, чтобы Ф. могла продолжить свои розыски, правда с новой съемочной группой, которую подобрал он лично, у начальника полиции не должно возникнуть даже тени подозрения, прежняя ее группа уедет, он, шеф секретной службы, принял все меры предосторожности, проинструктировал нужных людей, гостиничный персонал действует по его заданию, одна из его добрых знакомых подменит ее, прошу вас! — с этими словами он распахнул дверь, и в комнату вошла молодая женщина, одетая, как и Ф., в джинсовый костюм, рыжая шуба — точь-в-точь как у Тины фон Ламберт — наброшена на плечо; это обстоятельство тотчас насторожило Ф., и она спросила, не является ли просьба до конца выяснить судьбу несчастной Тины фон Ламберт, скорее, приказом, а в ответ услышала, что она ведь сама согласилась выполнить поручение фон Ламберта, а он, шеф секретной службы, считает своим долгом помочь ей; немного погодя он добавил, что жить Ф. будет в другом месте, опасаться ей нечего, отныне она под его защитой, но было бы неплохо, если б она поставила в известность свою группу — в ее собственных интересах сообщить им лишь самое необходимое, — и он, попрощавшись, увел с собой молодую женщину, которая походила на Ф. лишь постольку, поскольку издалека их все-таки можно было спутать.

## 12

Оператор был уже в постели, когда позвонила Ф., в пижаме он пришел к ней в номер, где она собирала чемодан, и молча выслушал ее рассказ, а рассказала она без утайки обо всем, даже о совете шефа секретной службы сообщить коллегам лишь самое необходимое, правда, как только она умолкла, он налил себе виски, но выпить забыл, задумался и наконец сказал, что Ф. угодила в ловушку, ведь рыжая шуба Тины фон Ламберт не случайно оказалась в Старом городе у слепого лавочника, рыжая шуба — это приманка, таких шуб очень мало, может, вообще одна, и давешнее появление женщины во второй такой шубе говорит о наличии продуманного плана, они явно рассчитывали, что Ф. пойдет в Старый город и что рыжая шуба, висящая среди дешевых юбок, бросится ей в глаза, а на то, чтобы сделать вторую шубу для двойника, нужно время; шеф секретной службы хочет обезвредить начальника полиции —

это понятно, а вот зачем ему тут Ф., он совершенно не понимает, зачем столько хлопот, нет, в игру входит что-то еще, Тина фон Ламберт приехала в эту страну не из каприза, а по некой причине, имеющей отношение и к ее смерти, книгу фон Ламберта о терроризме он прочитал, арабскому Сопротивлению там отведено две страницы, фон Ламберт категорически не согласен называть их террористами, подчеркивая, правда, что на преступления способны и нетеррористы — Освенцим, например, детище отнюдь не террористов, а чиновников, — нет, все-таки не может быть, чтоб жену фон Ламберта убили именно из-за этого, шеф секретной службы тоже умалчивает о главном. Ф. попалась в его западню, и отступать ей некуда, но с ее стороны весьма опрометчиво посвящать его, оператора, во всю эту историю, и вообще, удивительно, что шеф секретной службы отпускает съемочную группу, ну а теперь им надо пожелать друг другу удачи, с этими словами оператор обнял ее и ушел, даже не пригубив виски, чего она прежде за ним не замечала, и Ф. вдруг показалось, что она никогда больше не увидит его, и снова вспомнилась мастерская, теперь она была уверена, что шаги за спиной были женские; в сердцах она залпом осушила стакан и опять занялась сборами, потом захлопнула чемодан, набросила поверх джинсового костюма рыжую шубу, а гостиничный бой, вовсе на боя не похожий, взял чемодан и по черной лестнице проводил Ф. к лендроверу, где ждали двое мужчин в бурнусах; они повезли ее за город, сначала по шоссе, затем, насколько она смогла разглядеть в безлунной ночи, по грунтовой пыльной дороге через какой-то головокружительный перевал, мимо снежников и осыпей, вверх-вниз по ущельям, все дальше в горы, наконец машина затормозила возле смутно белеющих в рассветном сумраке стен, которые при ближайшем рассмотрении — когда они вышли из кабины — оказались ветхой трехэтажной постройкой с вывеской GRAND-HÔTEL MARÉCHAL LYAUTEY[1] над входной дверью, то и дело хлопавшей на ледяном ветру; на втором этаже этого дома — внизу, на первом, скудно освещенном единственной лампочкой, сколько ни звали, так никто и не появился — один из мужчин определил Ф. на жительство: молча открыл какую-то дверь, втолкнул Ф. в комнату и поставил чемодан на дощатый пол, после чего она, ошеломленная грубым обхождением, услышала, как он протопал вниз по лестнице, а

---

[1] Гранд-отель «Маршал Лиотс» *(франц.)*.

немного спустя лендровер укатил, очевидно назад в М.; она угрюмо осмотрелась: с потолка тоже свисала одинокая лампочка, душ в ванной не работал, обои рваные, а вся обстановка состояла из колченогого стула и походной койки, правда застланной свежим бельем, входная дверь внизу все хлопала, и даже во сне она еще долго слышала эти хлопки.

## 13

Был уже полдень, когда она проснулась — проснулась, наверно, потому, что дверь больше не хлопала; за окном, до того грязным, что оно едва пропускало дневной свет, она увидела скалистый, поросший густым кустарником, изрезанный ущельями ландшафт, на заднем плане круто горбатился горный кряж, в ледяных складках которого замешкалось облако, окутавшее вершину и, казалось, бурлившее в солнечных лучах, — безотрадное место, глядя на него, Ф. невольно спросила себя, для чего служила когда-то и служит теперь эта гостиница, куда ее привезли, ведь как гостиницу это здание явно уже не используют; закутавшись в рыжую шубу, так как было очень холодно, она спустилась вниз, но никого там не обнаружила, сколько ни звала, — в холле (его и холлом-то грех назвать — так, убогая комнатенка) никого не было, в кухне тоже, как вдруг откуда-то из боковушки пришаркала старуха и остановилась в дверях холла, уныло глядя на Ф., а потом забормотала по-французски «ее пальто, ее пальто», дрожа и показывая пальцем на рыжую шубу, она повторяла это «ее пальто» снова и снова, явно в полнейшем смятении, потому что, шагнув было к Ф., метнулась назад в боковушку, очевидно служившую некогда столовой, прижалась к стене, отгородясь обеденным столом и ветхими стульями, и замерла в испуге, но Ф., чтобы успокоить старуху, отказалась от попыток приблизиться к ней, осталась в этой убогой комнате, единственным украшением которой был большой, пожелтевший от времени портрет французского военного, очевидно маршала Лиоте, и спросила по-французски, нельзя ли здесь позавтракать, старуха в ответ энергично кивнула, подошла к Ф., взяла ее за руку и отвела на террасу, где у стены под некогда оранжевой, в прорехах, маркизой был накрыт простой деревянный стол, да и завтрак был уже готов — старуха внесла его сразу же, как только Ф. села к столу; если из ее комнаты видна была лишь неразбериха ущелий, кустарников и скал с кипящим горным кряжем на заднем плане, то теперь взгляд Ф. скользил по отлогому, еще зеленому холму, возле которого, точно волны,

гасящие одна другую, расплескались холмы пониже, а далеко внизу золотилась тусклой желтизной великая песчаная пустыня и на самой грани видимого даже угадывалось черное пятнышко, Аль-Хакимовы Развалины; дул свежий ветер, Ф. с удовольствием куталась в рыжую шубу, которую старуха то и дело разглядывала, а иногда робко, почти с нежностью гладила рукой; она не уходила от завтракающей Ф., словно приставленная к ней сторожем, но испуганно вздрогнула, когда Ф. напрямик спросила, знала ли она Тину фон Ламберт, вопрос этот, похоже, вновь поверг старуху в смятение, она забормотала «Тина, Тина, Тина», показывая на шубу, потом спросила, не подруга ли ей Ф., а получив утвердительный ответ, возбужденно, взахлеб сообщила, насколько поняла Ф., вот что: Тина, взяв напрокат автомобиль, приехала сюда одна — это «одна» старуха повторила раз пять, и насчет машины тоже что-то невразумительное пробормотала, — сняла комнату на три месяца и все ходила да ездила по окрестностям, добралась до самой великой пустыни, даже до черного камня — видимо, она имела в виду Развалины, — а потом вдруг не вернулась, но она, старуха, знает, однако, что́ именно знала старуха, осталось непонятно, как ни старалась Ф. дойти до смысла начатых, повторяющихся и оборванных фраз: старуха вдруг умолкла, настороженно уставилась на рыжую шубу, и Ф., уже покончившая с завтраком, почувствовала, что у старухи вертится на языке какой-то вопрос, но задать его она не решается, и, не раздумывая, довольно-таки безжалостно сказала, что Тина больше не вернется, она умерла; поначалу старуха восприняла эту весть равнодушно, будто и не поняла ничего, а потом вдруг принялась гримасничать, хихикать себе под нос — от отчаяния, как в конце концов догадалась Ф.; схватив старуху за плечо и встряхнув, она потребовала, чтобы ее отвели в комнату, где жила Тина, в ответ старуха, продолжая хихикать, буркнула, кажется, «на самом верху», а когда Ф. пошла вверх по лестнице, она горько расплакалась, впрочем, Ф. уже не обратила на это внимания, потому что отыскала на третьем этаже комнату, которую, видимо, занимала Тина фон Ламберт; комната была получше той, где ночевала Ф., и обставлена с претензией на некоторый комфорт, совершенно не вязавшийся с этой гостиницей и удививший Ф., когда она огляделась по сторонам: широкая кровать под старым стеганым одеялом неопределенного цвета, камин, явно ни разу еще не топленный, на нем несколько томиков Жюля Верна, над ним опять пожелтевший

портрет маршала Лиоте, старинный секретер, ванная комната с облупленным кафелем и ржавыми пятнами в ванне, обтрепанные плюшевые шторы, балкон, выходящий на далекую песчаную пустыню; едва ступив на него, она увидела, как за низенькой стенкой в сотне метров от дома что-то исчезло, она подождала, и «что-то» появилось вновь, это была голова мужчины, наблюдавшего за нею в бинокль, так что ей невольно вспомнилась дважды подчеркнутая Тиной фраза «за мной наблюдают», а когда она вернулась в комнату, там уже поджидала старуха с чемоданом, купальным халатом и сумкой, словно иначе и быть не могло, захватила она и постельное белье, на сердитый вопрос Ф., можно ли отсюда позвонить, старуха ответила утвердительно и внизу, в темном коридоре возле кухни, Ф. нашла телефон; из упрямства ей приспичило позвонить логику Д., уверенная, что связи не будет, она все-таки решила попытать счастья и подняла трубку старенького аппарата: гробовое молчание — может быть, шеф секретной службы предпочел действовать наверняка, без всякого риска, ведь это он распорядился привезти ее сюда, где побывала и Тина фон Ламберт, внезапно у нее закралось недоверие к его мотивировкам, в первую очередь потому, что она не могла представить себе, что именно побудило Тину, как рассказывала старуха, ездить по пустыне; сидя на полуоткрытой балконной двери, потом лежа на кровати и неотрывно глядя в потолок, она пыталась реконструировать судьбу Тины фон Ламберт, за отправную точку она вновь взяла единственно надежный источник, Тинины дневники, и пыталась проиграть все возможные варианты, ведущие к фактической данности, к разодранному шакалами трупу Тины возле Аль-Хакимовых Развалин, но убедительной версии как-то не получалось — уход из дома, «скоропалительный», по словам фон Ламберта, был бегством, однако в эту страну она явилась не как беглянка, а с вполне определенной целью, она действовала как журналистка, идущая по следу тайны, но ведь Тина не была журналисткой, тогда, может быть, любовная история? — но любовной историей тут даже и не пахнет; так ничего и не придумав, Ф. в конце концов вышла на улицу, облако, прилепившееся к горному кряжу, разбухло, начало тихонько подползать ближе, дорога, та самая, по которой они сюда приехали, вывела Ф. на каменистое плато и разветвилась, Ф. выбрала наугад одно из ответвлений и пошла дальше, а спустя полчаса очутилась у новой развилки, тогда она вер-

нулась назад и долго стояла возле одинокого, такого бессмысленного здесь дома, входная дверь опять хлопала от ветра, и по-прежнему над нею красовалась вывеска GRAND-HÔTEL MARÉCHAL LYAUTEY, а над вывеской черным прямоугольником зияло окно, единственное на когда-то белой стене, которая ныне являла глазу всевозможные оттенки серого цвета, отливающего всеми красками спектра, будто во время бно тут изрядно наблевали великаны; и пока она так стояла, глядя на дом и на окно, за которым сама же и провела ночь, да нет, не только пока стояла, уже гораздо раньше, едва лишь вышла на улицу, она знала, все время знала, что за нею наблюдают, хотя и не видела наблюдателя; и вот когда солнечный шар исчез за далекой песчаной пустыней, исчез неожиданно быстро, точно рухнул в бездну, настали сумерки и только верхушка исполинской облачной стены казалась пламенными песками, Ф. вошла в дом; в столовой под маршальским портретом ее ждал ужин — миска баранины под красным соусом и белый хлеб, а к ним красное вино; старухи не было видно, Ф. немного поела, выпила вина, потом поднялась к себе в комнату, где до нее жила Тина фон Ламберт, и вышла на балкон, ведь, пока она ужинала, ей послышался отдаленный раскат грома, облачная стена, судя по всему, опять отступила, впереди и прямо над головой еще мерцали зимние звезды, но далекий горизонт высвечивали сполохи, потом блеснула яркая вспышка — вроде гроза, а вроде и нет, и надо всем этим висел далекий невнятный гул, и опять ей показалось, будто из темноты, наплывающей от земли, за нею наблюдают, а вернувшись в комнату, накинув уже купальный халат, который заодно служил ночной рубашкой, и с омерзением разглядывая ржавую ванну, она услыхала рокот автомобильного мотора, но машина проехала мимо, немного погодя подкатила вторая машина, остановилась у входа, послышался возглас, кто-то, видимо, вошел в дом, громко спросил, есть ли тут кто-нибудь, поднялся на второй этаж, крикнул «алло! алло!», и, когда Ф. вышла на лестницу, набросив поверх халата рыжую шубу, она увидала молодого светловолосого парня в синих вельветовых брюках, кроссовках и теплой куртке, который уже стоял на ступеньках, намереваясь подняться наверх, он смотрел на нее широко раскрытыми голубыми глазами и твердил «слава Богу, слава Богу!», а когда она поинтересовалась, за что он славит Господа, блондин вихрем взбежал

по лестнице, стиснул ее в объятиях и воскликнул: за то, что она жива, он так и сказал шефу и поспорил с ним, что она жива, и вот она действительно жива! — тут он опять помчался вниз, сначала на второй этаж, потом на первый, когда же Ф. следом за ним добралась до холла, блондин затаскивал в дом чемоданы, и ей пришло на ум, уж не обещанный ли это оператор, на ее вопрос он сказал «угадали» и достал из машины кинокамеру — в открытую дверь Ф. разглядела, что приехал он на микроавтобусе марки «фольксваген», потом, проделывая какие-то манипуляции с камерой, добавил, что эту штуковину можно использовать и для ночных съемок, специальная оптика, а, кстати, репортажи у нее вышли потрясающие, Ф., услышав это, вмиг насторожилась и спросила, не хочет ли он представиться, парень густо покраснел и промямлил, что зовут его Бьёрн Ольсен и что она может спокойно говорить с ним по-датски, а ей невольно вспомнился ухмыляющийся коротышка, который у стенки курил сигарету, потом затоптал ее и рухнул как подкошенный, и она ответила, что по-датски не говорит, он, верно, с кем-то ее путает, услышав это, он чуть не уронил камеру и, топая ногами и крича: нет, нет, не может быть, ведь на ней рыжая шуба! — отнес кинокамеру и чемоданы назад в «фольксваген», сел за руль и поехал прочь, только не обратно в М., а в сторону гор, когда же Ф. поднималась к себе в комнату, дом внезапно дрогнул от взрыва, но, когда она вышла на балкон, все было уже спокойно, сполохи и слепящие вспышки в далекой песчаной пустыне тоже погасли, одни лишь звезды горели так зловеще, что Ф. вернулась в комнату и задернула обтрепанные плюшевые шторы, при этом взгляд ее упал на секретер, незапертый и пустой, а уж потом она заметила рядом с секретером мусорную корзину и в ней — скомканную бумажку, которую она расправила; незнакомым почерком на бумажке было что-то записано, видимо цитата, потому что стояла она в кавычках, но, поскольку язык был скандинавский, Ф. ничегошеньки не поняла, впрочем, упорства ей было не занимать, и, откинув крышку секретера, она взялась за перевод, над словами вроде «edderkop», «tomt rum» или «fodfaeste» пришлось-таки здорово поломать голову, только к полуночи она решила, что сумела расшифровать цитату: «Что будет, что принесут неведомые времена (fremtiden)? Я этого не знаю и ни о чем не догадываюсь. Когда паук-крестовик (edderkop?),

потеряв точку опоры, срывается в неизвестность последствий, он видит перед собою одно только пустое пространство (tomt rum?), где опоры (fodfaeste?) ему не найти, как он ни барахтается. Точно так же и со мной: впереди одно только пустое пространство (tomt rum?), а подгоняет меня какое-то последствие, лежащее позади (bag). Жизнь эта превратна (bagvendt?) и загадочна (raedsomt?), невыносима».

## 14

Когда ранним утром, закутанная в рыжую шубу, она спустилась вниз, решив после завтрака пройтись к горам, потому что ей не давал покоя взрыв, случившийся после отъезда датчанина, а цитата, которая, вероятно, представляла собой шифровку, еще усиливала тревогу, на террасе за деревянным столом завтракал шеф секретной службы, весь в белом, только платок на шее черный, вместо давешних очков без оправы — темные, в массивной оправе; он встал, пригласил Ф. составить ему компанию, налил ей кофе, предложил рогалики, купленные специально для нее в европейском квартале М., посетовал на скудость ее жилья, а когда она поела, положил перед нею бульварную газетенку, где чуть не всю первую полосу занимала фотография Тины фон Ламберт, сияющей, в объятиях сияющего мужа, а внизу было написано: сенсационное возвращение сенсационно погребенной, супруга известного психиатра, страдая от депрессии, скрывалась в мастерской умершего художника, паспорт и рыжую шубу у нее украли, очевидно, потому ее и спутали с женщиной, убитой возле Аль-Хакимовых Развалин, таким образом, загадок теперь стало две: кто убийца и кто убитая; побелев от негодования, Ф. швырнула газету на стол: что-то здесь не так, слишком уж все банально, при этом она готова была провалиться сквозь землю от стыда — надо же было влипнуть в такую нелепую авантюру! — и едва не разрыдалась, но железное спокойствие шефа секретной службы обязывало к хладнокровию, тем более что он как раз объяснял, что же именно в этой истории не так — кража, вот что, Тина дружила с датской журналисткой Юттой Сёренсен и отдала ей свой паспорт и рыжую шубу, благодаря этому датчанке и удалось въехать в страну; выслушав его рассказ, Ф. призадумалась и, пока он наливал ей кофе, спросила, откуда ему это известно, и он ответил: оттуда, что он допрашивал датскую журналистку и она во всем созналась, а на вопрос, почему ее убили, сказал, сняв очки и протирая стекла, что

вот это ему неизвестно, характер у Ютты Сёренсен был весьма энергичный, и во многом она напоминает ему Ф., он не сумел выяснить, какую цель она преследовала своим обманным маневром, а поскольку начальник полиции клюнул на этот обман, не видел причин вмешиваться — ну в самом деле, с какой стати? — и отпустил ее вместе с фальшивым паспортом и рыжей шубой, жаль, что ее постиг столь ужасный конец, откройся она ему, этого бы не случилось, кстати, измятую бумажку с цитатой Ф. наверняка нашла и прочитала, цитата из Кьеркегора, из «Или — или», он навел справки у специалиста, сперва-то подумал, что это шифровка, но теперь совершенно уверен, это крик о помощи, здесь он еще держал безрассудную датчанку под надзором, а потом потерял ее след, хорошо бы молодому человеку, похожему на германского витязя, повезло больше, чем его землячке, в страну оба приехали, видимо, по заданию одной из частных датских телекомпаний, известной сенсационными репортажами, и если она, Ф., в рыжей шубе и в роли совсем другой женщины, не той, что предполагалась изначально, отправится сейчас в горы, а тем более в пустыню, он ничем не сумеет ей помочь, съемочная группа, которую он рассчитывал нанять, наотрез отказалась с нею работать, вывезти из страны ее людей, увы, тоже не удалось, ведь она, Ф., пропустила его предупреждения мимо ушей и проболталась, эта обшарпанная гостиница — последнее мало-мальски контролируемое место, дальше — ничейная земля, где нет пока границ, размеченных по нормам международного права, но он с большим удовольствием отвезет ее обратно в город, на что Ф., попросив у него сигарету и закурив, сказала, что все равно пойдет.

## 15

Когда она в рыжей шубе вышла из дома, ничто уже не говорило о том, что здесь у нее побывал шеф секретной службы, о старухе тоже ни слуху ни духу, дом, казалось, был пуст, дверь под вывеской GRAND-HÔTEL MARÉCHAL LYAUTEY все так же хлопала, и Ф. почудилось, будто ее занесло в какой-то старый неправдоподобный фильм, когда она с сумкой на плече и с чемоданом в руках зашагала в этом унылом безлюдье по дороге, по которой, не ведая, куда она ведет, уехал молодой датчанин, а теперь бессмысленно, упрямо, наперекор рассудку она сама шла к вершине, по-прежнему окутанной облаком, и думала о своем разговоре с логиком Д., как она составила себе тогда представление о Тине

фон Ламберт, просто чтоб не сидеть сложа руки, действовать, принять какие-то меры, однако же теперь, когда это представление оказалось химерой, когда за ним обнаружилась банальная семейная история и проступила судьба совсем другой женщины, которой она знать не знала, хоть и надела ее рыжую шубу, опять-таки ту же самую, в какой ходила Тина, — теперь она как бы перевоплотилась в эту другую, в датскую журналистку Ютту Сёренсен, быть может главным образом благодаря цитате из Кьеркегора, она тоже чувствовала себя беспомощной, как падающий в пустоту паук, эта дорога под ногами, пыльная, каменистая, палимая беспощадным солнцем, давно прорвавшим кипящую под ним облачную стену, змеящаяся вдоль склонов, протискивающаяся между причудливыми утесами, — эта дорога была следствием, итогом ее жизни, она всегда действовала импульсивно, впервые она заколебалась, когда Отто фон Ламберт пригласил ее к себе, вместе со съемочной группой, и все-таки пошла к нему, и взялась выполнить его поручение, и вот теперь против воли шагала по этой дороге — и все же иначе не могла, шагала с чемоданом в руках, будто ловила попутку на шоссе, где машины не ездят, пока вдруг не очутилась перед обнаженным трупом Бьёрна Ольсена, от неожиданности даже споткнулась о него, он лежал перед нею, словно по-прежнему смеясь, как в первый раз, когда она увидела его у лестницы, лежал запорошенный белой пылью, такой с виду нетронутый, невредимый, что больше походил на статую, чем на труп, вельветовые брюки, кроссовки, теплая куртка валялись среди материала, который он вез с собой в круглых жестяных коробках, большей частью полопавшихся, искореженных, пленка черными кишками лезла из них наружу, а за всем этим сумбуром — «фольксваген», разорванный изнутри, гротесковая мешанина железа и стали, куча исковерканных, разбросанных взрывом обломков мотора, колес, осколков стекла; цепенящее душу зрелище: труп, катушки с пленкой, раскиданные лопнувшие чемоданы, предметы одежды, трусы, флагом развевающиеся на сломанной антенне, — мало-помалу она стала замечать подробности, — разбитый автобус, обломок руля, который так и сжимала оторванная рука датчанина; все это она видела, стоя возле мертвеца, и, однако же, увиденное казалось ей нереальным, что-то мешало, делало реальность нереальной, какой-то шум, который она услышала вот только что, но который уже был, когда она наткнулась на покойника; посмотрев в том направлении, от-

куда доносился шум, а точнее — тихое жужжание, она увидала тощего нескладного верзилу в грязном костюме из белого полотна, с камерой в руках, он кивнул, продолжая съемку, потом заковылял к ней, с трудом перешагнул через покойника, заодно сняв и его тоже, таким, каким он виделся ей, сказал, что пора наконец поставить этот дурацкий чемодан, уковылял вбок, опять направил на нее объектив и поковылял следом, когда она, отпрянув, — ее не оставляло впечатление, что этот человек пьян, — резко спросила, что ему надо и кто он такой, тогда он опустил камеру и сказал, что его зовут Полифемом, а как по-настоящему, он давным-давно забыл, да это и неважно, ну а почему он не предложил свои услуги, когда секретная служба искала для нее оператора, вполне понятно, если учесть политическое положение страны, работать для нее, для Ф., слишком рискованно, ведь все, что известно полиции, известно и секретной службе, а что известно секретной службе — известно армии, сохранить тайну невозможно, вот он и предпочел украдкой последовать за нею, он же знает, что́ она ищет, шеф секретной службы рассказал об этом всем операторам, а в этой стране операторы кишмя кишат, она, Ф., решила найти и, если удастся, изобличить убийцу датчанки, для того и надела рыжую шубу, это просто замечательно, он так считает, позднее он покажет ей пленки, там она увидит себя, причем не только в GRAND-HÔTEL MARÉCHAL LYAUTEY, как именуется эта каменная развалюха, нет, еще раньше, когда нашла и купила в Старом городе у слепого рыжую шубу, эту сцену он заснял, да и не он один, ведь в ее предприятии, кроме него, заинтересованы и другие, за нею теперь отовсюду наблюдают в телеобъективы, которые даже сквозь туман видят, — эти сведения потоком хлестали изо рта верзилы, из этой окаймленной седой щетиной ямы со скверными зубами на худом, изборожденном морщинами лице с маленькими жгучими глазами, на лице хромого человека в грязной, измызганной полотняной одежде, который, широко расставив ноги, стоял над мертвецом и все снимал Ф. видеокамерой; тогда она спросила, чего он, собственно, хочет, и он ответил: обмена; она опять спросила, что он под этим понимает, и он ответил, что всегда восхищался ее кинопортретами и просто жаждет создать ее портрет, он и датчанку эту, Сёренсен, тоже снимал, а поскольку Ф. интересуется ее судьбой, он предлагает в обмен на будущий портрет Ф. пленки, на которых запечатлел датчанку, видеокассеты можно переснять на обыч-

ную кинопленку, Сёренсен шла по следу тайны, и ей, Ф., представляется случай пойти по этому следу дальше, он даже сам готов отправиться с нею в одно место в пустыне, где побывала Сёренсен, из всех, кто за нею наблюдает, пока ни один сунуться туда не рискнул, но ему она вполне может довериться, в определенных кругах он считается самым что ни на есть бесстрашным оператором, хотя круги, в которых он пользуется известностью, назвать нельзя, а фильмы его не подлежат показу по экономическим и политическим резонам, но он не хотел бы говорить о них здесь, возле трупа молодого датчанина, из пиетета, ведь и он пал жертвою этих резонов.

## 16

Не дожидаясь ответа, он заковылял обратно к автобусу, при этом впечатление, что он пьян, еще усилилось, а когда он исчез за автобусом, Ф. поняла, что сейчас совершит новую ошибку, и все же, коль скоро она твердо решила разобраться в судьбе датчанки, нужно довериться этому человеку, назвавшемуся Полифемом, довериться, даже если доверять ему нельзя, между прочим, за ним явно наблюдают так же, как и за нею, больше того, не исключено, что за нею наблюдают лишь постольку, поскольку наблюдают за ним; чувствуя себя этакой пешкой, которую двигают туда-сюда, она, в общем-то, безо всякой охоты перешагнула через мертвеца, обогнула разбитый «фольксваген» и подошла к вездеходу, пихнула там на сиденье чемодан и устроилась рядом с хромоногим, от которого отчетливо разило виски; он посоветовал ей пристегнуться ремнем, и не зря, потому что секундой позже начался кромешный ад: взметая тучи пыли, они ринулись вниз по горному склону, прямо в кипящую облачную стену, зачастую по самому краю дороги, так что камни из-под колес градом сыпались в бездну, потом дорога стала еще круче и резко запетляла, а пьяный за рулем то и дело проскакивал повороты и вел тяжелую машину напролом, Ф., прижатая ремнем к спинке сиденья, изо всех сил упираясь ногами в пол, толком не видела ни горного склона, по которому они промчались, ни лугов, на которые буквально рухнули и по которым гнали теперь в пустыню, распугивая шакалов, кроликов, змей, стрелою кидавшихся наутек, и прочее зверье, гнали в глубь каменистой пустыни, сперва — долгие часы, как показалось Ф., — в галдящей черной туче, а потом, когда птицы отстали, в лучах ослепительного солнца, и вот наконец вездеход, под-

няв облако пыли, резко затормозил возле плоской кучи щебня среди равнины, сильно похожей на марсианскую — такое впечатление создавал, вероятно, шедший от нее свет, ведь она была покрыта странной металлически-ржавой и вместе с тем камневидной субстанцией, из которой торчали гигантские скрученные металлические структуры, бесформенные обломки стали, шипы, иглы, словно вбитые в землю чьей-то могучей рукой, — когда улеглась поднятая вездеходом пыль, Ф. только и успела охватить все это взглядом, потому что машина начала быстро погружаться, над нею задвинулась крышка люка, а затем они очутились в подземном гараже, и на вопрос, куда он ее притащил, Полифем пробормотал что-то невразумительное, скользнула вбок железная дверь, и он первым заковылял внутрь, сквозь множество скользящих в сторону железных дверей, не то через погреба, не то через студийные помещения, стены там были сплошь увешаны маленькими фотографиями, словно кто-то по дурости изрезал проявленные пленки на отдельные кадры, в немыслимом беспорядке вперемешку со стопками фотоальбомов валялись на столах и стульях крупноформатные снимки изрешеченных снарядами бронемашин, вдобавок кипы густо исписанных бумаг, горы катушек с пленкой, стойки с подвешенными на них фрагментами пленки, корзины, доверху полные обрезков целлулоида, потом фотолаборатория, ящики слайдов, демонстрационный зал, коридор, и вот наконец он, все сильнее припадая на хромую ногу и пошатываясь — так он был пьян, — привел ее в комнату без окон, с множеством фотографий на стенах, с кроватью в стиле модерн и таким же столиком — странноватое помещение, к которому примыкали уборная и душ; жилье для гостей, с трудом ворочая языком, сообщил он, выпятился из комнаты, причем его швырнуло об коридорную стену, и оставил Ф., которая угрюмо шагнула внутрь этой «камеры», в одиночестве, когда же она обернулась, дверной замок с негромким щелчком захлопнулся.

## 17

Лишь мало-помалу она осознала панический страх, владевший ею с той минуты, как она очутилась в подземелье, и сознание это побудило ее вместо самого неразумного поступка совершить самый что ни на есть разумный — оставить в покое не желавшую открываться дверь, махнуть рукой на собственный ужас, лечь на кровать модерн и поразмыслить над тем, кто же такой Полифем, ведь об операторе с таким прозвищем она

до сих пор не слышала, загадкой была и функция этих сооружений, на строительство которых наверняка затрачены гигантские суммы, но кем они затрачены, и что означает исполинское поле руин вокруг, и что здесь происходило, и как понимать странное предложение выменять ее портрет на портрет Ютты Сёренсен, она так и уснула с этими вопросами, а проснулась внезапно, как бы рывком, с таким ощущением, будто стены вот только что дрожали и кровать плясала, да нет, приснилось, должно быть; невольно она стала разглядывать фотографии, с нарастающим ужасом, ведь на них было запечатлено, как взлетел на воздух Бьёрн Ольсен, притом съемка велась на необычайно высоком техническом уровне, она даже и не представляла себе, что такое возможно; если на первой фотографии был виден лишь контур ольсеновского «фольксвагена», то на второй, там, где предположительно находилось сцепление, возник маленький белый шар, который на последующих снимках все больше разбухал, а сам микроавтобус одновременно как бы становился прозрачным, и деформировался, и распадался на куски, видно было и как взрывом Ольсена выбило с сиденья, все эти фазы казались тем более жуткими, что поднятый над сиденьем Ольсен, правая рука которого, сжимающая руль, уже отделялась от запястья, словно бы весело насвистывал, и, ужасаясь чудовищным фотографиям, она вскочила с кровати, инстинктивно бросилась к выходу и обомлела: дверь открылась; так или иначе, она рада была вырваться из комнаты, напоминавшей тюремную камеру, и вышла в коридор — пусто, ни души; чуя ловушку, Ф. замерла на месте; где-то изо всех сил молотили в железную дверь, она пошла на этот звук, при ее приближении двери бесшумно отворялись, она шла по комнатам, которые уже видела, шла неуверенно, нерешительно, все новые и новые коридоры, помещения для ночлега, технические лаборатории с непонятной аппаратурой — подземелье явно строили для многих людей, но где же они, с каждым шагом она чувствовала, как опасность нарастает, видимо, ее умышленно оставили одну, это всего-навсего хитрость, Полифем наверняка за нею наблюдает; между тем грохот мало-помалу приближался, то он был совсем рядом, то снова чуть подальше, и внезапно она очутилась в конце какого-то коридора перед железной дверью с обычным замком, в котором торчал ключ, вот по ней-то и молотили, порой казалось, словно кто-то всем телом бросается на дверь, Ф. уже хотела повернуть ключ, но вдруг подумала, что там, за

дверью, Полифем, он ведь был совершенно пьян и попрощался очень странно, Бог его знает, что ему в голову взбрело, он то откровенно пялил на нее глаза, а то вроде бы вовсе не замечал, смотрел как на пустое место, так что вполне мог и нечаянно запереться, захлопнув дверь, или его запер кто-то третий, постройка огромная, может, она не столь необитаемая, как кажется, и почему это вдруг все двери автоматически открывались, стук и грохот не умолкали, она окликнула: Полифем! Полифем! — в ответ все тот же грохот и стук, но, может, за железной дверью ничего не слышно, может, все это никакая не хитрость, может, за нею вовсе не наблюдают, может, она совершенно свободна, Ф. побежала в свою «камеру», не нашла ее, заблудилась, сунулась в какую-то комнату, сочтя ее поначалу своей, но потом поняла ошибку, в конце концов нужная комната все-таки отыскалась, она повесила на плечо сумку и опять бегом по коридорам подземелья, а стук и грохот все продолжались, но вот и гараж, дверь скользнула в сторону, вездеход стоял наготове, она села на водительское место, обвела взглядом приборную панель, где, кроме обычных приборов, обнаружились две кнопки с выдавленными на них стрелками — одна указывала вверх, другая вниз, — нажала кнопку со стрелкой вверх, потолок раздвинулся, платформа с вездеходом выползла на поверхность; она была на воле, над головой небо, а на его фоне — остроконечные обломки, будто лес копий, отбрасывающие длинные тени в ослепительной вспышке, которая тотчас погасла, в один миг земля опрокинулась назад, алая полоска света у горизонта начала смыкаться — она была в глотке мирового чудища, а чудище захлопывало пасть, и, пока она переживала наступление ночи, превращение света в тень и тени во мрак, среди которого вдруг загорелись звезды, ею овладела уверенность, что свобода и есть подкарауливающая ее ловушка; нажатием кнопки она снова отправила вездеход под землю, потолок над головой снова закрылся, ни стука, ни грохота уже не было, она со всех ног помчалась назад в свой застенок и, бросившись на кровать, услыхала, скорее даже почувствовала, как что-то приближается с яростным ревом, удар, разрыв, далеко и все же где-то рядом, сильнейший толчок, кровать и стол так и заплясали, она закрыла глаза и сама не знала, долго ли так продолжалось, впала ли она в беспамятство или нет, ей было безразлично, а когда она открыла глаза, перед нею стоял Полифем.

Он поставил ее чемодан возле кровати, и был он трезв, свежевыбрит, одет в чистый белый костюм и черную рубашку; пол-одиннадцатого уже, сказал он, ох и долго же пришлось ее искать, она ведь не в своей комнате, похоже, спутала минувшей ночью, наверняка землетрясения испугалась, ну а сейчас он ждет ее завтракать, с этими словами Полифем уковылял из комнаты, и дверь за ним закрылась, Ф. встала, лежала она, оказывается, на диване, а фотографии на стенах изображали взрыв танка, поэтапно, кадр за кадром, застрявший в башне человек горел, обугливался, неловко вывернувшись, безжизненно смотрел в небо, она открыла чемодан, разделась, приняла душ, надела свежее джинсовое платье, отворила дверь — опять стук и грохот, потом тишина, Ф. было заплутала, но дальше начались как будто бы знакомые помещения, в одном из них — стол, освобожденный от фотоснимков и бумаг, хлеб, на дощечке ломтики тушенки, чай, кувшин с водой, консервная банка, стаканы; откуда-то из коридора приковылял Полифем с пустой жестяной миской в руке, словно кормил какое-то животное, он убрал фотоальбомы с одного стула, с другого, она села, он нарезал перочинным ножиком хлеб — прошу, угощайтесь! — Ф. налила себе чаю, взяла кусок хлеба, ломтик мяса, она вдруг поняла, что проголодалась, а он высыпал в стакан какой-то белый порошок, залил водой, пояснив, что по утрам пьет только разведенное сухое молоко, кстати, он должен извиниться, вчера он был пьян, у него вообще в последнее время запой, фу, до чего же противное молоко; это ведь было не землетрясение, сказала она, верно, кивнул он, подливая воды в стакан, землетрясение тут ни при чем, что ж, пора ей узнать, в какую историю она ввязалась, хоть и не по своей воле, она же явно понятия не имеет, что, собственно, происходит в стране, продолжал он слегка насмешливо, снисходительно, да и вообще казался совсем другим, не как тогда, возле взорванного «фольксвагена», когда они познакомились; конечно, насчет борьбы за власть между начальником полиции и шефом секретной службы она в курсе дела, первый, само собой, готовит государственный переворот, а второй пытается его предотвратить, но в игру входят и другие интересы, страна, куда она, как ему думается, приехала более чем легкомысленно, живет не только туризмом да вывозом растительных волокон для набивки мягкой мебели, главный источник доходов — война, которую

эта страна ведет с соседним государством из-за земель в великой песчаной пустыне, где, кроме горстки вшивых бедуинов да пустынных блох, никто не живет, туризм и тот не отважился туда проникнуть, эта война, тлеющая вот уже лет десять, давным-давно нужна лишь затем, чтобы испытывать продукцию буквально всех стран — экспортеров оружия, не только французские, немецкие, английские, итальянские, шведские, израильские, швейцарские танки вели там бои с русскими и чешскими танками, но и русские с русскими, американские с американскими, немецкие с немецкими, швейцарские с швейцарскими, всюду в пустыне можно набрести на заброшенные поля танковых сражений, война выискивает для себя все новые театры, и это вполне логично, ведь лишь благодаря экспорту оружия конъюнктура остается маломальски стабильной, конечно, при условии, что оружие конкурентоспособно; беспрестанно вспыхивают и настоящие войны, вроде той, что ведут Иран и Ирак, другие перечислять незачем, тут уж опробовать оружие поздно, потому-то военная промышленность так ретиво печется о здешней пустяковой войне, которая давно утратила политический смысл, стала фиктивной, инструкторы из стран, поставляющих военную технику, по сути, ведут обучение местных жителей, просвещают здешних берберов, мавров, арабов, евреев, негров — горемык, которым эта война, если они худо-бедно останутся в живых, дает некие преимущества; но теперь страна охвачена брожениями, фундаменталисты считают эту войну западной пакостью, что вполне справедливо, только надо прибавить сюда и Варшавский пакт, шеф секретной службы стремится превратить эту войну в международный скандал, вот почему дело Сёренсен весьма ему на руку, правительству тоже хочется прекратить войну, хочется-то хочется, но ведь тогда экономика пойдет вразнос, начальник генерального штаба покуда колеблется, саудовцы тоже в нерешительности, начальник полиции намерен продолжать войну, он подкуплен государствами — производителями оружия, а вдобавок, как поговаривают, израильтянами и Ираном, вот и пытается свергнуть правительство при поддержке сбежавшихся со всего света кинооператоров и фотографов, которые иначе останутся без работы, эта война дает им хлеб насущный, ведь смысл ее лишь в том, что за нею можно наблюдать, только наблюдения за испытанием оружия позволяют выявить и устранить слабости и дефекты конструкции, а что касается его самого — он засмеялся, опять насыпал в стакан сухого мо-

лока и залил водой, тогда как Ф. давно уже покончила с завтраком, — тут ему придется, пожалуй, начать издалека, у каждого своя история, у нее — своя, у него — своя, он не знает, как началась ее история, да и не хочет знать, а вот его собственная история началась однажды в понедельник вечером в Нью-Йорке, в Бронксе, где его отец держал небольшой фотосалон — снимал свадьбы и всех желающих — и как-то раз выставил в витрине фотографию некоего джентльмена, не подозревая, что делать этого нельзя, вот это ему и втолковал потом один из гангстеров, с помощью автомата: изрешеченный пулями отец рухнул прямо на него, ведь именно в тот понедельник вечером он сидел на полу за прилавком и готовил уроки, надо сказать, отец вбил себе в голову, что сын должен получить среднее образование, у отцов вечно слишком далеко идущие планы насчет сыновей, он же сам немного погодя, когда пальба утихла, выбрался из-под отца, оглядел разгромленный салон и пришел к выводу, что истинная образованность предполагает совсем другое: необходимо разобраться, как прожить на свете среди людей, с выгодой для себя используя этих же самых людей, среди которых собираешься жить; с единственной непродырявленной фотокамерой он спустился в ад преступного мира, этакий мальчик с пальчик, от горшка два вершка, первое время специализировался на карманниках, полиция оплачивала его моментальные снимки весьма скромно и арестовывала мало кого, так что им никто не интересовался, тогда он осмелел и принялся за взломщиков, аппаратуру он частью наворовал, частью смастерил своими руками, а жил с крысиной смекалкой, ведь, чтобы фотографировать взломщиков, надо по-взломщицки думать, они ребята ушлые и света не любят, несколько громил-верхолазов, ослепленные фотовспышкой, разбились насмерть, ему до сих пор жаль их, но полиция платила по-прежнему гроши, а бежать с этим снимками в газеты значило переполошить преступный мир, так-то ему покуда везло, никто даже и не думал искать фотографа в тощем уличном мальчишке, а потому его обуяла мания величия, и он принялся за гангстеров и убийц, толком не вникнув, во что, собственно, ввязывается, полиция, правда, расщедрилась, гангстеры один за другим отправлялись в Синг-Синг и на электрический стул, либо хозяева сами «убирали» их, из предосторожности, но потом он случайно «поймал» в Центральном парке кадр, который испортил карьеру некоему сена-

тору и вызвал целую лавину скандалов, в результате полиция вынуждена была доложить следственной комиссии конгресса о его существовании, о котором никто больше не знал; ФБР сцапало его, а комиссия взяла в оборот и с пристрастием допросила, его портрет попал в газеты, и, вернувшись в свою студию, он нашел ее в том же состоянии, в каком был когда-то салончик отца, некоторое время он еще держался на плаву, продавая полиции фотографии гангстеров, а гангстерам — фотографии сыщиков, но скоро на него ополчились все — и полиция, и гангстеры, выход был один — искать безопасности в армии, там тоже нужны фотографы, официальные и неофициальные, но хоть он и говорит, что обеспечил себе безопасность, продолжал Полифем, откинувшись на спинку стула и водрузив ноги на стол, это все же изрядное преувеличение, войны, даже те, что именуются чисто административными мерами, непопулярны, депутатов и сенаторов, дипломатов и журналистов надо убедить, ну а если убеждение не действует, обратиться к подкупу или, когда подкуп бессилен, к шантажу, вот для этого-то к его услугам были шикарные бордели, сделанные там снимки — самый настоящий политический динамит, но он не смел отказываться, армия в любую минуту могла выпихнуть его домой, и, отлично зная, что его там ждет, он безропотно шел на все, в итоге же, когда над ним опять нависла угроза следственной комиссии, сбежал из сухопутных войск в ВВС, а из ВВС — ибо ничего нет упорнее мстительных политиканов — в военную индустрию, где сходятся все интересы, так что он не без оснований считал себя наконец-то в безопасности, вот и очутился здесь, в синяках да шишках, вечная жертва и вечный охотник, живая легенда для коллег-профессионалов, которые, кстати говоря, избрали его своим боссом, а он, приняв этот пост, совершил один из наиболее опрометчивых поступков в жизни, ибо тем самым возглавил подпольную группировку, которая поставляла любые сведения обо всех видах применяемого оружия, ее задачу можно сформулировать и так: она упраздняет шпионаж, ведь, если кто-нибудь хотел навести справки насчет вражеского танка или насчет эффективности противотанковой пушки, достаточно было обратиться к нему, к Полифему, благодаря ему война продолжала идти на убыль, однако чрезмерное усиление его позиций опять-таки привлекло внимание администрации; чтобы разгромить их группировку, администрация установила контакт не с кем-нибудь, а с ним самим: он, мол, в своей области, бесспорно,

крупнейший знаток и вынуждать его никто не собирается, но кое-кто из сенаторов... в общем, он принял их условия, и группировка уже начинает разваливаться, продолжение войны сомнительно, а то, что его теперь выслеживают давние коллеги и, если он появляется, сразу берут под наблюдение, вполне естественно, и даже более того, ведь он признаёт, что кое-какую слишком уж щекотливую информацию утаил.

## 19

Он умолк, а говорил очень долго, и она чувствовала, что он не мог не говорить, что он рассказал ей то, чего, быть может, никому еще не рассказывал, но чувствовала и другое: кое о чем он умолчал, и умолчал по причинам, которые каким-то образом связаны с тем, отчего он рассказал ей свою жизнь; он сидел, откинувшись на стуле, водрузив ноги на стол, смотрел прямо перед собой, будто ждал чего-то, а потом опять послышался нарастающий вой, опять удар, взрыв, на голову посыпались крошки и пыль — и тишина; она спросила, что́ это было, он ответил: то, из-за чего никто сюда сунуться не смеет, и заковылял в лабораторию, откуда они по лесенке поднялись наверх, в небольшую комнату с приплюснутым куполообразным потолком, круглившимся над сплошным поясом маленьких окошек, и, только усевшись рядом с Полифемом, Ф. поняла, что это не окна, а экраны мониторов, на одном из них она увидела заходящее солнце и пустыню, увидела поднявшийся на поверхность вездеход и себя в нем, потом увидела, как сомкнулась золотисто-алая полоса, как настала ночь, снова ушел под землю вездеход, небо вызвездило, затем что-то такое подлетело на огромной скорости, яркая вспышка, монитор погас; а теперь то же самое, но снятое через «лупу времени», сказа́л он, медленно-медленно наступила ночь, медленно-медленно исчез под землей вездеход, медленно-медленно загорелись звезды, одна стала медленно увеличиваться, медленно выросла, точно комета, медленно в пустыню вонзилось какое-то стройное, добела раскаленное тело, медленно взорвалось, медленно, словно из жерла вулкана, всплеснулись в воздух обломки камня, а потом — только свет и тьма; это была первая, вторая взорвалась ближе, сказал Полифем, точность возрастает, а на вопрос Ф., что же она такое видела, ответил: межконтинентальную ракету; на экране монитора воз-

никла тем временем панорама пустыни, горы, город, пустыня приблизилась, на кадр наложилось перекрестье линий — здесь расположено сооружение, в котором они находятся, он и Ф., снято со спутника, причем период его обращения и период обращения Земли скоординированы так, что он постоянно висит у них над головой, с этими словами Полифем задействовал еще один монитор, автоматически, как он и говорил, опять пустыня, у левой кромки кадра черный квадратик Аль-Хакимовых Развалин, справа вверху город, у правой кромки гóры, все то же облако, слепяще белый комок ваты, в центре кадра шарик с антеннами, первый спутник, заснятый вторым, чтобы наблюдать, за чем он наблюдает, пояснил Полифем, отключил мониторы, заковылял к лестнице и спустился вниз; совершенно не обращая на нее внимания, он вернулся к столу, прямо так, руками, взял кусок мяса, сел, откинулся назад, водрузил ноги на стол, сказал, что скоро надо ждать следующей ракеты, сунул ломоть в рот и добавил, что если в «пустынной» войне испытывается современное оружие обычных типов, то с точки зрения стратегической концепции двух лагерей необходимо отрабатывать точность попадания межконтинентальных ракет, ракет «земля—земля» и тех, что запускаются с атомных подлодок, то есть испытывать боевые средства, служащие носителями атомных и водородных зарядов, в результате, с одной стороны, на Земле сохраняется мир, хоть и под угрозой того, что и он, и Земля довооружаются до смерти, слишком уж все уповают на устрашение другого, либо на компьютер, либо на идеологию, либо и вовсе на Бога, а ведь другой может потерять голову и пуститься во все тяжкие, компьютер может ошибиться, идеология — оказаться несостоятельной, а Бог — равнодушным, с другой же стороны, как раз те государства, которые располагают лишь обычным оружием и, собственно, должны бы сидеть тихо и не вылезать, соблазняются под прикрытием всеобщего мира всемирного устрашения вести обычные войны: ввиду возможности атомной войны они стали, так сказать, чистенькими и пристойными, что в свою очередь подхлестывает производство обычных вооружений и оправдывает войну в пустыне, гениальный круговорот, не позволяющий заглохнуть военной промышленности, а с нею и мировой экономике; станция, в которой они находятся, служит для ускорения этого процесса, сооружена по секретному соглашению и обошлась в фантастическую сумму, только для обеспече-

ния подземных электрокоммуникаций в горах специально выстроены плотина и электростанция; не случайно этот район пустыни избран мишенным полем, не случайно за него ежегодно выплачивают полмиллиарда, ведь он соседствует со странами, которые, обладая огромными запасами нефти, вновь и вновь поддаются искушению и шантажируют промышленно развитые нации, раньше на этом наблюдательном пункте работало свыше пятидесяти специалистов, сплошь технари, он был среди них единственным фотографом, а пользовался главным образом все тем же стареньким «кодаком» из отцовского салончика, только в последнее время перешел на видео, вообще-то он по станции никогда не гулял, хотя сенсаций там хватало, конечно, удавалось отснять гвоздевой материал, что да, то да, осколком ему раздробило левую ногу, но когда он, кое-как залатанный, вернулся назад, станция наполовину обезлюдела, ее полностью автоматизировали, технари — те, что пока остались, — работали с компьютерами, да и он, собственно говоря, стал не нужен, его заменили автоматические видеокамеры, потом над станцией «подвесили» спутник — кстати, об этом их даже не известили, станция слежения за спутником находится на Канарских островах, лишь по случайности кто-то из специалистов-телевизионщиков обнаружил зависший над ними спутник, а немногим позже еще один, чужой, а вскоре пришел приказ эвакуировать персонал, ибо теперь станция может работать в автоматическом режиме, но это самое настоящее вранье, зачем бы тогда спутник, в общем, тут остался он один, Полифем, все это оборудование для него темный лес, он может лишь проверить, действуют ли видеоустановки, да, пока действуют, но надолго ли их хватит — неизвестно, ведь ток поступает уже только от батарей, от электростанции их нынче утром отключили, когда батареи сядут, все это сооружение станет бесполезным, вдобавок теперь начали оснащать межконтинентальные ракеты хоть и не атомными, но высокомощными обычными зарядами; он, разумеется, считает, что нелепо полагать, будто обе стороны метят не столько по станции, сколько непосредственно по нему, потому что он располагает фильмами и фотонегативами, которые для иных дипломатов более чем щекотливы, но все ж таки стал пить, а раньше, между прочим, в рот не брал, и тут Ф. спросила, уж не эти ли документы заставили его убить Бьёрна Ольсена.

Он убрал ноги со стола, встал, пошарил среди катушек пленки, вытащил бутылку, плеснул виски в стакан, из которого пил порошковое молоко, взболтнул, выпил все до капли, спросил, верует ли она в Бога, опять налил себе виски и снова уселся напротив нее, а она, смущенная вопросом, хотела сперва ответить резкостью, но потом, догадываясь, что узнает больше, если отнесется к его вопросу серьезно, сказала, что не может веровать в Бога, ибо, с одной стороны, не знает, как представить себе Бога, а в непредставимое верить не способна, с другой же стороны, ей неизвестно, каким ему, спросившему о вере, видится Бог, в которого она должна или не должна веровать, на что Полифем отозвался так: если Бог существует, то как абсолютный, чистый дух он являет собою чистое наблюдение и лишен возможности вмешиваться в процесс эволюции материи, который завершается в абсолютном небытии — ведь даже протоны подвержены распаду — и в ходе которого возникли и погибнут Земля, растения, животные и люди; лишь являя собою чистое наблюдение, Бог остается не осквернен своим творением, что справедливо и для него, для оператора, ему тоже полагается лишь наблюдать, в противном случае он бы давно вогнал себе пулю в лоб, всякое чувство, будь то страх, любовь, сострадание, гнев, презрение, вина, жажда мести, не просто замутняет чистое наблюдение, но делает его невозможным, окрашивает чувством, так что он, Полифем, смешивается с мерзостным миром, вместо того чтобы отъединиться от него, лишь посредством кино- или фотокамеры реальность можно запечатлеть объективно, в чистом виде, одна лишь камера способна зафиксировать то время и то пространство, где разыгрывается вот этот самый эпизод, тогда как при отсутствии камеры эпизодическое переживание ускользает, не успеешь его пережить, а оно уже в прошлом, уже воспоминание и, как всякое воспоминание, уже подделка, фикция, оттого-то ему кажется, будто он не человек больше, ведь человек от природы пленник иллюзии, воображающий, что можно пережить что-то, непосредственно вобрать в себя, пожалуй, он больше смахивает на циклопа Полифема, который воспринимал, вбирал в себя окружающий мир через единственный круглый глаз посреди лба, словно через объектив камеры, и «фольксваген» он взорвал не просто затем, чтобы Ольсен прекратил выяснять судьбу датской журналистки и не попал в ситуацию, в

какой сейчас оказалась она, Ф., нет, он хотел, продолжил Полифем после очередного нарастающего воя, удара, разрыва, толчка, однако на сей раз подальше, помягче, недолет, спокойно заметил он, — так вот, он хотел прежде всего снять взрыв на пленку — только не поймите меня превратно! — беда, конечно, страшная, но благодаря видеокамере увековеченное событие, аллегория мировой катастрофы, ведь камера нужна для того, чтобы поймать и удержать десятую, сотую, тысячную долю секунды, задержать, остановить время, уничтожив его, фильм-то, когда идет, лишь якобы воспроизводит действительность, на самом деле он имитирует непрерывный ход событий и состоит из последовательности отдельных кадров, поэтому, отсняв фильм, он режет его, и вот тогда каждый отдельный кадр предстает кристаллом реальности, непреходящей ценностью, но теперь над ним «висят» эти два спутника, раньше он со своей камерой чувствовал себя как бог, а теперь за тем, что наблюдает он, ведется наблюдение, мало того, наблюдают и за ним самим, за тем, как он ведет наблюдение, ему известна разрешающая способность спутниковой аппаратуры, бог, за которым наблюдают, уже не бог, за богом не наблюдают, свобода бога в том, что он бог спрятанный, затаенный, а несвобода людей — в том, что за ними наблюдают, но еще ужаснее другое: кто́ за ним наблюдает, кто́ выставляет его на посмешище — система компьютеров, да-да, за ним наблюдают две подключенные к двум компьютерам камеры, за которыми надзирают два других компьютера, тоже состоящие под надзором компьютеров, информация от них опять-таки вводится в компьютеры, воспроизводится, преобразуется, снова собирается воедино и, обработанная компьютерами, поступает в лаборатории, а там снимки проявляют, увеличивают, сортируют и интерпретируют, кто этим занимается, где именно, да и вообще, участвуют ли в этом люди, он не знает, компьютеры тоже умеют читать и ретранслировать снимки, сделанные со спутников, если их программа составлена с учетом подробностей и отклонений, он, Полифем, поверженный бог, его место занял теперь компьютер, за которым тоже наблюдает компьютер, один бог наблюдает за другим, мир идет вспять, к своим истокам.

## 21

Он пил виски, стакан за стаканом, почти не разбавляя водой, и снова превратился в того человека, с которым она познакомилась возле изуродованного мертвого датчанина, в

пьяницу с изрытым морщинами лицом, с маленькими жгучими глазами, которые все же казались окаменевшими, словно целую вечность смотрели в ледяной ужас, и когда она спросила — так, наудачу, — с чьей легкой руки его прозвали Полифемом, то буквально остолбенела: услышав ее вопрос, он как следует хлебнул прямо из бутылки, а потом сказал, еле ворочая языком, что она дважды была на волосок от смерти: один раз — когда вышла на поверхность, из-за ракет, и второй раз — еще раньше, у железной двери, если б она ее открыла, то была бы уже мертва, ну а имя Полифем ему дали на авианосце «Киттихок», как раз когда решено было вывести войска из Южного Вьетнама, в каюте, которую он делил с рыжим верзилой, преподавателем греческого языка из какого-то захолустного университета, чудной был парень, в свободное от службы время читал Гомера, «Илиаду» вслух декламировал, а при том летал на бомбардировщике и был замечательным пилотом, ребята прозвали его Ахиллом, отчасти в насмешку над его чудачествами, отчасти из огромного уважения к его отчаянной храбрости; сам он много раз фотографировал этого нелюдима и снимал на кинопленку, это лучшие его работы, поскольку Ахилл никогда внимания не обращал на съемку, да и не разговаривал с ним, в общем-то, бросит равнодушно пару слов, и все, только часа за два, за три перед тем, как на бомбардировщике нового образца вылететь ночью бомбить Ханой — они оба предчувствовали, что это может кончиться плохо, — он оторвался от своего Гомера, увидел направленный на него объектив и, воскликнув: Полифем — вот ты кто, настоящий Полифем! — расхохотался, в первый и последний раз, а потом заговорил, тоже в первый раз, и сказал, что греки отличали Ареса, бога необузданной, дикой схватки, от Афины Паллады, богини порядка в сражении; в ближнем бою раздумывать некогда и опасно, зато не обойтись без мгновенной реакции, иначе не увернешься от дротика, не отразишь щитом меча, не ударишь сам ни дротиком, ни мечом, противник рядом, бок о бок, его ярость, его хриплое дыхание, его пот, его кровь мешаются с собственной твоей яростью, хриплым дыханием, потом, кровью, завязываются в накрепко спутанный клубок страха и злобы, человек вцепляется в человека когтями, вгрызается зубами, терзает, рубит, колет, ставши зверем, раздирает зверей, так под Троей бился Ахилл, это было пылающее злобой истребление, вдобавок он рычал от ярости и ликовал, повергнув очередного врага, не то что он, тоже прозванный Ахиллом, ведь какой

стыд: по мере технизации войны противник становился все абстрактнее, для снайпера, глядящего в оптический прицел, он не более чем видимый вдалеке предмет, для артиллериста — тоже предмет, он уже не более чем предполагаемый, а вот он, пилот бомбардировщика, еще худо-бедно укажет, сколько городов и деревень он бомбил, но не назовет ни сколько уничтожил людей, ни как он их уничтожил: разорвал в клочья, раздавил, сжег, ему это неизвестно, он просто наблюдает за своими приборами и, руководствуясь указаниями радиста, с учетом собственной скорости и направления ветра, выводит самолет на цель, в ту абстрактную точку в системе пространственных координат — долготы, широты, высоты, — где будут автоматически сброшены бомбы, и после налета он чувствует себя не героем, а трусом, закрадывается мрачное подозрение, что эсэсовский палач в Освенциме поступал нравственнее его, эсэсовец сталкивался со своими жертвами лицом к лицу, хотя и считал их недочеловеками, сбродом, он же, Ахилл, и его жертвы никак не сталкиваются, да и не считает он их недочеловеками, а так, чем-то вроде насекомых, которых приказано истребить, вроде комаров, которых летчик, распыляющий ядохимикаты, тоже не видит; разбомбить, стереть в порошок, уничтожить, ликвидировать — какое слово ни употреби, это все равно остается абстракцией, чисто техническим делом и осмысливается лишь суммарно, лучше всего в деньгах, мертвый вьетнамец стоит свыше ста тысяч долларов, мораль удаляют как злокачественную опухоль, ненависть вливают как допинг, ненависть к призрачному врагу; увидев перед собой живого пленного врага, он не в состоянии его ненавидеть, он воюет против системы, противоречащей его политическим взглядам, но любая система, даже самая преступная, складывается из виновных и невиновных, и к любой системе, в том числе и к военной машине, в которую он включен, примешивается преступление, подавляющее и стирающее ее резоны, он кажется себе этаким анонимом, наблюдателем за стрелками и шкалами, и только-то, особенно это касается задания, которое предстоит им нынешней ночью, ведь их самолет просто-напросто летающий компьютер, он стартует, заходит на цель, сбрасывает бомбы, всё автоматически, они оба выполняют исключительно функции наблюдателей, порой ему так и хочется стать настоящим преступником, совершить какое-нибудь чудовищное злодеяние, стать зверем, изнасиловать женщину и задушить, человек — это иллюзия, он становится или бездушной машиной, кинокамерой,

компьютером, или зверем; после такой речи, самой длинной, какую когда-либо произносил, Ахилл умолк, а часдругой спустя они на малой высоте, на скорости 2М уже летели к Ханою, навстречу огненной пасти зенитных орудий — ЦРУ предупредило Ханой (какие же испытания без обороны!), однако же, он, Полифем, успел сделать несколько превосходных снимков, потом они сбросили бомбы, но самолет был подбит, автоматика отказала; весь в крови — его ранило в голову, — Ахилл лег на обратный курс, и вел он самолет уже не как человек, а прямо как компьютер, потому что, когда они сели на палубу «Киттихока», на него, Полифема, таращилась окровавленная пустая маска идиота, он так и не смог забыть Ахилла и с тех пор считает себя его должником, он прочел «Илиаду», чтобы понять этого захолустного преподавателя, который спас ему жизнь и по его милости стал идиотом, он искал Ахилла, но нашел его только спустя много лет, в психиатрическом отделении военного госпиталя, где ему, Полифему, латали ногу, нашел слабоумного бога, запертого в изоляторе, потому что он, сумев несколько раз удрать из больницы, насиловал и убивал женщин; Полифем умолк и опять уставился в пространство, а на ее вопрос, уж не Ахилл ли то существо за дверью, ответил: она должна понять, что он обязан при случае исполнять то единственное желание, какое осталось у Ахилла, ну а кроме того, он ведь обещал ей портрет Ютты Сёренсен.

## 22

С трудом он задействовал проектор, а еще раньше долго искал нужную пленку, но вот наконец все было готово; откинувшись в кресле, положив ногу на ногу, она впервые увидела Ютту Сёренсен, стройную женщину в рыжей шубе, идущую в глубь великой пустыни, причем сперва ей показалось, что это она сама; судя по походке, женщину понуждали идти, когда она останавливалась, что-то ее тотчас вспугивало, лица журналистки Ф. не видела, но по тени, которая мелькала время от времени, догадалась, что в пустыню ее гнал вездеход Полифема. Ютта Сёренсен все шла и шла, каменистая пустыня, песчаная пустыня, однако шла она, похоже, не наобум, хотя ее и преследовали, Ф. не оставляло чувство, что датчанка стремилась к какой-то цели и хотела ее достигнуть, но внезапно она побежала вниз по крутому склону, оступилась, упала, в поле зрения возникли Аль-Хакимовы

Развалины, черные птичьи силуэты скрюченных святых, она встала, бросилась к ним, обняла колени первого, умоляя о помощи, тот упал, так же как от прикосновения Ф., датчанка переползла через труп, обхватила колени второго — и этот был трупом, появилась тень вездехода, угольно-черная, потом — какое-то громадное существо, оно налетело на женщину, а она, вдруг безвольно обмякнув, даже не сопротивлялась, была изнасилована и убита, кадры сплошь предельно четкие, крупным планом ее лицо, в первый раз, потом лицо существа, плаксивое, алчное, мясистое, пустое; то, что последовало дальше, было, видимо, снято ночью, специальной камерой, труп лежал среди святых мужей, двое покойников опять сидели, сбежались шакалы, понюхали, принялись рвать тело Ютты Сёренсен, и только теперь Ф. заметила, что она одна в просмотровом зале, она вышла из зала, остановилась у двери, достала из сумки сигарету, закурила, у стола сидел Полифем, кромсал пленку, рядом — стойка с обрезками, на столе револьвер и нарезанные квадратики целлулоида, в конце стола — лысая глыба, скандирующая стихи, греческие гекзаметры, Гомера, с закрытыми глазами раскачивающаяся в такт; Полифем сказал, что накачал его валиумом, а затем, вырезая очередной кадр, спросил, как ей понравился его материал, видеофильм, переснятый на 16-миллиметровую пленку, ответа на этот вопрос она не нашла, он смотрел на нее, безучастно, холодно; то, что он зовет реальностью, подстроено, инсценировано, сказала она, на что он, разглядывая вырезанный кадр, ответил: инсценируется игра, реальность инсценировать нельзя, ее можно только выявить, вот он и выявил Сёренсен, как космический зонд выявил действующие вулканы на одном из спутников Юпитера, на что она бросила: софистика! — а он: в реальности нет софистики, но тут все опять задрожало, и с потолка посыпались крошки и пыль, и она спросила, почему он назвал Ахилла слабоумным богом, и Полифем объяснил: он называет его так потому, что Ахилл действует как обезумевший бог-творец, уничтожающий свои творения; датчанка не творение слабоумного, со злостью воскликнула она; тем хуже для бога, спокойно возразил он и на ее вопрос, произойдет ли это здесь, сказал: нет, не здесь и не у Аль-Хакимовых Развалин, их видно со спутников, портрет датчанки страдает изъянами, зато ее портрет будет шедевром, он уже выбрал место, а теперь она должна оставить его и Ахилла одних, Ахилл может проснуться, а ему надо собрать вещи, ночью они уедут отсюда и ее с собой

возьмут, а заодно пленки и фотографии, ради которых за ним охотятся, он покинет станцию навсегда, и Полифем опять занялся пленкой, Ф. же не сразу сообразила, что покорно шагает в свою тюрьму, там она улеглась не то на кровать модерн, не то на диван — настолько ей было безразлично, что она делает, бежать все равно невозможно, он опять протрезвел и вдобавок вооружен, Ахилл мог проснуться, а станция поминутно содрогалась, и, если бы даже ей вздумалось убежать, она не знала, хочет ли этого, она видела перед собою лицо Ютты Сёренсен, перекошенное желанием, а потом, когда огромные ручищи обхватили ее горло, за секунду перед тем, как исказиться, гордое, торжествующее, смиренное, датчанка желала всего, что с нею случилось, желала насилия и смерти, остальное было только предлогом, а она сама, Ф., она не могла не пройти до конца тот путь, который выбрала, в угоду своему выбору, гордости, в угоду себе, замкнуть смехотворный и все же неизбывный порочный круг долга, но искала ли она правду, правду о себе самой, ей вспомнилась встреча с фон Ламбертом, она согласилась выполнить его поручение вопреки голосу инстинкта, бросив один туманный план, она схватилась за еще более туманный, лишь бы что-то предпринять, ведь она переживала кризис, ей вспомнился разговор с Д., логик был слишком учтив, чтобы отговаривать ее, да и слишком хотел посмотреть, чем все кончится, фон Ламберто, может, еще раз вышлет вертолет, он же опять виноват, подумала она и невольно рассмеялась, потом она увидела себя в мастерской, перед портретом, который действительно изображал Ютту Сёренсен, но обернулась она слишком поздно, наверняка это Тина выскользнула тогда из мастерской, и наверняка режиссер был ее любовником, она была близка к правде, но не выяснила ее до конца, соблазн отправиться самолетом в М. был чересчур велик, хотя и этот полет, пожалуй, был всего лишь бегством, только вот от кого, спросила она себя, возможно, от себя самой, видимо, она сама себе стала невыносима, а бегство свелось к тому, что она просто покорилась обстоятельствам, поплыла по течению, она увидела себя девочкой, возле горного ручья, на том месте, где он обрывается со скалы в пропасть, она улизнула из лагеря, пустила в ручей бумажный кораблик и пошла за ним, то один камень, то другой задерживали кораблик, но он каждый раз высвобождался и теперь неудержимо плыл к водопаду, а она, маленькая девочка, следила за ним вне себя от радости, потому что посадила на него всех своих подружек, и сестру, и

мать с отцом, и веснушчатого мальчишку-одноклассника, который умер потом от детского паралича, — словом, всех, кого любила сама и кто любил ее, — и когда кораблик помчался стрелой, ринулся со скалы вниз, в бездну, она громко закричала от восторга, а кораблик вдруг стал большим кораблем, ручей — порожистой рекой, и сама она была на этом корабле, все быстрее плывшем к водопаду, над которым на двух утесах сидели Полифем и Ахилл, Полифем фотографировал ее камерой, похожей на исполинский глаз, а Ахилл хохотал, раскачиваясь взад-вперед голым торсом.

## 23

В путь они отправились сразу после мощнейшего взрыва, ей даже почудилось, будто станция рушится, ничто уже толком не работало, вездеход пришлось поднимать из гаража ручной лебедкой; выбравшись в конце концов на поверхность, Полифем наручниками приковал ее к стояку нар, где она лежала среди нагромождений роликов с пленкой, а потом сел за руль и рванул с места, но ракет больше не было, всю ночь они без происшествий ехали дальше и дальше на юг, над головою мерцали звезды, названия которых она забыла, кроме одного — Канопус, Д. говорил, что она увидит эту звезду, но откуда теперь знать, видит она Канопус или нет, и странным образом это мучило ее, ведь ей казалось, что отыщи она Канопус, и он непременно поможет ей, потом звезды побледнели, последней — та, что, возможно, была Канопусом, ночь истаивала ледяным серебром, превращаясь в день, Ф. совсем озябла, медленно вставало солнце; Полифем высадил ее из машины, погнал — все в той же рыжей шубе — в великую пустыню, в иссеченный трещинами дикий край, чуть ли не лунный ландшафт, царство песков и камня, мимо уэдов, среди песчаных барханов и фантастических скальных образований, в ад света и тени, пыли и суши, как раньше гнал Ютту Сёренсен, то почти наезжая на нее, то следуя поодаль, то вообще исчезая из пределов слышимости, то с ревом настигая, — чудовище, затеявшее игру со своей жертвой, вездеход, у руля Полифем, рядом Ахилл, еще полуодурманенный, раскачивающийся взад-вперед, декламирующий «Илиаду», стихи, единственное, что не смог уничтожить поразивший его обломок стали; кстати, Полифему незачем было руководить ею, она шла и шла, закутанная в шубу, спешила навстречу солнцу, которое поднималось все выше,

потом за спиной раздался смех, вездеход гнался за ней, как полицейский в белом тюрбане гнался за шакалом, а может, она и была этим самым шакалом, она остановилась, вездеход тоже, вся в поту, она разделась — пусть смотрят, ей безразлично, — накинула одну только шубу, пошла дальше, вездеход за ней, она все шла и шла, солнце выжгло небо, когда вездеход не двигался и отставал, она слышала жужжание камеры, это предпринималась попытка создать портрет убитой, только на сей раз убитой будет она сама и портрет делает не она, с нее делают портрет, и ей подумалось, что же станет с ее портретом, будет ли Полифем показывать его другим жертвам, как показал ей портрет датчанки, а после она уже не думала ни о чем, потому что думать было бессмысленно, в мерцающей дали завиднелись причудливые низкие скалы, неужто мираж, подумала она, ей давно хотелось увидеть мираж, но, когда она, уже еле волоча ноги, подошла ближе, скалы оказались кладбищем разбитых танков, они обступали ее словно исполинские черепахи, в слепящую пустоту вонзались мощные, опаленные огнем мачты с прожекторами, освещавшими давнее танковое сражение, но, едва она сообразила, куда ее пригнали, тень вездехода плащом накрыла ее, а когда впереди, совсем рядом, возник Ахилл — полуголый, весь в пыли, будто явившийся из гущи дикой схватки, в драных армейских брюках, босые ноги заскорузли от песка, бессмысленные глаза широко открыты, — на нее с размаху обрушилось Настоящее, дотоле неведомая жажда жить вспыхнула в душе, жить вечно, броситься на этого гиганта, на этого слабоумного бога, вгрызться зубами ему в горло, ставши вдруг хищным зверем, лишенным всего человеческого, слившись с тем, кто хотел изнасиловать ее и убить, слившись с чудовищной тупостью мира, но он словно бы отступал перед нею, выписывал круги, а она не понимала, почему он отступает, выписывает круги, падает, опять встает, таращится на стальные трупы — американские, немецкие, французские, русские, чешские, израильские, швейцарские, итальянские, — от которых вдруг потянуло жизнью, люди чуть не толпами полезли из ржавых танков и разбитых бронемашин: операторы выныривали неожиданно, точно фантастические животные, всплывали из кипящего серебра вселенной, шеф секретной службы выкарабкался из помятых остатков русского СУ-100, а из башни обгоревшего «Центуриона», точно убегающее молоко, выпучился начальник полиции в своем белом мундире, все наблюдали за Полифемом и друг за дру-

гом, съемка велась отовсюду — с танковых башен, с броневой обшивки, с траков, — тонмейстеры орудовали своими «удочками», а меж тем Ахилл, раненный вторично, в бессильной ярости начал кидаться на танки, его отшвыривали пинками, он падал навзничь, копошился в песке, вставал на ноги, потом, хрипя, заковылял к вездеходу, прижимая к груди руки, из-под пальцев текла кровь, тут его настигла третья пуля, он снова упал навзничь, выкрикивая в лицо снимающему Полифему стихи из «Илиады», еще раз кое-как поднялся и рухнул замертво, прошитый автоматной очередью, после чего Полифем, пока все снимали его и друг друга, рванул на вездеходе прочь, виляя между искореженными танками, удирая от тех, кто его преследовал, кому достаточно было только пойти по следу, впрочем, и это не имело смысла, потому что, когда около полуночи они оказались в нескольких километрах от станции наблюдения, пустыня содрогнулась от взрыва, похожего на землетрясение, и в воздухе вспыхнул гигантский огненный шар.

## 24

Через несколько недель, когда Ф. со своей съемочной группой вернулась домой и телекомпании успели без всякой мотивировки отвергнуть ее фильм, логик Д. за завтраком в итальянском ресторане прочитал ей вслух выдержку из газеты, где сообщалось, что в М. по приказу начальника генерального штаба расстреляны начальник полиции и шеф секретной службы, первый за то, что предал свою страну, второй за то, что хотел свергнуть правительство, теперь, сам возглавив правительство, начальник генерального штаба вылетел на юг страны, в войска, чтобы продолжить пограничную войну, далее, он опроверг слухи о том, что часть пустыни является мишенным полем для чужих ракет, и подтвердил нейтралитет своей страны; это сообщение очень позабавило Д., тем более что на следующей полосе он прочитал заметку, в которой говорилось, что Отто и Тина фон Ламберт осуществили свою давнюю мечту: та, кого уже считали мертвой и схоронили, подарила жизнь здоровенькому мальчугану; складывая газету, Д. сказал Ф.: «А тебе, черт побери, здорово повезло».

# Ущелье Вверхтормашки

# Durcheinandertal

Он был похож на Бога из Ветхого Завета, только без бороды. Когда девочка его заметила, он сидел на каменной кладке, ограждающей от осыпей дорогу, поднимающуюся по ущелью вверх, к пансионату. Девочка окликом остановила пса. Ее собака — огромный пес больше сенбернара, коротко-шерстый, черной масти с белой грудью — тащила вверх по дороге тележку с молочным бидоном, позади которого и стояла девочка. Ей было четырнадцать лет. Она сняла с бидона крышку, зачерпнула половником молока и направилась к нему. Сама не зная зачем. Безбородый Бог взял половник и выпил молоко. Вдруг девочка перепугалась. Закрыв бидон, она повесила на его край половник, махнула рукой Мани, и тот помчался к пансионату, таща тележку с бидоном и девочкой с такой скоростью, словно тоже перепугался.

Безбородый Бог обладал чувством юмора. Выслушав просьбу Моисея Мелькера, он разразился таким хохотом, что гости пансионата, все еще танцевавшие, сбились с такта, а трое чехов-музыкантов — пианист, скрипач и виолончелист — прекратили играть. Правда, расхохотался он лишь после того, как Мелькер удалился — в полной уверенности, что получил отказ. Безбородый Бог и глазом не моргнул. А хохотал он задним числом главным образом потому, что Мелькер говорил о Великом Старце, и Безбородый Бог решил, что Мелькер имеет в виду его самого, лишь потом он уразумел, что Мелькер называет Великим Старцем истинного Бога. Того, что с бородой. Недоразумение это имело вполне понятную причину. Моисей Мелькер побаивался произнести слово «Бог» и поэтому всегда называл его Великим Старцем, ибо представлял его себе не иначе, как могучим стариком с окладистой бородой, а что обычный человек в состоянии представить себе Бога, для Мелькера было «просто постулатом христианской веры». Враждебной вере и ее разлагающей была, наоборот, аб-

стракция, верить можно было только в конкретное существо, а существо не может быть абстрактным, потому он и побаивался самого слова «Бог», оно было затаскано, в большинстве своем люди понимали под этим словом нечто неопределенное, расплывчатое, а для Мелькера он был, напротив, Великим Старцем. Поэтому неудивительно, что Безбородый Бог смешался, когда Моисей спросил его, сознает ли он, что пользуется благоволением Великого Старца, и не хочет ли из благодарности к Великому Старцу помочь устроить «Приют Отдохновения» для миллионеров, также пользующихся Его благоволением. Лишь по ходу дальнейшей беседы смущение Безбородого Бога уступило место веселому изумлению — как же, он, оказывается, могущественнее самого Бога! Нет, он не создал весь мир за шесть дней и не нашел, что это хорошо, как сделал Бородатый Бог, он создал его за несколько минут, даже секунд, лучше сказать — за долю секунды, точнее — за доли долей секунды, одним словом — сразу, не сходя с места, в один миг — и нашел, что получилась хорошая шутка. Да и вообще — если выйти за рамки теологии — Безбородый Бог могущественнее Бородатого, ведь по отношению к нему никому не придет в голову задаться вопросом, может ли он, всемогущий, создать камень, который не сможет поднять, или может ли он отменить уже свершившееся: о его могуществе не задумываются теологи, а выражается оно в его неуловимости. Никакое правительство, никакая полиция не пытались его схватить, слишком много нитей сходилось к нему. Кому только банки, принадлежащие ему, равно как и банки, связанные с ним, не открывали номерных счетов, в каких только транснациональных компаниях он не владел контрольным пакетом акций и в каких только крупномасштабных спекуляциях оружием не принимал участия, какое правительство не подкупал и какой папа римский не просил у него аудиенции? Его происхождение терялось во мраке неизвестности. О нем ходили легенды. Согласно одной из них, он прибыл в Нью-Йорк в 1910 или 1911 году из Риги или Таллинна без гроша в кармане и «в течение десяти лет спал в Бруклине на голом полу». Потом стал портняжничать и вскоре подмял под себя текстильную промышленность, однако сказочное его состояние родилось в результате краха нью-йоркской биржи в октябре 1929 года — он скупил акции всех обанкротившихся фирм. Никто не знал его истинного имени, а

те, кто знал о его существовании, называли его Великим Старцем. Он изъяснялся только на идиш, но, видимо, понимал говорящих на всех языках, равно как и его секретарь Габриэль, альбинос с голыми веками, всегда в смокинге, всегда с ниспадающими на плечи седыми волосами, всегда в возрасте около тридцати или тридцати с гаком, который владел всеми языками и переводил краткие указания своего шефа, даваемые на идиш, на язык тех, кто просил совета у Великого Старца. При этом просители дрожали от страха. И не без основания. Ибо его совет мог быть доброжелательным, а мог быть и коварным. Великий Старец был непредсказуем и ни на кого не похож. Многие предполагали, что он, помимо всего прочего, владычествует над Восточным и Западным побережьем Америки. Это помимо всего прочего. Правда, доказательств ни у кого не было. Некоторые считали Иеремию Велиала, торговца коврами, просочившегося в Штаты из Бухары через Берингов пролив, его ближайшим сподвижником. Другие же полагали, что оба — одно и то же лицо, но были и сведущие люди, утверждавшие, что на самом деле нет ни того, ни другого, так что оставалось сомнительным, знал ли кто-нибудь, что за молчаливый старик поселился со своим секретарем в огромном пансионате с островерхой крышей, построенном в нижней части ущелья Вверхтормашки в середине прошлого века, и занял весь верхний этаж в Восточной башне. Он и появился в здешних краях как-то странно. Просто вдруг оказался тут. Официанты автоматически принялись обслуживать его и Габриэля. Они решили, что он — один из обычных постояльцев, то же самое подумали и портье, и директор Гебели, которому принадлежал пансионат. На старика никто не обратил особого внимания, и, когда он вновь исчез, все тут же забыли о нем. Он был для них просто одним из гостей. Не в лучшей форме: какие-то нелады с пищеварением, сердце тоже не тянет, да и возрастной диабет дает о себе знать. Ему явно пошли на пользу здешние тихие леса, пешие прогулки к целебному источнику — всегда в сопровождении Габриэля — и три стакана целебной воды каждое утро, равно как и ежедневный концерт преимущественно классической музыки в четыре часа пополудни.

Если уж в пансионате никто не подозревал, что среди постояльцев находится Великий Старец, то в деревне, расположенной в том же ущелье, — горстке старых, полуразва-

лившихся домишек — и подавно никто не мог знать о его пребывании. А то бы вновь несколько оживилась вера в его существование. В настоящее же время лишь несколько старушенций время от времени посылали свои многостраничные домыслы в центры общественного мнения, однако неизвестно, попадали ли их послания в Южную Калифорнию, Западную Австралию, а тем более — в Антарктиду, на плато короля Хаакона, куда они были адресованы: их не отсылали обратно, но на них и не отвечали. Вот и старуха — вдова Хунгербюлера — только потому могла поддерживать эту одностороннюю ежедневную переписку, что была единственной состоятельной, можно даже сказать, богатой женщиной в деревне. Ее супруг, Иво Хунгербюлер, сорок лет назад продал свою обувную фабрику неподалеку от Санкт-Галлена и был единственным человеком, построившим себе тут виллу, никак не вписывавшуюся в общий облик ущелья. Фабриканта этого все считали помешанным, ибо кому еще могло прийти в голову поселиться в этой деревне и выстроить тут виллу. Что он и впрямь был не в своем уме, выяснилось после торжественного освящения виллы, протекавшего весьма пристойно, если не считать того факта, что фрау Бабетта Хунгербюлер устроила своему мужу сцену, когда он прожег сигарой дыру в старинном персидском ковре. Она при гостях сказала ему: «Ну что ты, что ты, папочка». Едва последние гости ушли, он повесил сперва жену, а потом и себя самого на притолоке двери, которая вела из гостиной в сад. Один из гостей, забывший в доме ключи от машины, вернулся и обрезал обе веревки. Обувщик был мертв — правда, врач счел, что Иво Хунгербюлер сломал шею уже при падении, а его вдова хоть и осталась жива, но утратила дар речи. С тех пор она и писала письма Великому Старцу. Сама же деревня, насчитывавшая восемьдесят семей, была расположена прямо напротив пансионата на другой стороне ущелья, прорытого рекой в горе. Ущелье это имело весьма странную форму. Солнечный склон его был сплошь покрыт лесом, выкорчеванным лишь на плато с пансионатом, парком, плавательным бассейном и теннисными кортами. Лес поднимался круто вверх по склону, внизу — чистый ельник, выше — лиственницы, и завершалась гора отвесной каменной стеной Шпиц Бондер — местом тренировок скалолазов. А теневая сторона, где была расположена деревня, наоборот, была безлесной, крестьянские домишки лепились по ее склону без всякого плана и смысла, склон тут был слишком отвесный, чтобы его обрабатывать, а место

слишком низкое, чтобы привлечь горнолыжников. Из деревенских жителей лишь семьи Претандер и Цаванетти пользовались некоторой известностью в округе. Один из Претандеров был некогда членом Национального совета, а один из Цаванетти — кантональным ветеринаром. Теперь же только деревенский староста носил фамилию Претандер, а много лет назад Претандером звался и местный священник, тихим голосом вещавший Слово Божие. Да кто же поймет это слово, если даже церковный попечитель кантона не понял бормотанья Претандера, со вздохом пожал плечами, но оставил священника на его посту. Однако после кончины старого Претандера не нашлось претендентов на его место, так что теперь раз в месяц присылаемые из кантона священники, сменяя друг друга, читали здесь проповеди перед пустыми скамьями, на которых лишь иногда оказывался кто-нибудь из курортников. Старенькая, покосившаяся церквушка с протекающей крышей была слишком заурядна, чтобы попасть под охрану памятников старины, и слишком мало посещаема, чтобы удостоиться ремонта. В то же время епископ в столице кантона подумывал о том, чтобы построить возле целебного источника часовню для паломников, хотя вся округа здесь была сугубо протестантской. Директор и владелец пансионата Гебели заверял, что чудеса не заставят себя ждать, вот и дочь его уже начинает кое-как передвигаться, однако Рим отказал. Так что строить католическую часовню не стали, а протестантскую церковку начали мало-помалу растаскивать, так как жителям очень была нужна древесина. А нужна она была потому, что многие зарабатывали на жизнь, изготавливая крестьянские комоды, шкафы и стулья «под старину», а также трости и фигурки оленей — большие, используемые в качестве подставок для зонтов, и маленькие — для пепельниц. На рога больших оленей вешали шляпы, а об рога маленьких стряхивали пепел. К церкви лепился обветшавший домик священника, а к нему — деревенские кабаки «У Шпиц Бондера», «У швейцарца», «Битва под Моргартеном», «Генерал Квизан» и «Олень». Среди горстки домишек лишь кондитерские, гараж, подворье старосты и склад пожарной охраны выделялись своим благополучным видом. Кондитерские содержались в хорошем состоянии потому, что поставляли в пансионат хлеб и булочки, плюшки и рогалики и давали возможность диабетикам, с давних пор составлявшим значительную часть летних постояльцев, объедаться сладостями в своих залах, что было бы неуместно в самом пансионате.

Гараж — потому, что отдаленность пансионата вызывала необходимость иметь поблизости стоянку такси, а подворье старосты потому, что он поставлял в пансионат молоко: летом — на тележке, зимой — на санках, в которые запрягался огромный короткошерстый и крупноголовый пес черной масти с белой грудью. Староста и сам не знал, откуда тот взялся. Этого вообще никто не знал, да такого пса никто никогда и в глаза не видел. Просто он вдруг оказался в хлеву у Претандера, и, когда тот вошел, пес так бурно обрадовался, что свалил старосту с ног. Поначалу Претандер побаивался пса, но потом привык к нему и в конце концов просто не мог без него жить. И наконец, склад пожарной охраны был все еще в приличном состоянии потому, что в нем хранился подаренный кантональными властями современный пожарный насос с механическим приводом. Подарен он был не для того, чтобы оградить от пожаров саму деревню, для этого, по мнению пожарной охраны кантона, вполне хватило бы старого ручного насоса, а ради сохранности пансионата, для чего кантональная служба подземных сооружений установила гидранты вокруг главного здания и его двух флигелей с башенками. Деревня жила за счет пансионата, поставляя туда летом необходимый персонал — прачек, горничных, рассыльных, садовников, кучеров для прогулок в коляске и поездок на праздник Первого августа (пирамида гимнастов из местного спортивного общества). Курортники буквально опустошали деревню, увозя с собой все поделки местных мастеров, видя в них изделия народных промыслов. Зимой, когда пансионат пустел, деревня вновь погружалась в болото нищенского прозябания.

Моисей Мелькер обратился со своей просьбой к Безбородому Богу вечером того дня, который предшествовал исчезновению того из пансионата. Точнее — около полуночи. Великий Старец сидел рядом со своим секретарем и разглядывал собравшееся здесь общество: люди не слишком богатые, но состоятельные, у всех нелады со здоровьем, были тут и хромоногие храбрецы — жертвы горнолыжного спорта, а также пожилые супружеские пары. Некоторые кружились в танце, другие устало покоились в мягких креслах, в то время как трое чехов, приезжавших сюда каждое лето, которым давно здесь все обрыдло — и пансионат, и деревня с этим дурацким ущельем и торчащей в небо голой горой, — играли и играли, машинально, словно сквозь сон, и после последних

танго и даже буги-вуги принялись за попурри из Шуберта — «Форель», «Песнь моя, лети с мольбою», «В путь» и «Ave Maria». Мелькер смахивал на светлокожего дикого негра — приземистый, с толстыми губами и коротко подстриженной курчавой черной бородкой. Возможно, Великий Старец разразился несколько запоздалым хохотом именно из-за теологических рассуждений Мелькера, поскольку Безбородого вообще забавляли всякие теории насчет Бородатого, но возможно также, что опытного знатока человеческих душ рассмешила психологическая причина теории, зародившейся в голове Мелькера. Незаконный сын батрачки протестантского вероисповедания и батрака-католика, Мелькер вырос в Эмментале. Его приемные родители, которых он, сирота, долгое время считал родными отцом и матерью, любили выпить, но мальчишку ни разу даже пальцем не тронули, поскольку друг друга лупили так отчаянно, что у них уже не было сил приниматься еще и за него. Никогда потом он не был так счастлив, как в те ночи, когда они колотили друг друга до крови: хоть у него ничего за душой не было и сам он был никем, но чувствовал себя в безопасности. Потом к нему проявил участие деревенский священник. Моисей был единственным учеником, который не шалил и не засыпал на уроках Закона Божьего для малышей и потом, на занятиях с будущими конфирмантами. Священник послал его в Базель продолжать образование. Он обучился на миссионера в миссионерской школе Святого Кришны, но его все же не послали обращать язычников в христианство, убоявшись, что их отпугнет его внешность. Однако мысли Моисея были направлены не на тех язычников, которых имели в виду миссионеры. Его вдохновил вывод, который он извлек из библейских слов: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это означает, что счастлив лишь тот, кто беден, ибо бедность его предначертана ему Великим Старцем (так Мелькер именовал Бога с бородой), а богатому, чтобы стать счастливым, нужно снискать Господне благоволение. И Моисей Мелькер решил наставлять на путь истины людей богатых. Его книги «Таинственный назарянин», «Небесный ад», «Позитивная смерть», «Смелый грех» и прежде всего его «Теология богатства» произвели фурор. В то время как Барт отверг его теорию, а Бультман написал, что ему абсолютно безразлично, на каком основании он попадет в рай, лишь бы туда попасть, некоторые обнаружили в его теологии богатства теологию бедности, а именно ее неотвратимости, и состоит

эта неотвратимость в выводе автора, что благоволение Господа ничем не может быть обосновано. Лишь самые отверженные могут ее удостоиться в полной мере (Кайетан Зенземан сделал из этого самые неожиданные заключения об образе жизни Девы Марии до Благовещения и был за это отлучен от церкви), тем, что Мелькер изымает бедность из сферы Господнего благоволения, переводит ее из области непредсказуемого в область предсказуемого, предначертанного, бедность сама по себе становится благом, даруемым Небесами, а бедняк провозглашается спасенным и тем самым только за ним признается верность суждений и право на революцию, так что теология Мелькера, подобно философии Гегеля, раскололась на правое и левое крыло. Сам Мелькер никак на эти мнения не отреагировал. Его теология представлялась автору узкими мостками над пропастью. Но поскольку из пропасти доносился запах пота, вызванный борьбой между его необычайным уродством и его же чудовищной чувственностью, ему понадобились еще одни мостки: обожествление двух покойных жен — Эмилии Лаубер и Оттилии Ройхлин, а также ныне живущей супруги Цецилии Ройхлин, сестры покойной Оттилии — обожествление, напоминающее почитание Девы Марии римскими папами. Трем своим женам он обязан роскошной виллой, в которой он обитал на Гринвиле в Эмментале. Покойные жены были столь же богаты, сколь уродливы, а третья — богаче и уродливее своих предшественниц. Первая имела фабрику резиновых изделий, вторая была совладелицей сигарного концерна, третья — после смерти сестры — единственной владелицей этого концерна. Первая сломала шею, когда залезла на дуб, утверждая, что она — архангел Михаил, вторая утонула в Ниле во время свадебного путешествия. Однако Моисей Мелькер не радовался свалившемуся на него богатству, да разве кто-нибудь лишь по любви женится на трех сказочно богатых, влиятельных, но уродливых женщинах. Он чувствовал, с каким недоверчивым прищуром глядели на него люди, когда он подкатывал на своем «роллс-ройсе», и, чтобы опровергнуть это недоверие, Моисей всюду заявлял, что он гол как сокол, и называл себя Моисей-бедняк. А мнимое его богатство на самом деле, мол, все еще принадлежит частично двум его покойным вдовам, как он выразился, ибо обе покойницы на Небесах как бы являются его вдовами, а оставшаяся часть — его не менее любимой ныне живой Цецилии. Даже деньги, полученные за опубликованные им книги, принадлежат его супругам, поскольку без их капиталов он

ни за что не мог бы написать свои пухлые тома. Великий Старец понял все до конца. И мостки над пропастью рухнули. Моисей Мелькер просто не мог себе представить, что как раз уродливые мужчины могут эротически возбуждать даже самых красивых женщин. Его чувство собственной сексуальной неполноценности было так велико, что на него угнетающе подействовало даже покорение им сразу двух миллионерш, правда, таких же уродливых, как он сам, которые, однако, легко могли бы найти себе красавчиков. Ибо едва он покорил первую, как в пропасти опять началось брожение. У него возникло мрачное подозрение, что Эмилия Лаубер вышла за него не из-за его мужских достоинств, не из-за бушевавшей в нем сексуальной неутоленности, а соблазненная его религиозными теориями, с помощью которых он пытался выбраться из болота своих комплексов. И то, что она впоследствии вообразила себя архангелом Михаилом, неминуемо должно было привести его в бешенство. Если Великий Старец считал вполне вероятным, что Моисей Мелькер помог своей первой супруге свалиться с дуба — то ли вскарабкавшись вслед за ней наверх, то ли подпилив сук, на котором она имела обыкновение сидеть (кто стал бы расследовать случившееся в семье такого богобоязненного человека?), то уж в том, что вторую супругу Мелькер своими руками столкнул в Нил, Великий Старец был просто уверен. Лишь Оттилии Ройхлин мог прийти в голову такой маршрут свадебного путешествия — посещение Абу-Заабаля, затем из Ассуана в Луксор. Перед монументальными статуями Рамзеса Второго Моисей Мелькер наверняка производил впечатление выродка шимпанзе. Великий Старец мысленно представил себе Оттилию Ройхлин. Это была уродка с возвышенным складом души и сильной волей. Великий Старец уважал ее в той же степени, в какой презирал Моисея. Ему импонировала ее самостоятельность, она могла выбирать себе мужчин по вкусу и настроению — кто бы отказался начать более приятную жизнь с помощью ее миллионов. Однако рядом с красавцем супругом ее уродливость сильнее бросалась бы в глаза, а выйдя за Моисея, она показала, что не придает внешности никакого значения. Этого унижения Мелькер вынести не смог. Где-то под Идфу, в лунную ночь, Моисей и Оттилия Ройхлин были одни на палубе. Моисей, злобно ощерившись, разбежался и едва не свалился за борт вслед за ней. Никто не услышал громкого

всплеска. От неожиданности она даже не вскрикнула. Под тяжестью драгоценностей она камнем пошла ко дну. А Моисей в ту же минуту начисто забыл о содеянном. Мостки теологии моментально перекрыли пропасть, едва он решился на поступок. Он вернулся в каюту и начал писать свой бестселлер «Ведомый двумя ангелами» — хвалебную песнь двум убиенным им женам и посвященную им, — который впоследствии был переведен на три десятка языков. Лишь на следующее утро, ближе к полудню, он смятенно сообщил капитану, что его супруга исчезла из своей каюты. Начавшиеся тут же поиски ничего не дали, никакого подозрения не возникло. Его печаль была искренней. Он ничего не помнил. Но когда он вернулся в свою виллу на Гринвиле и вошел в спальню, он вдруг все вспомнил. На супружеском ложе возлежала в прозрачной шелковой сорочке Цецилия Ройхлин, его пышногрудая свояченица с тремя подбородками. На жирных складках ее живота покоилось несколько коробок шоколадных конфет, она курила сигару и читала криминальный роман. Цецилия Ройхлин взглянула на Моисея, но не прервала своих занятий. По ее взгляду Мелькер понял, что она все знает. Он нырнул к ней в постель и в свой третий брак.

Это, естественно, всего лишь гипотезы, пытающиеся объяснить смех Великого Старца, равно как и два трупа в глубине подсознания теолога — тоже гипотезы, мир не так ужасен, как его представлял себе Великий Старец, хотя чаще всего — еще ужаснее. Однако если допустить, что история, которая здесь рассказывается, представляет собой переплетение и взаимопроникновение нескольких историй, когда одно проистекает из другого и возникает благодаря ему, а не является просто набором никак не связанных между собой историй, то и причину этого смеха нужно искать в некой задней мысли, пришедшей в голову Великому Старцу — то ли благодаря личности самого Мелькера, то ли благодаря его трем бракам или же его теологии. Все может быть. Во всяком случае, на место действия был вызван один из совладельцев адвокатской конторы «Рафаэль, Рафаэль и Рафаэль» — правда, так и не удалось выяснить, кем именно он был вызван. Известно было только, что вызван был один из трех Рафаэлей, причем никто не мог сказать, который — старший, средний или младший, — даже в их адвокатской конторе на Минерваштрассе, 33а, в Цюрихе никто этого не знал, неко-

торые утверждали, что существует лишь один адвокат с такой фамилией, другие — что старший и средний Рафаэли — неотличимые друг от друга близнецы, а младший шеф вообще умер, были и другие версии. И если никто не знал, кто именно вылетел на место, то и тот, кто летел, тоже не знал, куда летит, ибо место назначения то и дело менялось, а к кому летит, выяснить было тоже невозможно. Окон в самолете не оказалось, попасть в кабину пилота тоже было нереально, к тому же при наборе высоты к шампанскому было подмешано снотворное, хотя стюард не появлялся. Ухабистая взлетно-посадочная полоса, на которую самолет в этот раз сел, граничила с площадкой для гольфа. Выйдя из самолета, адвокат оказался на зеленой лужайке. Кругом валялись биты для гольфа, многие уже покрытые ржавчиной, а также шары. Солнце стояло низко над горизонтом, очевидно, день клонился к вечеру. В конце лужайки виднелось белое длинное здание, которое благодаря куполу, возвышавшемуся над одним из его флигелей, слегка смахивало на нечто ватиканообразное. Стояло оно на самом краю крутого обрыва, и вид у него был необычайно заброшенный, все окна выбиты. Видимо, здание это некогда служило гостиницей, но, очевидно, очень давно, ибо пустые помещения были густо оплетены паутиной, а из гнезд, прилепившихся над оконными и дверными проемами, вылетали птицы. В одном из коридоров по полу бродил огромный паук величиной с ладонь. Туалет носил следы былой роскошной отделки, но был загажен до предела. Под куполом располагался парадный зал с огромной буфетной стойкой, очевидно не использовавшейся в течение многих месяцев: вся она была покрыта плесенью и засижена мухами. Вода в Тихом (или Атлантическом) океане ближе к горизонту казалась более светлой. По фуникулеру к кромке воды со скрипом и скрежетом спускалась кабина, навстречу ей с таким же скрипом и скрежетом двигалась другая, пустая, а на пляже лежал босой мужчина с голой грудью, заросшей густой седой шерстью, облаченный лишь в поношенные брюки от вечернего костюма. Лицо мужчины прикрывала широкополая соломенная шляпа. Возможно, то был Великий Старец, а возможно, и кто-то другой. Он спал на тюфяке, сквозь дыры которого вываливался конский волос. Худощавый человек в накинутом на голое тело врачебном халате, абсолютно лысый, с глазами необычайно глубокой синевы, глядевшими из-за стекол золотых очков без оправы и придававшими ему сходство с портретами кисти Эль Греко, стоял рядом со спя-

щим и набирал шприц. Ближе к крутому обрыву на берегу валялись намокшие порнографические журналы, «Краткий атлас Штилера о частях Земли и строении Вселенной», изданный Юстусом Пертесом в 1890 году, «Словарь разговорного языка Майера в восемнадцати томах 1893—1898», «Философия в будуаре» маркиза де Сада, бесчисленное множество телефонных справочников, третий том церковной догматики Карла Барта «Учение о сотворении мира: о Божественном Промысле», пачки биржевых отчетов, журнал «Шпигель», том «Biblia Hebraica ad optimas editiones imprimis Everardi Van der Hooght»[1], другие брошюры и книжонки, а также кучи нераспечатанных писем. Весь пляж был завален этими бумагами, то и дело слизываемыми приливной волной. Меж бумагами повсюду поблескивали бесчисленные карманные и наручные часы из цветных сплавов, серебра, золота и платины. Солнце поднялось выше. Значит, был не вечер, а утро. Скрипучий фуникулер вновь заработал, из спустившейся на пляж кабины вышел альбинос с длинными седыми прядями, ниспадающими на воротник смокинга, и вывалил из корзины для бумаг новую порцию нераспечатанных писем. Фуникулер опять заскрежетал. Человек, лицо которого было скрыто соломенной шляпой, проснулся и начал смеяться. Тогда худощавый лысатик всадил ему шприц, и тот вновь заснул. Адвокат вошел в кабину фуникулера и поехал вверх.

Только вернувшись к себе в офис на Минерваштрассе, адвокат сообразил, почему Великий Старец вызвал его к себе (если, конечно, это был он): Великий Старец поручил ему купить пансионат вместе со всем инвентарем, хотя адвокат не знал, для чего он ему понадобился и откуда взялись деньги, которые внезапно оказались в его распоряжении. Директор пансионата Гибели тоже не знал, с какой стати он должен вдруг продать пансионат — ведь его дед основал его, отец унаследовал и сам он продолжал вести дело, причем пансионат приносил теперь невиданные прежде доходы, да и по отношению к деревне Гибели ощущал некоторые обязательства. Но сумма, предложенная ему нотариусом в столице кантона по поручению адвокатов с Минерваштрассе, была до такой степени сказочная, что он даже согласился на условие

---

[1] Еврейская Библия по лучшим изданиям, прежде всего по изданию Ван дер Нугта (*лат.*).

по окончании летнего сезона тут же выехать из пансионата, несмотря на то, что сам там проживал. Гибели разузнал, где налоги поменьше, и перебрался в Цуг, а у адвоката после покупки пансионата вновь словно пелена упала с глаз: барон фон Кюксен провернул выгодную сделку. Хотя для адвоката оставалось загадкой, как он об этой сделке узнал и каким образом она удалась. Однако самым загадочным для адвоката было то, что он вообще знал о существовании этого барона, ведь тот был лихтенштейнцем, жителем карликового государства размером в 169 квадратных километров, где налоги были до того низкими, что оно как магнит притягивало капиталы богатых особ. Этот барон фон Кюксен, уже под семьдесят, возводил свой род к Пипину Среднему, прадеду Карла Великого, а про князей, правящих Лихтенштейном, говорил: «Ну что ж, их худо-бедно еще можно отнести к родовой аристократии». Барон был мужчина дородный и видный, не по-современному элегантный, носил монокль и шиньон соломенного цвета, причем каким-то непонятным образом никогда не казался смешным. Его приемный сын Оскар был не менее элегантен, хотя и на современный лад. Он принадлежал к тем безликим молодым людям, которых вечно путают с другими, столь же безликими, наш мир, по всей видимости, просто кишмя кишит неизменно гладко выбритыми и причесанными на пробор, стройными, в меру надушенными оскарами, всегда в темном костюме и при галстуке. В Вадуце он работал в антикварной лавке фон Кюксенов, где продавал мебель обедневших австрийских аристократов, а также фальшивые лихтенштейнские почтовые марки с изъяном. Если же кто-то из покупателей интересовался еще и другими редкостями, шофер вез его в замок «Под Тремя Сестрами» (разве кто-нибудь знает географию этого карликового государства?), где барон фон Кюксен жил в окружении своих знаменитых сокровищ. Здесь приезжий мог сколько угодно восхищаться полотнами Тициана, Рубенса, Рембрандта, Брейгеля, Гойи и Эль Греко — все поддельные, но имеющие свидетельства всемирно известных экспертов о том, что они, вероятно, могут оказаться и подлинными. Потрясенные возможностью заключить чрезвычайно выгодную сделку, посетители бродили по галерее барона. Цены на поддельные шедевры были высокие, но ведь те могли оказаться и подлинными, и посетители погружались в такое глубокое раздумье, что не слышали собачьего лая, доносившегося из парка: барон держал знаменитый собачий питомник, и его доберман-пинчеры

пользовались такой же известностью, как и его поддельные полотна. Что же касается стычки между бароном и его приемным сыном, по ходу которой барон ударил того по голове фальшивым полотном Франца Гальса — портретом черноволосого меннонитского священника с толстыми губами и короткой курчавой бородкой, — то случилась эта стычка из-за выходца из Зарганса по имени Эдгар, который все чаще вместо Оскара встречал посетителей антикварной лавки любезной улыбкой, а те всякий раз принимали одного за другого. Не слишком уж важная причина, особенно по сравнению с последствиями инцидента: благодаря реставрации картина получила свидетельство, удостоверяющее подлинность шедевра Франца Гальса, после чего фонд Гульбенкяна приобрел его за 4 миллиона долларов, а Эдгар стал вторым приемным сыном барона.

Торжество барона, возомнившего себя одним из самых удачливых дельцов в своей сфере, длилось лишь до конца ноября. В одном из пентхаузов на берегу Гудзона его принял какой-то невзрачный азиат неопределенной расы: черные как смоль пряди липли к лысине и казались нарисованными углем, сюртук был застегнут на все пуговицы, а под ногтями сажа, словно он только что вылез из камина, возле которого сидел. Этому сказочно богатому киргизу, самоеду, тунгусу или якуту — кто бы ни был этот трубочист по национальности — фон Кюксен попытался выдать мастерскую подделку «Шабаша ведьм» за подлинного Гойю. Он впервые проявил такую неосторожность, ибо поверил намеку адвокатской конторы «Рафаэль, Рафаэль и Рафаэль» на Минерваштрассе, 33а, в Цюрихе, где ему дали понять, что один из клиентов их конторы проявил интерес к этой картине. Урок ему был дан сокрушительный. Трубочист оказался настолько информированным не только о самом бароне, но обо всем Лихтенштейне, что фон Кюксен уже ждал в любую минуту появления полиции. После чего те четыре миллиона, которые барон заполучил у фонда Гульбенкяна, перекочевали в карман трубочиста, а фальшивый Гойя стал его собственностью. В Клотене багровый от бешенства барон взял такси и помчался на Минерваштрассе. Дом под номером 33а оказался старым, окруженным высокими елями особняком, обветшавшим до такой степени, что казалось, он вот-вот рухнет. Монокль барона угрожающе заблестел. Дверь открыл рыжеволосый юнец, и барон оказался в какой-то полуразрушенной комнате,

стены которой были обшиты панелями, перед лицом сразу трех адвокатов, похожих на Зевса и отличавшихся друг от друга только цветом волос — один был рыж, второй сер, третий сед — и представившихся Рафаэлем, Рафаэлем и Рафаэлем. Младший Рафаэль шепелявил, средний хрипел, а старший то и дело ковырялся в своем слуховом аппарате — тот непрерывно свистел. Барон опустился на стул. Шепелявый открыл совещание. Он поблагодарил барона. Его Гойя, переданный доверенному лицу их клиента в Нью-Йорке, оказался подлинником и был только что продан на аукционе Кристи за 12 миллионов долларов. Затем второй адвокат заявил надтреснутым голосом, что фон Кюксен за эту мастерскую подделку принят в постоянные члены первого — м-м-м — синдиката Соединенных Штатов, распоряжениям которого, передаваемым через их контору, он, барон, не должен оказывать противодействия. После этого старший Рафаэль прошептал едва слышно, поскольку ему мешала говорить выпадающая челюсть, что теперь фон Кюксен может удалиться.

Адвокатская контора «Рафаэль, Рафаэль и Рафаэль» и в дальнейшем не сидела сложа руки. Она завязала доверительные отношения с другими адвокатами, а те побеседовали с членами Национального совета и Совета кантонов. Доверительные беседы множились, один из членов Национального совета получил официальный запрос, из Национального совета пожелание просочилось в исполнительные органы. И если «Рафаэль, Рафаэль и Рафаэль» еще в какой-то степени представляли себе, кто такой Великий Старец, то уж адвокатам, с которыми они наладили связь, они расписывали Старца как человека хоть и не совсем свободного от криминальных пятен, но все же полного добродетелей, и этот образ, согласно последовавшим затем рекомендациям, вскоре облагородился до такой степени, что вообще переместился в область благотворительности, так что речь уже не шла о какой-то конкретной личности, а всего лишь о крайне туманной идее некоего неформального объединения мультимиллионеров филантропического толка, основавших в Америке «Бостонское общество морали», альтернативное известному «Обществу морального возрождения» в Ко, Нормандия. После этой как бы гомеопатической подготовки был образован почетный комитет во главе с бывшим членом Национального совета, в состав которого вошли действующие члены Национального совета и Совета кантонов, банкиры, видные общественные

деятели и даже один профессор теологии, не имевшие ни малейшего представления о том, для чего они понадобились. «Бостонское общество морали» было столь же туманным образованием, как и большинство объединений с добрыми целями. Все эти господа, явившись на Учредительное собрание, растерянно жались к стенам, прежде чем приступить к основанию европейского филиала американского «Общества морали», не подозревая, что в самой Америке такого общества и в помине не было. Потом бывший член Национального совета подписал Учредительный акт, в котором он сам именовался председателем правления, и в своей застольной речи подчеркнул, что главное — это основать «Общество морали» также и на Европейском континенте, а уж цель этого общества потом найдется.

Моисей Мелькер давно позабыл о своем разговоре с Великим Старцем, хотя и не мог избавиться от смутного ощущения, что никак не вспомнит чего-то очень важного. Надежду устроить приют отдохновения для миллионеров он оставил. Когда земля сотрясается, реки выходят из берегов, лавины низвергаются, склоны гор осыпаются, вулканы исторгают магму, людей охватывает страсть вспомоществования и жажда благотворительности. Повсюду собирают и жертвуют деньги, радио подливает масла в огонь, передавая победные сообщения о собранных средствах — один миллион, два миллиона, два с половиной, три миллиона, — персонал фирм и школьники вносят свою лепту, певцы и певицы жертвуют гонорары за концерты, писатели устраивают публичные чтения, художники пишут картины, композиторы сочиняют траурные кантаты, мир источает жалость. Но если в беду попадает миллионер, то с богачом Великий Старец (с бородой) расправляется безжалостно. Однако Великий Старец (без бороды) не обманывался на его счет. Моисей Мелькер жалел самого себя. Он тоже нес свой крест, он тоже был миллионером. Благодаря трем женам, из которых третья, еще живая, тиранила его больше покойниц, причем Моисей Мелькер изо всех сил избегал применять этот глагол к своей семейной жизни. Он просто растворился в ней. Из любви, как он себя уверял, на самом же деле из страха. Потому что Цецилия Мелькер-Ройхлин знала о нем все. Знала и о том, как он поступил с Лизи Блаттер, официанткой в «Медведе», неделю спустя после его визита в пансионат. Как-то в субботний вечер Моисей Мелькер, видимо, потерял контроль над собой.

Мостки над пропастью зашатались, и бездна вновь забурлила. Да разве кому-нибудь придет в голову изнасиловать официантку и потом бросить ее мертвое тело в Грин, прозрачную горную речушку, которая извивается мимо Гринвиля и Маттена и впадает в Эмму. На закате ему просто захотелось прогуляться. Да и не насиловал он ее. Лизи была ненасытна. Но потом сказала: неудивительно, что он никак не насытится, при его-то старухе. Сразу видать, что изголодался. Только после этих слов он на нее набросился и задушил. А вот бросать ее в речку не стоило. «Не видать тебе меня как своих ушей», — расхохоталась она в лицо Эгглерову батраку Зэму, когда они повстречались с ним на мостике, и потащила Моисея по берегу вверх по течению реки, под ивы. Он долго смотрел на ее труп в воде. Начали звонить колокола в Гринвиле, потом в Маттене, немного погодя — и в Бубендорфе. В Бубендорфе всегда немного запаздывали. А уж после донесся колокольный звон и из Нидеральмена. Словно хоронили кого. Слезы текли по лицу Моисея Мелькера. А Грин все текла себе и текла, не торопясь. Речка была мелкая, тело Лизи лежало в небольшой котловине. Иногда к нему подплывали форели, и оно слегка покачивалось в воде. Колокола в Гринвиле умолкли, за ними и остальные. Теперь звонили только в Нидеральмене. Там у них исповедовали экуменистическую религию. Когда Мелькер подошел к мостику, Зэму все еще стоял там. Моисей остановился рядом. И оба стали смотреть на воду. Солнце уже зашло за Хубель. Труп Лизи приплыл вниз по течению. Зэму сказал: «Господи, помилуй». Теперь уж и колокола в Нидеральмене умолкли. Экуменистическая служба началась. На Моисея Мелькера тяжко давило его богатство. Ведь он женился на Эмилии Лаубер, Оттилии Ройхлин и Цецилии Ройхлин, а не на такой ненасытной бабенке, как Лизи Блаттер, чей труп с открытыми глазами спокойно скрылся под мостиком, вновь появился и поплыл дальше, к впадению в Эмме. В нем было что-то торжествующее. Зэму пробормотал: «Боже милостивый» — и побрел по воде за трупом. Моисею Мелькеру вдруг пришел на память старик, с которым он заговорил в пансионате. Он пошел домой, разделся и полез в постель к Цецилии. Она вставала с кровати всего один раз за то время, что прошло после его возвращения из Египта. Ради венчания в церкви надела подвенечное платье своей сестры Оттилии. Потом опять улеглась, курила сигары, ела шоколадные конфеты и читала. С криминальных романов она переключилась на на-

учную фантастику. А расплылась она до такой степени, что для него почти не оставалось места в супружеской постели. И по-прежнему облачалась в шелковые ночные сорочки. Моисей знал, что она уже обо всем знает. Он лежал рядом с ней и ждал, когда заявится полиция. Но полиция не заявилась. И на второй, и на третий день тоже. Вообще не пришла. Через неделю у Цецилии кончились конфеты. Почта не привезла их вовремя из Берна. Моисею пришлось вылезти из кровати и спуститься в деревню. Он купил в кондитерской Беглера два килограмма шоколадных конфет и проронил как бы невзначай, что в деревне, слава Богу, все спокойно. Вовсе нет, господин миссионер, возразила фрау Беглер и рассказала, что неделю назад был арестован батрак Эгглера. Зэму во всем сознался. Мол, Лизи Блаттер сказала ему: «Не видать тебе меня как своих ушей», — и тогда он взял ее силой, потом задушил и бросил тело в речку. Когда полицейский повез его в Берн, чтобы сдать в следственный изолятор, Зэму на станции спрыгнул под поезд «Берн—Люцерн» и помер на месте. Растяпа полицейский не пристегнул его к себе наручниками, потому как Зэму вел себя смирно и сам во всем признался. И слава Богу, а то этот растяпа тоже попал бы под поезд. Мелькер купил еще два килограмма шоколадных конфет, отправился в трактир «Медведь» и заказал мясное ассорти по-бернски. Теперь он понял, почему на него свалилось богатство. Потому что спасти его могло только благоволение Великого Старца (с бородой). Признание Зэму было для него знамением. Значит, он жил под знаком Господней милости, и тут уж не играло роли — грехом больше, грехом меньше, пусть даже смертным. Он с аппетитом покушал. Потом вернулся на виллу и вручил Цецилии четыре килограмма конфет. Добавив, что завтра наверняка привезут еще из Берна. Она взяла одну конфету, сказала, что бернские лучше, открыла новый научно-фантастический опус под названием «В пузыре времени» и заметила, что Мелькер вполне мог бы принести ей конфеты до того, как отправился лопать свое ассорти.

Ванценрид был чемпионом Швейцарии в тяжелом весе среди боксеров-любителей, однако нет нужды останавливаться на его биографии более подробно. Уже его первая попытка выступить в качестве профессионала окончилась нокаутом в первом же раунде, от которого он пришел в себя после комы лишь спустя месяц. Вероятно, его умственные способности от этого уменьшились, но, если исходить из их уровня до

комы, это представляется едва ли возможным. Его попытка стать вышибалой в веселом доме провалилась из-за того, что он боялся отпора со стороны тех, кого должен был вышибать. Поэтому он никого и не вышибал. Не удалась и третья его попытка найти свое место в жизни. Правда, в течение года дела его шли неплохо, но потом у него переманили сразу трех шлюх. В течение двух недель. Полиция к нему прицепилась, и больше никто не захотел с ним работать. Тогда Ванценрид попробовал заняться мелким уголовным бизнесом, для чего сколотил группу приблатненных парней — настоящих профессионалов-уголовников привлечь в свою банду было ему не под силу. Однако совершенные ими взломы банковских сейфов и разбойные нападения свалили на него, и хотя доказать ничего не смогли, но подозрение осталось. Приблатненные парни зарабатывали у него меньше, чем получали в отделе социальной помощи, так что предпочли честную жизнь. Полиция насела на него пуще прежнего. В Цюрихе земля горела у него под ногами. Подавленный сидел он перед тремя адвокатами Рафаэлем, Рафаэлем и Рафаэлем в их конторе. Все трое были похожи друг на друга как однояйцевые близнецы. Лет тридцати с гаком. Слегка разжиревшие, покрытые горным загаром, с расстегнутыми воротничками и золотыми цепочками на шее, но приведенные ими доказательства того, что именно им совершены еще не расследованные до конца взломы банковских сейфов и разбойные нападения, были неоспоримы, хотя на самом деле он не был к ним причастен. Кто-то его заложил. Их долг — выдать его полиции, сказал первый Рафаэль. Двенадцать лет тюрьмы, заявил второй, и есть всего один выход — добавил третий. Должность вполне солидная, уточнил первый. Ночным портье — второй. В одном из пансионатов — третий. Ванценрид кивнул. Все три Рафаэля закурили длинные толстые сигары. Впредь держать язык за зубами, сказал первый. Никому ни слова — второй и выдохнул колечко дыма. Не то, добавил третий и задул спичку. Ванценрид опять кивнул. И сразу согласился с тем, что до этого ему придется лечь в частную клинику в Тессине. Несмотря на кому. Его физиономия была слишком известна полиции.

Моисей Мелькер прилетел за океан самолетом авиакомпании «Свиссэр» по приглашению с неразборчивой подписью и приложенным чеком одного из нью-йоркских банков и выступил с докладом — вернее, проповедью — о горестной

роскоши богачей и благостной нищете бедняков перед избранным обществом, состоявшим главным образом из вдов. Успех превзошел все ожидания. После доклада в его честь был дан роскошный обед, а сам он оживленно поболтал с дамами. После этого облетел вдоль и поперек весь континент, останавливаясь то в одном, то в другом городе, то в одном медвежьем углу, то в другом. Он все еще не знал, кто его пригласил. Окон в самолете не было. Стюарда тоже ни разу не видел, но, когда входил в самолет, бокал шампанского всегда стоял наготове. Он стоя выпивал его, усаживался, пристегивал ремни и засыпал. А когда просыпался, его встречала очередная провожатая, которая и доставляла его прямо с аэродрома в зал, где он делал свой доклад, затем в отель и на следующее утро — к трапу самолета. Он перевидал множество этих провожатых. И никак не мог запомнить их лица. В каком-то отеле Санта-Моники (если этот город и впрямь назывался Санта-Моника) он, утомленный обедом, разулся, сидя на кровати. Когда он поднял голову, на кожаном диване прямо перед ним сидел мужчина, весь в белом, чьи черные как смоль волосы никак не вязались со старым лицом. Все в нем не вязалось с этим лицом — ни его молодые руки, ни его стройная фигура — ее стройная фигура, как вдруг понял Мелькер, ибо сидела на диване женщина. Да и лицо ее вовсе было не старым, а скорее красивым и как бы вне возраста: это была та самая провожатая, с которой он попрощался перед отелем, и роль всех предыдущих играла она же. Меня зовут Уриэль, сказала она и протянула Мелькеру карманные часы. От моего клиента, добавила она. Мелькер поглядел на часы. У них была одна стрелка и шестьдесят одна цифра. Стрелка стояла чуть выше пятидесяти восьми.

— Эти часы для тебя, Моисей, — сказала она.

Мелькер задумался.

— Мне как раз чуть больше пятидесяти восьми, — сказал он.

— Вот видишь, — засмеялась она. — Это твои часы.

Моисей заметил, что если уж он получает в подарок такие странные часы, то хотел бы знать, кто же такой этот ее клиент, который их ему дарит. У нее только один клиент, ответила она, тот, которому принадлежит самолет. Иногда он заказывает ей часы на сто часов, в каждом часе сто минут, а в минуте сто секунд, в другой раз — только на пятнадцать часов, причем в каждом часе триста минут, и каждая минута должна длиться сорок пять секунд, но и секунды не одинаковы, некоторые длятся три с четвертью секунды, другие —

семь минут, а однажды она изготовила для него такие часы, у которых один день длился тысячу лет, и она не знает, есть ли у ее клиента нормальные часы, да это и неважно, клиент — он и есть клиент, он у нее один-единственный. И вновь Мелькеру показалось, будто перед ним сидит мужчина с молодым телом и старческим лицом. И когда рано утром провожатая заехала за ним, чтобы доставить его к самолету, он уже позабыл о случившемся вечером, равно как и о часах, тикавших где-то в его багаже. Ему лишь померещилось, что эту даму он уже где-то видел.

У Крэенбюля все дела покатились под гору. Даже «Гранд-отель» в Хабкерне обанкротился, но это был сущий пустяк по сравнению с крахом, который постиг его в Карибском море. Один соотечественник, занимавшийся там строительством, уговорил его взять в свои руки отель «Сто бунгало» на одном из необжитых островов — мол, отелю до зарезу нужен директор. Причем Крэенбюль так и не узнал, кому именно понадобился директор, и согласился просто потому, что у него не было другого выхода. Однако «Санчо Пансо» на Ямайке тоже обанкротился, не говоря уже об отеле «Генерал Саттер» в Сан-Франциско. Так Крэенбюль оказался заперт в Карибском море, как в мышеловке. Обещанные постояльцы из Америки не появились, да и кому захочется ехать на этот остров, где черные наглеют день ото дня. За время, прошедшее после визита последней группы туристов, больше никто такого желания не изъявлял. С директором банка из Майами произошел, вероятно, просто несчастный случай: когда он отдыхал под кокосовой пальмой возле плавательного бассейна, кокосовый орех свалился ему на голову. Парень, который влез на пальму, хоть и срубил орех своим мачете, но вряд ли собирался попасть в голову директора банка. Тем не менее Крэенбюль приехал в Майами на похороны, но вдова покойного отказалась выслушать от него слова соболезнования в присутствии крупнейших банкиров Соединенных Штатов, и с тех пор бунгало стояли пустые, лишь огромные жабы, словно завороженные светом, собирались по ночам вокруг низеньких фонарей перед дверью бунгало, штук по десять вокруг каждого. Потом из Манхэттена пришло известие о возможном приезде владельца отеля. Однако лишь при условии, что в одном из бунгало к его приезду будет встроен камин. Приехал он ночью в сопровожде-

нии целой свиты. Парни, приехавшие с ним, плескались в плавательном бассейне, побросав туда предварительно всех жаб. Наконец его допустили к хозяину. У потрескивающего камина сидел едва различимый сквозь клубы дыма, заполнившего бунгало, широкоскулый человек с раскосыми глазами, лицом, сплошь покрытым сажей, и черными как смоль прядями волос поперек лысины. Одет он был в выпачканный сажей некогда белый купальный халат, на котором его руки оставили черные отпечатки. Крэенбюлю дали прочесть какую-то бумагу. В ней тот парень, что залез на пальму, признавался, что убийство банкира он совершил по заказу Крэенбюля. Потом «трубочист» указал пальцем на стол у закопченного окна, на котором высилась куча белых холщовых мешочков, тоже покрытых сажей. Другие мешочки валялись на полу по всей комнате.

— Кокаин, — сказал «трубочист», — обнаружен в твоем бунгало.

Крэенбюль сказал, что он невиновен. «Трубочист», почти невидимый из-за дыма, заметил, что он это знает, но его невиновность невозможно доказать, тот парень сознается в чем угодно, а если откажется от своих показаний, то станет на голову короче. Не везет Крэенбюлю, вечно не везет. Всю жизнь. «Трубочист» умолк, Крэенбюль понял, что выхода нет, и принял его предложение.

В конце марта Моисей Мелькер вернулся рейсом авиакомпании «Свиссэр» на четырехмоторном винтовом самолете. Летел он опять первым классом. Сидел у окна, дремал после обильного ужина и поглядывал в окно. Вдали виднелась Гренландия. Между айсбергами мелькало какое-то судно, казавшееся игрушечным. И вдруг Мелькер заметил, что рядом с ним в кресле с откинутой назад спинкой скорее лежал, чем сидел какой-то долговязый тощий субъект в костюме английского покроя, совершенно лысый, в очках с золотыми дужками, но без оправы и записывал что-то в блокнот справа налево.

— Ваше лицо бросилось мне в глаза, — сказал субъект. — В нем все так восхитительно несовместимо. Я просто очарован вашим лицом. На женщин вы наверняка производите колоссальное эротическое впечатление. Не поменяться ли нам лицами в моей клинике на улице делла Коллина в Асконе? У меня же лицо самое заурядное. Из-за него ни одной

женщине не придет в голову сбиться с пути, как при виде вашего, господин Мелькер.

— Вы меня знаете? — изумился Мелькер.

— А как же! — осклабился субъект. — Ведь ваши доклады имели такой успех по всей Америке. Хотя ваш английский звучит весьма старомодно. Где же вы ему выучились?

Моисей Мелькер гордо объявил, что знает наизусть «Путь паломника» Беньяна*.

— Наизусть! Черт меня побери! — изумился субъект. — «Путь паломника» Беньяна? Я бы порекомендовал вам почитать Хайсмит*. А также Эмблера* и Хэммита*. Или же полистать научно-фантастические книжонки вашей Цецилии.

— Она читает только по-немецки, — заметил Мелькер, удивившись, что этот типчик знает имя его супруги.

— Ну так как насчет обмена? — спросил тот. — Предлагаю за ваше лицо сто тысяч долларов. Сама операция не будет ничего стоить. Я сделаю ее сам, чтобы все было в лучшем виде. И одновременно сделаю операцию и себе. Мы с вами сидели бы рядышком на двух операционных креслах. Я закажу кресла такой конструкции, чтобы мы сидели голова к голове, щека к щеке. А работаю я обеими руками одинаково. И могу оперировать одновременно обоих. Если вам будет угодно, можно покончить с этим делом прямо в Цюрихе. В университетской клинике. Чтобы и студенты чему-то научились.

— Нет, — возразил Моисей Мелькер, — я останусь со своим лицом.

— Но ваши сексуальные инстинкты вполне могут вновь взбунтоваться, господин Мелькер, — сказал субъект. — Как было недавно, в эпизоде с Лизи Блаттер. Ведь именно так звали девицу, чье тело поплыло вниз по течению речки Грин? У нее был такой умиротворенный вид. И глаза широко открыты.

Мелькер посмотрел в окно.

— Я — Михаэль, — сказал субъект.

Теперь не видно было ни айсбергов, ни судов, ни Гренландии. Только небо. Кресло рядом с Мелькером опустело, и когда он поздно ночью вернулся в Гринвиль, то еще в деревне увидел, что свет в его спальне горит. Цецилия Мелькер-Ройхлин горой жира лежала на супружеском ложе в прозрачной ночной сорочке, курила сигару, читала детективный роман и жевала шоколадные конфеты.

— Иди ко мне, мой шимпанзе, — сказала она, — лезь под одеяло и молись Великому Старцу, чтобы я не навалилась на тебя и не помогла тебе поскорее приобщиться к наслаждениям Его рая.

Бывший член Национального совета получил от одного нотариуса в столице кантона извещение о том, что «Швейцарское общество морали» купило на весьма выгодных условиях пансионат и сдало его в аренду на летний сезон с 15 мая по 15 октября Моисею Мелькеру и на зимний сезон барону фон Кюксену. Старик пенсионер, чья память на недавние события сильно ослабла, позабыл, что был избран председателем правления «Швейцарского общества морали», более того, он и понятия не имел, что такое общество вообще существует. Прочтя письмо нотариуса, он отложил его в сторону и забыл о нем, так что у конторы на Минерваштрассе, 33а, было достаточно времени, чтобы все основательно подготовить. Крэенбюлю было приказано явиться в пансионат, он приехал и, сокрушенно покачивая головой, обошел всю его территорию. Против главного здания вдоль опушки леса на склоне Шпиц Бондера тянулся длинный флигель, в подвале которого находились прачечная и котельная, на первом этаже кабинет врача и комнаты для массажа, грязелечебница и сауна, а на втором и третьем — комнаты для менее состоятельных гостей. Флигель соединялся с главным зданием подземным переходом. Перед входом в пансионат была устроена площадка с музыкальным павильоном, где летом в послеобеденные часы играли некогда те три чеха, исполнение которых Великий Старец услышал в зале ресторана. Крэенбюль с помощью двух раздувшихся от пива толстяков, прибывших из Лихтенштейна, привел в порядок пансионат, но действовал так, чтобы в деревне никто ничего не заметил. Ставни оставались закрытыми. Кожаные кресла, диваны, вольтеровские кресла и роскошные кровати вынесли по подземному переходу и спрятали на чердаке флигеля. Какое-то рекламное агентство в Базеле взялось вербовать постояльцев. На глянцевой бумаге. С иллюстрациями Эрни*. «Приют нищеты». В начале мая Моисей Мелькер был письменно извещен о том, что его желание создать приют отдохновения для миллионеров осуществлено приверженцами его теологии, 15 мая состоится открытие пансионата, его присутствие обязательно. Ему не нужно заниматься решением

организационных проблем и следует сосредоточиться исключительно на задаче спасения душ, предоставив все остальное «Обществу». Если бы Моисей Мелькер не выкинул из головы свою встречу с Уриэль в Санта-Монике (если это и в самом деле была Санта-Моника) и его странный разговор с Михаилом на обратном пути из Соединенных Штатов, он бы призадумался и, весьма возможно, догадался бы, что попался в сеть, сплетенную не по злобе, а потому, что Великий Старец (если это был он) по своей натуре склонен плести такие сети. Он плел ее просто так — как паук плетет паутину, вовсе не имея в виду какую-то определенную муху, а только мух, как таковых, в натуре же Мелькера было попадать в сети, точно так же, как мухи попадают в паутину — по воле случая или по необходимости, это уже вопрос философии, ничем не доказуемый вопрос веры. В пансионат Моисей Мелькер прибыл 13-го. С Цецилией. К его удивлению, даже замешательству, она сама захотела ехать с ним. А вот на чем ехать, оказалось проблемой. Из почтения к своей первой супруге Эмилии Лаубер Мелькер продолжал пользоваться ее «роллс-ройсом». Теперь эта машина выглядела памятником старины. Войти в нее можно было, не пригибаясь, и если открыть заднюю правую дверцу, наружу выдвигалась лесенка. Тонны шоколадных конфет, съеденных Цецилией Мелькер-Ройхлин за жизнь, почти лишили ее возможности влезть в «роллс-ройс», но она в него все же втиснулась. Сын хозяина гринвильского гаража Август повез их в пансионат, причем Мелькеру пришлось сесть впереди, так как рядом с Цецилией места не было. В восемь часов утра они выехали из Гринвиля, до Майрингена катили с ветерком, но перевалы «роллс-ройс» еле преодолел. В пять часов вечера, смертельно усталые, они добрались до места. Из флигеля к машине приплелся некий тип в шлепанцах и рабочем комбинезоне.

— Есть тут кто-нибудь? — спросил Моисей.

— Вот я есть, — процедил сквозь зубы этот тип и недоверчиво оглядел «роллс-ройс».

— Я — Моисей Мелькер, — представился тот и вышел из машины.

— Вижу, — опять процедил тип в шлепанцах.

— Мы наконец приехали? — спросила Цецилия. Она до того наелась вишнями в трюфелях, что язык у нее еле ворочался.

— Приехали, приехали, — подтвердил Мелькер. — Пора позвать сюда портье и рассыльного.

— Нет здесь ни портье, ни рассыльных, — отрезал тип.

— Как это нет? — удивился Моисей Мелькер.

— У нас тут «Приют нищеты», — заявил тот. — Пансионат теперь так называется. Так окрестило его рекламное агентство в Базеле.

Но Моисей Мелькер запротестовал:

— Ведь послезавтра в пансионате — в «Приюте нищеты», поправил его тот тип, — ну ладно, в «Приюте нищеты» должно состояться открытие, — продолжал Мелькер. — У меня были основания ожидать, что сюда прибудет множество постояльцев. И понадобится обслуга, много обслуги. Кто же так глупо распорядился?

— «Швейцарское общество морали», — ответил тот.

— Это общество не имеет здесь никаких прав, — возразил Мелькер.

— Именно оно-то и заправляет здесь всем, — заявил тип. — Оно наняло на работу и меня, и вас тоже.

— Что случилось, когда меня наконец проведут в Восточную башню? — раздался требовательный голос Цецилии изнутри машины. — И куда подевались рассыльные?

— Восточную башню не велено ни сдавать внаем, ни посещать, — откликнулся тип. — Я могу предложить вам комнату только в Западной башне.

— Чье это распоряжение? — спросила Цецилия.

— Опять-таки «Швейцарского общества морали», — ответил тот.

Цецилия велела Августу везти ее обратно в Гринвиль. Август извлек из машины чемодан Мелькера, закрыл багажник и уехал.

— Придется мне обходиться без супруги, — вздохнул Моисей Мелькер.

— Не вешать носа, — проронил тип в шлепанцах.

— А кто вы, собственно, такой? — спросил Мелькер.

— Директор Крэенбюль, — бросил тот и трусцой вернулся во флигель. Мелькеру пришлось самому тащить чемодан в главное здание. Лифт не работал. Чемодан оттягивал руку — ведь Мелькер взял с собой и рукопись «Цена благоволения», собираясь еще поработать над ней. Добравшись наконец до верхнего этажа, он услышал пение, доносившееся из Восточной башни. Охваченный внезапным и необъяснимым духом противоречия, он потащился с чемоданом в Восточную башню, открыл дверь и вошел. За столом сидели три раввина. Все трое в черных шляпах, длинных черных лап-

сердаках и темных очках, все трое пели. Борода у среднего была седая, у правого рыжая, у левого черная. И у всех троих веером через всю грудь. За их спинами было окно. Моисей Мелькер присел на чемодан и стал слушать пение раввинов. Потом пение прекратилось. Раввин с седой бородой снял темные очки, но глаза его оставались закрытыми.

— Моисей Мелькер, — начал он, — нарушил запрет и вошел в комнату, предназначенную не для него.

— Прошу прощения, — пробормотал Мелькер. — Меня сбило с толку отсутствие обслуживающего персонала.

— Сбило с толку? — удивился раввин с рыжей бородой и снял темные очки, не открывая глаз. — Моисей Мелькер собирается возглавить обитель утешения и молитв для богатых и требует, чтобы был обслуживающий персонал?

— Но ведь для этого как раз и нужен обслуживающий персонал, — заявил Мелькер. — Как этого не понять? Я все еще в растерянности. Ведь возглавляя обитель молитв, приходится решать и организационные вопросы.

— Тебе не хватает веры, — заговорил третий, чернобородый, и снял темные очки. У этого глаз вообще не было, лишь пустые глазницы. — В «Приюте нищеты» богачи сами будут себя обслуживать.

Моисей Мелькер встал. В ужасе от своего безверия он помчался в Западную башню с чемоданом в руке, несмотря на его тяжесть.

Гости прибыли главным образом из Соединенных Штатов. В основном — вдовы богачей, предводительствуемые вдовой одного из президентов. Но и Европа была представлена, причем не только вдовами, но также и крупными промышленниками, владельцами банков, генеральными директорами, инвесторами и спекулянтами, магнатами рынка недвижимости, биржевиками и т.д. По приезде одни растерянно переминались возле своих чемоданов на площадке перед пансионатом — погода стояла вполне сносная, — другие плотной толпой заполнили музыкальный павильон, так много их приехало — целое стадо паломников стоимостью в несколько миллиардов, жаждущее нового развлечения. А в это время водители, доставившие их сюда в такси и роскошных лимузинах, длинными колоннами спускались в ущелье, держа путь домой. Все были встревожены отсутствием персонала. Наконец в портале главного здания появился Моисей Мелькер. Все умолкли. Моисей Мелькер умел говорить так, что слушатели думали, будто он верит в то, что говорит. Для

начала он привел слова Иисуса, сохраненные для нас тремя евангелистами: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие», а также ответ Христа на растерянный вопрос апостолов, кто же может спастись: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, продолжал Мелькер. Нищие — чьим духом? Разве духом Великого Старца (Мелькер имел в виду Бога с бородой)? Тогда они были бы не блаженными, а злосчастными. Нет, блаженны нищие человеческим духом, то есть бедняки, ибо дух человека — деньги, pecunia по-латыни, и слово это происходит от pecus, что значит «скот». Деньги — это скотство. Обмен «животное на животное», «верблюд на верблюда» превратился в обмен «животное на деньги», «верблюд на деньги», «стоимость на стоимость». Человек все оценивает деньгами. Поэтому все, что он делает, покоится на деньгах, и культура, и цивилизация, и поэтому же все, что человек делает и осуществляет благодаря деньгам и при их помощи — хорошее и плохое, весь этот мощный кругооборот сделок, дающих хлеб нашим братьям или несущих им голод, сделок с тем, что нас одевает, и с тем, что раздевает, с жизненно важным и смертельно вредным, с непреходящими и с преходящими ценностями, с необходимым и излишним, с искусством и безвкусицей, с кинематографией и порнографией, с любовью самоотверженной и продажной, — все это суета сует, и движет всем этим тщеславие Человека, а не Великого Старца. Но если бедняк, у которого ничего нет за душой, попадет в рай, то тому, кто богат, дорога в рай заказана: собственность приносит ему не счастье, а несчастье, он придавлен своей собственностью, ибо любая собственность — это тяжкий груз, в чем бы она ни состояла — в капитале или в культуре. Потому богатый юноша и удалился от Христа опечаленный, что был очень богат. Опечаленный! Он с радостью стал бы бедным, с радостью продал бы все свое имущество и раздал нищим, как потребовал от него Иисус, — но чего бы он добился? У бедных богатство тут же утекло бы между пальцев без всякого толка и смысла, и они вновь впали бы в нищету. Кому предназначено Царство Божие, того Великий Старец не отдаст силам ада. Ну, а тот юноша, он, конечно, стал бы нищим, обанкротился, утратил платежеспособность, разорился, вылетел в трубу. Но душа его все равно не попала бы прямиком в рай: ибо нищим он стал не по воле Великого Старца на Небесах, а по воле самого юноши, то

есть по воле человека. Преднамеренно. Дабы ускользнуть от того, что было ему предназначено свыше: быть богатым. Иисус искушал его, ибо не только Дьявол, но и Иисус, странствовавший по земле в рубище, тоже подвергает человека искушению. Потому-то христиане и должны молить Господа: не введи нас в искушение! Богатый юноша устоял перед искушением изменить своему сословию, ходить в лохмотьях, как Иисус, стать бродягой. Вот почему богатство — это крест христианина, и удел богача — печаль, весельем наделены лишь бедные и нищие. Горе вам, христиане, горе!

Моисей Мелькер умолк. Рухнул на колени. На площадке воцарилась мертвая тишина. Из деревни донесся одинокий собачий лай. Потом вновь тишина. Моисей молча глядел на толпу — на владельцев универмагов и средств информации, на хозяев фабрик, банков, недвижимости, воротил гостиничного бизнеса, на всех этих собственников, столпившихся перед ним. Он глядел на них, они — на него.

— «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», — прошептал он, и все услышали его шепот. — Человекам это невозможно, а Великому Старцу все возможно. Но на меня сейчас глядит бог Маммон, а не Великий Старец! — вскричал он, вскочив на ноги и почувствовав свою власть над толпой. — Откуда бы ни взялось богатство, которое меня окружает, громоздится вокруг и раздавливает, — говорил, ораторствовал, проповедовал он ледяным голосом, делая наводящие ужас паузы, — откуда бы ни проистекал этот поток, который валит меня с ног и перехлестывает через голову — золото, валюта, грязные деньги, пакеты акций, облигации, займы, номерные счета, векселя, из каких бы источников, чистых или грязных, из каких бы кровавых или бескровных дел, из какого бы добродетельного или порочного лона, из каких бы законных или преступных блужданий ни проистекал этот поток, бурля и клокоча, в глазах Великого Старца это всего лишь отбросы, мусор, грязь под ногами, этот поток им продуман и найден слишком легким испытанием. И все же вы, выплеснутые сюда этой жижей, не погибшие люди. Хоть вы как бы сброшены со счетов, в то же время вы как бы и приближены к Нему Его неизъяснимой милостью, ибо она и есть то невозможное, что возможно только Великому Старцу, то абсолютно незаслуженное, ибо если бы милость была заслужена, она была бы не милостью, а вознаграждением. Милость — это и есть то самое игольное ушко, сквозь которое проходит не только верблюд, но и все, здесь собрав-

шиеся и стенавшие под заклятием богатства. У Великого Старца последние становятся первыми, бедные — богатыми, и бедные будут взысканы его милостью, а богатые прокляты. Но кто ею взыскан, тому Божья милость не нужна, поскольку она ему дана изначально. И поэтому же за богатыми, проклятыми, сытыми остается право на Божью милость, которой они и будут увенчаны, поелику только они, отбросы человечества, действительно в ней нуждаются. Добро пожаловать в «Приют нищеты»! — так закончил свою речь Моисей Мелькер.

Мало-помалу они поняли, что никакой обслуги не будет, что им придется обходиться своими силами, что они обрушились в нищету. Поначалу робея, они внесли в дом свои вещи, начали помогать друг другу, таскать чемоданы, распределять комнаты, советоваться между собой, исполнились благодарностью к Моисею Мелькеру, помогавшему им, такому же беспомощному, как они сами, и сплотились под руководством одного разбогатевшего и слегка впавшего в маразм английского фельдмаршала. Он поговорил по телефону с главой федерального военного ведомства, тот позвонил в столицу кантона дивизионному полковнику, и уже на следующий день прибыли два грузовика со всем необходимым, потом каждый день приходило по грузовику. Оздоровительный аспект уступил место душеспасительному. Врачу, обычно в летнее время курировавшему пансионат, было отказано за ненадобностью, вода целебного источника использовалась за едой как питьевая. Это было символом нищеты: у кого в кармане пусто, пьет не вино, а воду. Миллионеров и вдов-миллионерш охватило повальное увлечение жизнью бедняков: генеральные директора стелили постели, владельцы банков пылесосили, промышленные магнаты накрывали на стол в общем зале, крупные менеджеры чистили картошку, вдовы миллионеров готовили еду и трудились в прачечной, нефтяные шейхи и владельцы танкерных флотилий косили траву на газонах, пололи и перекапывали грядки, пилили, приколачивали, строгали и красили — и платили за такую жизнь огромные суммы. Возникли и проблемы, ибо работу, которую раньше выполняла деревня, теперь делали постояльцы, которые при этом улыбались, смеялись, напевали, дурачились, горланили и визжали. Для деревни это было трагедией, ведь прежде пансионат и деревня составляли единое экономическое целое. Учение Моисея Мелькера, которое он пропаган-

дировал каждодневно при утренней и вечерней молитве, принесло счастье не деревне, а пансионату. Постояльцы занимались делом, а деревенские потеряли работу. Увлечение бедностью, предполагающее простую пищу, разорило деревенские кондитерские: вместо булочек и кексов им приходилось выпекать лишь простой хлеб. Кондитерские опустели. Пользование такси застопорилось, поездки гостей на знаменитые курорты кантона прекратились. Никто уже не покупал крестьянских шкафов, комодов и столов со стульями, а также больших и маленьких оленей. Кто хочет жить в бедности, не швыряет деньги на ветер. Деревня утратила всякий экономический смысл. 15 октября пансионат закрылся. Утешившиеся гости разъехались по домам, закаленные бедностью, которой вдоволь насладились, и вновь взвалили на себя груз своего богатства. Но и зимой деревне нечего было делать в пансионате. Если раньше сторожа нанимали в деревне, крестьянские дети играли в вестибюле и бегали по всем коридорам, а мужчины рыскали по винному погребу, теперь место сторожа занял здоровенный детина с каким-то странно застывшим лицом, который говорил по-немецки на цюрихском диалекте и гнал в три шеи всех, кто появлялся поблизости, ибо синдикат не без задней мысли приобрел пансионат при посредничестве «Швейцарского общества морали». Среди членов синдиката всегда находились люди, которым надо было на время исчезнуть. Раньше это не было проблемой: кого слишком уж интенсивно разыскивала полиция, можно было без труда устранить: разве отыщут его на дне Гудзонова залива, реки Ист-Ривер, озера Мичиган, а тем более Тихого океана? Синдикат действовал наверняка, там не терпели халтуры, но его методы отпугивали, первоклассные асы преступного мира, работающие без сучка без задоринки, стали редкостью, а иметь дело с дилетантами повредило бы реноме синдиката и снизило бы его годовой оборот, так что пансионат был для синдиката находкой. Выжидали лишь начала зимнего сезона. Когда пансионат закрылся, туда сплавили профессионалов, находившихся в розыске ФБР. Асы-киллеры и звезды киднэппинга разместились в комнатах и роскошных апартаментах, где летом проживали богачи. Благостное веселье нищеты сменилось томительной скукой, хотя прежний уют и роскошь обстановки были восстановлены. Синдикат знал, чем он обязан обеспечить своих, но не принял в расчет фон Кюксена. Тот хоть и был в курсе дела, но, живя в окружении шедевров искусства и литераторов из Санкт-Галлена и даже из Цюриха,

которых он заманивал к себе всегда роскошно накрытым столом в замке у подножия Трех Сестер, прислал в пансионат книги по искусству и сочинения классиков. Мафиози, еще владевшие итальянским, растерянно перелистывали «Божественную комедию», «Песнь о Роланде» или «Обрученные» Алессандро Мандзони. Ирландские гангстеры гасили сигары о переплет романа Джойса «Поминки по Финнегану», уголовники с Западного побережья пытались читать по слогам Шекспира и «Потерянный рай». Завзятые гангстеры, сидя в глубоких креслах, мрачно взирали друг на друга и швырялись фолиантами. Покидать стены пансионата им было запрещено, их никто не должен был видеть, официально пансионат был закрыт. Скука одолевала крутых парней. Телевидения в этом ущелье еще не было. Лишь завывание холодного ветра, за которым следовала метель, сменявшаяся мертвой тишиной последующих ночей, потом опять снегопад и опять мертвая тишина. За задернутыми шторами резались в карты, пили, курили — в общем, зверея от безделья, мрачно убивали время. Летом пансионат вновь заполнился богачами, на этот раз еще более богатыми, а когда опять наступила зима, синдикат направил сюда двух специалистов высокой пробы, которые сделали катастрофу неизбежной. Натуры, высокоодаренные в своей области, особенно сильно разлагаются от скуки. Жертвой ее пала Эльзи, пятнадцатилетняя дочка деревенского старосты в красной шапочке, красном пуловере и голубых джинсах, как-то ноябрьским холодным и бесснежным утром появившаяся перед дверью в кухню, стоя на тележке с бидоном молока, которую тащил огромный пес.

Джо-Марихуана и Большой Джимми были самыми знаменитыми киллерами североамериканского континента. Оба высокие и худощавые, но если первый пользовался известностью, то второй — дурной славой, первый был моралист, а второй — эстет. Джо-Марихуана был обязан своим прозвищем манере засовывать в мертвые уста каждой своей жертвы самокрутку с марихуаной — не потому, что сам он курил марихуану, а потому, что хотел дать знать всем: покойник был плохой человек. Кроме того, он прикреплял на грудь своим жертвам записку, в которой сообщал, на каком основании он их прикончил, однако никогда не указывал истинную причину, известную только синдикату, а называл ту, которой — при его репутации — было достаточно, чтобы взять кого-то в перекрестье нитей оптического прицела: из-

менял жене, не чтил мать, атеист, скупердяй, педераст, коммунист и т. д. Из-за этого журнал «Тайм», объявивший Джо-Марихуану человеком года, написал, что тот по своим моральным принципам, в сущности, мог бы пристрелить всех, живущих в Соединенных Штатах. Оставалось загадкой, почему полиции никак не удавалось его схватить. После очередного убийства он вел себя крайне легкомысленно, хотя в то же время и остроумно. И шел на все, чтобы оставить на трупе свой знак, даже если для этого надо было пробраться в дом скорби, в морг судебных медиков или еще куда-нибудь. Никто из его «клиентов» не был защищен от него и после смерти. Даже когда полиция эксгумировала тело Пепе Рунцеля по заявлению его жены, утверждавшей, что ее муж не покончил с собой, и гроб открыли, то обнаружили в зубах у Пепе самокрутку, а на груди записку: «Хозяин борделя». В противоположность Джо Большой Джимми не был популярен, более того, полиция долгое время сомневалась, что такой, как он, вообще существует, она считала, что речь идет о нескольких преступниках. Для Джимми жертвы были безразличны, его интересовала сложность задачи. Его жертвы находили в запертых изнутри кабинках общественных туалетов, в охраняемых полицией больничных палатах, якобы спящими в салонах первого класса самолетов или же поникшими в своих креслах сената или конгресса. Исполнив свою задачу, он укрывался в каком-нибудь борделе и сидел там часто неделями, время от времени отпуская какое-нибудь замечание или проговариваясь во сне, так что полиция мало-помалу утвердилась во мнении, что Большой Джимми действительно существует. Узнав об этом, синдикат предпочел на зиму укрыть его вместе с Джо в пансионате. Заточение далось моралисту легко, а эстету тяжко. Джо стремился к духовной концентрации, Джимми — к эмоциональной разрядке, первый жаждал медитации, второй — женщин. Джо время от времени исчезал ночью, чего никто не замечал, сидел на стропилах полуразвалившейся церкви или в одной из комнат пустого дома священника. Большой Джимми подкарауливал девочку, дважды в неделю доставлявшую в пансионат молоко, — короткие темные, небрежно причесанные волосы, голубые глазки, простодушная и свежая, не подозревающая, что сквозь щели закрытых ставней за ней следят закоренелые преступники, изнывающие от похоти и приговоренные к противоестественному воздержанию.

Так что ничего избежать было нельзя. Большой Джимми хотел лишь опередить других, а Джо только пытался ему

помешать, потому-то, когда все стали чесать о ней языки, он и пригрозил, что свернет шею любому, кто станет приставать к девочке. Но оба они не приняли в расчет пса. А тот, стараясь защитить Эльзи, перевернул тележку с бидоном и вцепился зубами в зад Джо, пытавшемуся спасти девочку, в то время как Большой Джимми валялся с ней в луже молока, а в лесу над пансионатом кто-то пьяным голосом громко декламировал:

И милый лебедь,
пьян поцелуем,
голову клонит
в священно-трезвую воду[1].

Крику и воплей хватало, причем было не разобрать, кто больше кричал и вопил — Джо, Джимми или девочка. Наконец Джимми скрылся в доме, а девочка убежала вниз по склону. Пес же не отпускал Джо, он с такой силой вгрызся в его зад, что даже сторож Ванценрид не смог его оторвать. Только бандит по кличке Алый Цветочек освободил Джо от озверевшего пса, разрядив в него свой кольт «Магнум» фирмы «Смит и Вессон», хоть в самого пса и не попал: тот схватил зубами пистолет и помчался вниз по склону, таща за собой перевернутую тележку.

Ванценрид позвонил фон Кюксену. Барон погрузился в раздумье. Его сделки приобрели недавно новый оттенок. Став членом синдиката, он начал продавать наряду с подделками, про которые он туманно намекал, что они, вероятно, могут оказаться подлинниками, также и настоящие подлинники, о которых он утверждал, что они поддельные. Продавал он их только тем, кто навел справки в синдикате и знал, что картины эти подлинные, но краденые, зачастую из вилл тех, кто летом приезжал сюда утешаться от тоски богатства весельем нищеты. Фон Кюксен подумал сначала, что о происшедшем стоит сообщить на Минерваштрассе, но потом решил действовать самостоятельно. Около полудня к пансионату подкатили «эстон мартин» и два «кадиллака». Из «эстона» вышел фон Кюксен, из «кадиллаков» — два его приемных сына. Барон — светловолосый господин с моноклем, поблескивающим в глазу, в белых перчатках, с сукой породы доберман на поводке — впервые прибыл в пансионат. Ванценрид провел его в вестибюль.

---

[1] Гёльдерлин Ф. Половина жизни. — *Пер. А.Луначарского.*

— Мне следовало бы, собственно, позвонить в Цюрих, — сказал Ванценрид.

— Следовало ли? — переспросил барон.

— Таков приказ, — признался Ванценрид.

— Почему ослушался? — пожелал уточнить барон.

Ванценрид забормотал, мол, Лихтенштейн ближе и потому он подумал...

— Осел не думает, а повинуется, — отрезал барон: он почувствовал, что сторож врет.

На диване лежал вверх задом Джо-Марихуана и стонал.

— Где остальные? — спросил фон Кюксен, и, поскольку Ванценрид ничего не ответил, барон приказал громким и властным голосом:

— Всем явиться!

Вестибюль медленно заполнился хмурыми субъектами, кое-кто из гангстеров прихватил с собой автомат. Видимо, что-то не ладилось. Использовать зимой пансионат как укрытие было гениальной идеей то ли «трубочиста» в пентхаузе на берегу Гудзона, то ли адвокатской конторы «Рафаэль, Рафаэль и Рафаэль», но надо было бы заранее предусмотреть возможность такого происшествия, о котором сообщил Ванценрид. Следовало учесть скуку как негативный фактор. Может, «трубочист» в Нью-Йорке или адвокаты с Минерваштрассе хотели таким способом сдать всю банду. Но, может, просто не предусмотрели скуку, может, он сам, фон Кюксен, виноват в происшедшем, прислав сюда книги классиков. Боже мой, какие у них физиономии, эти не могли не озвереть со скуки. Может, стоило бы все же известить троих Рафаэлей, но, с другой стороны, может, они как раз и хотели, чтобы он действовал самостоятельно, может, адвокатская контора на Минерваштрассе, 33а, хотела, чтобы он вызвал полицию. Но тогда он, барон фон Кюксен, взявший в аренду пустой пансионат, сгорит ярким пламенем. Нужно поскорее вынуть шею из петли. В Нью-Йорке он кое-чему научился. И во второй раз не допустит, чтобы синдикат обвел его вокруг пальца. Джо-Марихуана застонал. Граф приблизился к нему. Рана и впрямь была не шуточная. Видимо, пес был настоящий кровопийца. Барон спросил, что он мог бы сделать для Джо, о кантональной больнице, пожалуй, не может быть и речи.

— Боже упаси, — простонал Джо и назвал частную клинику в Асконе на улице делла Коллина.

Но пес-кровопийца как-никак укусил человека, да и девочка была изнасилована. Удивительно, что полиция до сих

пор не явилась. Оставался лишь один выход. Барон взял с собой добермана для своей личной безопасности, теперь собака поможет ему выпутаться из неприятного положения, в котором он оказался по милости синдиката. Он закурил сигарету, огляделся и спросил:

— Кто?

Молчание.

Барон остановил взгляд на Ванценриде и приказал:

— Кругом!

Ванценрид повернулся к нему спиной.

Барон приказал:

— Спустить штаны!

Ванценрид повиновался.

Барон приказал:

— Нагнуться!

Ванценрид нагнулся. И тут его осенило. Он догадался, что скоро его будут оперировать во второй раз, но не там, где в первый. Догадка его оказалась верной. Доберман впился в него зубами. Барон позвонил по телефону и сообщил местному полицейскому, что пес деревенского старосты укусил сторожа пансионата. Сторож сильно пострадал. Полицейский был не в курсе, что удивило фон Кюксена, — может, и не стоило натравливать Берту — так звали суку — на сторожа. Он посоветовал господам — так он выразился — запереться в погребе, сел вместе с доберманом в машину и вернулся к себе в Лихтенштейн. Оскар отвез Ванценрида в кантональную больницу, а Эдгар, бледный как смерть, на втором «кадиллаке» повез Джо в Аскону. «Господа» последовали совету барона.

Между тем Эльзи уже давно была дома. Староста Претандер колол дрова в сарае. Человек он был замкнутый и грубоватый, но упорный, на его круглом, как блин, лице выделялись густые пшеничные усы, а жесткие волосы на голове топорщились, как стерня. Он был бы веселым человеком, родись у него сын. Но родилась дочка. Жена давно умерла, кроме Эльзи, у него никого не было, а Эльзи — девочка, и потому он был груб и резок с ней, так что при виде ее он лишь спросил, где пес, где Мани, и не обратил особого внимания на уклончивость ее ответа — «не знаю». Он решил, что пес никуда не денется, и, когда тот явился с кольтом «Смит и Вессон» в пасти, с грохотом таща за собой перевернутую тележку, он подумал только, слава Тебе, Гос-

поди, с Мани ничего не случилось, видать, он вспугнул браконьера, хороший пес, умный. И даже не заметил, что Мани вернулся домой без бидона.

Около двух часов пополудни полицейский Лустенвюлер въехал в деревню на джипе. Полицейским он сделался лишь благодаря протекции своего отца, правительственного советника Лустенвюлера, поскольку был на 15 сантиметров ниже нормы. Но всю свою жизнь он только и делал, что жрал, а потому и хотел стать полицейским или сторожем на железной дороге, чтобы и впредь не надо было ничего делать, кроме как жрать. Но поскольку железная дорога наотрез отказала, оставалась одна полиция, где его в конце концов сплавили на отдаленный полицейский участок в ущелье Вверхтормашки, что в двенадцати километрах от деревни. Лустенвюлер притормозил перед домом старосты, но не вышел из джипа, а только посигналил. Огромная голова Мани высунулась из собачьей конуры и вновь скрылась. Дверь дома распахнулась, на крыльцо вышел староста.

— Привет, — поздоровался с ним полицейский.

— Чего надо? — спросил староста.

Из конуры опять появилась голова Мани.

— Ничего, — ответил полицейский.

— Значит, и говорить не о чем, — буркнул староста и вернулся в дом. Из конуры вылез Мани, потянулся и потрусил к джипу. Лустенвюлер вдруг перепугался и со страху окаменел за рулем. Пес обнюхал джип, повернулся и трусцой вернулся в конуру. Лустенвюлер посигналил. Еще раз и еще. Староста вновь вышел из дома.

— Теперь что? — спросил он.

— Надо с тобой поговорить, — ответил полицейский.

— Тогда входи, — сказал староста и хотел было вернуться в дом.

— Не могу, — замялся полицейский. — Твой пес...

— Что с Мани? — спросил староста. Пес опять вылез из конуры.

— Он кусается, — выдавил Лустенвюлер, с опаской глядя на приближающегося пса.

— Чушь, — отрезал староста. Пес завилял хвостом, неожиданно прыгнул в джип и облизал Лустенвюлеру лицо.

— Мани, на место! — спокойно скомандовал староста. Пес потрусил в конуру.

— Видишь, какой он послушный, — заметил староста.

Но Лустенвюлер остался при своем:

— Он укусил сторожа в пансионате.

Из дома вышла Эльзи.

— Неправда, — сказала она, — неправда, на меня напали двое парней, один из них меня... в луже молока... Лустенвюлер видит, какой у меня вид, я вся взлохмачена и исцарапана, только отец ничего не видит. А пес укусил второго.

— Девка, — набросился на Эльзи староста, — что там у вас стряслось?

— Бидон перевернулся, — сказала Эльзи, — и я с первым парнем повалилась в лужу...

Староста вошел в дом и вынес кольт.

— Его принес Мани, — сказал он и опять накинулся на Эльзи. — А ты заткнись, пес имел дело с браконьером.

— Нет, со сторожем, — гнул свое Лустенвюлер. — Мне позвонили из пансионата. — Потом спросил: — А что, черт побери, случилось в луже молока? Полиция должна знать все.

— То и случилось, что должно было случиться в луже молока, это и полиция может сообразить, — ответила Эльзи.

Лустенвюлер задумался.

— Ты так полагаешь? — спросил он, помолчав.

— Не задавай глупых вопросов, — ответила Эльзи.

— Так, значит, парней было двое? — опять спросил Лустенвюлер.

— Двое, — спокойно подтвердила Эльзи и вошла в дом.

— Двое, — повторил полицейский и покачал головой.

— Эльзи несет чушь, — сказал староста.

— Странно, — пробормотал Лустенвюлер и поехал вместе со старостой в пансионат.

Главный вход был заперт, дверь на кухню тоже, рядом они обнаружили лишь пустой бидон и остатки пролитого молока. Оба покричали. Никто не появился.

— Странно, — опять пробормотал полицейский, после чего оба поехали в участок. За двадцать с лишним лет службы в полиции Лустенвюлер превратил свой офис в кухню: стены сплошь увешаны колбасами и окороками, во всех углах что-то булькало, варилось, жарилось, кипело, мариновалось, столы были завалены фаршем, луком, чесноком, зеленью, крутыми яйцами, кочанами салата вперемешку с полицейскими донесениями, фотографиями преступников, наручниками и револьвером, а также заставлены открытыми банками с тунцом, сардинами и анчоусами.

— Я приготовил мясной суп с сельдереем, репчатым луком, чесноком и белокочанной капустой, — сказал Лустенвюлер и налил себе полную тарелку из клокочущей на плите кастрюли, потом поставил ее на письменный стол и начал есть, прерываясь только для того, чтобы печатать на машинке протокол, а также налить себе вторую, а потом и третью тарелку супа. Затем он взял в руки готовый протокол, пробежал его глазами, стряхнул с листа брызги супа и сказал старосте, чтобы тот подписал свои показания. Потом отрезал кусок сала от висевшего на стене окорока. В эту минуту в дом вошел расфранченный и благоухающий Оскар фон Кюксен.

— Пса надо ликвидировать, — категорически потребовал он.

— Да кто вы такой? — осведомился Лустенвюлер, жуя сало.

— Представитель лица, взявшего в аренду пансионат, — ответствовал Оскар.

— Это который проповедует «Блаженны нищие»? — спросил Лустенвюлер, продолжая жевать.

— Нет, тот арендовал пансионат на лето, — ответил Оскар. — Зимой его арендует мой отец, барон фон Кюксен.

— Странно, — опять пробормотал Лустенвюлер, жуя. — Он ведь из Лихтенштейна.

— Пса надо будет ликвидировать, — повторил свое требование Оскар.

— Мани ни в чем не виноват, — подал свой голос Претандер. — Я староста деревни. Пес принадлежит мне.

— Он прокусил зад моему сторожу, — заявил Оскар.

— Из-за того, что мою Эльзи изнасиловали, — выпалил староста. Это у него как-то само собой вырвалось, причем он отнюдь не верил в то, что сказал.

— Странно, — в третий раз пробормотал Лустенвюлер.

— Пес вернулся домой с кольтом в пасти, — сказал староста, — марки «Смит и Вессон».

— Кому пес вцепился в зад, тот не станет вытаскивать кольт и насиловать девчонку, — возразил Оскар, а Лустенвюлер в это время намазал хлеб маслом и положил сверху ломтик сала. — Если девчонка утверждает, — продолжал Оскар, — что пес вцепился в другой зад, а не в зад сторожа, то я могу лишь заметить, что этот второй, столь же истерзанный зад, мог бы быть обнаружен, но его нет в наличии.

— Если то был браконьер, — взорвался наконец староста, — то его зад, естественно, исчез вместе с ним, и Мани не

в чем винить. А вот с пансионатом дело нечисто: если там, кроме сторожа, никого нет, почему он один выпивает два бидона молока в неделю, столько одному не осилить.

— С таким скандалистом, как вы, я не намерен более дискутировать, — отрезал Оскар. — Имеет место нанесение тяжелой травмы, мы подадим на вас в суд. — С этими словами он вышел, сел в «кадиллак» и укатил в пансионат.

— Ты все еще утверждаешь, что Эльзи изнасиловали? — жуя спросил Лустенвюлер.

— Меня интересует только пес, — ответил староста. — Пес не виноват.

— Но он не виноват только в том случае, если Эльзи действительно изнасилована, — возразил Лустенвюлер. — Тогда имеют место развратные действия, и я должен буду подать в суд. Где-то у меня должна быть еще одна банка бобов.

— Ладно, — кивнул староста. — Подавай.

— На кого? На сторожа? — спросил Лустенвюлер, роясь в куче банок в дальнем углу, причем несколько банок с грохотом покатились по полу.

— Не на сторожа, а на браконьера, — возразил староста. — Но Мани не виноват.

— Прекрасно, как тебе будет угодно, — заметил Лустенвюлер, — но я должен внести в протокол и то, что сказал представитель лица, взявшего в аренду пансионат. Я тут один, мне понадобится на составление протокола несколько дней, так что известят тебя не скоро.

— Но ты напишешь и про то, что Мани укусил браконьера? — спросил староста.

— И браконьера, и сторожа, — ответил Лустенвюлер и открыл банку с бобами. — Но в наличии у нас только один укушенный, а должно бы быть два. Чертовски сложно все это изложить на бумаге.

— А если ты ничего не напишешь? — спросил староста.

— Тогда задница сторожа и пес старосты будут в полном порядке, — ответствовал Лустенвюлер, вываливая бобы в кастрюлю с мясным супом.

— Вот ничего и не пиши, — заключил староста и пошел домой.

Однако он не учел соображений барона фон Кюксена, а тот не учел характера старосты. Для барона все происшествие было верхом глупости. Он был убежден, что либо «трубочист», либо клиент Рафаэлей, либо же они оба, если они

вообще не одно и то же лицо, заманили его в ловушку, тем более что на Минервашtрассе, 33а, его встретили не три Рафаэля, а три совершенно других господина, все трое неимоверной толщины и различались лишь двойным, тройным и четверным подбородками. Двойной подбородок заявил, что барону надлежало немедленно информировать их, тройной — что барон испортил все дело своей бредовой идеей натравить еще и свою псину, а четверной приказал, чтобы фон Кюксен сам загладил причиненный ущерб. Кроме того, барону сразу же показалось, что дом по Минервашtрассе, 33а, выглядит как-то иначе, чем прежде, пожалуй еще обшарпаннее. Он даже вернулся на тротуар, прежде чем войти внутрь, однако номер дома был тот же. Не он, а синдикат совершил ошибку, а что Рафаэли теперь пытаются свалить вину на него, типично для этой шушеры, присвоившей 60 процентов от продажи его подлинных картин. И что теперь они ведут с ним переговоры через каких-то подставных лиц, тоже наглость с их стороны. Но он-то из-за них вляпался-таки в пренеприятную историю. Изнасилование несовершеннолетней неизбежно попадет в суд. Хотя самое худшее его доберман все-таки предотвратил. Идея эта была вовсе не бредовая, и он продемонстрировал присутствие духа. А теперь нужно опередить жалобу старосты в суд. И он подал в столице кантона исковое заявление на возмещение причиненного ему ущерба.

Декабрьским утром смущенный Лустенвюлер протопал по наконец-то выпавшему глубокому снегу к старосте и заявил, указывая на Мани, который, виляя хвостом, бросился ему навстречу, что пса придется пристрелить, такому опасному зверю нельзя бегать, где вздумается, он получил на этот счет из столицы кантона решение суда. Уж не тронулся ли умом наш Лустенвюлер, удивился староста, ведь он сам только потому и не обжаловал то, что сделали с Эльзи, чтобы Мани никто ни в чем не обвинил. А он и не писал жалобу на пса, возразил полицейский, это сделал фон Кюксен, а закон есть закон. Мани придется пристрелить, да он и сам его побаивается, уж больно этот пес огромный. Староста спокойно процедил — и это его спокойствие казалось особенно угрожающим потому, что он взял в руки охотничье ружье, — чтобы Лустенвюлер убирался подобру-поздорову, иначе он будет стрелять. Но не в собаку.

— Я этого не слышал, — заявил полицейский, вернулся по снегу к своему джипу и уехал.

— Эльзи! — позвал староста, но ее нигде не было.

«Проклятая девчонка, — подумал он, — если бы я только знал наверняка, что тогда произошло». Но Эльзи не появлялась. Когда полицейский прикатил на джипе, девочка бросилась по глубокому снегу к крутому спуску и спряталась за сугробом. Внизу, в глубине ущелья, на кантональном шоссе снега не было, зато на дороге к пустому пансионату нетронутый снег лежал толстым слоем.

Никому уже не нужно было молоко, сторож лежал в больнице. Эльзи в толстом красном пуловере и красной шапочке потопала по глубокому снегу вверх, к пансионату, но перед входом в парк остановилась, поглядела на главное здание, немного постояла. Пансионат, освещенный солнцем, резко выделялся на фоне снега и был хорошо виден сквозь деревья парка. Кто-то лизнул ее руку, то был Мани, отправившийся искать девочку. Она велела ему идти домой, и пес кувырком скатился вниз по заснеженному склону. Эльзи подошла вплотную к пансионату, нашла цепочку свежих следов и пошла по ним. Следы привели ее к двери на кухню, Эльзи остановилась, подождала, робко позвала «Алло!», еще постояла, обошла пансионат, проваливаясь в глубоком снегу, вернулась к цепочке следов, чужих и своих. Внезапно налетел ледяной ветер. Пансионат уже не был освещен солнцем, оно переместилось выше по склону и светило теперь на лес, и голые скалы Шпиц Бондера сияли в его лучах.

Деревня давно уже лежала в тени. Староста вырезал из куска дерева копию Мани. Как только Мани появился в его доме, староста начал работать резцом. Скульптурный портрет Мани изображал его сидящим, и Мани оставался бы вечно живым, но точная копия никак не получалась, голова Мани выходила не совсем похожей, он пытался ее подправить, а когда голова наконец получалась, все остальное оказывалось несоразмерно большим, и он принимался уменьшать тело и лапы, а когда наконец вроде бы приводил их в соответствие, голова опять казалась несоразмерно большой. Таким манером фигурка собаки становилась все меньше и меньше, размером она теперь походила на черного сенбернара, а видом — на мопса. Староста никак не мог сосредоточиться на работе и в конце концов отложил инструменты в сторону. Надо было все начинать сначала. Что-то он сделал неправильно, не только при резьбе. Вот и с Эльзи у него

что-то не так: никогда он с ней не ладил и поэтому теперь не знал, куда она подевалась. Пес тоже где-то пропадал, но потом вернулся и лежал перед дверью дома. Староста пошел по деревне, проваливаясь в снегу. Пес залаял ему вслед. Почему-то остерегся пойти с ним. Деревня казалась вымершей. Улица не очищена от снега. Один раз он даже провалился до пояса: спуск в чей-то погреб был засыпан так, что казался частью улицы. Перед гаражом стояли два такси с метровыми шапками снега на крышах. Из пивной «Битва у Моргартена», шатаясь, вышел Цаванетти и заковылял в свою антикварную лавку. Значит, кто-то здесь еще живет и дышит. Жизнь теплилась и возле почты. Вдова Хунгербюлер явилась опустить свое ежедневное письмо. Из школы донесся голос, декламирующий стихи:

Друзья мои, простимся! В чаще темной
Меж диких скал один останусь я.
Но вы идите смело в мир огромный,
В великолепье, в роскошь бытия!
Все познавайте — небо, земли, воды,
За слогом слог — до самых недр природы![1]

Голос принадлежал Адольфу Фронтену, учителю здешней школы. Он приехал в деревню из столицы кантона и застрял тут. Это и есть Мудрость Провидения, считал он, у этой деревни такой вид, словно кто-то сверху опорожнил на нее свою прямую кишку. Однако она все же лучше других захолустных дыр, поскольку здесь нет причин воздерживаться от пьянки. Великану с огненно-рыжей шевелюрой и такой же бородой, белоснежными кустистыми бровями над ярко-синими глазами и лицом, так густо усыпанным веснушками, что он говаривал о себе: «Матушка позабыла обтереть меня при рождении», было уже под шестьдесят. Когда-то он писал удивительно трогательные рассказы: «Праотцы сыновей Зеведеевых», «Что было бы, если бы архиепископ Мортимер забеременел?», «Тихо, но ужасно», «Жалоба скота и женщин», «Молчание труб иерихонских» — в общей сложности меньше пятидесяти страниц, получил премию Маттиаса Клаудиуса*, объездил при финансовой поддержке общества «Pro Helvetia»* и Института Гёте* Канаду, Эквадор и Новую Зеландию, поколотил по пьянке инспектора гимназии и стал учителем сельской школы в ущелье Вверхтормашки, откуда

[1] Гёте И.В. Трилогия страсти. Элегия. — *Пер. В.Левика.*

с той поры больше никуда не выезжал. И если прежде он был одним из первых, кто под влиянием Роберта Вальзера* ввел простодушие детского восприятия в швейцарскую литературу, то теперь Фронтен объявил все свои литературные произведения дерьмом. Правда, писать не перестал. Наоборот. Он писал постоянно, писал, когда вслух декламировал стихи, писал, когда пил, писал даже во время школьных уроков, вырывал листки из блокнота и отшвыривал их в сторону, они валялись повсюду — в школе, на улице, в лесу за пансионатом на другой стороне ущелья. Но писал он лишь отдельные фразы, которые называл «Опоры мысли», такие, например, как: «Математика — зеркальное отражение меланхолии», «Физика имеет смысл лишь как каббала», «Человек придумал природу», «Надежда предполагает ад и его создает», но иногда записывал и отдельные слова, например: «ледоставня», «апокалипсо», «сапогоня», «автоматерь». Иногда приезжал его издатель, энергичный, спортивного вида мужчина, он собирал листки, подобранные и сохраненные школьниками, — на этих записках они могли немного подзаработать. «Опоры мысли» были уже изданы в пяти томах. Критики были в восторге, лишь один из них утверждал, что Конрадин Цаванетти, четырнадцати лет, может до того точно воспроизводить почерк Фронтена, что автором многих фраз (например: «Учителя даже пускают газы на чистом немецком», «Сверху пьют, снизу стишки пописывают» и т. д.) является, скорее всего, этот шалун. Издатель объявил о новом романе Фронтена, тот опроверг это сообщение и стал еще более ярым мизантропом. Его коллеги по писательскому союзу называли его «Рюбецаль* из ущелья Вверхтормашки». Когда в деревню наезжали критики, Фронтен исчезал, в журналисток он молча упирался взглядом, а если одна из них ему нравилась, он тащил ее в свое жилище, валил на кровать, овладевал силой, а потом прогонял прочь, так и не сказав ей ни слова. Собрание деревенской общины вновь и вновь не утверждало его в должности учителя. На его уроках все ходили на голове. Если он писал, а ученики поднимали слишком большой галдеж, он прямо с ноги швырял в класс один из подбитых гвоздями и вечно не зашнурованных башмаков. Как-то раз башмак попал в Эльзи — шрам у нее на лбу все еще был виден. Ученики с грехом пополам овладевали чтением, письмом и таблицей умножения. Но поскольку другого учителя найти не удавалось, он оставался и продолжал писать и пить. Кроме того, он был полезен деревне в роли писаря.

Староста относился к нему приязненно, хотя Фронтен говорил на правильном литературном языке, а старосте этот язык давался с большим трудом. Он поднялся на второй этаж, где над классной комнатой жил Фронтен. Тот сидел за столом в кухне, рядом стояла наполовину опорожненная бутылка рома. Он писал. Староста сел к столу напротив него. Фронтен налил себе рому, продолжая писать, потом поднял глаза, открыл окно, выбросил в него все, что написал, закрыл окно, достал вторую рюмку, поставил ее на стол перед старостой, наполнил ромом и вновь сел.

— Ну, рассказывай, — сказал он и внимательно выслушал старосту, который подробно изложил свои заботы.

— Претандер, — сказал Фронтен, — в это дело я не хочу вмешиваться. Тебя интересует судьба собаки. А я ненавижу собак. Гёте тоже ненавидел собак, он даже ушел с поста директора театра из-за того, что в нем должна была выступать и потом действительно выступала собака. Возможно, Мани — исключение, возможно, этот пес — поэтическое создание, вроде Мефистофеля в образе пуделя. Но спасти его уже не удастся. Слишком сильно он впился зубами в свою жертву. Правда, я не могу поклясться, что он вцепился именно в тот зад, в какой следовало, потому что в такой свалке было не разобрать. Выбрось распрю с пансионатом из головы. Что Эльзи девка не промах и охоча до мужиков — это факт, и что зад сторожа пострадал — это тоже факт, а факты лучше не трогать.

— О какой свалке ты говоришь? — спросил староста.

— Я в то утро в лесу за флигелем декламировал стихи:

И милый лебедь,
Пьян поцелуем,
Голову клонит
В священно-трезвую воду, —

ответил Фронтен, — которые сами по себе бессмысленны, ибо лебеди не целуются, а отвратительный эпитет «священно-трезвая» совершенно не вяжется с прозрачной водой озера. Но еще бессмысленнее то, что произошло на моих глазах в пансионате перед дверью в кухню. Ох, Претандер, Претандер.

Он умолк, налил себе еще рому и продолжал молча сидеть.

— Что же? — спросил староста. — Что же ты видел?

— Они валялись в луже молока, — ответил Фронтен. — Эльзи, два парня и пес. Я слышал дикие нутряные вопли,

долетавшие в лес высоко над пансионатом. Было похоже на Вальпургиеву ночь, хотя на дворе было утро.

Он опять налил себе рому.

— Но ты, Претандер, не вмешивайся. Эльзи как-нибудь сама справится. По чести сказать, ей даже и справляться-то нет нужды, она сильнее нас всех. А пес — это правда, что он сам к тебе приблудился?

— Он просто случайно забрел в наше ущелье, — ответил староста.

— Как и я, — ввернул Фронтен. — Я тоже случайно забрел в ущелье Вверхтормашки. А что еще остается делать в этой стране, староста, как не осесть здесь?

Потом он сидел, уставясь в одну точку перед собой, забыв о старосте и не замечая, слушает ли он его еще или уже ушел. Вдруг подошел к окну, распахнул его и крикнул:

— Проклятая госпожа фон Штейн!*

В старосте было слишком много крестьянского, чтобы выйти из себя из-за вероятного насилия над Эльзи, но той не было шестнадцати, и, значит, имело место развратное действие, как сказал Лустенвюлер, поэтому староста сердился на себя за то, что не подал жалобу на развратное действие обидчика. На самом же деле он тревожился только о псе, на которого могли взвалить всю вину, что и произошло на самом деле. Теперь нужно было его спасать, Эльзи, слава Богу, и впрямь была изнасилована, школьный учитель видел это своими глазами. Но поскольку староста был крестьянского склада, он не особенно торопился с подачей жалобы и только в конце февраля поехал с почтовой машиной в соседнюю деревню, а оттуда поездом, останавливающимся у каждого поселка, в столицу кантона. Он попросился на прием к начальнику кантонального управления — тот обязан выслушивать любого деревенского старосту своего кантона, хотя их было больше двух сотен. Но уж деликатничать с ними было вовсе не обязательно.

— Претандер, — набросился на старосту начальник управления, которому подчинялись также юридическое и полицейское ведомства кантона, прежде чем староста вообще успел открыть рот и изложить свою просьбу, — эта история мне слишком хорошо известна, у меня уже давно лежит на столе требование арендатора пансионата о возмещении ущерба, твой окаянный пес разделал под орех его сторожа и все еще бегает на свободе, а этот бедолага все еще не может сидеть, известная часть тела у него разорвана в клочья, и

сомнительно, удастся ли ее вообще подштопать. Доходит до тебя, Претандер? Ты даже представить не можешь, что тебе светит. А я тебе добра желаю. Прояви добрую волю и пристрели пса.

— Пускай добрую волю проявляют эти типчики из пансионата, — возразил староста. — Они изнасиловали Эльзи, а Мани только ее защищал.

— Изнасиловали? — опешил начальник управления. — Это кто же? Ночной сторож? Ведь это у него зад разодран в клочья.

— Нет, Эльзи изнасиловал кто-то другой, — заявил староста. — А Мани вцепился в сторожа по ошибке.

Начальник управления наморщил лоб.

— И об этом ты сообщаешь только теперь? — спросил он.

— Я думал, что Мани ничего не будет, если я об этом не сообщу, — пояснил староста.

Начальник откинулся на спинку кресла.

— Претандер, — сказал он, — нам с тобой нет нужды обманывать себя, у девушек в этом возрасте бывают самые неприличные фантазии.

— У меня есть свидетель, — ввернул староста.

— Вот оно что, есть свидетель, — машинально повторил начальник управления. — Кто же это?

— Учитель Фронтен, — ответствовал староста.

— Ах, этот сочинитель! Так-так, значит, сочинитель, — протянул начальник управления. — Если ты хочешь подать жалобу на развратные действия, тебе следует вручить ее вашему участковому полицейскому, он доложит о ней прокурору, а тот сообщит в суд вашего округа.

— Значит, все начинать сначала? — возмутился староста.

— Порядок есть порядок.

— Хорошо, я подам эту жалобу, — сказал староста.

— Претандер, — опять принялся за свое начальник, — ты упрям как осел и собираешься впутаться в историю, которая и для тебя, и для всего вашего ущелья добром не кончится. Не могу тебе сказать почему. Ты-то полагаешь, что если я начальник управления кантона, да еще и возглавляю суды и полицию, то знаю все дела лучше, чем ты. Ни черта я не знаю! Уверяю тебя, староста, наша страна — самая загадочная страна в мире. Никто не знает, кому что на самом деле принадлежит и кто с кем играет, чьи карты в игре и кто тасовал колоду. Мы делаем вид, будто живем в свободной стране, причем не уверены даже в том, принадлежим ли мы

еще самим себе. История с Эльзи и твоим псом мне совсем не нравится, а уж от укушенного в зад ночного сторожа меня просто жуть берет. С каких это пор ночной сторож позволяет кусать себя в зад? А потом — этот барон фон Кюксен! Разве такой титул вообще существует? Вдобавок он еще и житель Лихтенштейна. А тамошним жителям угодно считать себя одновременно и австрийцами, и швейцарцами, а кроме того, еще и лихтенштейнцами. Но что понадобилось этому лихтенштейнцу в вашем ущелье? За этим кроется что-то такое, до чего мы лучше не будем докапываться, ведь и в сейфах наших банков мы тоже не роемся. Пусть тайное остается тайным. И судебное разбирательство ничего не изменит. Не подавай жалобу, даже если все, что ты рассказываешь, — чистая правда. Девичья невинность все равно когда-нибудь пойдет прахом, а с этим лихтенштейнским бароном я сам поговорю и готов держать пари, что он тоже заберет свое заявление. Только пса тебе все же придется пристрелить. Я, как глава полиции, вынужден это потребовать. Весной опять откроется «Приют нищеты», и из-за твоего Мани в опасности окажутся куда более ценные зады, чем задница сторожа.

— Пса я не пристрелю, а жалобу в суд подам, — уперся староста.

Начальник управления встал с кресла.

— Тогда я прикажу его пристрелить. А ты кати в свою деревню, да побыстрее, мне пора, в «Медведе» меня ждут партнеры по картам.

Возле дома участкового староста вышел из автобуса и выложил полицейскому свою жалобу устно.

— Ну вот, придется мне все же заниматься этой писаниной, — проворчал тот, обгладывая телячью голень.

Ему понадобилось несколько дней, чтобы изложить заявление старосты на бумаге, и прошло еще несколько дней, пока он приехал в деревню, чтобы староста поставил под ним свою подпись. Заодно он посоветовал Претандеру нанять адвоката, потому как теперь дело затянется надолго. Не зная, что дальше делать с этим заявлением, Лустенвюлер переслал его знакомому полицейскому вахмистру, участок которого находился за ближней деревней. Тот через два дня случайно обнаружил письмо Лустенвюлера у себя в почтовом ящике и лично доставил его писарю своей деревни, который был еще и выборным судьей того округа. Но поскольку писарь еще не покончил с налоговыми декларациями, которые он самолич-

но заполнял на каждого налогоплательщика своей деревни, то в конце марта он переслал жалобу Претандера в столицу кантона следователю, который ее и прочел. Следователь этот был полон предубеждений. В свое время он хотел стать хирургом, но денег на учебу не было, и он стал юристом, но на собственную контору денег опять-таки не хватило, денег вечно не хватало, и он стал чиновником, но и тут карьеры не сделал. Фактически он не был настоящим следователем — тот был в отпуске, но не был он и его заместителем — тот был болен, он был лишь заместителем заместителя. Постоянные неудачи убедили его в том, что в кантоне все делается не так, как надо, поэтому он тут же поверил, что Эльзи была изнасилована и что пес лишь укусил ее обидчика, чтобы защитить хозяйку. Однако, поскольку причина этой его убежденности заключалась в комплексе неполноценности, порождающем вечную невезучесть, у него не хватило духу разобраться в заявлении старосты, и он просто сунул его обратно в конверт. Его шеф, настоящий заместитель следователя, в следующий понедельник избавился наконец от гриппа. Но не вынул заявления из конверта.

— Того, что приходит из ущелья Вверхтормашки, — сказал он, — я принципиально не читаю.

Зато настоящий следователь, вернувшись из отпуска, тем основательнее ознакомился с заявлением, покачал головой и сделал вывод, что перед ним требование возмещения понесенного ущерба, которое начальник управления не считает подлежащим срочному рассмотрению. А ведь уже несколько адвокатов спрашивали, не подал ли староста Претандер жалобу на ночного сторожа пансионата, и вот теперь перед ним эта жалоба. Тут заварится такая юридическая каша, что понадобятся бесконечные допросы и расследования, как бывает при любом пустяковом конфликте, который пробивается сквозь все доступные ему инстанции, пока не попадет в федеральный суд, а когда он туда наконец доберется, у этой девицы давно уже народится с пяток сорванцов, и ей будет без разницы, который из них от кого. Тут уж высший долг юстиции — не давать делу хода. Изнасилование! Да еще в ущелье Вверхтормашки! Так ведь там это — самый естественный вид секса. Нет, он не так глуп, чтобы подставиться газетчикам из «Блик» и «Беобахтер». И он сунул жалобу Претандера под кучу еще не разобранных дел, а вечером в «Медведе», сидя за картами, спросил начальника управления, был ли у него деревенский староста из ущелья Вверх-

тормашки. Тот кивнул и выпустил колечки дыма. Этот болван еще хлебнет лиха с такой дочкой и таким псом, обронил следователь и раздал карты. Пса придется убрать, и кантон будет жить спокойно.

Староста не сдавался. Он бросался от одного адвоката к другому и от одного члена Национального совета к другому, побывал даже у двух членов Совета кантонов, но никто не захотел ему помочь. Мол, жалоба его так и так «обречена», лучше поставил бы себя на место следователя, ведь тот по уши завален разными жалобами, да и нет у старосты никаких других доказательств, кроме выдумок Эльзи. Новая жалоба только ухудшит дело, а ему надо бы наконец выполнить распоряжение и пристрелить пса. Но староста и не думал его выполнять, так что после третьего предупреждения участковый полицейский Лустенвюлер получил приказ лично исполнить распоряжение начальства. Он снял со стены винтовку, доехал на джипе до развилки дороги и потопал вверх по склону в деревню. У околицы стоял староста, тоже с винтовкой в руках. Рядом с ним сидел Мани. Лустенвюлер остановился и задумался. Ему бы, собственно, следовало взять на мушку пса, но тогда староста мог бы взять на мушку его самого. Лустенвюлер напряженно думал. Еще неизвестно, имеет ли он вообще право стрелять в собаку, сидящую рядом с человеком, а вдруг он попадет не в нее, а в него? Лустенвюлер напряженно думал. А не предусмотрены ли такие случаи в полицейском уставе? У него было смутное ощущение, что аналогичные случаи рассматриваются именно там. Но что это были за случаи, Лустенвюлер не помнил. Так они стояли друг против друга уже битый час — он, староста и его пес. Лустенвюлер почувствовал голод. Он вынул из бокового кармана кусочек сервелата и начал есть. Пес завилял хвостом. Лустенвюлер вновь полез в карман и бросил собаке колбаску — это было уместно, ведь он намеревался ее пристрелить. Староста тоже полез в карман и тоже вытащил кусочек сервелата. Все трое принялись есть колбасу: староста, его пес и полицейский. Пес ел быстрее всех. Лустенвюлер все еще не представлял себе, как ему справиться с порученным делом. Они простояли друг против друга уже два часа. Если он предложит старосте отойти в сторону, он не сможет одновременно прицелиться в пса, ибо если он одновременно прицелится, то и староста сделает то же самое, но прицелится в него самого, а если они выстрелят одновременно, то он и пес могут быть одновременно застре-

лены, и тогда он, Лустенвюлер, хоть и погибнет при исполнении своего долга, но о долге погибнуть за пса он еще никогда не слышал, пес — все же не отечество. А если он предложит старосте отойти в сторону, но не станет целиться в пса и староста отойдет, не целясь в него самого, он сможет потом взять пса на мушку. Но поскольку пес реагирует быстро, тот успеет наброситься на него, прежде чем он нажмет на курок. Они простояли друг против друга уже три часа кряду. И Лустенвюлер потопал к джипу.

Не успел он повесить винтовку на место, как ему позвонил начальник управления и спросил, пристрелена ли собака. Лустенвюлер отрицательно покачал головой.

— Вы у аппарата? — спросил начальник управления.

— Так точно, — ответил Лустенвюлер.

— Тогда почему не отвечаете?

— Я отвечаю, — сказал Лустенвюлер, — ведь я покачал головой.

— Значит, не пристрелена, — рявкнул в трубку начальник управления.

— Да староста с винтовкой стоял рядом с собакой, — пояснил Лустенвюлер.

— Угрожал ли вам староста? — спросил начальник управления.

— Он мог бы, если бы я попытался пристрелить пса, — ответил полицейский.

— Да стреляли ли вы вообще в пса?! — завопил начальник управления так громко, что Лустенвюлер отвел трубку от уха.

— Что вы сказали? — переспросил Лустенвюлер. — Вы говорили так громко, что я ничего не понял.

Начальник управления повторил свой вопрос подчеркнуто вежливо.

— Я не рискнул этого сделать, потому что мог бы попасть в старосту, — ответил Лустенвюлер.

Начальник положил трубку.

Спустя двое суток в три часа ночи к Лустенвюлеру приехал из близлежащей деревни вахмистр полиции Блазер с тремя полицейскими — Эгглером, Штуки и Хайметтлером. Каждый был с винтовкой. Лустенвюлер приготовил на завтрак жареный картофель с салом и кофе с молоком.

— Когда рассветет? — спросил вахмистр.

— После пяти будет посветлее, — ответил Лустенвюлер и подал гостям еще и яичницу-глазунью из четырех яиц.

— Через час двинемся пешком, — решил вахмистр. — Чтобы те ничего не заметили. Пес лежит в конуре перед домом старосты. Просто выстрелим по нему все разом.

— А если пес не выйдет наружу? — спросил Эгглер.

— Может, его и нет в конуре, — засомневался Штуки, а Хайметтлер заметил, что готов держать пари — пес спит в кухне хозяина.

Лустенвюлер доел картофель и поджарил каждому еще по куску глазуньи.

— Поживем — увидим, — заключил вахмистр и выпил свой кофе.

— Сейчас бы хлопнуть по рюмашечке шнапса, — сказал Штуки.

— Мы при исполнении, — отрезал вахмистр.

— А ведь замерзнем, там холод собачий, — ввернул Хайметтлер.

— Какой у тебя шнапс? — спросил вахмистр.

— Травяная настойка, — ответил Лустенвюлер. — По одной не повредит.

Когда они тронулись в путь, бутылка была пуста.

— Прихвати с собой еще одну, — буркнул Лустенвюлеру вахмистр, с трудом ворочая языком.

Тьма стояла кромешная, и они продвигались по улице на ощупь. Где-то внизу во мраке шумела река.

— Холод собачий, — бросил через плечо Эгглер.

— Я вас предупреждал, — откликнулся Хайметтлер.

— А нам как раз и нужно прикончить собаку, — хмуро подал голос Штуки.

— Однако мы что-то слишком круто берем вверх, — заметил вахмистр.

— А деревня и есть наверху, правильно идем, — заверил Лустенвюлер. — Сейчас бы еще по рюмочке.

Они сбились в кучку и пустили бутылку по кругу. Вдруг впереди послышался приближающийся рокот. Они прыгнули в стороны. Мимо проехали два автобуса с выключенными фарами.

— Видимо, мы пошли не той дорогой, — сказал вахмистр, — эти автобусы едут из пансионата.

— Любой и каждый может ошибиться в такой темноте, — попробовал оправдаться Лустенвюлер.

— Сейчас самое время еще по рюмочке, — сказал вахмистр.

— А автобусы-то были битком набиты, — заметил Эглер. — И откуда столько народу набралось, там ведь пусто.

Лустенвюлер заново откупорил бутылку.

— В пансионате всю зиму было полно постояльцев, — сказал он.

— Задержи мы эти автобусы, может, улов был бы знатный, — предположил Хайметтлер.

— Наверняка! — поддержал его Штуки.

— В дела пансионата я вмешиваться не желаю, — отрезал вахмистр. — Это дело судебных инстанций, а они тоже не стали вмешиваться. Но сейчас уже утро, нам надлежит пристрелить пса, а деревня-то, оказывается, на другом берегу реки.

Теперь уже можно было кое-что разглядеть, а когда они добрались до деревни, стало совсем светло. Деревня казалась вымершей.

— На наше счастье, тут еще все спят, — заметил Штуки.

— Они все держат сторону старосты, — высказал свои соображения Лустенвюлер.

— Проклятый шнапс, — буркнул вахмистр. — Как приму лишнего, всегда дрожу как осиновый лист. В такой холод придется опрокинуть еще по одной, чтобы дрожь унялась.

— Но в бутылке ни капли, — отметил Лустенвюлер.

Они стояли уже перед домом старосты. В конуре было пусто. В щель под дверью дома пробивалась полоска света. Вахмистр осторожно нажал на ручку. Дверь была не заперта. Взяв оружие на изготовку, он левой ногой пнул дверь. В кухне у плиты стояла Эльзи в ночной сорочке.

— Входите же, — сказала она.

Полицейские друг за другом осторожно вошли в дом. Вахмистр винтовкой распахнул полуоткрытую дверь в комнату, отступил назад и приказал Эльзи зажечь в комнате свет. Собаки там не было.

— Иди впереди меня, — приказал вахмистр, и Эльзи пошла, зажигая повсюду свет — и на чердаке, и в хлеву. Четверо полицейских остались в кухне. Вахмистр вернулся вместе с Эльзи.

— Если пса нет в доме, то где он?

— Ушел с отцом, — ответила Эльзи.

— А когда староста вернется?

— Когда вы уйдете, — ответила Эльзи.

— А мы можем и подождать, — заявил вахмистр.

Рядом с входной дверью стояла длинная скамья, над ней тянулся ряд окон с закрытыми ставнями. Вахмистр уселся

на скамью, четверо полицейских, обхватив винтовки, последовали его примеру.

— Адский холод на улице, — обронил Хайметтлер.

— Не мешало бы Эльзи сварить нам кофе, — добавил Лустенвюлер.

— Это было бы мило с ее стороны, — поддержал его Эгглер.

— Еще как мило, — подхватил Штуки.

— Какого вам кофе — с наливкой? — спросила Эльзи.

— Ага, — кивнул вахмистр.

Они сидели и смотрели, как Эльзи готовит кофе.

— Сколько сахару? — спросила Эльзи.

— Побольше, — ответил за всех вахмистр. — И вишневки тоже побольше. Раз уж нам приходится ждать.

Потом они пили кофе из больших пузатых чашек.

— Еще кофе? — спросила Эльзи.

— Давай еще по чашечке, — ответил за всех Хайметтлер.

Она сварила новую порцию кофе.

— А ты — красивая шельма, — сказал вдруг вахмистр.

— Никакая я не шельма, — спокойно возразила Эльзи.

— Да я не хотел сказать ничего плохого, — пошел на попятную вахмистр. — И все же — со сколькими парнями из пансионата ты занималась этим?

— А там никого и не было, кроме сторожа Ванценрида, — ответила Эльзи, разливая по чашкам кофе.

— Мне еще чуточку вишневки, — успел ввернуть Штуки.

Эльзи подлила всем еще немного шнапса.

— Ну, так со сколькими же? — не отставал вахмистр.

— Во всяком случае, не со сторожем, — заявил Лустенвюлер. — Я частенько пил у него вино — хорошее вино, «Муле-на-Ван», и кое-чего нагляделся.

— Но отцу вы ничего такого не рассказывали, — возразила Эльзи.

— Слова — серебро, а молчание — золото, — заметил Лустенвюлер.

— Если бы рассказали, не пришлось бы вам теперь приканчивать Мани, — сделала вывод Эльзи.

— И сидеть тут — тоже, — добавил вахмистр.

— Мне больше по вкусу, чтобы вас здесь не было и чтобы Мани оставили в покое, — сказала Эльзи.

— Собака — это собака, а красивая девка — это красивая девка. И ту и другую в покое не оставят, — отшутился вахмистр и допил свой кофе.

Остальные тоже опорожнили свои чашки. Эгглер, поставив пустую чашку на подоконник, заявил, что кофе пошел ему на пользу, и прислонил винтовку к стене.

— А если сейчас мне дадут еще и рюмочку вишневки, — добавил он, — то больше мне ничего на свете не надо.

— Бутылка пуста, — сказала Эльзи, — но наверху, в отцовской спальне, есть еще одна, полная.

— А что находится рядом со спальней старосты? — спросил вахмистр.

— Моя комната, — ответила Эльзи.

— Вот и прекрасно, значит, мы все можем подняться с тобой наверх, — решил Штуки.

— Почему это вы все хотите подняться со мной наверх? — удивилась Эльзи.

— Потому что там шнапс и ты, — ответил Хайметтлер.

— Ну, это-то ясно, — спокойно ответила Эльзи.

— А ведь мы ничем не хуже тех парней из пансионата, — заявил Эгглер.

— Вы — отпетые трусы, — выпалила Эльзи. — Впятером против одного пса.

Вахмистр медленно поднялся.

— Мы не боимся твоего пса, но его решено ликвидировать, и мы его ликвидируем. Как положено полицейским. А теперь — пошли все с ней наверх.

— Я вам не шлюха, — возразила Эльзи.

— Этого никто и не говорит, но ты — чертовски темпераментная штучка.

Эльзи задумалась, потом с вызовом взглянула на вахмистра.

— А что — это разве плохо? — спросила она, вздернув подбородок, и заявила, что поднимется наверх только с тем из них, кто сильнее прочих.

— Я здесь самый сильный, — рявкнул вахмистр.

— Это еще надо доказать, — возразила Эльзи, — пока что вы только пили больше всех.

— Как же это можно доказать? — спросил вахмистр.

— А отжимами, — сухо обронила Эльзи. — Кто сделает больше отжимов, тот и есть самый сильный.

— Отжимами! — сразу оживился Хайметтлер. — Я — член спортивного клуба полиции, я здесь самый сильный! — Он прислонил свою винтовку к стене рядом с винтовкой Эгглера, расстегнул шинель, положил ее на скамью, а револьвер на подоконник. — Он мне мешает! — бросился на

пол и, считая вслух — раз! два! три! — стал делать один отжим за другим.

— Хайметтлер, ты пьян в стельку! — завопил вахмистр, но тут же поставил свою винтовку к стене рядом с двумя другими, сбросил шинель, положил револьвер на подоконник и начал делать отжимы — раз! два! три! четыре! пять! Хайметтлер к этому времени отжался уже девятнадцать раз, а когда досчитал до тридцати, Эгглер и Штуки тоже принялись отжиматься. Один Лустенвюлер остался сидеть на скамье. Он спал. Сперва выпивка на морозе, а потом тепло кухни и горячий кофе. Вдруг он открыл глаза. И удивленно уставился на вахмистра Блазера и полицейских Эгглера, Штуки и Хайметтлера, отжимающихся на полу кухни. Не понимая, зачем они это делают, он выпрямился во весь рост, поставил свою винтовку к стене рядом с остальными, расстегнул шинель, швырнул ее на кучу других, положил револьвер туда же, куда и все остальные, бросился на пол, сделал один отжим, плюхнулся животом на пол и снова заснул.

— Больше не осилю, — прохрипел вахмистр и поднялся с пола.

— Я тоже, — заявил Штуки и последовал его примеру.

— Как нальешься под завязку кофе, потом ходишь мокрый как мышь, — сошел с круга и Эгглер.

Во всем виноваты травяная настойка, жареная картошка и глазунья. Все они с завистью смотрели на Хайметтлера, который все еще продолжал отжиматься, хотя и снизил темп.

— Семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять, — считал он вслух.

— Кончай, Хайметтлер, — сказал вахмистр, — кончай это дело, ты выиграл.

— Семьдесят шесть, — выдохнул Хайметтлер и хотел было подняться. Сперва встал на колени, потом, шатаясь, шагнул к лестнице и сел, вернее, плюхнулся на вторую ступеньку.

— Нужно немного передохнуть, — заявил он. — С Эльзи я при всем желании ничего уже не смогу. Пускай Блазер с ней займется.

На полу все еще лежал и храпел Лустенвюлер.

— Эльзи, пойдем со мной наверх, — ласково сказал вахмистр, — такой породистой девки у меня еще никогда не было.

— Вы — не самый сильный, — возразила Эльзи, — а самому сильному потребовалось передохнуть. Такого дурака, как он, у меня еще никогда не было.

Вахмистр только собрался ей ответить и уже открыл было рот, да так и застыл: перед пятью винтовками у стены, пятью револьверами на подоконнике и пятью шинелями на скамье сидел, оскалив зубы, Мани — огромный, как теленок. На полу кухни по-прежнему храпел Лустенвюлер.

— Прогони собаку, — приказал Эльзи вахмистр.

Пес зарычал.

— Пожалуйста, — вежливо добавил вахмистр.

— Ведь вы собирались пристрелить Мани, — сказала Эльзи, — и вот он тут.

— Но он сидит перед нашими винтовками, и к револьверам тоже доступа нет, — возразил вахмистр.

— Но вы ведь его не боитесь, так что спокойно можете взять свое оружие, — сказала Эльзи.

Вахмистр сделал один шаг, Мани рявкнул. Вахмистр замер на месте.

— Если ты прогонишь собаку, мы возьмем свое оружие и шинели и ничего плохого Мани не сделаем.

— Это я знаю, — возразила Эльзи, — но послезавтра понаедет еще больше вашего брата, и Мани все же пристрелят. Закон есть закон. Если уж Мани придется погибнуть, пусть он по крайней мере погибнет достойно. Сейчас я велю Мани напасть на вас, и он вцепится зубами в вахмистра — спереди или сзади, это уж как пожелает, — а остальные пусть уж стреляют в Мани.

— Ты что — совсем рехнулась? — спросил вахмистр.

— Но ведь тогда все получится почти как в битве под Земпахом, — возразила Эльзи.

— А мы — не герои, мы полицейские, — вставил Хайметтлер, который все это время сидел на ступеньке лестницы, а теперь встал и заохал: его пронзил прострел в пояснице.

— Это неблагородно с твоей стороны, — злобно прорычал вахмистр.

— А вы тоже неблагородно вели себя со мной и с Мани, — заявила Эльзи. — И теперь убирайтесь-ка отсюда через черный ход.

Лустенвюлер продолжал храпеть, лежа на полу.

— Ну, мы еще придем, — сквозь зубы процедил вахмистр и вместе с Эгглером, Штуки и Хайметтлером вышел через заднюю дверь.

Но пришла не полиция, а войсковая часть. Начальник управления был ничуть не менее упрям, чем деревенский

староста, к тому же он возглавлял не только юстицию и полицию своего кантона, но и армейский полк, как всякий истинный чиновник. А поскольку дивизия, в которую входил его полк, как раз собиралась проводить маневры, он предложил командиру дивизии и начальнику штаба направить его полк в ущелье Вверхтормашки, поскольку тамошние жители не чувствуют себя защищенными от внешних врагов. Возражение командира дивизии «Вряд ли кто-либо сможет перевалить через гору Шпиц Бондер и вторгнуться туда» он решительно отмел: «У русских на Кавказе имеются такие скалолазы, что запросто переберутся через Шпиц Бондер, и если такое случится, то придется прочесывать уже все ущелье, а раз такая вероятность существует, то нужно к ней приготовиться».

— Целым полком? — наморщил лоб начальник штаба. Они сидели в задней комнате ресторанчика «Горный козел» и были уже сильно под градусом. — А кто должен быть русскими шпионами? Их надо же как-то отличить?

— Это пес тамошнего старосты, — отвечал начальник управления. — Его необходимо пристрелить. Таково решение высшей судебной инстанции кантона.

Командир дивизии покачал головой.

— Пес — дело полиции.

— Если он — не советский шпион, — возразил начальник управления.

Начальник штаба подумал вслух:

— Знает ли об этом сам пес?

— Надо сперва его спросить, — решил командир дивизии. — Если уж псу отводится столь важная роль, он может взяться за нее только в добровольном порядке. Будет несправедливо просто его прикончить, а потом утверждать, что он — русский шпион.

— Не знаю, может ли армия вообще расправляться с отечественной собакой, — засомневался начальник штаба.

— Но он — шпион, — категорическим тоном заявил начальник управления и одернул мундир.

Командир дивизии замялся:

— Он ведь только изображает шпиона. Ну ладно, с этим мы можем согласиться. Но пристрелить? На маневрах? Для виду разве что. Но взаправду?

Однако командиру дивизии очень не хотелось сердить начальника управления, так что в конце концов он все же разрешил использовать полк и расстрелять пса. Начальник

управления поднял полк по тревоге якобы для ночных учений и повел его в ущелье. На рассвете деревня была окружена, а все выходы из нее заблокированы танками. Под предлогом маневров и обучения солдат обнаружению русских шпионов, один из которых замаскировался под пса Мани, был подвергнут обыску сначала дом старосты и его хлев, затем солдаты обыскали другие дома, подняли испуганных крестьян с постелей и выгнали скот из коровников, чтобы обследовать каждый закуток с автоматом наперевес. Покуда один батальон переполошил всю деревню, второй прочесал лес за пансионатом, в то время как третий, рассыпавшись в цепь, с великим трудом поднялся по крутому склону, поскольку вскоре попал в глубокий снег.

Наконец три выстрела из танковой пушки положили конец поискам: один из лейтенантов, стоя на башне танка, в полевой бинокль заметил что-то на каменном зубце Шпиц Бондера.

— Поднимись-ка ко мне. — Лейтенант протянул полевой бинокль стрелку, вылезшему из танка. — Видишь — вон там!

Стрелок поводил биноклем, вгляделся.

— Там собака, — сказал он.

— Это и есть шпион, — решил лейтенант.

— Не знаю, — замялся стрелок. — Что-то она не двигается.

— Притворяется, — заявил лейтенант. — Чтобы не бросаться в глаза. Здорово играет свою роль, черт побери.

— Ну, если вы так думаете, — протянул стрелок.

— Три выстрела! — приказал лейтенант.

Стрелок трижды выстрелил из пушки, и, когда осело облако каменной пыли, исчез не только Мани, но и выступ скалы, на котором он сидел.

— Вот видишь, — засмеялся лейтенант, — мы с ним покончили.

Начальник управления в полковничьем мундире величественно, словно какой-нибудь средневековый владыка, восседал в ресторане «Генерал Гизан».

— Прелестно, — сказал он, когда лейтенант доложил ему о точном попадании в цель, и тут же заказал вторую бутылку «Цицерзера». — Для того мы и держим армию, хотя все еще находятся недоумки, которые требуют ее отмены.

Маневры были прекращены, а федеральному министерству иностранных дел пришлось извиниться перед соседним государством за три произведенных по оплошности выстрела

из швейцарской танковой пушки, искрошивших каменный зубец на Шпиц Бондере, расположенный на суверенной территории соседнего государства, из-за чего двое скалолазов на склоне горы, невидимом со швейцарской стороны, подверглись смертельной опасности.

Из-за вторжения войск жители деревни почувствовали себя брошенными на произвол судьбы, словно мусор, который сваливают куда-нибудь подальше в вонючую яму, чтобы тут же о нем забыть. Одному только старосте все было безразлично. «В нашем ущелье вообще нет справедливости, — говаривал он, — придется деревне с этим смириться». После вторжения войск он вообще стал общительнее, и, хотя каждый день исчезал в лесу на склоне Шпиц Бондера, в глазах его появился какой-то лукавый блеск. Лишь вдова Хунгербюлер не могла успокоиться из-за убиенного пушкой Мани, как она выразилась. Вдова добралась до окружного судьи, проживавшего за ближайшей от них деревней, служившего той деревне еще и писарем. Писарь долго сморкался. Потом заявил вдове:

— Пес — он и есть пес, и, если он погиб за отечество, тем лучше, поелику жизнь его собачья хотя бы имела смысл, а что до фон Кюксена, то он отозвал свое заявление о возмещении ущерба, можете сообщить об этом старосте, потому как от жителя Лихтенштейна такого и ждать-то никто не ждал, пусть уж староста порадуется. А требовать больше — это будет уже вымогательство и большая наглость.

В то время как деревней владело уныние, в «Приюте нищеты» жизнь кипела ключом. Вновь начался летний сезон. Пансионат был переполнен гостями. Миллионеры спали в мансардах флигеля на таких нарах, какие вызвали бы возмущение любой комиссии по правам человека, обнаружившей их в какой-нибудь тюрьме. Но смех, пение и радостный визг из всех окон доносились до обедневшей деревни на другой стороне ущелья. Однако милость Великого Старца имела и теневые стороны. Как-то теплой летней ночью, часов около двух, Моисей Мелькер, уставший от пастырских трудов, прогуливался по парку перед сном. Ярко сиявшие звезды напомнили ему о Ниле. С Оттилией тогда ошибка вышла — лучше бы уж Цецилию... Он не додумал эту мысль до конца. Бедность не пошла Моисею Мелькеру впрок. Он попался в собственный капкан, поскольку, будучи бедняком, имел право

жить в «Доме богатства», как он называл свою виллу под Гринвилем. Но его передергивало при воспоминании о зимних месяцах. Такой непроглядный туман вокруг — просто удивительно, как это крохотная речушка Грин ухитряется до такой степени портить погоду, к тому же вонь от химических заводов в Нидеральмене и в довершение всего — Цецилия: целыми днями курит сигары, жрет шоколад и читает. В свое время она поймала его на слове — «все, что он имеет, принадлежит ей», — и он подписал договор о разделе имущества. Вновь ему вспомнился Нил. В сущности, он с радостью ждал начала сезона в «Приюте нищеты» и теперь каждое утро и каждый вечер с головой окунался в работу, восхваляя и превознося бедность пламеннее, чем когда-либо раньше, — так пламенно, что гости содрогались от отвращения к своему богатству и потом с еще большим удовольствием наслаждались в пансионате бедностью, взаимопомощью, доброжелательностью и сопричастностью друг к другу. Вот только бы еда была чуть получше, думал Мелькер. А была она еще отвратительнее, чем в прошлом сезоне, даже пищу бедняков этой страны можно было назвать роскошной по сравнению с той, что с восторгом поглощали миллионеры в «Приюте нищеты». Погрузившись в свои мысли, он забрел в восточный конец парка. Вдруг перед его глазами блеснул свет. Он падал из окон верхнего этажа Восточной башни. Оттуда же слышалось мелодичное пение. Мелькер отступил в тень и зашагал назад, к пансионату. В дверях кухни стоял Крэенбюль.

— Кто находится в Восточной башне? — спросил у него Моисей.

— Никого там нет, — без запинки ответил Крэенбюль.

— Но там горит свет, — настаивал Моисей. — И кто-то поет.

— Чепуха, — отмахнулся Крэенбюль. — Комната в башне пуста. Ее нельзя никому сдавать. А почему — сам не знаю. Никогда в нее не заглядывал.

Моисей Мелькер вернулся в парк. Света в Восточной башне уже не было.

В Кингстоне на Ямайке ожидали получения двух боа-констрикторов для зоологического сада. Когда вскрыли ящик, он оказался пустым. Спустя две недели змеи были обнаружены в гостинице на расстоянии двух часов езды на машине. Гостиница была расположена в густых джунглях у подножия холма, поросшего лесом. Уже две недели непрерывно лил

мелкий дождичек, разогнавший всех постояльцев. Вокруг отеля стоял металлический скрежет: его издавали пальмовые листья, сталкиваемые ветром. Казалось, в гостинице не осталось стен, и ветер гонял струи дождя по всему дому. Внутри все отсырело, на веревках повсюду рядами висели связки бананов — больших и маленьких. В нише столовой — она служила в гостинице библиотекой — стоял разбухший от воды рояль. На полках — ряды заплесневевших книг, на полу — отсыревшие ковры, паркет вспучился, из щелей повсюду повылезали грибы. На веранде, использовавшейся как столовая, хозяин гостиницы с семьей и поварихой обгладывали жесткую курицу. Хозяин — рыжеволосый и веснушчатый пятидесятилетний шотландец с голыми веками, его жена — красивая мулатка, на пятнадцать лет моложе его, их двадцатилетний чернокожий сын — лишь его рыжие волосы доказывали отцовство шотландца, повариха — морщинистая индианка карликового роста. Со стороны шоссе послышался какой-то шорох. Две змеи длиной в несколько метров проскользнули по столу — одна белоснежная, другая красновато-серая с большими серовато-желтыми пятнами овальной формы по темной полосе вдоль спины — и, промелькнув в гостиной, скрылись под навесом крыльца гостевых комнат, расположенных немного выше. Все семейство замерло от ужаса, лишь повариха продолжала безучастно обгладывать куриную ногу.

— О Господи, — охнул хозяин гостиницы, вскочил, кинулся за дробовиками, сунул один дробовик сыну, — о Господи.

Они прокрались под навесом крыльца, поднялись наверх, распахнули двери комнат. Со стороны шоссе донесся автомобильный гудок, и в столовой появился почтальон с мешком. Буркнув: «Письма», он вытряхнул содержимое мешка на пол. Мулатка все еще сидела за столом, неподвижная, как статуя. Потом она принялась за новый кусок курицы. Почтальон принес еще три мешка писем и тоже высыпал на пол. Отец с сыном осмотрели первые комнаты, поднялись на верхний этаж и услышали доносящиеся с вершины холма всплески, хрипы, сопенье и удары по воде. В плавательном бассейне кто-то ворочался, плескался и выпрыгивал из воды, а поскольку дождь уже лил как из ведра, нельзя было разглядеть, кто это был. Прислонившись к стене последней комнаты, сидели двое чернокожих, нанятых шотландцем, и, тыча пальцами в сторону бассейна, бормотали:

— The Great Old Man. The Great Old Man[1].

Из-за стены до слуха шотландца донеслось какое-то постукивание. В соседней комнате за столом сидел альбинос в белом смокинге и печатал на машинке. Он велел хозяину гостиницы принести доставленную только что почту. Ничего не соображая и с трудом двигая руками и ногами, шотландец машинально велел сыну спуститься и посмотреть, что там такое. Сын увидел кучу писем у ног все еще окаменевшей от страха матери и обгладывающей куриную кость поварихи, которая ничего вокруг не замечала, поскольку ей все было безразлично. Он принес корзину, наполнил ее доверху письмами и, тяжело дыша, потащил наверх. Альбинос приказал ему ссыпать все письма в бассейн и принести остальные. Существо, плещущееся в бассейне, продолжало плескаться, не обращая внимания на плавающие вокруг письма. Сын хозяина, не поднимая глаз, опорожнял в бассейн одну за другой полные корзины писем. Шотландец стоял как столб. Чего ему здесь надо, спросил его альбинос, когда сын принес последнюю корзину писем, и отец с сыном спустились вниз. О Господи, опять простонал отец. Почтальон приезжал три дня кряду. Три дня кряду письма полными корзинами выбрасывались в бассейн. А он лежал в купальном халате на постели и слушал стук машинки Габриэля, шум дождя и скрежет пальмовых листьев. Наружу он еще ни разу не выглянул. Что там скрежетало, он не понимал, что шумело, его не интересовало, а что печатал на машинке Габриэль, не заботило. Когда-то он диктовал тому ответы на письма. Правда, то были не обычные письма, а каменные таблички, и Габриэль высекал на них продиктованный ему ответ. Потом приносили уже глиняные таблички, на которых ответ можно было нацарапать, это делалось быстрее, иероглифы Габриэль рисовал красками на папирусе, по-еврейски он писал с быстротой диктовки.

Но количество писем все увеличивалось. Поскольку во всех письмах просили денег, он уже в самом начале стал отвечать лишь на некоторые, смотря по настроению, но всегда отказом, однако часто с такими ловкими отговорками, что можно было подумать, будто помощь обещана, и в конце концов, устав диктовать, он предоставил Габриэлю право самому отвечать, а впоследствии, поскольку Габриэлю при-

---

[1] Великий Старец *(англ.)*.

ходилось читать письма, прежде чем ответить, он посоветовал тому вовсе не читать писем, на которые отвечает, а позже, когда он уже позабыл, что Габриэлю приходится отвечать на письма, не читая, Габриэль тоже забыл, что ему надлежит делать, и просто стучал по клавишам машинки без всякого разбора и смысла. Одним пальцем. Поначалу он еще менял листы бумаги, засовывал каждый лист в конверт и надписывал адрес, какой на ум придет, потом стал печатать на одном и том же листе, а после уже вообще без бумаги, в конце концов — и без ленты, просто стучал по клавишам. Великому Старцу хватало и того, что он слышал этот стук. Все равно писем приходило все больше, хотя то была лишь ничтожнейшая их часть, поскольку почта уже не знала, где он находится, так что адресованные ему письма годами находились в пути.

Лишь по чистой случайности одно из писем вдовы Хунгербюлер все же попало к нему. Не то чтобы он его прочел, он бы его все равно не понял, ведь он давным-давно перезабыл все — и пансионат, который купил, и Моисея Мелькера, чья теология его позабавила, — ведь он даже не знал, где находится, в какой Солнечной системе, в какой Галактике, в какой Вселенной, но, лежа в полудреме, он вдруг ощущал потребность выкурить сигару, и гаванская сигара тут же оказывалась у его губ, — если, конечно, это была гаванская сигара и этот Кингстон находился на планете Земля, а не в какой-то другой Вселенной, состоящей из антиматерии или из чего-то еще. Габриэль встал и из корзины, которую втащил наверх сын хозяина гостиницы, чтобы вывалить ее содержимое в бассейн, выхватил наугад одно письмо из числа тех, что приходили ежедневно, и как раз то, что написала вдова Хунгербюлер. Габриэль подержал его против солнца, и, хотя письмо было подмочено дождем, оно сразу же загорелось. Он зажег им сигару своего шефа, а тот, разок затянувшись, отшвырнул сигару на соломенную циновку, в которой она тут же прожгла дыру. Кроме этой дыры, ничего не смогла констатировать полиция, которую вызвали в связи с тем, что постояльцы внезапно исчезли, не расплатившись, — из дыры, все еще тлевшей, несмотря на сырость, вдруг взвилось пламя, да такое, что полицейские, хозяин гостиницы, его сын, жена-мулатка и повариха-индианка еле-еле успели выбраться из огня, прежде чем дом сгорел дотла.

Представившийся в это лето случай ограбить виллы, чьи владельцы отдыхали от мук богатства в «Приюте нищеты»,

был бы исключительно благоприятным для синдиката, если бы другие гангстерские синдикаты не объединились. Разделение сфер влияния с новым синдикатом было бы не только возможно, но и выгодно, если бы ситуация четко просматривалась. Но никто не знал, кто был отцом-основателем нового синдиката. Старые боссы хранили молчание. Вероятно, они и сами не знали. К тому же возник слух, что Великий Старец не то продал свой синдикат неизвестному основателю нового синдиката с условием, что старый будет ликвидирован новым синдикатом, поскольку Великий Старец хочет отойти от дел и пожить на покое, не то Великий Старец, наоборот, откупил у неизвестного основателя его новый синдикат с условием, что будет вправе его ликвидировать, дабы единовластно править бал, причем сведущие люди утверждали, что таинственный основатель нового синдиката не кто иной, как Иеремия Велиал. Но поскольку никто не знал, какие отношения существуют между Иеремией Велиалом и Великим Старцем — одно ли это лицо или он его подчиненный, конкурент или даже шеф, — то не оставалось ничего, кроме догадок и вымыслов, которые, однако, до такой степени подогрели настроение неуверенности среди членов обоих синдикатов, что между ними вспыхнула открытая война. Никто не знал, кто кого купил и кто кого собирается ликвидировать. В Манхэттене, в Чикаго, в Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе, но также и в Мехико, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Гонконге и т. д. громоздились горы трупов. То в одной, то в другой парикмахерской клиенты съезжали на пол из кресел. Мастера озадаченно стояли с кисточкой и бритвой перед недобритыми трупами. То в одном, то в другом фешенебельном борделе коридорный или горничная, внося в номер завтрак — кофе или чай, теплые круассаны или тосты, глазунью с беконом или яйцо в рюмке, свежий апельсиновый сок или мюсли, — обнаруживали в постели парочки, чаще разнополые, но иногда и однополые, мужские или женские, профессионально разрезанными на части, рот у которых был заклеен лейкопластырем, дабы не беспокоить других клиентов заведения, а в некоем пентхаузе над Гудзоном в камине был найден обугленный труп тщедушного мужчины с сигаретой марихуаны во рту.

Михаэль запер на ключ клинику в Асконе и на зиму оборудовал в пансионате временную больничку с операционным залом в бывшей прачечной. Они называли его Док. Что-то

нехорошее носилось в воздухе, все искоса поглядывали друг на друга. В конце октября приехали Джо-Марихуана и Большой Джимми. Их номер люкс был занят, поскольку в пансионате собрался весь синдикат. Встретили их враждебно, все их побаивались. Так что этой парочке пришлось удовольствоваться комнатой на двоих. В тюрьме Синг-Синг ему бы предоставили отдельную камеру, заметил Большой Джимми. Однако вместе они провели лишь одну ночь, уже на следующий день Джо переселили в прачечную. На несколько недель. Он нехотя подчинился. Доктор заявил, что придется сделать несколько операций, чтобы основательно изменить его внешность, поскольку его собственная физиономия представляет слишком большой риск для синдиката. Остальные постояльцы были рады избавиться от его общества, ведь труп в пентхаузе над Гудзоном был делом его рук, а они всегда думали, что сгоревший был членом синдиката Великого Старца. По чьему приказу действовал Джо? Они знали, какие слухи ходят на этот счет. И уныло резались в карты при занавешенных окнах, курили или смотрели порнофильмы. Фон Кюксен сделал выводы из истории с Ванценридом и вывез из пансионата произведения классиков. Сам барон поселился в Западной башне в окружении своих подлинных и фальшивых шедевров. К нему приезжали то Оскар, то Эдгар. Потом его вызвали к себе Рафаэли. И предупредили, чтобы он держал ухо востро, поскольку синдикат больше не доверяет Ванценриду. Однако и без классиков скука надвигалась неодолимо. На всех постояльцев опять напала зевота. К тому же зима никак не вступала в свои права. Вместо снегопада задул фён, принеся невыносимое тепло и невероятную сухость. Лес казался засохшим на корню. Ни у кого не было сил пошевелиться. В лесу за пансионатом учитель Фронтен декламировал одни и те же стихи: «Зимняя поездка на Гарц», «Прометей», «Границы человечества», «Элегия» — и бесконечно повторял «Орфические Первоглаголы» Гёте:

Прошли года, и чем свобода стала?
Стесненней мы, чем были изначала[1].

Полная луна, взойдя и медленно поплыв по небу, стала видна в деревне. Большой Джимми крадучись выскользнул

---

[1] *Перевод А. Фета.*

из пансионата в лес и мимо декламирующего учителя спустился вниз по склону.

Не знаешь ты конца — и тем велик.
Как вечность, без начала ты возник.
Твой стих, как небо, в круговом движенье.
Конец его — начала отраженье.
И что в начале и в конце дано,
То в середине вновь заключено[1].

Эльзи глядела из окна на пансионат. Он находился еще в тени. Оставив окно открытым, она вдыхала теплый ветер, проникавший в комнату, наблюдала, как огромная круглая луна подплывала все ближе и ближе и вдруг скрылась за головой Большого Джимми. Эльзи хотела было закричать. Но Луна вращалась вокруг Земли, а Земля вращалась вокруг Солнца, и на Земле было полнолуние, а на Луне — новоземлие. Все происходило закономерно. Солнце отражалось Луной, а Луна — Землей, и Большой Джимми влез в комнату, и Эльзи не закричала.

Закономерно ли, что на похоронах одного бывшего члена Национального совета некий член Совета кантонов случайно спросил дряхлого старичка, тоже бывшего члена Национального совета, годами намного старше покойника, — спросил, в сущности, лишь для того, чтобы завязать разговор: когда же вновь соберется Почетный комитет, в состав которого входил и спрашивавший, и этот старичок, а также другие люди, которых он перезабыл, но это уже другой вопрос. Спрошенный не знал, что ответить, потому что он вообще ничего уже не знал. После похорон он порылся в своих бумагах. И в одном из ящиков письменного стола нашел список членов Правления «Швейцарского общества морали».

К своему удивлению, он прочел, что является его председателем. Очевидно, это была последняя почетная должность, которую он еще занимал. Встревожившись, он созвал членов Правления. Все они пребывали в полной растерянности, особенно усилившейся после того, как один член Совета кантонов сообщил, что, основательно покопавшись в бумагах, обнаружил случайно сохранившийся у него английский текст устава Общества и выяснил, что присутствующие представ-

---

[1] Гёте И.В. Безграничный. — *Пер. В. Левика.*

ляют собой не Почетный комитет, как они полагали, а Правление «Швейцарского общества морали», филиала «Бостонского общества морали» в Америке. Но члены Правления входили в такое множество Наблюдательных советов, что никто из них не мог вспомнить, слышал ли он вообще когда-либо хотя бы название «Бостонское общество морали». Поэтому лучше всего было бы, пожалуй, всем составом выйти из Правления, но прежде выяснить, что, в сущности, представляет собой это «Швейцарское общество морали», основанное «Бостонским обществом морали». Правление поручило старичку, бывшему члену Национального совета, предпринять необходимые для этого шаги, а тот попросил члена Совета кантонов передать ему текст Устава и объявил заседание закрытым. Этот чиновный старичок происходил из простой семьи. Долгие годы он работал младшим учителем в окрестностях Берна, в политику ввязался случайно и не по своей воле и, как он выразился, оказался втиснутым в парламентское кресло, словно камень, влекомый лавиной. В бытность учителем он в большей степени чувствовал себя на своем месте. А член Национального совета — это всего лишь член Национального совета. Занимая это кресло, он особенно страдал от непроницаемости экономики и ее интересов. И сам себе казался похожим на человека, который в непроглядной тьме централизованной аппаратной стрелок и сигналов должен переводить стрелки для тысяч скорых, местных, товарных поездов и экспрессов, так что ничего удивительного не было в том, что то одни, то другие поезда налетали друг на друга. И его смущало, что теперь, на старости лет, с ним приключилась такая неприятная история с этим одиозным «Обществом морали», о котором даже никто не мог сказать, было оно швейцарским или бостонским. Он попросил помочь ему одного юриста из своего прежнего ведомства. Тот прочел текст Устава и сделал весьма обескураживающий вывод: положения Устава были сформулированы так хитроумно, что Правление, полагая, что подписывает лишь объявление о создании Почетного комитета, на самом деле само основало «Швейцарское общество морали» и назначило себя его Правлением. Такую глупость, в сущности, никто не мог совершить. А вот он ее совершил, вздохнул бывший парламентарий. Кроме того, выяснилось, что Правление это неделю спустя купило какой-то пансионат, добавил юрист, при посредничестве адвоката Хабэггера из столицы кантона.

— Для чего «Обществу морали» понадобился пансионат? — удивился старичок парламентарий.

— Он нужен летом организации «Радость через бедность», — объяснил юрист.

Его собеседник не удержался от смеха — очень уж странное название для дома отдыха бедняков.

— Для миллионеров, — поправил его юрист.

— А на зиму пансионат арендовал некий барон фон Кюксен, житель Лихтенштейна, зарабатывающий миллионы на продаже поддельных картин. Наверное, он сидит за решеткой, — предположил бывший член Национального совета.

— Но он продает картины, утверждая, что они поддельные, а покупатели считают их подлинниками, — пояснил юрист.

— Однако «Радость через бедность» наверняка должна была обанкротиться, — заметил старик. — Какие миллионеры поедут в такой пансионат, где им придется жить в нищете, да еще испытывать от этого удовольствие?

— Лишь самые богатые, — просветил его юрист, — пансионат процветает, как никогда. Так что «Общество морали» должно получать колоссальную прибыль.

— Об этом я ничего не знаю, — признался бывший член Национального совета.

После этого разговора он не спал всю ночь. Ему было девяносто пять лет, больше двадцати лет назад он овдовел. И отказался поселиться в доме для престарелых. Хозяйство его вела итальянка семидесяти лет, которая каждый Божий день ругала его — то за то, что он ест слишком много, то за то, что слишком мало, то за то, что нерегулярно, и если он будет вести такой нездоровый образ жизни, то недолго протянет и т. д. Пока она его ругала, он откладывал в сторону слуховой аппарат и спокойно глядел на нее, ожидая, когда поток слов иссякнет. Но в это утро он впервые обрезал ее и велел заткнуться, так что завтрак она принесла вся в слезах. Не притронувшись к еде, он прошаркал к письменному столу и написал письмо начальнику кантонального управления. Ответ был весьма благоприятным: не только в моральном, но и в финансовом отношении кантон может почитать большой удачей для себя, что предоставил приют «Швейцарскому обществу морали», на счету которого лежат полтора миллиона. Все у общества в полном порядке, даже конфликт с деревенским старостой из ущелья Вверхтормашки уладился наилучшим образом. Этого начальнику управления писать не сле-

довало бы. Старик проникся недоверием к «Швейцарскому обществу морали». Во второй раз им не удастся обвести его вокруг пальца. Что-то там не чисто. Что это был за конфликт? Бывший член Национального совета предложил старосте из ущелья Вверхтормашки приехать поговорить к нему домой и оплатил дорожные расходы.

Старик — низкорослый тщедушный человек с розовыми, как у девушки, щечками — сидел в кресле и принимал ежевечернюю ванну для ног: горячая вода с уксусом. В нише книжного стеллажа сидел большой черный кот, а перед хозяином дома — староста с пышными усами.

— Разрешите закурить? — спросил он.

— Не желаете ли гаванскую сигару? — предложил старик. — Мне когда-то подарил коробку сигар кубинский посланник.

— Лучше я закурю свою трубку, — ответил староста, вынул ее из кармана и зажег.

После этого бывший парламентарий попросил его начать наконец излагать свое дело. Староста стал рассказывать, и, когда кончил, старик сказал, что он ему верит.

— Только вы один и верите, — заметил староста.

— Ничего удивительного, — отозвался тот. — Вы любите вашу собаку больше, чем родную дочь Эльзи.

— Господин советник, с моим Мани я мог разговаривать, — оживился староста, — а с Эльзи и Мэди, моей покойной женой, не мог. Бабы не умеют слушать. А Мани всегда меня слушал.

— О чем же вы беседовали с Мани? — поинтересовался хозяин дома, пока домоправительница подливала горячую воду в таз.

— О чем хотите, — ответил староста. — К примеру, мы с ним обдумывали, почему наш добрый Боженька так несправедлив к нам, да и добр ли он вообще, раз отдает предпочтение другим горным деревням, куда и туристы то и дело наезжают, а нам остается только хлопать глазами, глядя на этот пансионат на солнечном склоне по ту сторону ущелья, где полным-полно миллионеров, и почему к нам в деревню никто не приезжает, лишь в кои-то веки забредет пара-другая туристов с рюкзаками, да только те ночуют в своих палатках и едят то, что принесли с собой, а если когда и заявятся в пивную, то говорят, что такой захудалой дыры, как наша деревня, в жизни не видывали. А еще мы с Мани говорим о том, почему на нашу деревню не валятся лавины или ополз-

ни, чтобы все начисто порушить, как в других горных деревнях. Тут уж вся Швейцария нам бы помогла и по радио собрали бы для нас кучу денег, телевизионщики понаехали бы нас снимать, деревня прославилась бы на всю страну, заново бы отстроилась и разбогатела. Значит, с добрым Боженькой что-то не так, раз совершаются такие несправедливости и с людьми, и с природой. И собака всегда со мной соглашалась, когда я с ней все это обсуждал. Говорила она, само собой, лишь глазами, а когда я начал бегать по начальству — то к кантональному советнику, то к члену Совета кантонов, а от него к члену Национального совета — и поздно возвращался домой, то Мани всегда вылезал из конуры и сидел перед дверью дома. «Чего ты хочешь?» — спрашивал я его. Он глядел мне в глаза и протягивал правую лапу. Я пожимал ее и говорил: «Вот оно что, ты хочешь со мной поздороваться». И тогда пес сказал мне, чтобы я бросил эту бесполезную беготню — мол, он, Мани, сам наведет порядок.

— Прямо так и сказал? — удивился старик.

— Ну, глазами, — пояснил староста. — Просто я понял, что он хотел сказать. Разве вы, господин советник, можете вот так разговаривать с бабами? Только я не стал рассказывать начальнику управления нашего кантона, что разговариваю со своим псом, потому как он подумал бы, что у меня крыша поехала. А вы, господин советник, говорите со своей кошкой?

— Это не кошка, а кот, — возразил старик. — И он со мной не говорит, а молчит, что в сущности одно и то же. Мы с ним, так сказать, перебираем в памяти все глупости, которые я в бытность мою членом Национального совета совершил или вынужден был принимать и покрывать согласно нашему принципу коллегиальности. Для внешнего мира семь членов Национального совета должны быть единого мнения! А если бы вдруг в эту компанию затесалась женщина, то ей и вовсе никто не посмел бы перечить, а окажись в Национальном совете две женщины, то эти две никогда не согласились бы друг с другом, и принцип коллегиальности полетел бы к чертям. Тогда уж лучше посадить туда сразу семь женщин. Они ведь не глупее мужчин. Так что я рад тому, что кот меня понимает, хоть Мауди и думает, что я всего лишь человек, а человек так уж устроен, чтобы делать глупости. Но где же сейчас ваша собака?

— Ее застрелили из танковой пушки.

Старик опешил.

— А вы все еще ходите по адвокатам? Зачем?

Старик сокрушенно покачал головой. Об этом он должен расспросить поподробнее. Каким образом танк оказался в их деревне?

— Целый полк занял деревню, чтобы пристрелить Мани, — заявил староста и рассказал всю историю.

Старик опять покачал головой.

— Любой глупости можно ждать от армии, но не от Мани. Пес не станет залезать на выступ скалы у вершины Шпиц Бондера, чтобы его там увидели и застрелили.

— Мани полез туда из любопытства.

— Ах, бросьте! — засмеялся бывший парламентарий.

— Ну так вот, — выдавил староста, — снарядом разнесло не Мани, а... Господин советник, понимаете, я начал вырезать из дерева нового Мани, прежний не удался, так что я за день до того, как полк подошел к нашей деревне, вместе со школьным учителем — трудновато нам обоим пришлось — укрепил деревянную фигуру на Шпиц Бондере. Ну вот, в общем это был скорее муляж.

— Подумать только! — всплеснул руками старик. — Где же теперь ваша собака?

— В пещере, в лесу, — ответил староста. — Два раза в неделю я приношу ей еду, Эльзи тоже носит, а иногда Мани сам охотится.

— Умное животное, — констатировал старик. — Умнее своего хозяина. С собственной дочерью не может совладать.

Староста молча смотрел, как итальянка вынесла таз, как старик начал вытирать ноги полотенцем.

— Эльзи была совсем не против, это я сразу почуял, — сказал он. — Она так же охоча до мужчин, как ее мать, с той я в свое время глаз не спускал. Однажды кто-то влез в комнату Эльзи через окно, кто это был, мне все равно, но думаю, то был Нольди с лесопилки. Только ежели он захочет на ней жениться, я буду против, а если родится ребенок, он будет носить мою фамилию, я последний в роду Претандеров, ежели же родится девочка, пусть добрый Боженька удивится: я стану атеистом.

Хозяин дома рассмеялся:

— Так далеко Эльзи, вероятно, покуда еще не зашла, но ваша позиция перечеркнула все шансы на победу в суде. Нет никакого смысла бросаться от Понтия к Пилату, тут ваша собака совершенно права, но сам я никак не возьму

в толк, почему пустому пансионату требуется так много молока, и может быть, что сторож — сам по себе лицо весьма подозрительное — укушен не Мани, а совсем другим псом.

— Так оно наверняка и есть, — подтвердил староста, — я всегда так думал, в особенности потому, что в Лихтенштейне у барона имеется знаменитый питомник доберманов.

— Проклятье! — воскликнул старик. — А об этом вы рассказали начальнику управления?

— Да мне это только сейчас пришло в голову, — пробормотал староста.

Старик сокрушенно покачал головой и, надевая носки, спросил, пустует ли пансионат этой зимой.

— Так же полон, как и в прошлую зиму, — ответил староста. — Там живут какие-то люди, и их много, сквозь щели в ставнях везде виден свет, а иногда слышна и речь.

— Итак, староста, сейчас мы с вами выпьем по стаканчику красного, — решил хозяин дома, — и вы еще раз расскажете мне во всех подробностях, что там у вас произошло. Но постарайтесь на этот раз ничего не забыть.

Старик похлопал себя по правому колену, и черный кот прыгнул к нему на руки. Итальянка принесла бутылочку красного вина. Староста повторил свой рассказ. Старик внимательно слушал. Вдвоем они мало-помалу опорожнили бутылочку. Потом хозяин дома сказал, что теперь старосте пора идти спать, ему заказан номер в гостинице «Олень». Очень жаль, что не может ничем помочь, он всего лишь человек, и ему скоро стукнет сто лет.

— Ничего не попишешь, — грустно проронил староста. — Так что адью покуда. Но мне было приятно поговорить с кем-то о моей собаке.

Оставшись один, старик прошаркал к письменному столу и написал письмо в Совет кантона о том, что начальник управления столь пристрастно рассмотрел дело Претандера — если вообще его рассматривал, — что он не может прийти в себя от изумления. Осталось даже невыясненным, чья собака укусила сторожа. Податель иска на возмещение ущерба — теперь уже отозвавший свой иск — сам содержит целый питомник натасканных сторожевых собак. Также не подлежит сомнению, что укушенный сторож не может в одиночку выпивать то количество молока, какое ежедневно доставляется в пансионат. При этих обстоятельствах даже не произведен осмотр пансионата, что можно квалифицировать как служебную

недобросовестность. Теперь на дворе вновь зима, так что он рекомендует начальнику управления лично осмотреть пансионат и проверить, пуст ли он на самом деле. Нескольких правительственных советников следует взять с собой в качестве свидетелей, ибо сам начальник управления — лицо вдвойне предубежденное, поскольку еще и командует тем полком, которому приказал прибыть в ущелье Вверхтормашки, чтобы пристрелить там собаку, а это само по себе величайшая военная глупость, когда-либо совершавшаяся на земле. Так что начальника управления следует судить военным трибуналом. Кроме того, будучи председателем правления «Швейцарского общества морали», он от имени правления объявляет о роспуске этого общества и передает его бумаги в прокуратуру соответствующего кантона. Покончив с письмом, бывший парламентарий вновь уселся в кресло, кот прыгнул к нему на колени, и старик уснул.

Несколько правительственных советников и следователь прокуратуры отправились в ущелье Вверхтормашки, где большинство из них никогда ранее не бывало. Начальник государственной канцелярии по секрету сообщил об их визите фон Кюксену, и тот удрал к себе в Лихтенштейн, комиссия же пребывала в уверенности, что он ничего не знает. Она намеревалась нагрянуть в пансионат неожиданно. Ванценрид успел спрятать более или менее известных бандитов на чердаке флигеля. Их там набилось как сельдей в бочке. Но операционную никак нельзя было вновь превратить в прачечную, там еще лежал Джо-Марихуана, ведь для очередной лицевой операции вновь потребовался общий наркоз. Так что у Ванценрида все поджилки тряслись, когда правительственная комиссия начала осмотр пансионата. Все еще слегка прихрамывая, Ванценрид медленно отпирал одно помещение за другим — гостиную, столовую, комнаты на одного и двоих, номера люкс, — все было пусто. Лишь ключ от чердака флигеля он никак не мог найти и все искал и искал его, пока начальник управления не заявил, что от осмотра чердака флигеля можно и отказаться из-за его явной бессмысленности. Тут Ванценрид и поспешил сообщить, что ключ нашелся. Но члены комиссии уже спускались по лестнице. Ванценрид только успел облегченно вздохнуть, как следователь вдруг пожелал осмотреть и прачечную. И Джо вкупе с операционным залом неминуемо был бы обнаружен, не сумей Ванценрид так ловко подставить ножку следователю, что тот загре-

мел вниз по лестнице в подвал и сломал ногу, вследствие чего осмотр прачечной сам собой отпал. Пришлось вызывать врача и машину «скорой помощи», так что на опрос жителей деревни времени уже не осталось.

Вечером последнего воскресенья перед Рождеством Моисей Мелькер завершил свою пятисотстраничную рукопись «Цена благодати» и вышел на террасу. На землю уже опустилась ночь. Луна скрылась за дубом. Снега все еще не было, зато от реки поднялся такой густой туман, что в нем потонула деревня. Видна была лишь церковная колокольня, казавшаяся белой в лунном свете, а туман, из которого она выступала, был похож на Нил. Мелькер поднялся в спальню. Цецилия Мелькер-Ройхлин лежала на супружеском ложе, читала роман, курила сигару и ела шоколадные конфеты — круглые шарики, черные, коричневые, белые, некоторые гладкие, другие колючие, — которые она вынимала из пакетика. Еще два таких пакетика лежали на ночном столике. Моисей Мелькер присел на край кровати и сунул ей в рот трюфель. Когда за ним последовал второй, она положила сигару в пепельницу, а роман — на одеяло и открыла рот пошире. Он сунул туда еще один трюфель. Она взглянула ему в глаза. Взгляд был твердый и насмешливый, мрачный и безжалостный, и он понял: она знает, что он замыслил. Она не сопротивлялась. Ему не пришлось применять силу. Он все набивал и набивал ей рот трюфелями и, лишь покончив с третьим пакетиком, заметил, что она мертва. Моисей спустился в кабинет, написал на титульном листе рукописи посвящение Цецилии и проставил дату.

Возможно, им стоило бы поговорить о своих трудностях, если допустить, что в Антарктике, намного южнее плато короля Хаакона, встретились именно Великий Старец и Иеремия Велиал. Эти встречи происходили частенько, но интервалы во времени между встречами были так велики, что встречи получались редко. Хотя всегда на одном и том же месте. Однако в последний раз дело происходило в тропиках с пышной растительностью, земная ось располагалась иначе. Теперь же их вертолеты опустились на ледяное поле, над которым свистел ветер. Вертолеты сели одновременно, но, может быть, это был лишь один вертолет, ибо все отражалось на зеркальной поверхности льда и в хрустальном воздухе, и если именно Иеремия Велиал приветствовал Великого Старца — если то был Великий Старец, — то выглядел тот не

так, как прежде, а так, что Габриэль принял его сначала за Великого Старца, а потом за его точную копию. Не только потому, что оба были в смокингах. В смокингах были все. Но что-то в этой копии было не так. Наконец Габриэль догадался: Иеремия Велиал был не копией Великого Старца, а его отражением. Все они были отражениями. Отражением Великого Старца был Иеремия Велиал, а отражением Иеремии Велиала был Великий Старец. Отражением Габриэля был секретарь Велиала Саммаэль, тоже альбинос, и наоборот — отражением Уриэля Азето, часовых дел мастера, чьи часы имели только обратный ход, был хирург Михаэль Асмодей, для которого часы Уриэля шли назад, и наоборот — его отражением был Уриэль Азето, а адвокат Рафаэль, теперь уже в одном лице, сидел против своего отражения Вельзевула, тот в свою очередь сидел против Рафаэля: если допустить, что один сидел против другого и мир не был разрезан зеркалом на две половины, так что Велиал, Саммаэль, Азето, Асмодей и Вельзевул были лишь отражениями друг друга. Было двадцать первое декабря, день зимнего солнцеворота, и день этот длился бы до двадцатого марта. Почтовый самолет пророкотал над собравшимися, сидевшими на удобных садовых стульях, и сбросил вниз тучи писем — и здесь Великого Старца преследовали письма просителей. Однако ветер тут же подхватил эту массу писем и развеял ее за невидимым горным массивом. С берега океана, удаленного на тысячу пятьсот километров, длинной чередой прибыла целая армия пингвинов, похожая на процессию благочестивых паломников, и окружила сидящих. Рядом с Великим Старцем, как и рядом с Иеремией Велиалом, стоял столик с кофейной мельницей, кофеваркой и пятью чашками. Великий Старец взял в руки кофейную мельницу, то же самое сделал Иеремия Велиал, остальные заснули, в том числе и пингвины. Великий Старец начал крутить ручку мельницы, Велиал тоже, но Великий Старец крутил ручку по часовой стрелке, а Велиал — против, и, пока они это делали, солнце начало описывать круги вокруг собравшихся и вокруг пингвинов, а поскольку оба крутили свои мельницы все быстрее и быстрее, солнце тоже кружилось все быстрее и наконец образовало вокруг них сплошное кольцо ослепительного света, которое все ниже опускалось к горизонту, в конце концов разрезалось им на две части и скрылось совсем, а когда оно скрылось, завертелся над ними сверкающий шлем с золотым кольцом, то поднимающимся, то опускающимся и меняющим интенсив-

ность своего блеска, а также стремительно летящие звезды и луна. Вращая ручку кофейной мельницы, Великий Старец не только вращал земной шар вокруг себя, но и вокруг Солнца, а тем самым — и все планеты Солнечной системы, а Солнце — вокруг Млечного Пути, а Млечный Путь и туманность Андромеды — вокруг множества других рассеянных в Галактике тел. А те и сами вращались, так же как Млечный Путь и туманность Андромеды. Вращение кофейной мельницы привело в движение всю Вселенную, причем самым дальним Галактикам приходилось вращаться быстрее, вот они и вращались с невероятной скоростью, неизмеримо превосходившей скорость света, нарушая тем самым все законы физики. Однако не только этот мир вращался вокруг себя как некий пространственно-временной континуум из-за того, что Великий Старец вращал свою мельницу, но ведь и Иеремия Велиал вращал свою, и не только Вселенная вращалась с бешеной скоростью, но и анти-Вселенная вращалась с такой же бешеной скоростью, хотя и в обратном направлении, чего Великий Старец, правда, не мог заметить, поскольку его Вселенная и Вселенная Велиала пронизывали друг друга, не соприкасаясь, словно располагались на разных сторонах ленты Мёбиуса*, на которой и внутри которой бешено вращающиеся сферы Галактик и анти-Галактик, не соприкасаясь друг с другом, бесконечно летели быстрее света то на ленте, то внутри ее. Это абсолютно не интересовало ни Великого Старца, ни Иеремию Велиала, ибо они не испытывали никакого интереса к физике, космология тоже была им безразлична, о расширении Вселенной, о черных дырах и о Большом Взрыве они ничего не слышали, такой чушью они принципиально не занимались, и Эльзи, в полночь глядя с тоской из своего окна, тоже не особенно задумывалась о том, почему день сменяется ночью, а думала она только о Большом Джимми. И на плато короля Хаакона вращение Солнца—Млечного Пути—Галактик—пространственно-временного континуума мало-помалу прекратилось, одновременно прекратилось и вращение анти-Вселенной, сначала стали видны все медленнее двигающиеся по горизонту звезды Южного полушария, созвездие Ориона с Ригелем, Сириус, Канопус, Южный Крест, два Магеллановых облака. Потом солнце, описав круг по горизонту, повернуло вверх, на полгода на Земле воцарился день, солнце поднялось еще выше, остановилось, и законы природы вновь вступили в свои права без всякого ведома или участия Великого Старца и Велиала. Они оба

перестали вращать свои мельницы, и все сразу проснулись. В том числе и пингвины. Габриэль и Саммаэль сварили и подали на стол кофе. Все осушили свои чашки до дна. Никто не проронил ни слова. В небе опять появились вертолеты. Чашки, кофеварки, кофемолки и садовые стулья остались на месте, лишь початые пакетики кофе «Этикер» за 10,15 франков взяли с собой для следующей встречи. Пингвины двинулись назад к берегу, участники встречи улетели на своих вертолетах — или на своем вертолете, — Эльзи легла в постель, Большой Джимми не явился. Большой Джимми всегда являлся лишь единожды.

С самого утра Большой Джимми искал Джо-Марихуану по всему пансионату. После операции он его еще не видел. Да и никто не видел, кроме доктора, которому он то и дело попадался на глаза и который заверил Джимми, что Джо только что рыскал по коридорам — очевидно, он искал Джимми, так же как Джимми искал Джо. После этого Джимми возобновил поиски, осмотрел весь пансионат, а также флигель и кладовую, обследовал даже прачечную, где Аляска-Пьянь лежал под общим наркозом. Вновь выйдя в холл, он увидел идущего навстречу доктора, который крикнул ему:

— Джо, Большой Джимми ищет тебя.

— Так кто же кого ищет? — озадаченно спросил Джимми, и, услышав в ответ, что доктор полчаса назад встретил Джимми на верхнем этаже и тот спросил у него, где же Джо, Джимми возмущенно воскликнул:

— Так ведь я и есть Большой Джимми!

— Черт меня побери. — пробормотал доктор, уставясь на Джимми. — Я тебя перепутал.

— С кем?

— С Джо.

— Но ведь он совсем на меня не похож, — возразил Джимми.

— Теперь уже похож. — парировал доктор, — мне удалось нечто из ряда вон выходящее, ведь я сделал Джо операцию. И теперь он похож на Джимми как две капли воды.

— Он похож на меня как две капли воды, — выдавил Джимми. — Зачем ты это сделал, Док?

Тот ответил, что оба они — лучшие киллеры синдиката, и если один из них ликвидирует кого-то в Сан-Диего, а второй

находится в Бостоне, то у того, кто в Сан-Диего, будет неопровержимое алиби.

— Вот оно что! — недоверчиво протянул Большой Джимми. — Но тогда я никак не возьму в толк, где же он прячется?

Вместо ответа доктор молча уставился на входную дверь холла. Все повернулись туда же. В широко распахнутую дверь вошел Моисей Мелькер и встал на пороге, как всегда, в строгом черном костюме, — толстый белый негр с чемоданчиком в руке, одетый словно для конфирмации.

Моисей Мелькер растерялся. Он-то думал, что пансионат пуст, и открыл парадную дверь своим ключом. Он только что пережил страшные дни. Врач из Бубендорфа в сомнении качал головой, заполняя свидетельство о смерти. В его практике еще не было случая, чтобы кто-то умер, забив себе рот трюфелями, сказал он и спросил, ела ли покойница при жизни что-нибудь еще, кроме конфет. Не думаю, грустно проронил Мелькер. Цецилию похоронили рядом с Эмилией на Гринвильском кладбище, тело Оттилии так и осталось в Ниле. Цецилия была последней в роду Ройхлин. Так что вилла, равно как и все состояние, которое бедняк Моисей записал на ее имя, дабы остаться нищим, опять вернулась к вдовцу, как кольцо Поликрата вернулось к Поликрату. Теперь Моисей стал мультимиллионером и имел полное право поселиться в «Приюте нищеты», а потому и решил хотя бы в рождественские дни еще раз насладиться в пансионате благодатью нищеты, которой теперь лишился. Однако он счел неуместным просить Августа отвезти его туда на «роллс-ройсе». Он хотел явиться в пансионат нищим. Поэтому доехал до Берна на пассажирском поезде, потом до Цюриха — в вагоне второго класса скорого поезда и, восстав против навязанной самому себе скромности, прибыл в столицу кантона первым классом, а там взял такси. Им владело одно желание — побыть в одиночестве, отсидеться в укромном уголке, все забыть, тихо отпраздновать Рождество, думая о Великом Старце. Но, оказавшись в холле пансионата, куда с чердака флигеля вновь втащили диваны и кресла, на которых теперь лениво развалились какие-то типы с прямо-таки бандитскими рожами, он не смел ни охнуть, ни вздохнуть.

Однако растерялся не только Моисей Мелькер, все в холле замерли в полной растерянности. Этого толстяка надо бы сразу шлепнуть на месте, подумало большинство, но их револьверы и автоматы все еще были упрятаны на чердаке флигеля. Наконец Бэби-Взломщик тяжело поднялся с кресла, не спеша подошел к Мелькеру, остановился и, положив руки тому на плечи поближе к шее, чтобы удобнее было сдавить, спросил, знает ли кто-нибудь, что он здесь — кто бы он сам ни был. Моисей Мелькер ответил, запинаясь на каждом слове, что он учит ценить нищету и милостью Великого Старца этот дом на все лето был предоставлен ему для проповедей, подразумевая под Великим Старцем Господа Бога. Бэби-Взломщик, естественно, решил, что тот имеет в виду легендарного босса всех боссов. Тут Моисея осенило. Он догадался, что «Приют нищеты» служил «Обществу морали» не только для утешения несчастных богачей, а и для чего-то совсем другого. Значит, его обвели вокруг пальца, руки, лежавшие у его горла, в любой момент могли его стиснуть. В то же время он ощутил странную близость с окружающими — мрачными, решительными, на все способными мужиками. «Все же лучше его придушить», — подумал Бэби и хотел было сжать пальцы, как из лифта вдруг вышел фон Кюксен в сопровождении Оскара и Эдгара. Ванценрид, заметивший прибытие Мелькера, не решился что-либо предпринять, зато сообщил о случившемся фон Кюксену, обитавшему в Западной башне.

— Добро пожаловать, господин Мелькер, — сказал лихтенштейнец и представился: — Я Кюксен, барон фон Кюксен.

Он выронил монокль, подхватил его левой рукой, подышал на стекло и протер его платочком, вынутым из нагрудного кармана смокинга, прикидывая, как бы пристойнее выкрутиться из неприятной ситуации. Прикончить Мелькера было бы излишне рискованно, Бог знает, кому он сообщил, куда направился, с другой стороны, адвокатской конторе трех Рафаэлей, может быть, как раз хотелось бы, чтобы Мелькер исчез. Но эти субъекты, может, хотели бы и его, фон Кюксена, отправить к... Черт возьми, положение было хуже некуда. Времени позвонить не было, Ванценрид прохлопал — ему следовало бы как-нибудь задержать Мелькера, но теперь делать нечего — он уже тут. Фон Кюксен процедил, что на зиму он арендовал пансионат, и

при этом водворил монокль на место — никто не понял зачем. Ну вот, теперь Мелькер ненароком разгадал его тайну. Он арендовал пансионат для того, чтобы провести рождественские праздники с друзьями. И они сочтут большой честью для себя, если Моисей Мелькер согласится прочесть им Рождественскую проповедь. Его друзья — люди искусства и его ценители. «Пропади ты пропадом», — подумал Бэби-Взломщик, но все же смекнул, что это было единственным выходом. Моисей, шатаясь, пересек холл, перешагивая через вытянутые ноги, и шмякнулся в кресло. Он ощутил себя среди своих.

Рождественским вечером Джимми все же явился. За полчаса до заката Эльзи спустилась к целебному источнику на дне ущелья. Из леса за пансионатом до нее донесся голос учителя Фронтена, декламировавшего:

Как в день, тебя вручивший мирозданью,
Восстало солнце на привет планетам.
Так началось твое преуспеянье
По предначертанным тебе заветам[1].

Когда она нагнулась к окутанной паром воде источника, вытекавшей из скалы и заключенной в трубу, она почувствовала, что кто-то стоит за ее спиной, и, оглянувшись, оказалась лицом к лицу с Джо.

— Джимми, — сказала Эльзи.

Джо молча и неподвижно стоял перед ней.

— Значит, ты все же опять пришел, — сказала Эльзи.

Джо продолжал молча смотреть на нее. Глаза его были холодны и внимательны. Она вгляделась в него. То был, конечно же, Джимми, хотя ей почему-то казалось, что перед ней кто-то другой.

— Обними-ка меня, — предложила она.

Он обнял.

— А теперь поцелуй, — сказала Эльзи.

Он поцеловал. Эльзи оттолкнула его и ударила по лицу.

— Ты — не Джимми.

Джо рассмеялся:

— Что ты, я и есть Джимми.

Она заколебалась.

— Это правда? — спросила она.

---

[1] Гёте И.В. — *Перевод Д.Недовича.*

— Правда, — заверил ее Джо.

— Ну, не знаю, — протянула Эльзи, он по-другому целовал ее и в молочной луже, и в постели.

Если бы он лежал с ней в молочной луже или в ее постели, он бы опять целовал, как тогда, возразил Джо. Эльзи присела на каменную ограду, разглядывая его в раздумье. Джимми-то он Джимми, но когда он был у нее в комнате, то больше молчал, сказал только, как его зовут. Да и о чем было тогда говорить! Но теперь она никак не возьмет в толк, кто же он.

— Я — гангстер, — улыбнувшись, сказал он, но глаза его все еще были холодны и внимательны. Все же она уверилась, что он и есть Джимми.

— А кто тот, второй, в чей зад вцепился Мани? — спросила она.

— То был Джо по прозвищу Марихуана, — ответил Джо.

— Тоже гангстер? — спросила она.

— Еще какой, — заметил он.

— Класс! — сказала Эльзи и спросила, много ли гангстеров в пансионате.

— Много, — ответил он, и Эльзи полюбопытствовала, все ли они из Америки.

Он кивнул.

— Не слабо, — протянула Эльзи.

Они помолчали. Галка, кружа над ними, подлетела поближе и вновь скрылась. Эльзи спросила, много ли людей он прикончил, и, когда он вновь кивнул, сказала:

— Круто. Солнце село.

— Как сухо, — сказал он, — здесь в ущелье очень сухо.

— Поэтому нельзя зажигать костры, — заметила она.

— А может, и можно, — возразил он.

Галка вновь закружилась над ними и, так же кружа, улетела.

Он спросил, нельзя ли ему поговорить с ее отцом.

— Наверное, можно, — ответила она.

Она выпила воды из источника, и они двинулись вверх по склону к деревне. Когда они вошли в залу, рождественская елка была уже украшена.

— Кого привела? — недоверчиво спросил староста.

— Это Джимми, — ответила Эльзи, — он хочет извиниться за пролитое молоко.

Староста не понял.

— Джимми — это тот, кто меня изнасиловал, — заявила Эльзи. — Родом он из Америки.

Староста сглотнул слюну, сжал кулаки и выругался:

— Сукин сын, ублюдок проклятый!

— Отец, ты что? — одернула его Эльзи.

Но Джо ответил ему в том же духе:

— Тупая башка, овечий хвост, дьявольское отродье!

— Джимми! — зашипела на него Эльзи, потом топнула ногой. — Кончайте валять дурака!

— Девочка моя, — понуро пробурчал староста.

— Эльзи же тебя любит, и меня, кстати, тоже, — рассмеявшись, заявил на местном диалекте Джо.

Староста удивленно на него уставился: откуда он знает, как говорят у них в деревне?

— А я — один из вас, — ответил Джо, — я сын священника Претандера, а вы тут и дом его совсем забросили. Всю последнюю зиму я сидел там ночами, дрожа от холода.

— Но не в эту зиму, — возразил староста, — в эту ты погрелся в постели Эльзи.

— Пойду сварю кофе, — сказала Эльзи и пошла на кухню.

— Однако ты очень уж сильно изменился, если ты и вправду Зепп Претандер, — сказал староста. — Я еще помню, как пятнадцать лет назад Зепп ушел из деревни.

— Я тоже помню, — сказал Джо, — ты и тогда уже был квашней.

Староста поскреб в затылке.

— При всем желании не могу тебя узнать.

— И никто на свете не сможет, — ответил Джо. — Того требует моя профессия.

— Что, стал важной шишкой? — спросил староста.

— Я — киллер, — сухо ответил Джо. — Моя профессия — отправлять на тот свет подлецов.

Староста наморщил лоб.

— Разве это профессия?

— В Америке — да, — ответил Джо.

— И зарабатываешь этим на жизнь? — удивился староста.

— Еще как, — заверил его Джо. — Вот только еще об одном не забыть бы сказать: о моем заде. — Он смущенно умолк.

— Что ты имеешь в виду? — спросил староста.

— А вот, погляди-ка, — ответил Джо и спустил штаны.

— Господи, спаси и помилуй, — изумился староста, — тут кто-то крепко поработал клыками. — И вдруг просиял: — Не иначе это Мани!

— Мани и есть, — подтвердил Джо и вновь натянул штаны.

— Но ведь Мани укусил Ванценрида, — в полном замешательстве воскликнул староста.

— Нет, в того вцепился доберман фон Кюксена, — пояснил Джо и рассказал, как все было.

— Этот подонок, этот бродяга, этот торгаш фальшивками, — в сердцах выругался староста, — обвел вокруг пальца меня и возвел напраслину на Мани! — Но потом вдруг опять засомневался: — А кто же тогда, черт побери, валялся с Эльзи в луже молока?

— То был Джимми, — сказал Джо.

— Так ведь ты и есть Джимми, — возразил староста.

— Тут вот какое дело: мне сделали лицевую операцию, — объяснил Джо. — Когда приехала комиссия, она, на мое счастье, не зашла в прачечную, где я лежал под общим наркозом. Но потом, когда я увидел свое новое лицо, я себя не узнал. В общем, я не тот, за кого меня принимает Эльзи, не Большой Джимми, с которым она валялась в молочной луже, а другой, тот, кого укусил Мани. Все называют меня Джо-Марихуана, но, раз уж Эльзи принимает меня за Джимми, пусть для нее я и останусь Джимми, все это я выкладываю для того, чтобы ты понял: намерения у меня серьезные...

— Минуточку, — перебил его вконец сбитый с толку староста, — кто же потом лазил в окошко к Эльзи — Джо-Марихуана или же Большой Джимми, коли вы оба теперь на одно лицо?

— Какая разница, — возразил Джо. — Главное, я могу жениться на Эльзи.

— Нет, главное, что ты — Претандер, — ответил староста. — А Эльзи тебя захочет?

— Когда все будет позади, я ее спрошу, — ответил Джо. — А сейчас хочу тебе кое-что предложить.

— Насчет чего? — поинтересовался староста.

— Насчет жильцов пансионата, — ответил Джо. — Они попали в затруднительное положение, и я тоже. Перед тем, как сюда приехать, мне пришлось прикончить одного типа в пентхаузе над Гудзоном, которого я считал своим боссом, но может статься, он вовсе им и не был, а был лишь его двойником, которому сделали лицевую операцию, чтобы я думал, будто прикончил своего босса, и спокойненько засунул его тело в камин.

— Ничего не понял, — признался староста.

— Я тоже уже ничего не понимаю, — поддакнул Джо. — А ведь я, довольно известная личность, спокойно могу это утверждать, но Большой Джимми почти так же известен. И вот теперь мне устроили физиономию Большого Джимми и стало нас двое. Выходит, я, Джо-Марихуана или Зепп Претандер, больше не существую?

— Выходит, так, — поддакнул теперь уже староста.

— Но тогда ты должен понять, почему эта мысль не дает мне покоя: зачем кому-то понадобилось так изменить мое лицо, чтобы я стал как две капли воды похож на Большого Джимми. Ведь не может же быть двух Больших Джимми, может быть только один.

— Логично, — вставил староста.

— Если одного кокнут, — продолжал Джо, — у них останется второй.

— Сложновато для меня, — признался староста.

— А я уверен, — рассуждал вслух Джо, — что меня превратили в Большого Джимми для того, чтобы ликвидировать меня, а не настоящего Джимми. Ведь после операции Джо-Марихуаны так и так не существует. Потому я и пришел к тебе как Претандер к Претандеру, и ты должен помочь мне, а тем самым и всей деревне.

Тут Эльзи принесла кофе с вишневкой.

В церкви все наводило тоску. Сквозь полуразрушенную крышу проглядывали звезды, иногда перекрываемые наплывающими облаками. Помещение тускло освещалось одной-единственной лампочкой, свисавшей сверху на проводе. Стена, отделявшая ризницу, лежала в развалинах. За ней болтался теряющийся во мраке колокольни канат. Староста вскарабкался на кучу щебня от рухнувшей стены и стал дергать конец каната, вверху слабо звякнул колокол, используемый при пожаре. Из хибар начали выползать люди, подтягиваться к церкви. Джо стал взбираться на кафедру, одна нога его сразу же провалилась на сгнившей ступеньке, вторая — на следующей, на последней ступеньке он провалился уже обеими ногами и кое-как подтянулся на руках. Церковь мало-помалу заполнялась. Было так темно, что люди едва видели друг друга. Голос Джо раздавался словно с небес и звучал особенно жутко из-за того, что внезапно налетевший фён, все время усиливавшийся, раскачивал лампочку, выхватывавшую из мрака его лицо. Оно то вспыхивало, то гасло,

вновь вспыхивало и вновь гасло. Так продолжалось все время.

— Мой отец, — услышали собравшиеся, так тесно сбившиеся в кучу под полуразвалившейся крышей церкви, словно их сдавило разбушевавшейся бурей, — мой отец, священник Эмануэль Претандер, в этот день каждый год читал Рождественскую проповедь, стоя на этой кафедре, где сейчас стою я, его сын Зепп, а там, где сейчас валяется куча камней и щебня, стояла рождественская елка с яблоками, разноцветными шарами и множеством свечей. И отец читал вам из Евангелия: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос». Сорок лет кряду служил вам мой отец, самый низкооплачиваемый священник самого захудалого прихода в нашем кантоне. И что толку? Легче воскресить мертвых, чем пробудить вас, погрузившихся в лень и апатию. Церковь развалилась, дом священника, где я появился на свет, в развалинах, вся деревня близка к тому же, даже рождественской елки у вас уже нет. Вот я гляжу сверху на вас в этом жалком освещении, и мне кажется, будто я обращаюсь к полю, усеянному кочанами капусты.

А прихожане, мужчины и женщины, стояли, тесно прижавшись друг к другу, мокрые от пота из-за сухого тепла, принесенного ветром, и слушали внимательно, не обращая внимания на вой и буйство стихии, как они еще никогда никого не слушали. Тот, кто говорил с ними, был один из них. Сын старого священника Зепп Претандер. И то, что Зепп говорил, было правдой. Она причиняла боль, эта правда, она сжигала их, как адский огонь. Они могли бы стащить Зеппа с кафедры, могли бы его избить, изрезать, удавить, но он был прав, они и впрямь опустились, обленились, отупели.

— Какими лихими молодцами были вы в свое время, — слышали они его голос, гремевший с прогнившей, изъеденной червями кафедры. — Австрийцев, немцев и воинов Карла Смелого вы исколошматили, порубили на куски, проткнули насквозь, нацепили их головы на пики, весело горланя свои песни. Пленных вы не брали, а одним махом отправляли своих врагов на тот свет, как и я — раз — одним махом отправил на тот свет Крошку Бурбона, Малютку Джеймса, Билла-Миннесоту и весь клан Ольшовских, причем очень сомневаюсь, что все они летают там ан-

гелочками. Они были отпетыми негодяями, что правда, то правда, а все же я испытываю больше уважения к ним, чем к вам. Эти подлецы всю жизнь только и делали, что резались в карты, жульничали и продавались, в любую минуту подвергаясь опасности поджариться на электрическом стуле, в то время как вы всю жизнь прозябали в нищете. Речь не о том, жив ли еще пес Претандера или нет, это мне безразлично, и не о том, потеряла ли Эльзи девичью невинность в молочной луже или нет, все равно она бы ее вскоре лишилась, речь идет также не о старосте, который сперва не подал жалобу, а потом все же подал, он всегда был мямлей. Речь идет о вашей чести, о том, чтобы показать: в голове у вас есть еще кое-что, кроме сена; речь о вашей гордости, о том, что вы способны оказать сопротивление, что с вами лучше не связываться, что вы себе на уме. Пора пошевелить мозгами, черт побери! Почему эти типы в пансионате создавали видимость, будто он пуст? Для того, чтобы никто не знал, что он населен. Кем? Пришлось прийти к вам такому, как я, уложившему из автомата все семейство Пепероцци, чтобы ваши извилины заработали хотя бы со скрипом, как старый бензиновый двигатель. В пансионате зимовали наряду с обычными убийцами и взломщиками, сутенерами и дельцами наркобизнеса, входящими в рядовой состав любой порядочной банды гангстеров, такие важные шишки, как Большой Джимми и Джо-Марихуана, Линкольн-Толстяк, Бэби-Взломщик и Чарли с Потомака, я мог бы назвать вам еще шестнадцать имен, сплошь известные преступники, имена которых звучат райской музыкой в ушах полиции, от которой они надежно укрылись на зиму в этом пансионате, где их дьявольские рожи в тамошней прачечной перекраивают в ангельские лики. Но ежели бы у вас на плечах была голова вместо тыквы, вы бы в эту святую ночь, когда у таких горемык, как вы, нет даже рождественской елки, зажгли бы вместо нее пансионат, и получилась бы такая великолепная елка, какой еще не видывали в этом жалком ущелье!

В церкви стало жарко, как в парной. С кафедры гремела проповедь Зеппа Претандера, вой ветра заменял собой орган, мозги прихожан постепенно начали оттаивать и что-то воспринимать, вместе с потом выдавливая из себя привычную вялость. Пансионат коррумпировал всех — их прадедов, дедов и родителей, их самих, их детей и внуков. А ведь некогда они изгнали из своей страны чужеземцев, много лет назад

укрывшись у Моргартена за стволами и скалами, а теперь вся страна жила за счет чужеземцев и, если их не было, впадала в нищету, как их деревня впала в нищету с тех пор, как в пансионате стали превозносить радости нищенского существования перед компанией сверхбогачей. А теперь, когда они обнищали, как с ними поступают? Как с последними негодяями. Как с изменниками родины, прячущими русских. Ввели сюда войска, целый полк, и начальник кантонального управления, он же — командир полка, расхаживал по деревне, словно наместник Гесслер из легенды о Вильгельме Телле, и посылал своих солдат обыскивать их дома. Даже телевизор они не могут смотреть, хотя уже вся страна смотрит. Так им и надо, потому что они не сопротивлялись и не поколотили начальника управления.

Они почувствовали стыд, со стыдом появился гнев, а с ним и гордость. Они вдруг ощутили свое единство, поняли, что они — народ, более того, что они — коренной народ этой земли, что ущелье Вверхтормашки принадлежит им, что они здесь хозяева, они остались такими же, какими были сотни, тысячи лет назад, как в начале мироздания, а не изнеженными слабаками, как столичные жители.

— Если пансионат сгорит, — пророчествовал Зепп, — никто и внимания не обратит, даже полиция не станет доискиваться причины пожара, а страховая компания учинять расследование, ибо если начать копаться в развалинах на пожарище, что там найдешь? Обугленные останки Линкольна-Толстяка, Чарли с Потомака, Алкаша-Святоши, Большого Джимми, Джо-Марихуаны и прочих криминальных корифеев. Для политиков и адвокатов это слишком рискованно, они слишком тесно связаны с пансионатом и давным-давно в курсе дела, а полиция тоже не больно стремится остаться в дураках.

Внезапно ветер улегся. Лампочка перестала раскачиваться. Они смогли вглядеться в залитые потом лица друг друга. Ими овладела неукротимая жажда покончить с пансионатом, разрушить его, сжечь дотла, и, когда Зепп Претандер завершил свою проповедь словами: «Аминь, аллилуйя, осанна» — и, проломив кафедру, упал на них вниз лицом, они понесли его на руках, словно короля, к гаражу пожарной команды. Хозяева питейных заведений «Швейцарец», «Битва у Моргартена», «Генерал Гизан», «Олень» и

«Шпиц Бондер» подкатили туда же пустые бочки из-под вина и шнапса, там их залили бензином, и церковный колокол пробил набат.

Поросшая лесом сторона ущелья, на которой расположен пансионат, перерезается узкой, но глубокой расщелиной. По ней в ущелье втекает бурный ручей. На другой стороне этой расщелины Михаэль наблюдал за пансионатом из-под ветвей ели, растущей ниже гравийной дороги. Он услышал звон набатного колокола, потом вдруг резко оборвавшийся. В деревне разом погасли все огни. Прошел час. Темное здание пансионата с фронтоном и двумя жилыми башнями, высившееся на другой стороне расщелины, не подавало признаков жизни, оттуда не доносилось никаких звуков, не было заметно, чтобы там праздновали Рождество. Время близилось к одиннадцати. С другой стороны ущелья послышался шум: какая-то темная масса поднималась по склону к пансионату. На небе высыпало все больше звезд. Стала видна огромная россыпь Млечного Пути. На противоположной стороне расщелины, в лесу над пансионатом, школьный учитель громко декламировал:

Меж тем созвездий вечное веленье
Неотменяемо: не в нашей воле
Самим определять свое воленье.
Свобода — сон. В своем движенье годы
Тесней сдвигают грани несвободы[1], —

совершенно невпопад к тому, что готовилось на глазах Михаэля, спокойно наблюдавшего за происходящим: теперь, при свете звезд, стало отчетливо видно, что пожарную машину подогнали к пансионату, раскатали и подключили к гидрантам шланги. Все это — без единого звука, лишь тени, едва различимые во мраке.

В противоположность унылой пустоте церкви в холле пансионата стояла елка, до такой степени густо увешанная украшениями, что ее почти не было видно. Но украшения эти были необычными: дерево было увешано револьверами и автоматами, из стволов которых торчали зажженные свечи, а Бэби-Взломщик, с досады, что не удалось придушить Моисея, нацепил на ветки вместо стеклянных шаров еще и не-

---

[1] Гёте И.В. Первоглаголы. — *Перевод С. Аверинцева.*

сколько ручных гранат-лимонок. Фон Кюксен с Оскаром и Эдгаром и вся верхушка преступного мира, начиная с Пузыря-Ниагары и кончая Чарли с Потомака, развалившись в глубоких креслах и на кожаных диванах, ожидали у елки Моисея Мелькера. Уже несколько часов назад тот уединился в малой гостиной, где обычно играли в покер. Настроение царило мрачное и чреватое взрывом. В холле было накурено, все нервно пускали клубы дыма, Ванценрид не решался проветрить, за окнами то ближе, то дальше слышался голос Фронтена, читавшего стихи Гёте. Большому Джимми так и не удалось разыскать Джо-Марихуану, Док тоже куда-то провалился. Бэби-Взломщик был уверен, что Мелькер — шпион того синдиката, которому Великий Старец запродал их всех, и что сейчас надо быстро основать свой собственный синдикат. Бэби уже давно задается вопросом, какой смысл в этом пансионате и для какой такой цели этот Док делает лицевые операции. Дьявольски долго ковырялся с Джо, а теперь еще и Аляска-Пьянь загремел в эту прачечную, однако подозрения Бэби разделяли отнюдь не все: многие думали, что Мелькер прибыл сюда с тайным поручением от Великого Старца, но из-за присутствия фон Кюксена вынужден изложить планы шефа в виде Рождественской проповеди. Барон же, напротив, был убежден, что опять дал маху: он успел позвонить в Цюрих, но телефон на Минерваштрассе, 33а, не отвечал, какой-то голос вмешался и сообщил, что этот номер отключен. Тогда барон позвонил одному приятелю-галерейщику в Цюрихе, тот съездил по указанному адресу и сообщил по телефону, что на Минерваштрассе нет дома с таким номером. Наконец Моисей Мелькер появился. Остановившись за одним из кресел, он положил ладони на его спинку, моргая, обвел собравшихся взглядом из-под кустистых бровей и раздвинул в улыбке толстые губы. Если во время летнего сезона в нем частенько назревало какое-то мрачное и чреватое вспышкой гнева настроение, так что после его утренних проповедей богатые вдовы, генеральные директора и владельцы концернов прямо-таки с содроганием в душе предавались радостям нищенского существования, то теперь он как будто преобразился, излучая веселье, — ни дать ни взять беззаботное и радостное дитя природы, жаждущее поделиться своим открытием:

— «Не бойтесь, ибо я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Так гласит Рождественское послание Луки, глава вторая, стих десятый, — начал он. —

«Всем людям» — значит, и вам, негодяи, бродяги и жулики, — продолжал он, не считаясь с тем, что такое обращение должно было шокировать собравшихся — ведь они-то считали себя бизнесменами, практикующими необычные методы деловой активности. Один лишь фон Кюксен ухмыльнулся. Мелькер решился на то, на что барон никогда не мог решиться: назвать этих бандитов бандитами.

— Отчего же радость? Оттого, что Великий Старец как бы простер свою могучую длань над пустотой с температурой абсолютного холода — минус 273 градуса — и создал из этой пустоты всех вас.

Мелькер был горд своей притчей, а Чарли с Потомака подумал, не намечает ли Великий Старец какое-то дельце на Аляске.

— Если бедные и голодные попадают в рай, — вещал Моисей Мелькер, — потому что Великий Старец жалел этих бедолаг, а богатые — лишь потому, что ему больше ничего не остается, как проявлять милосердие, то вы, и только вы одни, действительно заслужили рай, вы — его радость, его гордость, его хвалебная песнь самому себе.

«Впервые Великий Старец удостаивает нас рождественским подарком», — подумал Линкольн-Толстяк.

— Не в воспарении человеческого духа, — продолжал Моисей Мелькер, — не во всех этих возвышенных идеях видит свое отражение Великий Старец — их он и сам может придумать, — а в накипи рода человеческого, в вас, уголовники. Он любит вас такими, какие вы есть, так же как и вы его любите такого, как он есть. Для бедных и богатых, а также и для всегда и во всем правых, кто всего лишь увиливает от налогов, отмывает грязные деньги, крадет водительские права и занимается политикой, он — милый добрый Боженька, который на все смотрит сквозь пальцы, но для вас он — неумолимый босс. Гнев его сжигает огнем и ложится тяжким бременем, уста его полны ярости, а язык испепеляет.

«Я всегда знал, — подумал Билл-Миннесота, — что Бобби-Взломщик напозволял себе лишнего. Этой ночью ему крышка».

— Великий Старец приносит не мир, а меч. Он, пожирающий то, что сам создал — растения, животных и людей, — он, насылающий тайфуны и ураганы и заставляющий землю содрогаться, — повысил голос Моисей, — избрал вас

своим орудием и повелел изничтожить хеттов, гергесеев, аморреев, хананеев, ферезеев и иевусеев!

«Боже мой, — подумал Бэби-Взломщик, — сколько новых синдикатов развелось». А Алкаш-Святоша заподозрил, уж не собирается ли Великий Старец заняться торговлей оружием.

Моисей все говорил и говорил. Как газы, скопившиеся внутри вулкана, в мгновение ока раскалывают его пополам, так и теолог богатства изрыгал огонь и обращался в пепел, хотя пепел этот, сыпавшийся на головы окружавших его профессионалов преступного мира, пока еще был чисто теологический.

— Если бедняки слишком ленивы, чтобы обрести богатство путем честных преступлений, — проповедовал Моисей Мелькер, — а богачи на отдыхе радостно хлебают нищенскую баланду из жестяных мисок, чтобы только протиснуться сквозь игольное ушко Божественной милости, ваша награда — весь христианский мир. Поступайте с ним так, как я поступил с моим личным христианским миром. Я — один из вас, я не теолог богатства, а теолог преступления, ведь и Великий Старец мыслим только как преступник. Первую свою жену я столкнул с дуба, вторую — в Нил, а третью задушил в это воскресенье, заткнув ей глотку трюфелями. Я сделал это в честь Великого Старца: все трое были так богаты, что я на них женился, и так благочестивы, что я их прикончил.

Но его уже никто не слушал. Из прачечной по подземному переходу явился, шатаясь, Аляска-Пьянь. Лицо все в бинтах, видны лишь глаза. Кое-как добравшись до первой попавшейся кушетки, он плюхнулся на нее, успев услышать лишь последние слова проповедника — «хананеев, ферезеев и иевусеев».

«Значит, война гангстерских банд начинается и здесь», — уныло подумал он. Большой Джимми, приобретший склонность к подозрительности, снял повязку с головы Пьяни. Тот тупо уставился на Джимми и тут же уснул.

— Большой, а ведь у Джо-Марихуаны теперь и в самом деле твое лицо, — вдруг заявил Бэби-Взломщик.

— Это не Джо-Марихуана, — сказал Большой Джимми, наклонившись над спящим. — Это Аляска-Пьянь. Нас стало трое. — Он вскочил с кресла так стремительно, что оно опрокинулось. — Дока сюда, куда он девался? — заорал он. — Давненько я его не вижу. Захотел всем нам

сделать мое лицо, целый синдикат из одних Джимми! Зачем? Чтобы ликвидировать наш синдикат! По чьему приказу? Не по воле ли Великого Старца? И кто он вообще? Никто не знает, как он выглядит, никто не знает, существует ли он, — и меньше всех этот курчавобородый неандерталец. Он всего лишь дилетант и Великим Старцем называет просто Бога.

Все вскочили — кто для того, чтобы сдернуть с елки оружие, кто для того, чтобы схватить Моисея Мелькера. Но всех опередил Бэби-Взломщик — сейчас он наконец придушит этого типа. Вдруг из двери выкатилась винная бочка, и Большой Джимми, почуяв, в чем дело, бросился к выходу, — ему пришлось увернуться от бочки из-под шнапса, катившейся вслед за винной, и в дверях он вновь столкнулся лицом к лицу с самим собой. Джо-Марихуана, с ненавистью взглянув на него, тут же взял его на мушку, но за его спиной вдруг грохнул взрыв, швырнувший его на его двойника, а того — на пол, и, повалившись на Джо, он почти в ту же секунду почувствовал, как чьи-то клыки со смертельной яростью впились в его зад и начали его рвать, и в то время, как и его, и Джо охватило трескучее пламя, он еще успел услышать откуда-то издали голос старости:

— Мани, фу! Мани, ко мне! Черт возьми, если пес опять вцепится, он еще и сгорит!

Поток света выхватил из темноты грузовик, с которого одна за другой скатывались бочки, которые тут же перехватывали пожарные в старинных черно-красных мундирах и касках и катили дальше в двери, ритмично покрикивая. Страшный взрыв прогремел в ночи, за ним последовали другие взрывы, огромный язык огня вырвался вверх, к небу, затмив звезды. В кольце из пожарной машины со шлангами, тракторов и крестьян, вооруженных вилами и топорами, какими валят лес, пансионат вмиг был объят пламенем, из его дверей выскочила собака с горящей шерстью и стала кататься по земле, за ней повалили наружу люди, а пожарные загоняли обратно жаждущих спастись струями воды из шлангов, внутри здания продолжало взрываться оружие, женщины, как одержимые, качали насосами воду, вдова Хунгербюлер визжала не своим голосом, изливая визгом свою обиду за безответные письма, пожарные все били и били сильной струей по людям, загоняя их внутрь, те кувыркались через голову и под напором

воды влетали в огонь, словно картонные фигурки, лес и небо окрасились в цвета ада, кто-то сумел выскочить из пламени и помчался в полыхающей огнем одежде навстречу крестьянам, один из них ударил его топором, и тот повалился на землю клубком огня, трое крестьян подсунули под него вилы, подтащили вопящего человека к дверям пансионата и швырнули в огонь, тут же отпрянув назад: здание начало рушиться, крестьяне и женщины отбежали подальше, полицейский Лустенвюлер, видимо вдрызг пьяный, вдруг подкатил из темноты на джипе и, уронив голову на руль, въехал прямо в портал, который тут же на него рухнул. В этот момент загорелся флигель, втянувший огонь с потоком воздуха по подземному коридору, и вспыхнул мгновенно, как свеча. Теперь загорелись и деревья — сухие после многодневного фёна, огонь вгрызся в лес, крестьяне отступили. Откуда-то слышался голос школьного учителя — то ли из-за стены огня, то ли уже в огне:

Сверкают искры тут и там,
Блистая золотом живым.
Но глянь: взвилася к небесам
Стена огня быстрей, чем дым.

Западная башня рухнула. На одном из выступов крыши истошно вопили фон Кюксен, Оскар и Эдгар, зовя на помощь. По фасаду Восточной башни пламя взметнулось вверх. В углу башенной комнаты на полу сидел Моисей Мелькер, обхватив руками подтянутые к груди колени. Рядом лежала его рукопись «Цена божественной милости» и часы с одной стрелкой, остановившейся на числе его лет. Перед ним — стол и три стула, позади — окно, на столе — пакетик кофе «Этикер» за 10,15 франков. В противоположном по диагонали углу — еще покачивающееся кресло-качалка. Тут только что кто-то был. Комната без потолка освещалась огнем с чердака, где горела балка стропил. Мелькер пришел сюда, чтобы покориться приговору за совершенные им убийства, но никто не стал этот приговор выносить. Пламени было безразлично, кого оно пожирает, когда-нибудь оно поглотит всех. Он жаждал уяснить этот приговор — себе и Великому Старцу. Их поединок начался еще в миссионерской школе. Он приехал в монастырь Святого Кришны с Богом своей юности в душе,

Богом, которого он создал из воображаемых и реальных частей — из своего отца-католика, которого никогда в глаза не видел, мартовской ночью в штопаных носках забравшегося в постель к его матери-лютеранке, а также из своих приемных родителей, вечно пьяных и поколачивавших и его, и друг друга, и из ощущения чудесной, благостной огражденности от их колотушек. Внизу взорвалась пожарная машина. Восточная башня вздрогнула. К этому благостному ощущению той поры добавилась чудовищная, ненасытная чувственность, бушевавшая в Мелькере еще в юности, которую он приписывал выдуманному им Богу: его собственная чувственность была лишь отблеском чувственности того, кто без нее не смог бы создать весь сущий мир, да и создал-то его для того только, чтобы дать ей выход в бесконечном и вечном возникновении и исчезновении им же созданного. Пансионат рухнул, с ним рухнули в море огня фон Кюксен, Оскар и Эдгар. Мелькер услышал их вопль. Сотворение и уничтожение как божественный оргазм. В миссионерской школе Моисей познакомился с другим Богом, Богом теологов, в столь высокой степени обладающим такими качествами, как бессмертие, всемогущество, всеведение, и всеми атрибутами совершенства, что утратил конкретные черты. Восточная башня еще держалась. Горящая балка рухнула, вспыхнула и рассыпалась горящими углями, на чердаке башни загорелись еще две балки. Если раньше Моисей ощущал себя частицей божественной чувственности, то потом он от нее отделился. Бог превратился в абстрактную идею. Кресло-качалка продолжало покачиваться. Осталось у Мелькера лишь сознание своего уродства и ненасытная чувственность, остался ад. Язык огня взметнулся между Моисеем и столом с тремя стульями, полез вверх, охватил чердак. Тут Моисей устремился душой к богочеловеку. Сыну Божьему. Но теология и тут сыграла с ним злую шутку: она идеализировала Божьего сына. Его оградили от потаскушек и сборщиков податей, с которыми ему было приятно общаться, чьи шутки и похабные остроты он с удовольствием слушал и весело смеялся, его никогда всерьез не считали человеком, а только Богом, взявшим на себя роль человека, ибо Он и был Богом и не мог совокупляться с женщинами. Черный дым клубами вырывался из-под пола, так что Мелькер уже почти не видел горящие стол и стулья. Сын Божий стал чем-то абстрактным, еще абстрактнее, чем его собственный отец, но к тому

же еще и дешевой поделкой, каким-то марципановым Спасителем на кресте.

— Слезай-ка, — крикнул ему Мелькер, — Бог, который позволяет себя распять, просто устраивает зрелище, вроде того, что мастерят в Голливуде или в Оберраммергау, оба разбойника куда достовернее, чем Ты, они — люди, которых распяли.

Вокруг Мелькера — бешеный грохот и треск взрывов, вопли охваченных пламенем крестьян и уголовников. За всеми легендами и рассказами о чудесах Моисею мерещился обычный человек, еврей из Галилеи, сын плотника, одетый в рубище, с грязными босыми ногами, простой человек, такой же, как он сам, такой же толстый, с такими же оттопыренными губами и курчавой бородкой, такой же грешник, как он, который бы понял его — его жажду богатства и его стыд из-за того, что ему пришлось стать убийцей ради него, который сказал бы ему: «Не придумывай себе Бога, тогда не придется придумывать и ада. Человек нуждается в человеке, а не в Боге, ибо только человек способен понять человека». Стена с окном загорелась, сплошная стена огня. Но тот не слез с креста и стал Бородатым Богом, Великим Старцем, который покончил с разладом в душе Мелькера: как бедняку Моисею принадлежало Царство Божие, а как богачу оно доставалось ему из милости. Так Моисей Мелькер додумался до теологии, которая склонила мультимиллионеров и вдов мультимиллионеров выносить ночные горшки, готовить несъедобную бурду и наслаждаться нищетой. Стол и стулья уже превратились в груду обуглившихся обломков, на которой по-прежнему стоял невредимый пакетик с кофе. Однако в это утро, когда он понял, во что превратился «Приют нищеты», и барон предложил ему отпраздновать Рождество в обществе преступников, он, будучи сам преступником, осознал бессмысленность своей теологии, свойственной, в сущности, любой теологии: она запутывается в самой себе, попадает в капкан собственных понятий, представляет себе Господа совершенным, а весь мир — полным пороков, вся она — чисто умственная концепция, не имеющая никакого отношения к действительности. И когда он это осознал, он опять представил себе Бога своей юности как идею, как чувственного Бога, любящего свое Творение и не ценящего его, создавшего все сущее с невыразимой радостью и вновь

губящего все созданное им с такой же радостью, так же как его Творение вновь и вновь создает и разрушает себя.

Пол все еще держался, кресло-качалка тоже, только иногда оно прыгало по комнате, уворачиваясь от языков пламени. Моисей вновь ощутил ту острую радость, какая пронзила его на берегу реки Грин под ивами, куда он затащил ту девушку, радость эта была того же сорта, что испытывает Бог, и все было в порядке — бедняк и богач и преступник, добро и зло, все возникло по единой воле — воле Создателя. Над ним горела башня, все трещало в огне, Великий Старец был его мыслью, его идеей, его творением и больше ничем. Однажды он прочел слова какого-то физика: «Если бы реальность умела говорить, она не произнесла бы физических формул, а спела бы детскую песенку». Вот он и подумал, что, если бы Бог мог явиться людям, это было бы нечто совершенно непонятное, немыслимое, как пакетик кофе «Этикер» в горящей комнате или уворачивающееся от огня кресло-качалка, а когда огонь пробился сквозь пол, Моисей Мелькер понял, что сошел с ума: раз Бог был его вымыслом, то и весь мир должен был быть его вымыслом, и наряду с выдуманными им Богом и миром должны существовать другие божества и другие миры, выдуманные другими людьми, и, значит, мир и есть Мировой Разум, постоянно растущий и состоящий из размещенных внутри друг друга миров, чьи отдельные нейроны опять-таки состоят из размещенных внутри друг друга миров, каждый из которых состоит из одного Я, которое измышляет себе свой мир со всеми галактиками, солнцами и планетами, которые нужны ему для того, чтобы запустить в ход эволюцию, а она уже, двигаясь от одноклеточных к многоклеточным, беспозвоночным и позвоночным, создала человека, который, двигаясь по заколдованному кругу, опять-таки измышлял себе свою Вселенную и своего Бога — стоголового или тысяченогого, с несколькими носами, из дерева или из золота, либо же Богиню со множеством грудей. Столько богов, сколько миров, среди них и Великий Старец Моисея Мелькера, который наверняка выглядит иначе, чем представлял себе измысливший его человек, Бог, наделенный бессмертием и потому существующий вместе с миром, который придумал себе Моисей Мелькер, и со всеми другими мирами и богами, которых придумали другие. Еще додумывая эту мысль, Моисей начал сме-

яться. Тут и его охватил огонь, загорелась и лежавшая рядом рукопись «Цена божественной милости» с посвящением Цецилии Мелькер-Ройхлин, расплавились и часы, сгорели и кресло-качалка и пакетик кофе, и все рухнуло вниз.

Перед домом старосты лежал пес, рядом стояла Эльзи. Она смотрела на горящий лес, на стену огня, выбрасывающую вверх языки пламени на той стороне ущелья, и уже поглотившую многих жителей деревни. Она улыбнулась. Вот это Рождество, прошептала она. Дитя в ее чреве запрыгало от радости.

# Комментарии

В 3-й том вошли повести и романы позднего Дюрренматта, хотя замыслы и первые наброски некоторых из них относятся к раннему этапу творчества.

## Зимняя война в Тибете

Впервые замысел повести о войне всех против всех возник у Дюрренматта холодной зимой 1944 — 1945 гг., когда он проходил военную службу в Ла-Плене, недалеко от Женевы. Это был уже не первый писательский опыт молодого автора, но «первая попытка интегрироваться в действительность, из которой я и моя страна были исключены». Писатель добивается этого с помощью вымысла: нейтральная, пощаженная Второй мировой войной Швейцария становится одним из плацдармов Третьей мировой войны, превращается в модель обезумевшего, охваченного жаждой самоуничтожения мира. Поначалу замысел не строился на определенном сюжете, а был «бесконечным кошмарным сном», который Дюрренматт попытался художественно воплотить в рассказах «Город» и «Западня», но так и не избавился до конца от навязчивых видений «конца света». Попытка дописать повесть в 1951 г. по разным причинам успехом не увенчалась. К раннему замыслу Дюрренматт вернулся только в конце 70-х гг. Впервые опубликовано в 1981 г. в книге «Материалы I — III» (цюрихское издательство «Диогенес»).

13 *...Буше из ...Старой Пинакотеки.* — Имеется в виду одна из картин Франсуа Буше (1703 — 1770), французского художника эпохи рококо. Старая и Новая Пинакотеки — названия крупнейших в Германии картинных галерей, находящихся в Мюнхене.

16 *По Платону...* — Будучи студентом философского факультета Цюрихского университета, Дюрренматт усиленно изучал Платона и Кьёркегора, но к запланированной диссертации «Кьёркегор и трагическое» так и не приступил.

*Гофмансталь Хуго фон* (1874 — 1929) — австрийский поэт и драматург, испытавший влияние символизма; входил в круг чтения молодого Дюрренматта.

18 *Закон больших чисел* — одно из положений теории вероятностей, согласно которому совокупное действие большого числа случайных факторов приводит к закономерному результату. В эссе «Закон больших чисел» Дюрренматт за несколько лет до Чернобыля предсказал неизбежность катастрофы на одной из АЭС.

19 *Число Лошмидта* — число молекул в 1 $см^3$ идеального газа при нормальных условиях. Это значение впервые определил австрийский

физик Йозеф Лошмидт (1821 — 1895), в честь которого оно и названо. Формулу «числа Лошмидта» Дюрренматт приводит не совсем точно.

21 *Конвективная зона* — слой толщиной 150 — 200 тыс. км, расположенный непосредственно под фотосферой Солнца и переносящий энергию из его глубин к поверхности.

22 *Чандрасекар Субрахманьян* (р. 1910) — американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии; по происхождению индиец.

31 *впервые с 1512 года, со времени завоевания Милана.* — После удачного похода на Милан в 1512 г. в составе войск французского короля швейцарских ополченцев, слывших умелыми и мужественными воинами, преследовали военные поражения.

38 *Иоганна Спири* (Шпюри, 1829 — 1901) — швейцарская писательница, получившая широкую известность в немецкоязычных странах своими книгами «для девочек», в которых утверждались христианское смирение, трудолюбие и простая жизнь на лоне природы.

39 *«Мудрые мысли брахмана» Фридриха Рюккерта* — речь идет об изречениях восточных мудрецов, собранных и переведенных на немецкий язык александрийским стихом поэтом Фридрихом Рюккертом (1788 — 1866). Рюккерт был замечательным лириком (музыку на его стихи писали Шуберт, Шуман, Брамс, Лист и другие композиторы) и виртуозным переводчиком с арабского, персидского, китайского и индийских языков.

45 *...как в дни Моргартена, Земпаха и Муртена.* — Перечисляются селения и местности, под которыми ополчения швейцарских кантонов соответственно в 1315, 1386 и 1476 гг. разбили, защищая свою независимость, войска своих врагов — императорского дома Габсбургов (в первых двух) и бургундского герцога Карла Смелого (в последней битве, положившей конец завоевательным устремлениям бургундов).

46 *Пентхауз* — роскошная квартира на верхнем этаже, выходящая на плоскую крышу.

55 *Ксантиппа* — жена древнегреческого философа Сократа (ок. 470—399 до н.э.), отличавшаяся неуживчивым нравом; ставшее нарицательным имя обозначает сварливую, вечно всем недовольную жену.

## Лунное затмение

В середине 50-х гг. Дюрренматт, уже завоевавший известность как драматург, жил некоторое время в захолустной горной деревушке и носился с мыслью написать повесть о том, как богатый американец, выходец из Швейцарии, совращает целую деревню, заставляя ее жителей из корыстных побуждений пойти на убийство ни в чем не повинного человека. Однако материальные затруднения вынудили Дюрренматта отложить работу над повестью и использовать сюжетные и иные находки в пьесе «Визит старой дамы»; горная деревушка превратилась в захудалый городок Гюллен, а богатый искуситель — в жестокую мстительницу Клару Цаханассьян. К прозаическому варианту писатель вернулся только в

конце 70-х гг., работая над своими «Материалами», куда и вошла повесть, опубликованная в 1981 г.

70 *Лачер хорошо разбирается в звездах.* — Автобиографический мотив: Дюрренматт интересовался астрономией и в своем доме в Невшателе имел небольшой зеркальный телескоп.

71 *Гизан Анри* (1874 — 1960) — генерал, главнокомандующий швейцарской армией в годы Второй мировой войны.

*Беци* — яблочная водка домашнего приготовления.

85 *В жизни еще не слыхал, чтобы швейцарца звали «фон Лафриген».* — История Швейцарии сложилась так, что в ней практически не существовало родового дворянства.

89 *...как интегрировать Барта с Блохом...* — Барт Карл (1886 — 1968) — швейцарский теолог-протестант, сторонник христианского социализма; выступал за активное сопротивление фашистскому режиму. Блох Эрнст (1885 — 1977) — немецкий философ-антифашист, противник любых тоталитарных режимов; рассматривая марксизм как «конкретную», имеющую право на существование утопию, он видел возможность реализации социального идеала в нравственном обновлении человеческой души («принцип надежды»).

106 *«Взошла луна, на небе... так благостно в тиши!»* — строки из стихотворения немецкого поэта Маттиаса Клаудиуса (1740 — 1815) «Вечерняя песнь».

## Бунтовщик

Тема бунта против любых проявлений авторитаризма и тоталитаризма волновала Дюрренматта со студенческих лет, еще в 40-е гг. он задумал роман с таким названием, но получился рассказ-конспект, впервые опубликованный в 1981 г. в книге «Материалы I — III». К автобиографическим мотивам, прозвучавшим уже в раннем рассказе «Сын» (идейные разногласия с отцом-пастором, в искренности религиозных убеждений которого Дюрренматт усомнился), добавилось текущее воздействие политических реалий первых послевоенных лет, а также увлечение мыслями немецкого философа Рудольфа Касснера, изложенными в его книге «Число и лицо».

## Правосудие

О том, как создавалось это произведение, автор рассказал в коротком «Послесловии» к роману, задуманному еще в 50-е гг., но написанному значительно позже и опубликованному впервые в 1985 г. цюрихским издательством «Диогенес».

В основу романа положена парадоксальная мысль, что восстановить справедливость (необходимое условие всякого детектива) можно только новым преступлением; кто хочет искоренить зло, сам творит его. Поэтому симпатии автора явно на стороне старого полицейского комиссара, с философским спокойствием (все равно ничего изменить нельзя) наблюдающего за вершением правого и неправого дела, а не на стороне бедолаги адвоката, который расплачивается за смелость и настойчивость в поисках

«смысла» распадом личности и преждевременной смертью. И хотя в романе есть главные составляющие детектива — убийца (и не один), жертва (и не одна), расследование, правда так и не доведенное до конца, но это не детектив, в нем нет того, что порождает детективную интригу, — тайны, логической задачи, следственной загадки. Загадка в романе — сам человек, его природа, тайна — законы и приемы правосудия, устройство общества и мироздания. Остальное лежит на поверхности и не требует расследования.

130 *Шпиттелер Карл* (1845 — 1924) — швейцарский поэт и прозаик, лауреат Нобелевской премии (1919), автор космогонической поэмы «Олимпийская весна» (1910).

*Гесиод* (8 — 7 вв. до н.э.) — древнегреческий поэт, давший в поэме «Теогония» родословную греческих богов, автор первой рационалистической систематизации мифов. Названием несуществующего труда Дюрренматт пародирует слишком широко понимающее свои задачи сравнительное литературоведение, готовое сравнивать все со всем.

145 *...как упал всадник, проскакав по льду Боденского озера...* — Существует легенда, согласно которой невозможно проехать по льду Боденского озера, лежащего между Германией и Швейцарией; тот же, кому это удастся, все равно упадет замертво с лошади, ибо в принципе невозможно достичь «благословенной деревни», где все живут по принципу «один за всех, все за одного». Смысл легенды — в недостижимости счастья в этом мире.

151 *Николай Флюенский* (Никлаус из Флю, брат Клаус) — легендарный швейцарский отшельник, примиривший в 1481 г. горожан и сельских жителей, распри между которыми грозили перейти в гражданскую войну.

166 *«Зима тревоги нашей миновала»* — цитата из исторической хроники Шекспира «Ричард III». *Винтер* по-немецки означает «зима». Эти же слова американский писатель Джон Стейнбек использовал в заглавии своего романа «Зима тревоги нашей» (1961).

167 *Клемперер Отто* (1885 — 1973) — немецкий дирижер.

*Вальтер* (наст. фам. Шлезингер) *Бруно* (1876 — 1962) — немецкий дирижер.

*Караян Герберт* (р. 1908) — австрийский дирижер.

176 *Клагес Людвиг* (1872 — 1956) — немецкий философ и психолог, представитель «философии жизни», автор работ в области характерологии и графологии; противопоставлял спонтанной целостности душевной жизни губительное для всего живого господство духа.

233 *Эмеритальный налог* — страховой налог для увеличения последующей пенсии.

261 *Штраус Бото* (р. 1944) — немецкий писатель и драматург авангардистской ориентации.

## Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями

Первоначально Дюрренматт собирался написать сценарий игрового фильма для своей второй жены Шарлотты Керр, но в результате полу-

чилась повесть о всеобщей подозрительности, охватившей мир и подталкивающей его к катастрофе. Хотя в «Поручении» легко просматриваются основные признаки «апокалипсической» дюрренматтовской прозы, здесь, пожалуй, впервые из глубины отчаяния и безнадежности пробиваются оптимистические, жизнелюбивые нотки. Дюрренматт как бы подводит человека к краю пропасти, показывает, к чему могут привести неразумие, равнодушие и подозрительность, но не повергает его, как раньше, в пучину «наихудшего конца», а оставляет ему шанс на выживание. У повести, вопреки мрачному эпиграфу из «Или-Или» Сёрена Кьёркегора, счастливый финал. И неожиданный для поэтики Дюрренматта вывод: в полной нелепостей и опасностей жизни побеждает тот, кто пытается понять механизм насилия, заглянуть за кулисы событий, лишить их ореола таинственности и непредсказуемости, кто не боится противопоставить силам зла мужество защитника исконных человеческих ценностей.

Повесть впервые опубликована в 1986 г цюрихским издательством «Диогенес» с посвящением Шарлотте Керр.

289 ...*и подсела там к логику Д.* — За этим образом угадывается сам Дюрренматт, любивший повторять, что фантазии у него не больше, чем у других людей, но больше логики.

## Ущелье Вверхтормашки

Последний доведенный писателем до завершения роман вышел в свет в 1989 г. (издательство «Диогенес», Цюрих). В этом произведении писатель снова, как и в повести «Поручение», полемизирует с распространенным мнением, что он — нигилист, абсурдист и проповедник безысходности. В нем он призывает к бунту против рока, к подвижничеству и мученичеству Прометея, дерзнувшего восстать против богов. На примере романа видно, как Дюрренматт-философ на позднем этапе теснит Дюрренматта-художника. Осознание нависшей над людьми опасности вынуждает поступаться пластичностью образов, реалистической достоверностью характеров и ситуаций, подталкивает к созданию апокалипсических видений, цель которых — озадачить, встревожить и предостеречь. В романе присутствуют все важнейшие элементы философии и поэтики Дюрренматта — лабиринт, минотавр, «наихудший оборот». Собственно, ущелье Вверхтормашки и расположенная в нем деревня и есть лабиринт, обитатели которого — грешники и святые, виноватые и безвинные, — сами того не ведая, выступают в роли заложников минотавра-судьбы.

365 *«Путь паломника» Беньяна* — аллегорическая повесть английского писателя Джона Беньяна (1628 — 1688), в которой человеческая жизнь изображается как поиски высшей правды, смысл которой — в духовном совершенствовании. Открывающее повесть стихотворение «Странник» перевел на русский язык А.Пушкин.

*Хайсмит Патриция* (р. 1921) — американская писательница, автор детективных романов.

*Эмблер Эрик* (р. 1909) — английский писатель, автор развлекательных и детективных романов, нередко с политической подоплекой.

*Хэммит Дэшил* (1894—1961) — американский писатель, автор широко известных «крутых» или «жестоких» детективов.

366 *Эрни Ганс* (р. 1909) — швейцарский график и живописец.

385 *Клаудиус Маттиас* (1740—1815) — популярный немецкий поэт, близкий движению «Бури и натиска».

*«Pro Helvetia»* — общество и фонд, учрежденные в октябре 1939 г. с целью сохранения и развития швейцарской культуры внутри страны и пропаганды за ее рубежом.

*Институт Гёте* — созданное в 1952 г. в ФРГ государственное учреждение с центральной резиденцией в Мюнхене, призванное способствовать изучению немецкого языка и распространению немецкой культуры, как в самой Германии, так и за ее пределами; имеет многочисленные филиалы и отделения в большинстве стран мира, включая Россию.

386 *Вальзер Роберт* (1878 — 1956) — швейцарский писатель.

*Рюбецаль* — в средневековых немецких легендах дух Исполиновых гор.

388 *Госпожа фон Штейн* — имеется в виду Шарлотта фон Штейн (1742—1827), подруга Гёте в 1775 — 1778 гг.

419 *...ленты Мёбиуса...* — Мёбиус Август Фердинанд (1790—1868), немецкий математик, установивший существование односторонних поверхностей (так называемая лента или, точнее, лист Мёбиуса).

*В. Седельник*

# Содержание


*Зимняя война в Тибете. *Перевод И.Кивель* ..... 5
*Лунное затмение. *Перевод Г.Косарик* ..... 67
*Бунтовщик. *Перевод Т.Стеженской*..... 109
*Правосудие. *Перевод С.Фридлянд*..... 123
*Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями. *Перевод Н.Федоровой*..... 285
*Ущелье Вверхтормашки. *Перевод Е.Михелевич* ..... 341

*В. Седельник.* Комментарии ..... 441

**Дюрренматт Фр.**

Д97 Собрание сочинений. В 5 т. Т. 3.: Романы и повести: Пер. с нем. /Сост. Е. А. Кацева; Коммент. В. Д. Седельника; Художники М. Е. Квитка, О. Л. Квитка. — Харьков: Фолио; Москва: АО «Изд. группа "Прогресс"», 1997. — 448 с. — (Вершины).

ISBN 5-01-004568-0 (т. 3).
ISBN 966-03-0106-5 (т. 3).

В третий том собрания сочинений Фридриха Дюрренматта вошли романы и повести «Зимняя война в Тибете», «Лунное затмение», «Бунтовщик», «Правосудие», «Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями», «Ущелье Вверхтормашки».

**Д $\frac{4703010100—026}{006(01)—97}$ Без объявл.** **ББК 84.4Ш**

*Литературно-художественное издание*

ДЮРРЕНМАТТ Фридрих

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**В пяти томах**

Том 3

**РОМАНЫ И ПОВЕСТИ**

Главный редактор *В. И. Галий*
Ответственный за выпуск *Р. Е. Панченко*
Художественный редактор *Б. Ф. Бублик*
Технический редактор *Е. В. Антонова*
Корректор *А. М. Максименко*

ИБ № 20163 ЛР № 060775 от 25.02.92.

Подписано в печать 29.10.97.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Литературная. Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 24,72. Уч. изд. л. 25,57.
Тираж 5000 экз. Изд. № 49685. Заказ № 8-1.

АО Издательская группа «Прогресс»,
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17

«Фолио»,
310002, Харьков, ул. Артема, 8

Отпечатано с готовых позитивов
на книжной фабрике им. М. В. Фрунзе,
310057, Харьков, ул. Донец-Захаржевского, 6/8

Фридрих Дюрренматт

Фридрих Дюрренматт